

НОВЫЙ  
МИР

6

МОСКВА 1940

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1940 г.

№ 6

Год издания XVI

★ ★ ★

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Алексей Сурков — Детство героя, стихотворения	3
Сергей Крушинский — Теплые горы, роман, окончание	7
Ник. Ушаков — Стихотворения	63
В. Вересаев — Невыдуманные рассказы о прошлом	65
Александр Жаров — Возвращение к морю, стихотворение	86
В. Ильенков — Емелька, рассказ	87
Сергей Юрин — Путешествие к лосям, очерк	91
Шалва Радиани — Акакий Церетели	101
Акакий Церетели — Стихотворения, переводы В. Звягинцевой, М. Гарловского, А. Гатова, П. Антокольского и Б. Серебрякова	103
К. Бадигин — На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан	108
<hr/>	
В. Виуков — Современная артиллерия	185
<hr/>	
Н. Буренин — Поездка А. М. Горького в Америку	192
Н. Серебров (А. Тихонов) — Ясная поляна	202
С. Гехт — Произведения Сергея Диковского	216
Н. Замошкин — Охота за счастьем, заметки о детских рассказах М. Пришвина	227
Мариэтта Шагинян — Об азербайджанской прозе	239

## БИБЛИОГРАФИЯ

И. Петров — Вас. Кудашев. «Последние мужики»	245
И. Арамулов — А. Тарасов. «Крупный зверь»	248
А. Воложенин — Р. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви»	250
С. Фомин — Дм. Семеновский. «Мстера»	254
Арт. Воскерчян — В. Кирпотин, «Поэзия армянского народа»	255

★



# Детство героя

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ

★

## ТРАКТИР «ЗОЛОТОЙ ЯКОРЬ»

Тяжело служить в трактире  
«Золотой Якорь».

Поутру вставай в четыре —  
Чашками брякай.

И дровишек накопи,  
И скатерки постели,  
И с посудницей хромой  
Всю посуду перемой.

И хлопот  
Полон рот,  
Поспевай только!

А хозяин орет:  
— Шевелись, Колька!  
Шевелись, не вались,  
Перед гостем стелись.  
Навостри ухо,  
Сонная муха!

И молчи.  
Ни гу-гу!  
Не мечтай: — «убегу!».  
Слякоть, реденький дождь...  
Ну, куда ты уйдешь?  
Хоть скули не скули, —  
Не на что надеяться...

Раз в трактир забрели  
Два красногвардейца.  
Возле двери сели с краю,  
Заказали пару чаю,  
По сушеной вобле  
Из карманов добыли.  
Пьют чаек,  
Жуют паек,  
Рассуждают про свое.

Говорит дружку усатый,  
Что в матроске полосатой:  
— Нынче в ночь с броневика  
Попугали казака.  
Мы в Царицыне Краснову —  
Под ребро шило.  
Потрепал Краснова снова  
Клим Ворошилов.  
Он воюет, как по нотам.  
Достается обормотам!  
Нам лафа,  
А им труба.  
Подходящая борьба...

И довольны,  
И смеются,  
И со вкусом тянут с блюда,  
И жуют себе паек,  
И гутарят про свое.

Говорит худой и русый:  
— Надо взяться с головы.  
Этот строгий, черноусый,  
Что приехал из Москвы, —  
Военспецам не по вкусу.  
Генералы, капитаны!  
Расплодилось, как мышей.  
Он приметит все изъяны  
В их иудинной душе,  
Все учтет наперечет  
И головку отсечет.  
Вот и будет снова  
Горе у Краснова...



Соглашается усатый,  
 Что в матроске полосатой:  
 — Это верно!  
 Это — да!  
 Вспокоились господа.  
 Все пошло обратным кругом.  
 Хватит хороводиться!  
 Не за зря он первым другом  
 Ленину приходится.  
 До него в штабах была  
 Слякоть и распутица...

А Николка у стола  
 Крутится да крутится.  
 — Может, вобла горло сушит?  
 Может, щей откушают?..

Увивается, а уши  
 Слушают да слушают.  
 У Николки глазки щелки  
 И льняная голова.  
 Очень нравятся Николке  
 Непонятные слова.  
 У Николки космы челки  
 Негерпеньем вспенены.  
 Очень хочется Николке  
 Расспросить про Ленина.  
 А матрос, видать, — баскдой!  
 С этим кашу сварить.

— Ленин будет кто такой,  
 Господин товарищ?..

Улыбается усатый,  
 Что в матроске полосатой:  
 — Ленин, хлопчик, ты да я —  
 Он отец, а мы — семья.  
 Ленин друг большим и малым.  
 Он в Москве и за Уралом  
 Выручает бедняков  
 От хозяйчиков-волков  
 Вроде вашего.  
 Понятно?..

На лице хозяйском пятна.  
 Распушилась борода.  
 — Эй, Николка!  
 Подь сюда!  
 Ты чего, собачье мясо,

На работе точишь лясы?  
 Подь сюда, паршивый хорь! —

И Николку за вихор.

Поднимается усатый,  
 Что в матроске полосатой:  
 — Что за шум?  
 К чему аврал?  
 Объяснитесь, адмирал...

«Сам», лицом краснее меди,  
 На матроса прет медведем.

— Стоп машина!  
 Задний ход!  
 Вспомни, контра, прошлый год...

Даже в глотке закипело.  
 Так и брызнет пеной:

— А тебе какое дело,  
 Гражданин почтенный?  
 Я кормлю,  
 Я плачу,  
 Я и разуму учу.  
 Перед стойкой не крутись,  
 Видывали клещи.  
 Расплатись  
 И катись,  
 Гражданин хороший... —

На буфет кладет усатый  
 Кулачище волосатый:

— Не бери на бога, свет.  
 Здесь глухих и пьяных нет.  
 Говори, не ори,  
 Ласково и скромно.  
 Ты сюда посмотри.  
 Посмотри  
 И замри.  
 И запомни:  
 Черноморские матросы  
 Смотрят очень даже косо  
 На такие ваши ласки...

Замолчал.  
 И в паузе  
 Густо крякнул — для остратки.  
 И погладил маузер.

## ЛИКВИДАЦИЯ

Революционный  
Держите шаг.  
Неугомонный  
Не дремлет враг.

А. БЛОК.

В струнку,  
Руку к козырьку,  
Белобрысый прапор  
Капитану-вожаку  
Отчеканил рапорт:  
— Всех по списку —  
Двадцать пять,  
Одного не ждали,  
Интендантские опять  
Трое опоздали.  
Пост — наружный,  
Как всегда,  
Двери на засове.  
Все в порядке...

— Господа,  
Полковник Носович  
Прислал инструкции...  
И вдруг  
Условный,  
Троекратный стук  
И кашель.

На наган рука,  
Глаза на дверь.  
Тревожный шопот вожака:  
— Пароль проверь!  
Скрип лестницы.  
Хозяйский бас:  
— Кто в поздний час?  
А из-за двери тенорок:  
— Пусти, продрог,  
Мы дальние...  
Гремит засов.  
Шаги из тьмы.  
И, рокотом из-под усов:  
— А вот и мы.  
Федул сулился, да надул.  
Я — брат — Игнат...

Из-за спины —  
Двенадцать дул  
И семь гранат.

— Лампасов ждали?..  
Не беда!

Явился клеш.  
Повыше руки, господа!  
При чем тут дрожь?  
Спокойнее.  
К чему аврал?  
Мы, всей душой.  
Прошу прощенья, адмирал,  
Кто здесь старшой?  
Вот вторюлись, — как кур во щи,—  
На полный ход.  
А ну-ка, Коля,  
Обыщи  
Господ...  
Быстренько! —  
И по домам поскорей.  
Славные нынче ловà...

Выросла в черном проеме дверей  
Колькина голова.

— Вот кто навел.  
Так на же, босяк!

Выстрел.  
В расщеп доска.  
Пуля вошла  
В серый косяк  
На волосок от виска.  
Только и видел:  
Взмыла рука,  
Блики на потолке.  
Смаху матрос хватил вожака  
Маузером по руке.

— Бил наугад  
И промазал гад.  
Нечет!  
А колькин чет.  
Номер не вышел!  
Деньги назад!  
Выстрел твой не в зачет.  
Стукнул бы,  
Не собрал бы костей...  
— Всех обыскали?  
— Да!

— Что ж неприветно встречаешь  
гостей,

Почтеннейшая борода?  
Тут, примечаю, друзей вагон —  
Прыткий народ, с огнем.  
Если все звезды стряхнуть с погон,  
Будет светло, как днем.  
Мы беспогонные! Не обессудь.  
В прошлом году содрал.  
К чорту их. Не в погонах суть.  
Правильно, адмирал?  
Что ты глядишь, как вареный лещ?  
Трогай! Нам по пути.  
Клещ, борода, великая вещь.  
С ним, борода, не шути.

Вывеска над невысоким крыльцом.  
Вдоль деревянной панели  
Вкруг заговорщиков серым кольцом  
Латанные шинели.  
Бесят псы в подворотнях окрест.  
Ночь. Проводов гуденье.  
— Баста, хозяин!

Ставим крест  
Мы на твое заведенье.

Доску перекрестил доской.  
Глянул на дверь.

— Миляги!  
Крестик-то вышел совсем такой,  
Как на андреевском флаге.  
Подняли флаг — пора и в путь.  
На небе, вон, позолотца.  
Крепко прибил, борода!  
Отомкнуть  
Снова тебе не придется...

Хмурый хозяин по-волчьи, косо,  
Снизу глядит на бойца.  
Тихий, потерянный, простоволосый  
Колька стоит у крыльца.  
Путает волосы легкий ветер.  
Не веселят дела.  
Жил, как волчонок, один на свете,

Хоть конура была.  
В темной каморке возились мыши,  
Ластился пес «Валет»,  
Лаялся повар...

Теперь и крышь  
Над головой нет;  
Песня хозяйская вроде как спета.  
К стенке сведут по суду.  
Добрые люди возьмут «Валета».  
Я-то куда пойду?  
Нынче работу найти легко ли?

А он, тут как тут, матрос:  
— Что зажурился?

Негоже Коля  
Вешать на квинту нос.  
Жил, как репей, у чужого порога.  
Драл тебя рыжий бугай.  
Нам, Николаша, одна дорога —  
Рядом вставай и шагай.  
Ты ведь теперь армеец со стажем —  
Видел свой смертный час.  
Мы тебе годик-другой примажем,  
В строй подойдешь как-раз.  
Кольт этот самый тебе на счастье  
На вот, держи, дарю!  
Славно послужим советской власти!  
Верно я говорю?

— Смирно!

— Тронулись!  
В оба гляди!  
Побегут —  
пристреливай просто...

Богатырь матрос впереди,  
За матросом, рысцой, подросток.

Звезды робко из туч сквозят.  
Тянет мятой и гарью с поля.

Обернись!

Посмотри назад!  
Вот и кончилось детство, Коля...

# Теплые горы

РОМАН

СЕРГЕЙ КРУШИНСКИЙ

(Окончание) \*

★

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

После отстранения от должности первым желанием Макарова было скрыться в своей конуре. Ему казалось унижительным доказывать односельчанам свою невинность. «Похожайничайте с Лукичом — узнаете, почем сотня гребешков» — рассуждал Кузьма Ильич с нетерпеливым мстительным чувством.

Он написал обо всем в обком. Не стесняясь в выборе слов, изобразил он странное поведение секретаря райкома, который позволил себе нарушить колхозный устав: предложил собранию избрать новое правление, а старому руководству не дал даже отчитаться. И кого же поставил во главе колхоза? Макаров дал Лукичу самую резкую характеристику.

Теперь он не сомневался в том, что обком разберет его дело без промедления. Ведь он не только искал защиты, его дело приобретало широкое значение.

Первые три дня Макаров ждал телеграммы. Потом решил, что его вызовут письмом. Потом утешал себя мыслью, что обком наводит какие-нибудь справки. Конечно, по телеграфу... а быть может, и почтой? Когда все расчеты провалились, Макаров накинул еще несколько дней, решив, что письмо застряло в техническом аппарате обкома.

Он осунулся, стал раздражителем. Наконец терпение истощилось, он больше не мог сидеть в одиночестве, сложа руки. Кому и что мог он таким образом доказать? Кому отомстить? Односельчанам? Но они сами жестоко себя наказали, хотя еще и не понимали этого. И снова захотелось Макарову держаться поближе к колхозу.

Вечером он пришел в правление. Все так же стоял на скамейке крашеный бак с ковшиком на крышке и так же, как прежде, сдвинув очки на кончик носа, пощелкивал костяшками старик-счетовод. Только нос счетовода еще ярче зацвел всеми красками радуги, видно, старичок пил горькую.

В кабинетике все оставалось по старому, только стол был накрыт теперь не темной, а красной материей.

Лукич проворно поднялся из-за стола и стал усаживать Кузьму Ильича на свое место.

— Садитесь уж вы, товарищ Макаров, кому и посидеть на этом стуле, если не вам.

— Не место красит человека, — мрачно пошутил Макаров, присаживаясь в сторонке на дощатый диван. Я вот что — хочу поработать в колхозе.

Сдерживая торжествующую улыбку, Лукич вздохнул:

— Надо бы тебе помочь, ох, надо, я и сам знаю, да научи ты меня, я человек новый, как быть? И бригадиры у нас, и учетчики — все на местах. Нешто снять

\* См. «Новый мир», кн. кн. 2—3 и 4—5 с. г.



одного? Конечно, они не такие заслуженные, как, примерно сказать, вы, да ведь без мира ничего нельзя сделать, а мир, кто его знает, как посмотрит — или так, или этак...

— А я и не прошусь в учетчики. Хочу поработать в бригаде наравне с другими. Ну, хотя бы плугатарем.

... Рано утром Макаров выехал в поле. Он ехал, сидя на раме плуга, прижимая коленкой мочальный кнут и спокойно посвистывая на разномастных лошадей. Лошади были не из лучших, но Кузьму Ильича это не огорчало. Он знал, что сделает не меньше других, и лошадей поправит. Только с этой уверенностью он и имел право, на глазах всего честного народа, выйти в поле как простой пахарь.

Ночью Макаров подогнал сбрую, выверил отвал плуга, сменил лемех, проверил, вдосталь ли накормлены лошади. Теперь он ехал через большой бугор. Открыто, смело здоровался с односельчанами. Приподнимал над головой свой старенький картуз и говорил первый:

— Доброе здоровье!

Вблизи озера он свернул на черный пар. На седой, в морозе, траве копыта лошадей и колеса плуга оставляли зеленый след. Макаров доехал до конца указанного бригадиром загона, положил под кусток старую тужурку и узелок с харчами, взмахнул над головой кнутом и ласково прикрикнул:

— Шевелись, снулые!

Лемех вошел в землю, взрезая ее и взбивая волной, поручни плуга задрожали в твердых руках Макарова, как весло на быстрине. Вспомнилось Макарову что-то хорошее, родное, показалось даже, что все последние годы он занимался чужим делом, что, кроме вот этой, вскипающей под плугом земли, ему ничего не надо. На висках Кузьмы Ильича выступили капли пота, он утерся локтем.

— Э-гей, ходи-разговаривай!

Кони дружной влегли в постромки, вальки постукивали, беззвучной волной млилась из-под плуга черная земля, сочная, живая, с комьями, переплетенными корнями трав.

Изредка лемех чиркал по камню.

Кузьма Ильич нагибался, выбрасывал камень на дорогу и шагал дальше.

К вечеру у него занемели руки, в особенности мускулы больших пальцев: он слишком усердно сжимал поручни плуга. Одеревянела шея — Макаров отвык ходить с наклоненной к земле головой. Но зато он заснул спокойным сном, какому не знал уже много дней.

## II

Макаров внушал себе, что он отныне готов всю жизнь смотреть только в свою борозду, а на чужие и не заглядывать. Но это был самообман. На самом деле, его живо задевало все, что делалось в Теплых горах. Он уже не избегал ни бригадных собраний, ни вечерних разговоров с односельчанами на общем дворе. А когда Лукич оповестил об открытом заседании правления, с участием всех желающих колхозников, Кузьма Ильич пошел и туда.

Он смело открыл дверь в председательский кабинет, где в махорочном дыму смутно светила всякая лампа, потеснил Тимофеича и присел на корточки около двери. Он затянулся теплым дымком и подул в дверную щель. Давненько, — пожалуй, с той поры, когда создавался колхоз, — не сиживал Кузьма Ильич у порожка.

Колхозники подталкивали друг друга в бок, оглядывались.

Лукич метнул на непрошеного гостя вороватый взгляд. Он держал первую свою председательскую речь — о распределении доходов. Говорил он аккуратно, складно, как бывало, чулки вязал: петелку к петле, петелку к петле. Наговорил с три короба, и все будто по делу, а попытался Кузьма Ильич разобраться, и лесниково вязанье расплозлось, как паутина. В последних словах Лукича Макаров угадал что-то чужое, опасное.

— Хватать журавлей в небе — не по нашим силам, не тому нас учит наша советская власть, — ласково уговаривал Парамонов. — Советская власть обобщила нас для хлеба, чтоб мы снабжали хлебом наш рабочий класс. И мы снабжаем и советской власти премного

благодарны. А всякие там примерно пчелки да кудрявенькие заморские овечки колхозу без надобности, один от них разор. Каждый сам разводи их, как умеешь. На то нам дана забота о человеке, и базары открыты. За это опять советской власти наш низкий поклон. Поглядите на подгорских хуторян: в колхозе они по десять ден в году, не боле, ломают хребтину, а живут—прямотаки позавидуешь...

— Вот у меня есть вопросик, — сказал Кузьма Ильич, раздавливая о сапог огонек папиросы. — Сколько примерно придется на трудодень, как смотрит новое правление?

Лукич ответил, что сейчас гадать рано, но что доходы будут небольшие, потому что напасти и несчастья подорвали колхоз. Он намекал на падеж овец, желая отбить у Макарова охоту соваться с вопросами, но Макаров, к общему удивлению, пошел напролом:

— Что за напасти?

— Напасти? — предостерегающе глянул Лукич. — Я думаю, товарищи, не стоит об этом распространяться, представители из райкома большевистской партии все объяснили.

— Знамо, не надо. Чего в ступе воду толочь, — раздалось несколько голосов.

Кузьма Ильич встал:

— А я думаю, недаро будет закрывать на это глаза, товарищи колхозники, — заговорил он. — В молчанку можно дома, на печке играть. А если сюда пришли, — надо все обсудить: какие напасти, большой ли от них урон, много ли придется скинуть с трудодня? Падежа сейчас нет, значит, можно и дальше не допускать.

— Легко тебе, товарищ Макаров, чужими руками жар загребать, — заявил через всю комнату Чеготаев.

— Я и своими загребал.

Чеготаев не остался в долгу:

— Столько нагреб, всей деревне жарко...

И сразу, как галки на взлете, все в комнате зашумели, заспорили.

— Макаров нам немало хорошего сделал! — кричали одни.

— Кузьма — он наш, на наших гла-

зах вырос... Свое дитя и змея не жалит!

— Хорош он был для любимчиков, — вперебой возражали другие. — Не зря партия его выкинула. Кто за него галдит, — и тем попадет по шапке.

В разгар спора Макаров пробрался к столу.

— Я сейчас защищать себя не буду, — сказал он тихо. Голос его дрогнул, и односельчане вдруг утомнились. — Партия меня обвинила — партия оправдает. Я хочу одно сказать — неправильно гнул Парамонов. Советская власть не для хлебопоставок создала колхозы. Мы сами в них взошли, и все наше богатство теперь идет от одного корня — от колхоза. Что ни шире раскинется корень, то лучше. А наш новый председатель желает со всех сторон корень пообрубить. Овечек — долой, пчелок — долой...

Макаров все выше поднимал голову. Его не перебивали. Можно было не доверять ему, но послушать его стоило, он никогда не был пустобрехом.

И только когда он вернулся на место, — спорщики схватились вновь. Заседание так до конца и шло вразброд — шумно и несогласно. И когда в лампе догорел керосин, все разошлись, не придя к общему мнению.

### III

Лукич пригласил Макарова остаться, дал ему прочитать акт ревизионной комиссии. Комиссия нашла, что Кузьма Ильич не имел права покупать на рынке баббит для тракторов, хотя затяжка ремонта привела бы к потере урожая. В амбарах комиссия недомерила 32 пуда хлеба. В кладовке недосчиталась 23 мешков и одного полога, — и виноват со всех сторон оказывался Кузьма Ильич.

Из старых бумаг был извлечен счет без печати, полученный Макаровым при покупке патефона. Патефон этот украли на стане. Комиссия решила взыскать с Макарова деньги. Так набежала растрата в 900 рублей.

— Патефон-то был? — спросил Кузьма Ильич с возмущением.

— Эх, товарищ Макаров, — слабым голосом возразил Лукич. — А разве я не сочувствую? Да я бы, если моя власть, озолотил бы тебя за твои заслуги, не то что патефон... Да ведь следователя-то мы не обманем, он зубы на этом съёл.

— Следователя мне незачем обманывать, — грубо перебил Кузьма Ильич. — О чем ревизоры-то думали?

— Я до этого не касался, ничего не видел, — возразил Степан Зотов, новый председатель ревизионной комиссии. — Патефон был, но, возможная вещь, с партийных и подешевле берут за товары. Конечно, всю цену взыскивать несправедливо, а половину надо бы...

Утром Макарову не дали лошадей. Само районное начальство распорядилось не поручать ему никакой работы.

#### IV

Зайцев никогда не был убежден в виновности теплогорского председателя. На заседании райкома его привело в замешательство ловкое нападение Семина на Кузьму Ильича. Зайцев подумал, что сам он не в состоянии определить и обосновать свою симпатию к Макарову, что могут встретиться еще какие-то новые, не известные ему факты. Пусть вышестоящие инстанции разберутся, решил он, и воздержался от голосования.

Но очень скоро Зайцев понял, что не вправе отвернуться от Макарова. Ведь он хорошо знал этого человека, — видел его и в радости, и в беде. Зайцев был человек честный и знал, что нельзя быть честным наполовину.

Он попытался исправить оплошность. Пустовойтов отверг его попытки воскресить дело Макарова. Но решимость Зайцева возрастала.

В выходной день Зайцева затащил к себе Семин. Просто так, дружески потолковать за чашкой чая да кстати — посмотреть только-что освободившуюся половину дома.

Осматривали вдвоем; впереди, раскрыв плащ и заложив за спину руки, шествовал Пустовойтов.

Дом когда-то принадлежал помещику,

председателю уездной земской управы. На сводчатом потолке гостиной были намалеваны крылатые полуголые женщины (хочешь — мечтай о небесном, хочешь — о земном).

— Культура умирающих классов, — заметил Пустовойтов.

— Не беда, можно заклеймить, — не вникая, отозвался Зайцев. Квартира была обещана ему. Он отставал, заглядывал в печи, лишний раз открывал и закрывал обвисшие двери.

Из холодных пустых комнат все трое с особым удовольствием перешли к Семину и заняли места за накрытым, праздничным столом, где их уже ждали жена Пустовойтова и Фрина. Бутылка вина окончательно всех согрела. Михаил Куприянович впал в растроганно-торжественное настроение.

— Вот мы — обыкновенные люди. Иногда и выпьем, и с женами ссоримся, — вещал он; на его тяжелую щеку набежала слеза. — А ведь дело какое ведем. Историческое. Вот этими руками — такими же, как у всех, — кладем кирпич за кирпичом...

— Уж где только мы с Мишей не работали, — со вздохом поддакнула ему жена. Она была добродушно-чванлива, под стать самому Пустовойтову, только гордилась не собой, а мужем.

— Вот эта обыкновенная черепная коробка вечно занята историческими проблемами, — продолжал Михаил Куприянович, прикасаясь к лысеющему темени. — Вот и сейчас, в период очищения от скверны, мы здесь должны размахнуться по-большевистски.

Семин утверждающе взмахнул рукой: — Именно. И чем скорее, чем решительнее, тем лучше.

Зайцев молчал.

Фрина подвинула к нему вазу с конфетами и тоном лукавого ребенка спросила:

— Это правда, что вы бунтуете?

— Бунтую? — встрепенулся Зайцев. И вдруг как-то по-новому увидел всю компанию. Неужели его пригласили затем, чтобы, как маленького, подкупить конфеткой? «А ведь, пожалуй, восторги Пустовойтова направлены против Кузьмы Ильича, — продолжал он свои до-

гадки. — Не в ту сторону! И, значит, это не революционный пафос, а одна пустовойтовская напыщенность. Надо еще раз поговорить о Макарове в более подходящей обстановке».

## V

Назавтра после чаепития Зайцев с утра, пока еще в райкоме не было посетителей, прошел в кабинет Пустовойтова. Секретарь стоял у стены, упираясь коленкой в подушку дивана, и переставлял на карте Испании красные флажки.

— Михаил Куприянович! Я решил заявить во всеуслышание, что считаю Макарова невиновным, — твердо сказал Зайцев, садясь сбоку письменного стола.

Не найдя на карте нужной точки, Михаил Куприянович воткнул флажок в спинку дивана, прошел на свое место.

— Двигайся, поговорим, — пригласил он.

Но Зайцев не придвинулся — он не хотел уступить даже в мелочах.

Михаил Куприянович продолжал обиженно:

— Что ж, если мы потеряли общий язык и не способны притти к одному мнению, подождем, что скажут наверху... Откровенно говоря, я не ждал от тебя такого упрямства. Помнишь, ведь именно я вытянул тебя из этой злощастной кооперации в райком.

Напоминание показалось Зайцеву неуместным.

— Но отвечаю я все-таки не перед вами только.

— И ты говоришь это мне? Спасибо за науку.

— Некоторые коммунисты хотят поднять вопрос о Макарове на первом же активе... — Зайцев заколебался. — Я хочу,—закончил он в упор,—чтобы Пустовойтов больше и не пытался уговаривать его.

— Я не могу запретить тебе, — начал Михаил Куприянович грозно и певуче. — Если ты не дорожишь моей дружбой...

Зайцев молчал.

— Если ты принимаешь на себя ответственность за подрыв единства нашей районной организации... Если ты готов

риснуть партийным билетом... Да-да, Зайцев, удивляться тут нечему! — Пустовойтов говорил все быстрее и нетерпеливей. — Ты понимаешь, какое мы переживаем время? Партия начинает очищать свои ряды от скверны. Макаров — первый у нас, но наш долг раскопать десятки перерожденцев. И мы найдем их — это говорю я, а ты знаешь — Пустовойтов не любит плестись в хвосте. Мы найдем их — и никакие адвокаты им не помогут. А с адвокатами наша партия всегда обходилась круто.

Зайцев все молчал. Он сидел, упрямо наклонясь вперед, и мысленно отвергал каждое слово Пустовойтова. Почему в подгорской организации непременно надо найти десятки перерожденцев? А если их меньше? Он молчал, а Пустовойтов долго еще кипятился, потом опять перешел к ласке, потрепал Зайцева по плечу.

— Вижу, что пронял тебя. Я в тебя верю. Было бы смешно в такое время плыть против течения.

— Нет, я от своего не отступлю, — разочаровал его Зайцев.

Пустовойтов опять бушевал, снова уговаривал.

Они расстались недругами.

Если прежде Пустовойтов забывал о послушном, покладистом втором секретаре, то с этого дня, напротив, он взял другую крайность — всякий раз громко спрашивал на заседаниях, а не возражает ли Зайцев против такого-то и такого решения. В особенности громко, если возражений и быть не могло.

Многие решили, что второй секретарь скоро слетит.

Зайцев и сам ждал неприятностей.

Квартиру с разрисованным потолком он уже потерял — ее отдали уполномоченному комитету заготовок.

Но Зайцев принадлежал к числу людей, которым такие щелчки придают больше твердости.

## VI

Настя проснулась ночью. Она умела просыпаться в любое время, если была чем-нибудь озабочена. На этот раз она



хотела пораньше попасть в березовую рощу. Настя заметила, что кто-то растаскивал заготовленную Мотькой бересту, и решила подкараулить вора.

Она хотела выскользнуть из землянки потихоньку, но оказалось, что Мотька уже поднялся — он сидел на пороге и курил. Верно, думы его были невеселы, если поднимали по ночам! У Настя сжалось сердце, обиды отлетели, ей вдруг показалось, что она одна виновата во всех раздорах последних дней. Вот, он сидел на пороге, одинокий, обиженный, а она в это время преспокойно спала.

Настя под села на порожек и положила голову мужу на колени. Кажется, Мотька не сразу поверил в этот неожиданный прилив нежности. Он долго сидел, не шевелясь, потом заскоружеными пальцами стал медленно поглаживать волосы на ее виске. Он больше не затягивался табачным дымом, и папироса медленно гасла. Голым плечом Настя прикасалась к холодной, отсыревшей двери. Она зябко вздрагивала, но уходить не хотела.

— Рассказать про собрание? — предложила Настя в знак примирения.

— Тебе не холодно? — отозвался Мотька.

Мотька ушел тогда с собрания, как только выяснилось, что будет обсуждаться скандальный вопрос о Макарове. Он и Настю звал домой, но она осталась в клубе. И вот пошла вторая неделя, а Настя все еще не рассказала о собрании до конца. Ее поведение в тот вечер казалось Мотьке безрассудным. Он считал своим долгом доказать ей это, а она обижалась и умолкала.

Они пересели на край нар.

— Я уже сказывала, за мной выступал Ванюшка Лобанов. А уж потом — представитель. Покраснел он, надулся, ну, чисто индюк, — вспомнила Настя. — Как выскочил вперед, как взялся нас с Ванюшкой костить. Я и такая, и сякая, я и кулачка. Видишь ли, зачем за кулачка замуж пошла. Ну, тут я не утерпела и кричу: «А вы бы сами за меня повсватались, возможная вещь — я бы ему отказала».

— Уж это опять зря, — осторожно заметил Мотька.

— А чего он, в самом деле. Я же по делу выступала, не все ли одно — за кем я замужем.

— Чего поделаешь, они лучше знают, что им говорить.

— Вот и знай край, да не падай. Сердце не стерпело. И пускай. Чего он мне сделает, не посадит же в тюрьму.

— Почем знать. Держалась бы в стороне — на что лучше.

Настя умолкла. Невидимая стена снова выростала между ними. Мотька попросил ее продолжать, но она, поскучевшая, ответила, отодвигаясь:

— Интересу нет. И чего ты к каждому слову прилипаешь?

Мотьку пугало настиино безрассудство. Настю же бесила его осторожность.

— Я смотрю, часто ты стала фыркать, — обиделся Мотька.

— Фыркают клячи, а не я.

Окно уже обозначилось светлым пятном, в деревьях зашумел ветер. Настя накинула через голову платье, надела ватник с закатанными концами длинных рукавов, перепоясалась изодранным полотенцем.

Мотьке хотелось спросить, куда она собралась в такую рань, но он побоялся, что Настя оборвет его. Настя, действительно, оборвала бы его, и все-таки она ждала вопроса. Она рада была поговорить с Мотькой насчет бересты, вместе ловить вора, но что-то мешало ей открыться.

На ощупь, не видя воды, Настя сошла по скользкой глине, села в новую тяжелую лодку и поплыла под берегом, против течения. Она гребла по-мужски — длинными и глубокими захватами; весла похрипывали в уключинах.

Рассвет спускался блеклый и непрозрачный, в тумане. Настя думала о том, что напрасно она пустилась в этот ранний путь, что было бы лучше скипятить самовар и посидеть с Мотькой.

Но, приткнувшись к песчаному откосу, она увидела у берега долбленную лодку и загорелась азартом. Цепляясь за кусты, она выбралась по сыпучему обрыву вверх и угодила прямо под ноги чело-

веку с охалкой бересты. Настя поймала было вора за рукав, но он вырвался и прыгнул под откос. Настя не могла удержать его — она была беременна и боялась резких движений. Она видела, как вор перебросил весла из ее лодки в свою и оттолкнулся от берега.

— Все одно я тебя достану! — пригрозила Настя.

— Муженька своего достань! — закричал вор, усаживаясь на скамейку. — Ты скажи ему, как меня ловила, — он тебя ночью придушит. Идет, идет козлогий дьявол, вот уж он вас копытцами, копытцами, копытцами!..

## VII

Подвечер Настя постучалась к Турсыхе. Избенка на краю деревни завалилась назад, в оконцах, как в лужицах, отражалось хмурое небо.

Старуха опасливо оглядела Настю в дверях, смекнула, что та не с дерзостью пришла, и повела к лавке, приговаривая:

— Спасибо, миленькая, — не побрезговала мной. Все-то меня обходят, лиха мне хотят, а я ведь, миленькая, всем хочу добра да богатства, да согласия в семье. И тебе этак же хочю. Гляжу я на вас, не нарадуюсь. Уж завсегда скажу: хорошо ты живешь, тихо, ни споров у тебя, ни раздоров с мужиком.

Турсыха говорила, говорила безумолку, а сама пытливо осматривала гостью, присевшую на табурет.

— Ребенка я не хочу родить, — перебила Настя, глядя в пол.

Еще утром, в лесу она решила избавиться от ребенка. Сектанту-вору она поверила. Она припомнила, что именно этого оборванца когда-то застала с Мотькой в землянке. Конечно, они принадлежали к одной шайке. Разве Мотька не прятал от нее и раньше какую-то темную тайну?

В землянку Настя не вернулась. Спрятала лодку в нависших над водою кустах и весь день в оцепенении сидела за деревней, на краю оврага, а в сумерках постучалась к Турсыхе.

— Да как же это ты? — запрочитала старуха. — Так и не хочешь ребе-

ночка? Ах, ты, грех какой. Да куда ж ты от него денешься, милая ты моя? Я-то уж теперь женщинам не помогаю — время не то. Другая вместо благодарности донесет в совет. Наплачешься! А корить тебя не буду. В тягость нынче дети, не в радость. И то сказать: родить оно на свет, — нехристя из невинной души сделают, а коли умрет во чреве матери, — ангелочком будет. Грех нынче детей-то родить, прямо грех.

Насте претила эта болтовня.

— А убивать не грех, что ли? — сказала она с нетерпением.

— Грех, милая, ох, грех, — всполошилась старуха. — Уж я, милая, если кому помогла плод вывести, сколько я молилась об отпущении грехов, сколько молилась! Я ведь, родная, ноченьки не сплю — все молюсь, все молюсь, посты блюду, прости и помилуй, господи, нас, недостойных.

— Ты мне про грехи не сказывай, я в бога не верю, — остановила Настя.

— Не веришь? Ах ты, беда-то какая. А я-то, старая, разговорила. Ты ведь любишь по-городскому жить. И то, твоя правда: в городах, сказывают, нынче все бездетные, даже смеются над такими, у какой дите. А если иная и родит, все равно дитяти своего не видит — кругом пошли детские площадки да ясли, пропади они пропадом.

— Погоди, тошно мне.

Турсыха подала корец воды. Настя попила, встала.

— Ну, как же мне теперь?

— Скинь, милая, скинь. Я уж и сама помогла бы тебе, жалко мне тебя, голубушка. Все равно мужик теперь тебя бросит, раз уж другая завелась. Чужой кусок слаще.

Настя болезненно морщилась: напрасно старуха пыталась угадать ее боль.

— Когда? — спросила она пересохшими губами.

— Да хоть и сейчас. Опростаешься, будешь сама себе госпожа. Уж я тебе верю: одаришь и ты меня, старую.

«Помучаюсь немного, и всему конец, никто не будет насмехаться надо мной» — подумала Настя. Старуха уложила ее на лавку, головой в передний

угол. Настя лежала на спине, запрокинув голову за подушку, и слезы, переполнив глазные впадины, стекали по ее вискам.

Старуха, стоя на коленях посреди избы, доставала что-то из-под половицы. «Прими, господи, невинную душу...» — шептала она.

«Нет, — внезапно подумала Настя. — Нет! Он ведь уже живой! Страх-то, стыд какой!».

— Не могу, бабушка, сейчас, — быстро проговорила она, садясь на скамейку. — Завтра приду.

Старуха не успела подняться с колен, а Настя уже выбежала за дверь.

### VIII

Избрание в председатели не вскружило Лукичу голову. Заботясь, чтоб не открылись старые трещины, на свое лесничье место он устроил надежного человека — сектанта из Туночной, — а сам входил в новую роль осторожно, с оглядкой. С колхозниками держался, мало сказать, без заносчивости, а даже как бы униженно. С кем ни встретится, обязательно спросит совета. Мол, я человек неопытный, научи, как поступить в таком-то и таком-то деле. А если совета не примет, то непременно повздыхает, изобразит на лице крайнее огорчение и сошлется на высшее начальство или на Макарова, который заварил такую кашу в колхозе.

Вначале Лукич надеялся так, потихоньку, с охами и ахами, ни с кем не ссорясь, и завершить свою победу. Оставалось немного. Подождать, когда Макаров уедет за счастьем в чужие места, оттеснить на задний план его дружок. Лукич уже видел недалекий день, когда Теплые горы станут сектантским оплотом, а он сам — хозяином всего лесного заречья. Но Макаров заупрямился, пошел пахать, стал баламутить народ — захотел лбом прошибить стену.

Немало было хлопот и с обитателями лесного скита. После смерти Христофора ладить с ними стало трудней. Новый большак — рябой Исидор, человек, не отмеченный ни благочестием, ни начи-

танностью, — не управлялся с братией один. Преимуший старец посадил рядом с ним наставника, который вел службы и беседы, принимал на откровение помыслов и, вообще, представлял собой братию перед богом. Большак и наставник жили недружно, каждый окружил себя своими людьми. Примирять их мог один только Лукич. Он сулил им скорые перемены в мирских порядках. Но Исидор, кроме журавля в небе, хотел поскорее заполучить и синицу в руки. Он хотел мягче спать и вкуснее есть. Аппетит изголодавшейся исидоровской своры можно бы утолить за счет колхоза, но для этого нужно было сломить сопротивление Макарова.

Лесной скит подтакивал, торопил. Но у Лукича были еще и другие друзья: они хватили его за ноги, звали к осторожности и бесконечным выжиданиям. Это были христоробцы и среди них — Чеготаев.

Вернувшись на почетную и выгодную должность завхоза, Александр Петров вначале не знал, как и отблагодарить Лукича, поселил его в своей горнице. Первые дни Лукича кормили, как на убой. Каждый вечер Варвара сама стлала ему постель.

Понемногу Чеготаев отдышался. Теперь он был почтенный, важный человек, а не какой-нибудь издрогший, до кишек промучившийся мельничный засыпка; рядом с ним были молодая жена и ребенок. Больше он не хотел рисковать.

Как-то вечером Варвара ушла к соседям. Председатель колхоза и завхоз сидели у стола при тусклом свете копилки. Чеготаев покачивал на коленях ребенка.

Лукич вздохнул:

— Вспомнилось: вот этак же беседовали мы с Христофором. Подумать — вроде вчера и было.

— Порадовался бы он теперь за нас, — отозвался Чеготаев.

Лукич опять вздохнул.

— Радости особенной нет... Ты, Александр Петрович, в малолетстве любил порыбальить? Помнишь, плотвичку ловили на водяного белого червячка? Живет он в корке от прутика, так в корке

и лазит под водой. И через то от рыбы он в безопасности. Срок придет — вылезет червяк из корки, на солнышке обогрется, окрылится и полетит стрекозой. А ты подумай: вылез бы такой червяк прежде времени и расхвастался — смотрите, я какой. Любая плотвичка и съпала бы его... Ты понял ли? Ну, я проще скажу. Взять мое дело — сидел я в лесной сторожке тихо, незаметно, а теперь вылез. Вылезти — вылез, а время лететь не пришло.

— И не надо. Ох, не торопись.

— Верно, Александр Петрович! Оно спокойней бы пересидеть в сторонке. Да ведь поздно. Вылез я из прутика — приходится летать.

— Пускай летают, кто как умеет.

— Нет, не скажи. Вместе мы связанные. Ты, Александр Петрович, за прямую речь не гневайся. Скажу тебе так: вышел ты в завхозы и дальше знать ничего не хочешь. Лишь бы для себя выгоду поймать. Это уж, не серчай, выходит по-кулацки. Почему советская власть кулаков легко раздавила? У них, у советских, друг дружке стараются помочь, а у кулаков этого не было.

— Советская власть много чего говорит. Кто не трудится, говорит, тот не ест. Если ты меня по-ихнему будешь корить, и я скажу: не желаю для побродяжек хлеб-соль добывать, свою гольсу за них класть.

Лукич дал Чеготаеву переволноваться и продолжал вкрадчиво:

— Верно, Александр Петрович, верно. Да ведь и мне моя голова плечи не натрудила. А скажу прямо: коли сейчас остановимся, — Макаров нас съест. Теперь борьба пошла насмерть. Кто кому прежде глотку перегрызет. Ты подумай...

И Чеготаев думал ночь напролет. А утром отозвал Лукича в сторонку и сказал сиплым голосом:

— Говори, что делать-то надо. — Помедли и прибавил: — А квартиру себе искал бы. Тяжело нам под одной крышей.

Лукич не обиделся. Ответил, что квартирка уже есть у него на примете.

## IX

Как-то подвечер Васек пожаловался на тошноту. Жар обметал губы. Началась рвота. А на третий день болезни на труди проступила малиновая сыпь.

Пришла фельдшерница Наденька, золотозубая, с крашеными губами, обмотала дверную ручку вымоченным в карболке бинтом, чтобы никто не вынес из дома заразы. Велела мыть пол, обрызгивать стены карболкой и при всем этом жить возможно уединенней.

Макаров ответил с кривой усмешкой: — Нас и без scarлатины теперь за оврагом обходят.

В доме прочно обосновались острые больничные запахи. Даже при закрытых окнах они просачивались на улицу.

Самой частой гостьей стала Наденька.

Утром Макаров спрашивал:

— Опять придет эта, золотозубая, «все набекрень»?

— Накличешь ты новую беду, — предостерегала Поля. — Все-таки фершал, не пустой человек, зачем зовешь не по-людски.

— Зову правильно, — настаивал Макаров. — Все набекрень и есть. Блин этот, берет, носит набекрень, воротник на спине — опять набекрень, что пониже спины — тоже, а уж мозги давно набекрень. Живет — бессемейно, одно беспокойство для мужиков.

Наденька входила в двери — Макаров из дверей.

Васек часто будил по ночам. Измученный пустыми ожиданиями, Макаров легко поддавался бессоннице.

Он искал утешения в мечтах. Утром почтальон принесет письмо — вызов в райком. Пустовытов встретит его немножко виновато. «Э, чего там, — великодушно ответит Кузьма Ильич, — ошибается тот, кто ничего не делает». Он карабкался, карабкался и вдруг обрывался в пропасть, как человек в горах, неосторожно уцепившийся за шаткий камень. Ему представлялось: вот он пришел платить партийный членский взнос, раскрыл красную книжечку... Но где она, где красная книжечка? Если бы можно было сейчас же вот, сию ми-



нуту, встать с постели и итти в райком, в обком, в ЦК за партийным билетом...

За маленьким оконцем еще совсем черно. Да и утром Макарову некуда будет итти. И днем, и вечером тоже, и завтра, и послезавтра...

Он поворачивался на бок, вытягивал ноги. Правую ладонь прятал под щеку, левую под холодную подушку. Глубоко, до боли в плечах, вздыхал.

Рядом вздыхала Поля.

— Все не спишь? Беда с тобой, — шептала она.

Макаров догадывался, что она бодрствовала вместе с ним, и, наверно, давно ждала случая заговорить. Протянув руку, Кузьма Ильич прикасался пальцами к ее мокрому от слез лицу.

— Плюнь ты на них, Кузьма, — говорила Поля. — Все они не стоят твоего пальца!

Смешное, чисто женское преувеличение.

Утром, когда добрые люди принимались за работу, Кузьма Ильич, наконец, засыпал. Поднимался он поздно, ослабленный, с неприятным вкусом во рту.

## Х

Ночью постучались в окно — ногтями, точно гальками речными, по стеклу. Кузьма Ильич с трудом распознал в непроглядной темени широкую, прямо из-под картуза разросшуюся бороду Тимофеича.

— Выйди на минутку, дело есть, — поманил старик.

Кузьма Ильич накинул на плечи дождевик, сунул босые ноги в калоши, вышел.

— Чего тебя черти таскают посреди ночи? — спросил он Тимофеича дружески.

— Не зря они меня таскают, — уклончиво отвечал пчеловод. — Ты подика, поди сюда. — Он заманил Макарова со двора в сенцы, прикрыл дверь. — Плохо дело, Кузьма Ильич.

— Какое еще дело?

— В колхозе, вот какое. Пойдет все добро по ветру.

— Не в ту дверь попал. Ты же сам член правления, вот и берегите.

Тимофеич обиделся.

— Тебе с горы видней. Мне седьмой десяток доходит, я свой хлеб съел. А только я не для себя, для твоей да для общей пользы.

— А зачем тебе моя польза? Говорят, ты первый против меня выступал на собрании? Хотим, мол, председателя помирней, так, что ли?

— Эх, Кузьма Ильич, и на старуху бывает проруха. Ошибся. Винюсь.

— Ладно, чего там стряслось?

— Плохо, Кузьма Ильич. Разорит нас новый председатель, право слово. Вчерась зашел я в омшаник — там грибок по всем стенкам, окна худые, на полу лужа, хоть карасей пускай. Этак пчелы все чисто погниют! А новый-то пчеловод мне: вредительство, говорит, было. Все, говорит, через Макарова страдают. Я вечером на правлении и говорю: сам, говорю, подвал облюбовал, очень даже было сухо, не холодно и не слишком тепло — не должно быть в нем грибка.

— Ну, а председатель?

— Знай гнет свое. Кругом виноваты ты да я. Написали акт — пошлют следователю. Без тебя уж три составили. Овцы опять дохнут, сбруя пропадает, полное разорение! Уеду я, Кузьма Ильич, право слово, уеду. А то засадят они меня в тигулевку.

— Ну, вот, сразу и в тигулевку. Разве старики-то так говорили? Бог не выдаст, свинья не съест, — вроде так ты мне сказывал.

— Старики-то старики, да тут дело получается совсем другое. Разорят они колхоз под нашу марку. — Уже не так уверенно польщенный Тимофеич закончил: — Неохота в чижовку-то.

— А чего там делать? Стой на своем — и ладно. Правление виляет — на собрание иди. Колхоз надо уберечь.

— Есть еще у меня дельце, — вспомнил Тимофеич, надвигая глубже картуз, — да в нем, я смотрю, мало важности, теперь оно тебе ни к чему. Кабы ты в чинах был... Видишь, ходила моя старуха по калину, и занес ее чертяка на самый Сорочий острв. Нашла там, чего не искала: печку. Должно, сам леший деготь курить задумал...

## XI

Кузьме Ильичу после исключения из партии почта не доставляла газет. Но Ванюшка Лобанов каждый день приносил ему свою. В победах всей страны Кузьма Ильич черпал силы. В тысячный раз, снова и снова он говорил себе: нет, невозможно, чтобы меня затоптали.

И вот, Макаров опять пришел в город, в райком. Осторожно, с боязливой надеждой ступал Кузьма Ильич по деревенским самотканым дорожкам, разостланным на крашеном полу. В коридоре сторожика, стоя на коленях, тщетно пыталась затолкать в печку кривобокое березовое полено.

— Что это ты, Катя, так обессилела? — остановился Макаров.

— Кузьма Ильич, кого я бачу! — воскликнула Катерина Ярошко. — Уже вас опять призвали до партии, чи шо?

— Ни, моя коханая, ще не призвали, — ответил он. Наклонился и запынул полено в печку.

Приветливость Катерины показалась Макарову хорошим предзнаменованием. В самом деле, не век же ему быть без вины виноватым! Но надежда исчезла, как только он вошел в комнату управдела.

Повесив телефонную трубку, управдел спросил Кузьму Ильича, как спрашивал людей случайных и неизвестных:

— К товарищу Пустовойтову? Очень он занят. Не знаю, сможет ли сегодня принять.

— Придется принять, — возразил Кузьма Ильич обиженно, — неотложное дело.

Управдел повернул плоский ключик и вошел в кабинет.

Кузьма Ильич, сидя в темном углу на диване, выщипывал ниточки из рукава дождевика, когда в коридоре послышался голос Семина.

Макаров выпрямился и взял со стола первую попавшуюся газету. Он хотел бы, чтобы друг молодости прошел мимо. Но не такой человек был Семин! Он добивался расположения даже тех, кого с тайным наслаждением топтал ногами.

— А, Кузьма Ильич, давненько ты не показывался! — воскликнул Семин, остановившись в дверях.

Кузьма Ильич промолчал. Семин сообразил, что игривый тон не подходит, и продолжал со скорбным участием:

— Вот уж не повезло тебе, так не повезло, — он горько улыбнулся и протянул свою глянцевою холодную ладонь, — говорят, некоторые уже и за руку не здороваются с тобой?

Они были одни. Вся невысказанная злоба всколыхнулась в Макарове. Лихорадочный жар бросился в голову.

Держа в обеих руках развернутую газету, он сказал:

— Да я и сам не всем подаю руку.

Только подлая трусость помешала Семину ответить на оскорбление. С лицом, налившимся кровью, ушел он в кабинет.

Пустовойтов целый день продержал Макарова в приемной и рассказу его не придал никакого значения. Он считал, что Макаров только ищет предлога для встреч с ним.

— Умел ошибаться, — сказал он нравоучительно, — умей с достоинством перенести и наказание. Ты теперь подозреваешь этого кулачка — он и сектант, и такой-сякой, тебе и жена его говорила, и печку в лесу нашли. А где вы раньше были, голубчики? Новый председатель и сам не дает ему ходу...

А когда Макаров заговорил о проделках Лукича с пчелами, о его странных разговорах, Пустовойтов ответил сухо:

— У нас нет причин оспаривать выбор общего собрания. А если, действительно, появятся неполадки, мы услышим. У нас есть в колхозах свой заслуживающий доверия актив. — Он понял, что переборщил, и продолжал примирительно: — Ты, Макаров, злопыхательствуешь, а партия добра тебе хочет и еще не отмахивается от тебя окончательно. Но доверие партии надо заслужить. Конечно, в Теплых горах, где ты натворил столько художеств, а теперь мешаешь нормальной работе, ты ничего не добьешься. Не я один — Семин тоже так думает. Почему ты не уедешь? Мужик ты грамотный. Поступил бы куда-нибудь на службу — на элеватор

или еще куда, показал бы себя на деле, а тогда, действительно, мог бы торопить обком с разбором апелляции. И, уверяю тебя, районная организация не стала бы ставить тебе палки в колеса ..

— Нет! — твердо сказал Макаров. — Я никуда не поеду. Мне совесть не позволяет бросить колхоз на разорение. И колхозники не простили бы мне этого. Я никогда не откажусь разоблачать проходимцев.

— Вот оно что, — нараспев проговорил оскорбленный Пустовойтов, теряя самообладание. Он не любил разговаривать стоя, — считал, что выглядит внушительней в кресле, — но на этот раз он встал. — Так-так! Я понимаю! Ты сколачиваешь группочку для борьбы против нашего решения, против партии?

— Нет, — сказал Кузьма Ильич, тоже вставая и отступая к двери. — Большевицкая совесть не позволяет мне убежать, когда колхоз разоряют.

— Ты анархист, а не большевик! — прогремел Пустовойтов. — Ты хочешь истолковать интересы партии, как твоей левой пятке нравится! Не выйдет, гражданин Макаров! За такие фокусы, знаешь, что бывает? — Пустовойтов растопырил пальчики левой руки и наложил поперек пальчики правой, изобразив решетку. — Вот!

Макаров вернулся к столу.

— За что? — спросил он.

Глос Кузьмы Ильича сорвался, и Пустовойтов понял, что переборщил еще раз.

— За что? — повторил Макаров.

Пустовойтов отдернул руки и, точно обжегшись, потирал пальцы о нагрудные карманы гимнастерки.

— Мой отец первый пришел вырубить лес в горах, — начал Макаров тихо. — Он заложил поселок: Я боролся в Теплых горах за колхоз, веря партии, как родной матери, не боясь ни голода, которым нас стращали кулаки, ни кулацкого обреза. И советская власть посадит меня за это в тюрьму? — Макаров сам сложил прыгающие пальцы решеткой и вдруг почти перешел на крик: — Пускай побоятся ее те, кто потерял советскую совесть! — С трудом справляясь с дрожащей нижней челю-

стью, боясь не выговорить последних слов, он решительно, по слогам закончил: — Я больше не считаю вас партийным руководителем.

И, не дав Пустовойтову опомниться, Кузьма Ильич вышел.

## XII

— Макаров! Макаров! — окликнули Кузьму Ильича, когда он проходил по коридору райкома. Он вздрогнул и остановился.

— Зайди, зайди сюда!

Второй секретарь сидел над кипой каких-то брошюр, сбоку стоял на простеньком портфеле стакан чая.

— Садись, — пригласил Зайцев. — Ты что же никогда не позвонишь? Обижаться, брат, нельзя за то, что исключили. От Пустовойтова?

Макаров вздохнул и промолчал.

— Ну, что он тебе сказал новенького? Однако и скрытный же ты стал.

— Мне скрывать особенно нечего, — возразил Макаров резко. Обида так и бродила в нем. — У меня всегда перед партией душа открыта, а вот, что со мной делают, этого я не пойму. Теперь уехать советуют. — Макаров усмехнулся.

— А насчет актива ничего не сказал?

Макаров взглянул удивленно.

— Не сказал? Странно. По забывчивости?.. — После минутного колебания Зайцев продолжал: — А тебе необходимо знать об этом. Одним словом, на партийном активе товарищи выступали в твою пользу. Виновность твоя многим кажется сомнительной. Постановления не принимали, но в протоколе все записано. Говорю тебе затем, чтобы ты, когда будешь еще раз писать в обком, сослался бы на актив. Пусть затребуют к твоему делу протокол. — И Зайцев объяснил, словно кого-то оправдывая: — Мы сами можем другой раз и не вспомнить. Кстати, я все хочу спросить тебя: ты уверен, что Семин знал и насчет возвращения, и насчет твоей жены?

— Знал, сколько я сам знаю.

— Странно как-то получается. Семин, действительно, был твоим другом?

Макаров прикинул, не были бы приписаны его слова мстительному чувству, и решил говорить все, что думал.

— Я лет шесть считал Семина другом, а оказалось — ни капли не знал. Этот человек, ну, как бы сказать, — с секретом.

Они просидели долго. Макаров истосковался в своем вынужденном одиночестве, и теперь, встретившись с человеком, который заговорил с ним сочувственно, не в силах был встать и уйти. В конце-концов случилось то, чего он опасался: в комнату заглянул Пустовойтов. Спросил Зайцева о новом работнике парткабинета. Секретарь стоял рядом с Макаровым, но с таким видом, точно того и на свете не было.

— Между прочим, мне кое-что рассказал тут Кузьма Ильич, — заговорил Зайцев, когда Пустовойтов собрался уходить. — Оказывается, там задерживают выдачу хлеба ему на трудодни и не дают работать, как рядовому колхознику. Пожалуй, это противоречит уставу сельхозартели.

— Макарову давно пора взяться за ум и не торчать там, где он мешает, — сказал Пустовойтов, попрежнему словно бы не замечая Кузьмы Ильича.

— Это другое дело, — спокойно возразил Зайцев, — но там пытаются лишить его самых неотъемлемых прав.

— Об этом мы успеем переговорить, — раздраженно перебил Пустовойтов, поворачиваясь к двери.

Зайцев стал перебирать брошюры. Макаров понял, что оставаться дальше значило бы напрашиваться на разговор о поведении Пустовойтова, а такой разговор был неуместен. Он попросился и вышел из райкома, снова уверенный, что никакая сила не отгородит его от партии.

### ХШ

Насте казалось, что, покинув Мотьку, она сделала самый трудный шаг, что боль постепенно притупится, и все пройдет.

На другой день Настя копала картошку. Она старалась сосредоточить все внимание на работе и ни о чем не думать. Сердито вгоняла солдатскую лопа-

ту в землю. Степан не прогадал, оставляя картошку до поздней осени. Клубни были крупные, наливные.

Сама этого не сознавая, Настя все время чего-то ждала. Чутко прислушивалась к доносившимся с улицы голосам, вздрагивала, когда кто-нибудь проходил мимо дома. Она услышала, как открылось оконце на улице и Степан сказал:

— На огороде она, иди, помогай тебе бог.

И Настя поняла, что мучительней всего будет для нее разговор с мужем. Чувствуя, что щеки ее горят от волнения, она ниже склонилась над лопатой. Она слышала мотькины шаги, чувствовала, не глядя, где именно он остановился.

— А хорошая у Степана картошка, — сказал Мотька после некоторого промедления, решив, что Настя не замечает его. Настя не ответила и не подняла головы.

— Это как же, Настя, — тихо продолжал он, — весь колхоз мне верит, одна ты не поверила? А говорила — любишь. Я-то думал — нет людей ближе друг другу, как мы...

Мотька приготовился ко всему. Он ждал проклятий, злых слез. Но он не предвидел, что Настя примет тот неприступный, полунасмешливый тон, каким разговаривала с ним до замужества.

— Вот я вблизи и разглядела тебя, какой ты есть, — колюче бросила Настя и пошла на другой конец борозды.

Мотька опять подошел к ней. Он обращался к ней, Настя не отвечала. Она знала, что, если заговорит просто, то уже не удержит себя — разрыдается или набросится на него с кулаками. А Настя не хотела этого. Несклько раз она опиралась на лопату, чтобы не покачнуться. И когда, наконец, ничего не добившись, Мотька ушел, Настя опустилась на землю в полном бессилии.

Она знала, что никто уже не полюбит ее так, как любил Мотька. Ее женское счастье, так поздно начавшись, миновало. Настя заколебалась и почти готова была позвать Мотьку. Может быть, — подумала она, — лучше уехать вместе? Спокойная жизнь вдали от сектантов



быстро выправит Мотьку. У них вырастет сын... Но тут она вспомнила односельчан и среди них — Макарова. Он никогда не простил бы ей этого бегства.

Обдумать все до конца она не успела. Вышла невестка, схватила лопату и принялась рыть картошку. Настя поняла, что родные следили за ней. Они хотели примирения с Мотькой и были взбешены ее упрямством.

#### XIV

Для Насти начались унылые дни.

Дома открыто попрекали ее куском хлеба, понуждая вернуться к Мотьке. Настя упорствовала, родные ожесточались.

Их разговоры, надежды, вся их жизнь были Насте не по душе.

Частым гостем Степана стал биринский зятек Костя с Лизунькой. Пока дела в колхозе шли хорошо, Степан сторонился зятя-единоличника, а теперь сам съездил к нему на поклон.

В семье знали, что парень этот с придурью, — все еще гоняет по крышам голубей, — но приезжал он заносчивый, в новом тарантасе, обитом медными гвоздиками, и принимали его с почетом. Как-то подвечер Костя и Лизунька приехали захмелевшие. Степан сам распряг лошадь зятя. Рисуюсь, сбросил Костя с петушиных плеч черный нагольный тулуп, полюбовался в зеркало на бисерные пуговицы, украшавшие рубаху от горла до пояса, и выложил на стол покупную закуску — колбасу, бублики и круглую банку с мелюзгой-рыбешкой.

В тепле его развезло, и он расхвстался.

— Мне что не пить? Тулуп у меня — вдвоем накроешься, и третьему места хватит. На вокзале чаю выпьешь по пятнадцать копеек стакан и спишь в тарантасе — разлюли-малина. С поезда в город кого свезешь — десять рублей, это по таксе, а другой и от себя трояк накинёт. А уезжаешь из дому всего-то на два часа. По пяти рублей в час — жить можно. На вокзале спишь, да еще и дорогой подремлешь, а денежки, знай, в карман.

У Степана разгорелись завистью глаза. Это ли не жизнь — подремывай, а деньги в карман. Эх, обманул Макаров, ограбил, — подумал с досадой Степан. — Заташил в колхоз, лошадь увел на обший двор. А то катался бы он теперь вместе с Костей, и не было бы ему никакого дела до проклятой овечьей чумы.

Взялся Степан проклинать колхозную жизнь и соблазнительей, вроде Макарова, а Настя притаилась за печкой, от стыда за брата раскраснелась.

Лиза ходила по избе, звеня бусами, — вялая, разомлевшая, с дутыми сергами в ушах, усмехаясь, поглядывала на сестру, а потом подседала к ней на кровать и заговорила прियым голосом:

— Что ж, все убиваешься, сестрица? Сама сбегла, сама себя мучаешь. Все они, мужики, одинаковы, — что кулак, что дурак, одна в них сладость.

Знала Настя про сестру мехорощее. Дальних пассажиров привозил Костя на хутор ночевать и, глядя по состоянию, не отказывал им ни в водке, ни в своем месте на двухспальной кровати. С брезгливой жалостью взплянула она на Лизу и отвернулась.

#### XV

Мотька жил в молчании и одиночестве, быстро опускаясь. Лицо его заросло щетиной, волосы на голове сваялись. Работы от него не требовали; он много спал, но это не шло ему на пользу — он обессилел, обрюзг.

Пядь за пядью он терял свое место в жизни. Землянка снова пришла в запустение. На подоконник, на потускневшие чашки он бросал картофельную кожуру и заплесневелые хлебные корки, на край нар складывал свою рыболовную снасть. Крыша возле стены протекала — Мотька не стал починять ее. Он спал теперь на трех средних досках, на сваявшейся постели, которая с одного края была измазана рыбьей чешуей, а с другого — отсырела от капли.

Раз, когда Мотька дремал на пороге, прислонясь головой к косяку, к землянке подкатили дроги. Уткнувшись челкой в самую стенку, разволнованный в беге Окаянный пофыркивал, трогал ко-

пытот землю. Мотыка лениво стал шарить за спиной свалившуюся фуражку.

— Здорово живешь! — бодро приветствовал его Лукич.

— Живу помаленьку.

— Не помаленьку надо бы, время не твое. Один?

— А кому у меня быть?

Лукич сошел с дрожек, спрятал кнут под подстилку.

— Много ты от нас хорошего видел, Матвей Семеныч, а все сторонишься, — продолжал Лукич спокойней.

— Я человек маленький, никому не нужен. В избу, что ли, пойдем?

— И то лучше. Вино приемлешь?

— В компании — почему нет.

— Компания я плохой — вера не позволяет, да и здоровьем слаб, — ответил Лукич и вытащил из-за пазухи литровую бутылку. — А другим — господь судья, всякому человеку со своей совестью жить.

Они сели рядом на нары. Мотыка хлебнул огненной жидкости.

— Со свиданьем... Я ни от кого не прячусь, — заговорил он, понимая, что за угощение нужно платить откровенностью. — Хотел я по-человечески век свой прожить, да не судьба. Запутался я, пропадаю, Лукич, и сам не пойму, за что. Вот-вот, надеялся, прибьюсь к одному берегу, а, видишь, опять сбило меня, и несет, несет...

— А-яй-яй, — вздохнул Лукич, сочувственно кивая головой. — Плохое дело. А-яй-яй...

— ...Я шел к ним со всей душой. Я ничего не хотел знать. Все старое забыл, выкинул из сердца. — Мотыка схватился за ворот рубашки. — Думал, сам осилю, выплыву — и звать на помощь не стану, и топить никого не буду, а волна, видишь, сильнее — пропадаю я, Лукич. Можешь ты понять это слово? Пропадаю я. Пропадаю!

Последнее слово выкрикнул он так громко, что Лукич опасливо поглядел на оконце.

— Это по-христиански, — подтвердил Лукич вкрадчивым своим голоском. — Зачем топить? Всякое дыхание да хвалит господу.

— Я вашего господу не видал, — вдруг взвесьнулся Мотыка. — Я бы этого господу ногами растоптал, кабы он встал поперек дороги. Нет его — вот беда. Никого нет! Слышь ты, Лукич, не верти передо мной лисьим хвостом, не жалей меня, не муди мне сердце. Ты не поможешь мне. Кто ты? Так, козявка. Скажи мне, если знаешь, зачем Настя ушла? Скажи — я тебя на руках носить буду. Э, чего там!

— Я ничего про это не говорю, — возразил Лукич. — Вот, ты гонишь меня, а мне тебя жалко. Жил я рядом с тобой, а не умел понять твою душу. А душа широкая у тебя... Да ты выпей еще.

Мотыка выпил.

— Со свиданьем, — опять повторил он.

— Будем здоровы. Плохое твое дело. И нам покою через тебя не дают. Все жалуются на тебя. А знаешь, кому ты поперек горла стал? Настюшке своей. Она Макарову на тебя наговорила.

Захмелевший Мотыка не сразу все понял. А когда понял, обида так и обожгла его. Так, значит, Настя предала его? Все в нем перевернулось. Мысли путались.

— Ты меня не очень жалей, — заговорил он с мстительной улыбкой. — Я сам ее прогнал...

— Прогнал все-таки? — понукнул Лукич.

— Не веришь? — Мотыка уже не мог остановиться. «Я погибаю, а она по моим костям на гору хочет взойти» — подумал он о Насте и продолжал вслух: — Не такая уж она королева была. Не ко мне первому льнула. Я так смотрю — они там, между собой, в коммунии поперед меня ее красотой пользовались. Не Макаров ли первый?

Мотыка чувствовал, что, оговаривая Настю, губит последние надежды на примирение, но уже не мог остановиться. Все равно он пропал. Лишь бы скорее все пришло к концу.

— У них, знаешь, как? Кто в перелуке настиг, тот и законный муж.

Лукич слушал молча.

— А я по делу к тебе, — сказал он наконец. — Из района покою мне не да-

ют, требуют, чтобы выгнал тебя из землянки. Видишь, ты как бывший кулак считаешься. А куда ты пойдешь?

Мотька устало махнул рукой.

— А! теперь все одно!

— Да ведь нам-то стыдно было бы. Ты вот, Матвей Семеныч, все сторонился, думал, чего-то мы от тебя хотим, а нам ничего не надо.

— Ужели выгонят?

— Вот то-то, выгнать хотят. Правильные ты слова говорил — человек должен жить сам, по своему усмотрению, а не продаваться за медный грош. Верю я тебе, Матвей Семеныч, и помогу, как умею. Сам я нынче в мирской суете погряз, а вот братия странствующая, слух был, не забывает про тебя. Хотят приют тебе дать. Не гневайся на безвинных, Матвей Семеныч, откинь гордость, ступай.

— И пойду, — ответил Демьянов решительно. — Теперь жизни нет, а в могилу тоже раньше смерти не ляжешь.

— И с богом. Только смотри: в скиту не знают меня за брата. Исповедую веру втайне, не ища почета у одноверцев. И ты не сказывай, кому знать не должно. Дело ко мне случится — скажешь Исидору или Никодиму. Да помни, сила за нами большая, всемирная. Есть и наверху поддержка, сам знаешь, — и я без нее не возвысился бы. Кто подлость задумает, — того мы хоть по закону, хоть без закона достанем. А верные будут вознаграждены. Ну, да тебе про это не надо сказывать, ты человек каменный... Нехорошо тебе? Лег бы, поспал...

Лукич вышел. Дрожки побежали по лесной дороге, постукивая колесами об оголенные корни деревьев. А Мотька долго стоял посреди избушки, тщетно сиюсь представить, что повлечет за собой этот разговор.

## XVI

Пережив первое, самое горькое горе, Настя пошла в лесную землянку за вещами. Она решила не разговаривать с Мотькой, но все же волновалась.

Шла она заовражным лесом, чтобы не встречаться с односельчанами. Унылый осинник за деревней она торопливо про-

бежала. Солнечные лучи, по капле процеживаясь сквозь мелкие ветки, слабо освещали хилые стволы и осклизлые, почерневшие листья на земле. Но потом начался дубняк с его большими, яркими полянами в золотой россыпи листьев. Свет падал здесь с высоты обильным потоком, ветер был упруг и ласков. Настя вздохнула свободней.

Мотьку она не застала. В грязной, запущенной избушке она осмотрелась с легкой жалостью. Больно ей было видеть вещи, потерявшие свои места. Какое было бы счастье — прибраться, а потом ждать Мотьку.

Настя долго искала свою любимую голубую майку, наконец нашла — она была выстирана и спрятана в печурке. Захотелось оставить майку, — на память, — но она переборола в себе прилив малодушия.

Домой Настя воротилась засветло. Глянув на собравшееся за столом семейство, она по строгому выражению лиц поняла, что о ней говорили.

Степан сердито отодвинул тарелку.

— Нашим-то хлебом брезгуешь? — сказал он. — Бегаешь от него, как черт от ладана.

Столько сдержанной злобы прозвучало в голосе Степана, что Настя не осмелилась принять вызов и ответила кротко:

— Что-то не проголодалась нынче.

Но эта напускная кротость была для Степана хуже всякого яду.

— Понятное дело, — сказал он. — Бегаешь туда, где накормят. К Макарову повадилась! — И, не давая ей выразить удивление, он встал и закричал громко: — Вся деревня знает, кто тебя забрюхатил! А-а! Болтать умеете, такой-сякой, кулацкий сын, а к кулацкому сыну с председательской постели побежала? Молчи! Хватит вихляться! Матвей сам сказывал.

— Мо-тя?

— Что, не нравится? — обрадовался Степан. — Прикрыла девичий грех, так уж сидела бы. Нет, ко мне позор принесла, такой позор — до самого гроба с шеи не скинешь. Ну, чего ты стоишь? Собирай свои тряпки, и чтоб духу твоего не осталось!

Настя медленно пошла к двери.

— Может, давиться вздумала, как тогда? — спросил Степан, не находивший даже слов, чтобы излить всю свою ярость. — Не испугаешь! Хрипеть будешь, — из петли не выну.

Настя вышла в курятник и присела на узкий порожек, как тогда, несколько лет назад. «Вот и все, — думала она, — вот все и кончилось. Так солгать мог только отпетый негодяй. Что ж, значит, он никогда и не любил меня?».

## XVII

Случайные, чужие люди подобрали Досифея в лесу и укрыли за большими стенами. Недели две провалялся он в беспомощности, но однажды ночью очнулся и увидел себя в диковинной обстановке. Все было бело — стоявшие в два ряда кровати, тумбочки, стены. На кроватях Досифей разглядел накрытые белыми же одеялами неподвижные человеческие тела. Слышался мерный, сдавленный стон. «О-ох, о-ох, о-ох!». Досифей подумал, что это мается душа какого-нибудь грешника. Он представил себя умершим и среди мертвецов. Когда же неслышно открылась дверь и женщина в белом халате скользящей походкой направилась прямо к нему, когда она протянула руку к его лицу и коснулась ледяными пальцами лба Досифея, он снова впал в беспомощность.

Окончательно он пришел в сознание днем. Больные, сидя на кроватях, ели из алюминиевых тарелок. Сосед Досифея полулежал на подушках, придерживая тарелку на острых коленках. Он трудно, с похрипыванием, дышал. Синие желваки вздувались и опадали на его шею.

— Ну, что, выдюжил? — спросил он Досифея медлительно. — А мы думали, помрешь.

Высокая, суровая женщина принесла молочной овсяной каши и хотела кормить Досифея, но он крепко стиснул зубы и не отзывался.

Больные со всех коек поглядывали на него с любопытством. Двое привстали на колени, а один — рослый, усатый дядя — завернулся в одеяло и подошел поближе.

Заговорила вся палата:

— Эй, малый, ешь.

— Малый, чего молчишь?

— Или не нашей нации?

Наконец усатый догадался:

— Он, говорили, из бегунов. Они, бегуны, скоромную пищу редко когда едят.

Если бы эти люди насильно разжали Досифею рот и стали вливать в горло кипящую смолу, он не удивился бы и постарался перенести пытку с подобающей мироотречнику стойкостью. Но кипящей смолы не было. Больной с желваками попросил у няни постный завтрак для Досифея. Та ушла с оскорбленным видом.

— Ишь, выставляется, — ворчала она. — Небось, не у мамки родной. Нам за каждым ухаживать — сбесишься.

В палате опять поднялся крик.

Румяный, кругленький человек мячиком вкатился в палату — добрый, поворотливый. Казалось, он сразу на всех смотрит, всем отвечает.

— Ну-те-с, что тут у нас случилось? Ложитесь, ложитесь, ложитесь! — замахал он ручками на досифеева соседа. — Ну зачем вы ноги спустили, кто вам позволил? И слушать ничего не хочу, пока не ляжете. Вот так. Ну, что тут стряслось? Беляев, вам нельзя волноваться.

«Господи, неужели ради меня все это?» — со страхом думал Досифей.

— А вот вам, доктор, следовало бы побольше волноваться. Сегодня опять дежурит гусар в юбке. — Больной с желваками на шее оглянулся, ища поддержки. — Очнулся юнец-то, надо кормить, а скоромного он не ест.

— Почему?

— Это не наше дело. Я полагаю, и не ваше. Ваше дело поставить его на ноги, а там пусть другие воспитывают.

— Совершенно верно. — Толстяк обернулся к Досифею: — Ну-с, как мы себя чувствуем? Нехорошо капризничать, мой милый. Посмотрите, вы всех моих больных на ноги подняли. А ну-те, друзья, по местам. По местам, по местам, по местам!

Больные нехотя побрели к своим койкам.

После всей этой суматохи Досифей не осмелился оттолкнуть стакан с кофе. Но он так долго не мог проглотить первую ложечку запретного напитка, что обжег себе рот.

### XVIII

Досифей быстро пошел на поправку. Скоро ему выдали туфли на войлочной подошве и позволили ходить по коридорам, а в солнечные, безветренные дни сидеть, завернувшись в одеяло, на открытой веранде, куда палата выходила окнами. Каждое утро внизу в палисаднике появлялись женщины. Они заглядывали в комнаты нижнего этажа, переговаривались через стекла с больными. Некоторые обращались к Досифею:

— Эй, малый, из какой палаты?

— Из шестнадцатой, — отвечал он, смущаясь. — Да я ничего не ведаю.

Одной женщине нужна была именно шестнадцатая палата, и она попросила Досифея:

— Там у вас Максим Найденев лежит? Усатый такой, представительный мужчина? Покличь его, милый, сюда.

Усатый вышел, перевесился через перила и разговаривал с женщиной до тех пор, пока няня не прогнала его в палату.

С этих пор не проходило дня, чтобы кто-нибудь не обращался к посредничеству Досифея. Когда его не было, женщины кричали:

— Эй, малый!

Он показывался.

— Покличь там моего.

В больницу через день приносили передачи. В шестнадцатой палате каждый считал своим долгом угостить Досифея булкой, яблоком, конфетой. Он сделался общим любимцем. А внимание чужих людей поддерживало и укрепляло Досифея не хуже, чем настой наперстянки.

Больные часто капризничали. Они вызывали главного врача, если им три дня кряду давали манную кашу. Больничный чай казался им жидким, свет больничных лампочек резал глаза, больничные няни норовили простудить их. А Досифею жизнь в больнице была бесконечным праздничным пиром. И толь-

ко страх наказания смущал его. По ночам ему снилось, что уже разверзлась преисподняя и бесы хохочут, готовясь принять в свои объятия его грешную душу. Над ним склонялась борода Христофора, и губы большака шептали:

— Поистине, нет печальнее зрелища — корабль разбивается у самой пристани.

Проснувшись, Досифей подолгу шептал молитвенные стихи, часто повторяя свой любимый:

...Плоть-то моя хочет согрешати,  
А душа хочет царство получитьи.  
Юность ты, моя юность,  
Младое ты мое время!

В шестнадцатой палате лежали сердечники. Администрация задумала было перевести отсюда выздоравливающего Досифея, боясь, что он беспокоит соседей. Но сердечники взбунтовались и не отпустили Досифея.

### XIX

На второй неделе болезни Ваську полегчало. Температура упала, сыпь поблекла и стала шелушиться. Хотя ребеночка мучил зуд, он оживился и часто играл, сидя на своей кровати.

И все-таки в доме было уныло и безотрадно.

Давно ли Поля молила бога лишить Кузьму — ради спасения души — всех мирских почестей. А теперь, когда Марков был уничтожен и оплеван, — никто не сочувствовал ему с такой болью, как она.

Поля знала, что только победа успокоит Кузьму, и молила бога помочь ему.

...Поля пошла к Чеготаеву. Она хотела повидаться со свояком, который за чем-то приехал из Туночной, а заодно поговорить с новым колхозным начальством.

Она застала всю компанию за постным сектантским ужином. Гость из Туночной, — муж поиной сестры, — ужимистый, прибито-озлобленный, встретил Полю с фальшивым радушием. И только ехидные словечки и невольные колкости выдавали его тайное недобро-

желательство. Он сказал, что хотел заехать к Поле, — все-таки родная, — да побоялся, не выгнали бы. Хотя власти и стукнули Макарова по макушке, а слышно — за ум он не взялся. Есть ведь такие люди: им плюют в глаза, а они твердят: «божья роса».

— Не обижайся, кума, за чистосердечную речь. Твой мужик вроде нашего Леонидушки. Помнишь бесштанного «крестителя»? Ну вот, воротился из ссылки. Как подменили его! Ни с кем знаться не хочет. В Туночной он теперь — бельмо в глазу. Православные христиане прямо его боятся. И мать Манефа — долговязая дура — заодно с ним. Выправили паспорт, расписались в совете, как мирские. Стыд и срам!

Поля, выросшая в Туночной, хорошо помнила и Леонидушку, и Манефу. Леонидушки она, бывало, побаивалась, а суровую, но красивую и опрятную странницу Манефу любила.

Поля в раздумье ответила шурина:

— Ох уж, не знаю, кого слушать. Бога я чту, не забыла, а словам вашим будто и не рада. — И круто, решительно обернулась к Лукичу: — Знаю, и ты странней веры. Пришла к тебе за милостью. Не вжись ты в мирские дела. Не по писанию это. Пусть бы Кузьма оставался при должности. Отступись!

— А разве я Кузьму Ильича не уважаю? Да ведь мир так захотел. — Лукич развел руками. — А я сам в кучера бы к нему со всей охотой пошел, вот как.

Поля ушла, расстроенная. Не сумела она помочь мужу. Кузьма встретил ее недоверчиво, расспросил, где была, кого видела, о чем говорила. Не по вкусу ему пришлось, что она была у Чеготаева. О разговоре с Лукичом Поля умолчала, но новостей из Туночной не утаила.

Ночью, когда Поля проснулась, Макаров во второй раз стал спрашивать про «крестителя».

— Леонидушка твой, значит, пошел против всей братии?

— Так болтают, — осторожно ответила Поля.

— Теперь и здешние бегуны на него взъелись?

— Должно, так. Да теперь какие бегуны — одно название. Я, Кузя, и не хожу к ним. Чего я знаю...

Утром Макаров сказал, что едет в Туночную.

Поля забеспокоилась.

— Как же это! Обожди хоть до завтра, я бы оладьев напекла на дорогу. Да и куманек на лошади тебя довезет.

Но Макаров ответил, что пойдет до Подгорска пешком, а оттуда недорого и поездом доехать.

## XX

Деревня Туночная привольно раскинулась на берегу судоходной реки. Когда-то затевали протянуть к реке, к пристани, железнодорожную ветку, да раздумали. Пешеходная тропа пролегла по насыпи. Далеко видны были отсюда сиреневые, в дымке сумерок, поля. Макаров в спокойном раздумье шагал по мокрому песку. У него была близкая, ясная, пусть маленькая, цель. Он обдумывал, как поближе подступиться к Леонидушке. Ведь если правда, что сектантский старейшина отбивается теперь от своих, и если он не слишком глуп, он должен сам искать поддержку у советских людей. Макаров хотел предложить ему союз. Бекляшевские сектанты вышли из Туночной же, похоже, и сейчас вели какие-то делишки сообща с земляками. Леонидушка мог кое-что знать. А когда дерешься, всякий камешек кстати.

Несолидное имя — Леонидушка — вызывало представление о юродивом полукалке. Но на полдороге разминулся с Макаровым рослый, прямой старик-скороход, с мешком за плечами, и Макаров чутьем угадал, что это и есть «креститель». Однако окликнуть Леонидушку он не решился, и старик скрылся в густеющей тьме.

Уже совсем ночью Макаров нашел избушку над спуском к реке, — «креститель» служил в пароходстве бакенщиком.

Дверь осторожно приоткрыла высокая, худая женщина. Преграждая Макарову

вход, она недоверчиво стала спрашивать, кто он и откуда, и зачем ему нужен Леонидушка. Макаров ответил, что он советский активист, безбожник, любопытствует узнать кое-что об устройстве бегунской церкви и ради этого приехал. Манефа была озадачена этой откровенностью. Еще раз недоверчиво осмотрела странного гостя и сказала, что муж пошел в город добыть ниток — он в свободное время портняжит. И поспешила прибавить, что довольно Леонидушка натерпелся и пора бы оставить его в покое.

— А скоро ль вернется?

— Не знаю, милый, у нас сроку нет.

Ночью, ворочаясь на шаткой кровати в заезжем доме, Макаров гадал — увидит он Леонидушку или тот, узнав о неурочном визите, скроется с глаз долой. Под утро он крепко заснул, а вскочил — в окна уже светило осеннее солнце. Не умывшись, побежал он к «крестителю».

Дверь оказалась незапертой. Макаров перешагнул порог и очутился прямо перед вчерашним стариком-скороходом. Тот сидел у стола на самодельной скамеечке в ожидании завтрака. Манефа неслышно сновала от печки к столу, ставила посуду.

За окнами белела река.

Бегло осмотревшись, Макаров поздоровался и с легкой усмешкой повторил вчерашнее объяснение.

Леонидушка недоверчиво свел брови и, оправляя дрожащими руками посконную рубаху, глуховато пробасил, сильно «окая»:

— Я, милый человек, — не знаю, как тебя звать, — пять лет принудилочки отбыл, советской власти канал поставил и думаю: довольно бы меня тревожить.

— Принудилочку вы отбыли за преступления, — твердо стоял на своем Макаров. — Два раза за одно дело не судят. Я и думаю: если человек старое бросил, взял мирские документы, зачем бы ему молчать? Если и верит он по-прежнему, думаю, в рассказе греха особого нет. Общины тайные, а вера ведь не тайная, правда? Сесть можно? Интересно мне, к примеру, как у странников крестили?

Манефа молча поставила ему таб-

ретку к самому порогу, в знак того, что гость он — непрощенный.

— Довольно критику наводить, — упорствовал Леонидушка. — Знать этого вовсе теперь не надо. А крестили обыкновенно — чего зря болтать. Пойди в великороссийскую церковь и посмотри. Такое же помазанье и все. Только они — в купели, а мы — в реке, хотя бы и зимой. Разницы никакой нет.

— Ну, все-таки. В церкви маленьких крестят, а вы — больших. Я старое хочу знать, чтобы людям глаза открыть.

— Так-то оно так, — вздохнул Леонидушка. — Видно, садись к столу.

— Уж трапеза у нас без молочного — нынче среда, да и коровушки нет, — извинилась Манефа, подвигая тарелку с квашеной капустой.

Нашлась для гостя и вилочка, сами же хозяева обходились ложками.

— Может быть, винца поставить? — спросил Леонидушка.

— А за грех не считаешь?

— Вино я всегда пил. В нем, я считаю, греха нет.

Манефа подала с полки початую поллитровую бутылку и две стопки. Леонидушка налил.

— Ну, что ж, со знакомством! — сказал он, поднимая граненый стаканчик.

— Со знакомством! — чокнулся Макаров.

Выпили, закусили капустой. Леонидушка спросил Макарова, не налить ли еще, но о себе сказал, что больше не может — грудь не позволяет: на канале осматривали, нашли расширение сердца. Едва Манефа спрятала бутылку, в избу зашла женщина. Стала у порога, прислушиваясь к разговору. Когда Леонидушка осведомился, по какому она делу, женщина попросила сшить парнишке нагольную шубу. Леонидушка ответил, что сошьет, однако сегодня разговаривать ему некогда. Выпроводив заказчицу, он продолжал:

— Бегунская вера — не простая...

— Болтай побольше! — предостерегающе перебила Манефа.

— А я что, неправду говорю? Взять хотя бы лстовки. Кто не знает, подумает так: зря бусинки иль кожаные лос-

кутки нашиты. Ан, за каждым зернышком — истина, а зерен — сто штук. Семь чинов ангельских, двенадцать архангельских...

— Поболтай еще! — опять перебила Манефа. — Гляди, в другой раз за тобой на канал не пойду. Отрекусь.

Но Леонидушка уже сделал первый рискованный шаг — и теперь не мог остановиться.

Макаров не подделывался. Где мог, возражал «крестителю».

— Ну, вот свечки у вас под иконой, — кивнул Макаров на передний угол. — А не все ли одно: у вас — восковые, церковные, а я в магазине стеариновые купил. Мои еще посветлее будут.

Леонидушка неожиданно обиделся:

— Это у меня церковные? Избу поганить? Они в церквях против солнца крученные. Самодельные у меня свечки.

Опять открылась дверь, у порога стал парнишка-подросток.

— Чего тебе? — грубо спросил Леонидушка.

— Маманя прислала. Ты мне нагольную шубу сошьешь?

— Сказал, сошью. Чего зря ходите, грязь в избу таскаете...

Когда парнишка ушел, «креститель» пожаловался:

— За каждым шагом досматривают. Из бегунской семьи. Боятся, как бы я их всех не предал. А по мне — провалились они все в преисподнюю...

Макаров не стал об этом расспрашивать, желая сначала завоевать доверие. Окончили чаепитие в мирной беседе. Леонидушка пригласил заходить, — он не против безбожных агитаторов. Любит тех, кто складно говорит.

И Макаров, в свою очередь, проникся к бывшему «крестителю» симпатией. Он понимал, что Леонидушка не отрезился от всех благоглупостей, которыми напичкивали его с детства, но видел, что от сектантской деятельности тот старается уйти. А только это Макарову и нужно было.

Он провел у бывшего «крестителя» почти весь день и в сумерках поехал с ним на лодке зажигать бакены. Как только оттолкнулись от берега, Макаров спросил:

— Значит, соглядатаев подсылают? Не хотят отпускать тебя ваши-то бегуны?

— Беда. Мельничные-то помириться никак не могут, даже их советская власть пощипала.

— А ты к советской власти иди за подмогой. Один в поле не воин.

Леонидушка долго работал веслами.

— И пойду. Ты, Кузьма Ильич, помоги, как партийный. — «Креститель» оглядел пустынный берег и продолжал вполголоса: — Главная сила у вас же, в Теплых горах, и сидит. Где там скиты, не знаю, а из жилых — самая зараза Лукич. Он всех баламутит и опять нас под канал подведет, как дважды два — четыре... А ей-богу, хоть и грех божиться... — Леонидушке хотелось еще больше поразить простака-безбожника. — Про коммуны «Аксиому» слышал? Ну, мельничные благодетели к большевикам подмазывались? Так Лукич был у них в чинах. Не веришь — поезжай в Ярославскую губернию, в село Сопелки, расспроси, но только с умом...

Макаров вернулся в Теплые горы приободренный. О «крестителе» никому не сказал. Решил приберечь Леонидушку про запас, а в самую решительную минуту выгащить этого важного свидетеля на сцену.

## XXI

Мотьке, с тех пор как он согласился уйти в секту, хотелось разобраться во всем, что произошло. Но как-то не хватало спокойствия.

Он спрашивал себя без конца: что делать, как вернуть Настю? Неужели поздно? Часами он недвижно лежал на нарах, потом вскакивал, нетерпеливо одевался и бежал к деревне. Подойти к Степанову дому Мотька не решался. Он только проходил вдоль околицы, заглядывая на зотовский двор через огороды. Как-то он неожиданно увидел: вышла Настя и прямо направилась к нему. У Мотьки нехватило решимости ни убежать, ни подняться ей навстречу, и она застигла его за кустом, словно какого-нибудь воришку. Мотька встал, одернул рубаху.



Глядя в землю, Настя тихо проговорила:

— За тебя стало стыдно. Чего ты, как собака голодная, около дома кружишь?

Мотька возмутился. Значит, ей было только стыдно и ничуть не жалко его?

— А ты донеси, как любящая жена, — съехидничал он. — Может, посадят.

Но она ответила серьезно:

— Надо будет — не помилуют.

И Мотька сорвался:

— Ты подумай, как я тебя люблю, — сказал он. — Стыда не боюсь. Гордость свою потерял.

Она ответила, неожиданно смягчаясь:

— Не надо, Мотя, терять. Ты бы сразу забыл. И тебе лучше, и мне.

Она повернулась и ушла.

Больше Мотька не искал встреч. Он еще не всю гордость потерял. Не хотелось ему, чтобы после этих дрогнувших слов: «И тебе лучше, и мне» — были сказаны новые.

Одна у него оставалась дорога — в лесной скит. «Вышибу в землянке окно, расхлебяню дверь — и уйду» — думал он.

Но в решительный час, когда за ним пришли, он и оконце в землянке не вышиб, и дверь бережно закрыл за собой, даже запер на щеколду. Сожаление о потерянном было сильней злости.

Они с Никодимом добрались до лесного убежища уже в потемках. От усталости Мотька оступел, но то, что он увидел в подземелье, удивило его. На широких нарах лежали оборванцы, теснясь лохматыми головами и выставив в стороны босые ноги. Лица у оборванцев были красные, точно после выпивки или крупной ссоры.

Зная с детства, как много степенности выказывают странники при встречах, Мотька приготовился к длинной душе-спасительной беседе с большаком.

Исидор встал. Доски нар упирались ему под колени, он слегка покачивался, не сводя с мотькина лица бессмысленно удивленного взгляда. На потном, рябом лице большака светлились белесые глаза, как две наклеенные бумажки.

— Водку пьешь? — прохрипел большак. Сзади стали дергать его за шта-

пы, он сел на нары и добавил: — И не надо. Грех... Вот чего. Иди-ка ты с Никодимом в другую келью. Понял? Я, братец, божье дело знаю лучше быть не может. Ну, иди, иди. А водку не пей. Грех. Ну ее к чертям собачьим, голова от ней болит.

В келье, куда Мотьку сейчас же увел Никодим, стоял сладковатый запах расплавленного воска, было тихо, шла работа. Старик и мальчик поочередно крутили огромный решетчатый барабан, установленный осью на двух стояках. Здесь горела лампада.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас, — снова провозгласил Никодим.

— Аминь, спаси нас бог, — ответил старик, выпустив ручку барабана. Поэтому, как мальчик загребал воздух, прежде чем ухватиться за ручку, Мотька понял, что это слепец. — Благослови, родимый, — обратился старик сначала к Никодиму, а потом к Мотьке. Демьянов не очень уверенно осенил старика крестным знамением. Заметив неловкость пришельца, старик стал жаловаться на упадок благочестия среди странствующей братии, а сам тем временем вынул лампаду из железного обручика и проводил Мотьку в темный угол, где какие-то люди уже спали на рваных зипунах, брошенных прямо на землю.

Мотька положил к стене свои скудные пожитки и стал разуваться, разглядывая устройство тайного свечного завода. В небольшой очаг был вмазан котел, в котором кипел, побулькивая, воск. Через воск тянулась нитка, которую перематывали с ближнего барабана на дальний. Над котлом была укреплена толстая, должно быть, свинцовая доска с двумя рядами дырок разной величины, нитка была продета через самую маленькую. Лишний воск счищался и стекал по доске. Барабаны тихо похрипывали, бесконечная нитка, облепленная теплым воском, бежала по воздуху.

Мотька быстро уснул.

## XXII

Мотька с детства презирал бегунов. Отец, хотя и давал христовым странни-

кам приют, за глаза называл их бездомной скотинкой. Бывало, постучатся вечером в калитку, он выглянет из окна, спокойно отхлебнет с блюдечка чаю и строго скажет жене:

— Там опять эти приبلудились. Не к спеху.

Детям он наказывал держаться подалше от странних гостей, считая, что многие бегуны мучаются позорной болезнью.

И впоследствии, в ссылке, и еще позднее, работая в колхозе, Мотька смотрел на бегунов сверху вниз.

Теперь, проснувшись в глухой предутренний час, он почувствовал себя униженным. Вот он пришел с повинной головой к этим дармоедам, и они из милости позволили ему валяться в скиту.

Келейники еще спали, один старец Харламий бесшумно возился в дальнем углу. Он распрямлял на доске восковые прутья, обтирал подсолнечным маслом.

— Для еретиков свечи делаем, для церквей, неправильные, — пожаловался он Мотьке. — Наши большаки нынче неразборчивы стали — ко всем льнут.. Видишь, полуночицу опять не служили. Молятся мало, как подневольники. Одному святому моргнул, другому мигнул, третий сам догадается. Сам увидишь нынешние порядки.

Службы не было и утром. Во время трапезы Мотька пригляделся к обитателям своей кельи. Какой же это был странный сброд! Был тут опустившийся церковный дьякон. Он все нюхал табак. Достанет жестянку от граммофонных иголок, пощелкает по крышке ногтем, поморщится и подмигнет окружающим. Был еще баптист — насквозь мирской человек, бритый, расчесанный, с пробором. Когда он доставал провизию, Мотька заметил в его мешке клеенчатый портфель. Говорили, что это был счетовод из какого-то колхоза. Держался он высокомерно. Даже позволил себе спросить про иконы:

— Идолы-то зачем повесили? Бог у человека в душе, его на доске не намажешь.

Харламий в ответ прочитал полушо-

потом заклинание: «Да воскреснет бог и расточатся врази его».

Что занесло сюда всех этих людей? — доискивался Мотька. Он знал, что бегуны пытаются широко раскинуть свои сети. В деревнях ходили их записочки о последней брани с антихристом, распространялись слухи, что где-то в лесу сам господь приготовил тайные кельи и привел в них праведников; что праведники эти набирают христово воинство, а когда наберут пять тысяч людей, то начнется последняя брань. Но какие же это праведники? И зачем крутится здесь иноверец-баптист?

Днем Мотька застал баптиста у большака.

— Ой, не верится, — нараспев говорил баптист. — Хорошо мы поем, да в исправдом сядем. Вашему ли согласию брать на себя почин? Народу у вас раздв и обчелся... Уж во всяком разе руководящая роль должна принадлежать баптизму. Баптизм имеет распространение во всем мире. Сеть наших общин...

— Будя! — остановил Исидор. — Лезжалый товарищ неча хвалить. Коли вы бойкие, начали бы сами, зачем к нам шел, к таким-разъетаким? А благословит нас господь — на брюхе приползешь.

Рядом с верзилой Исидором сидел на краю нар желтый, иссохший человек неопределенного возраста.

Мотька они прямо попросили назвать людей, готовых выступить против советской власти. Иссохший человек полюбпытствовал, не знает ли он мест, где спрятано огнестрельное оружие. Мотька сказал, что пришел в келью замаливать грехи. Исидор и тощий переглянулись и отослали его назад к Харлампию.

Вечером баптист ушел. Сколько ни спрашивал его Харламий, откуда он родом и где живет, баптист не проговорился. Его место занял новый пришелец — лохматый, в лаптях, с кожаными узелками на полушубке вместо крючков, с палочками вместо пуговиц на воротнике рубашки.

А утром на молении вышел из-за новичка переполох. Едва началась служба, он бухнулся на колени. У странников считалось это страшным кощунством.

Они клали земные поклоны со всего роста.

Песнопения прекратились.

— Ведь ты нашу правильную молитву замолил! — кричали странницы гостю. — На коленях-то разбойники стояли, когда распятому Христу плевали в лицо, и ты этак же? Господи, прости и помилуй! Царица небесная, смилуйся над нами!

Харламбий потребовал начать моленье сначала. Но старец Ипатий поленился, ограничился тем, что прочитал вслух идущую к случаю молитву.

Несмотря на происшедший скандал, большак взял нового гостя в свою келью. Ночью, лежа рядом с Мотькой на подстилке, Харламбий рассказал:

— Дикой он какой-то. И смех с ним, и грех. Называется краснодраконовец. И веры такой сроду я не слыхал. Видишь, красные для них вроде дракона. И значит, ни к чему нельзя прикасаться, что на советской фабрике сделано. На стул нельзя сесть, извиняюсь, портки зашить — ищи старинную иголку. Согрешил я — посмеялся над ним. На шубе-то, говорю, узелки, это ладно, да ведь овчина тоже советская, на советской земле овца паслась? Ну, никакой нет в этой вере мудрости. Истинная вера, она испокон веку идет, первым странником-то Христос был, а это что же — с рождения советской власти. Смех один с ними!

Порой Мотьке страшновато было среди всех этих людей. Он не мог без содрогания смотреть на скорбную, полупомешанную Анфию, которая по ночам пела в лесу молитвенные стихи — призывала Христофора вновь сойти на землю.

### XXIII

— Ну, Кузьма Ильич, беда. Все хозяйство как огнем схватило, — жаловался Тимофеич, сидя с Макаровым на порожке. — Резвая на ноги жалуются. Это что же? Опоили! Того гляди, скинет. А ведь ее-то прилодом вся губерния возгордилась бы. Все-таки, у тебя, Кузьма Ильич, знакомство, — с начальством поговорил бы...

Макаров только усмехнулся. Тимофеич понял его без слов.

— Пчелок-то моих Лукич удумал раздавать по дворам, — продолжал Тимофеич. — Сами пустили гниль, а теперь уещают народ с пчеловодством покончить. Это, говорит, гиря у колхоза на шее. Дал бы я ему этой гирей!.. На моей пасеке каждую пчелиную семью хоть сейчас разделяй на две. Ну, скажи, чего теперь делать? Из деревни — долой?

Макаров стал натягивать сапоги.

— А ты чего смотришь? Ты же — член правления?

— Мало важности. Он, знай, гнет свое, нас не спрашивает.

— Он не спрашивает, вы с него спросите. Знаешь, хоть и уважаю я тебя, а доведись опять стать председателем, — первого отдал бы под суд, поверь моему слову.

Озадаченный пчеловод начал было оправдываться:

— Конечно, сознательности в нас еще нехватает...

Но Макаров не допускал никаких уверток. Отчитывая Тимофеича, он так разволновался, что уже не мог успокоиться.

Он направился к Ванюшке. Из боязни занести болезнь, в дом он не вошел, разговаривал с шофером на погребнице. Было здесь чисто, аккуратно, чинно, как в горнице, домовито пахло квашеной капустой. Ванюшка стоял, прислонясь к ларю с мукой, сумрачный, желтый.

— Что ты морду кривишь? — спросил Макаров. — Небось, не за деньгами я к тебе пришел. Хороши наши комсомольцы! В колхозе кулацкая растащилка, а вы — тише воды, ниже травы.

— С меня не спрашивай, — неохотно отозвался Ванюшка. — Я уже не секретарь. Вчера приезжал один из райкома — меня снимать. Хотели исключить, ребята не согласились. Хотят теперь обсудить на райкоме. За связь с Макаровым. Факт.

— Поди ты! — искренне удивился Кузьма Ильич. — Макаровым уже малых детей пугают.

Чем больше Макаров ввязывался в борьбу, тем увесистей получал тумачи.

И все-таки он уже не мог отойти в сторону.

С минутой он сидел неподвижный и грозный.

— Сняли? Ну и что из того? Ты что ж, от обиды дома сидишь? Почему комсомольцы допускают растащивку, терпят паразитов? Почему канаву не руют для водопроводных труб?

— У них и спроси, — усмехнулся Ванюшка.

— Я у тебя спрашиваю.

— Я думаю, маленькие мы с тобой люди, где нам бороться, когда кругом спайка получилась.

Макаров вскипел:

— Наше дело правое, нам с тобой не к лицу прибедняться.

#### XXIV.

Макаров не стеснял себя никакими побочными соображениями. Пускай Пустовойтов думает о нем, что хочет. Он решил действовать, не гадая о том, как это понравится руководству. Теперь он ясно видел карты Лукича. Не зря эта лисица сболтнула на заседании, будто советская власть создала колхозы «для хлеба». Новый председатель рассчитывал постепенно свернуть хозяйство. Разве не закрыта мельница? Разве не ликвидирована пасека? Все, что с таким трудом создал Макаров, шло прахом. А что потом? Кто умеет — воруй, кому позволяет совесть — наживайся на спекуляции овощами, а кто к этому не приучен — на голодный паек!

Весь этот день Макаров провел на народе.

Немало вздора услышал Кузьма Ильич от своих односельчан.

Лукерья под большим секретом сообщила, будто в Москве победила новая линия — против колхозов, и где-то там, в центральных губерниях, будто бы уже выходят крестьяне на отруб.

— Какая еще шальная сорока сплетню эту принесла на хвосте? — удивился Макаров.

Разговаривали они у цементного бассейна. Подошли две женщины, прислушались.

— А уж мне вы, бабоньки, совсем не верите? — спросил озадаченный Макаров. Бойкая молодуха Марья, поправляя на плече коромысло, заметила:

— Да ведь как верить? От должности тебя отрешили, на секретные собрания не допускают — чего ты узнаешь? Кто в почете, у того и правда в кармашке.

Сплескивая на ноги воду из ведер, Макаров заспешил домой. В нетерпении развалил по подоконнику стопку отвлеченных книг, трясущимися руками выбрал две — томик Ленина и книжку Сталина.

В былые времена Макаров не увлекался пропагандой, считал, что с него довольно хозяйственных забот. А теперь даже лицо разгорелось у него от азарта.

Он боялся, как бы слушательницы не разбежались. Нет, они ждали его в домике Лукерьи, как и было условлено. Стояли у порога. Кузьма Ильич насилу уговорил их присесть к столу. Одна так и не подошла. Это была старшая сестра Лукерьи — угрюмая, темнолицая старуха, повязанная черной шалью. Она устроилась за печкой. Глядела в окно, будто за этим и пришла.

Макаров раскрыл свои книжки, волнуясь, прочитал некоторые давно подчеркнутые выдержки. И Ленин, и Сталин говорили, что крестьяне неизбежно и навсегда откажутся от единоличного ведения хозяйства, перейдут к хозяйству артельному.

Женщины не спускали глаз со строчек, выбегавших из-под пальца Кузьмы Ильича. Все бекляшевцы относились к печатному слову с большой почтительностью.

От себя Макаров добавил только, что на учении Ленина и Сталина стоит вся программа партии, какие же, к шуту, могут быть новые линии? Он спросил, назовет ли кто коммунистом человека, который задумал бы повернуть все дело вспять.

— Возьмите хоть меня, — продолжал Кузьма Ильич, — как думаете, могу я попасть на такую удочку?

— Ты не попадешься, — да не за то ли тебя и выкинули из партии? — осадила его соседка.

Макаров просиял:

— Спасибо, Марьюшка. Я и сам надеюсь доказать: за это. Но когда докажу, ответят же перед партией те, кто меня выкинул!

— Да уж держаться бы одного берега,— вздохнула Марья.— Смута пошла у нас в народе. Не знаешь, как жить, чего детям наказывать.

Бабоньки повеселели. Сложились деньгами на леденцы, Лукерье велели поставить большой самовар.

Лишь старуха все сидела за печкой, не подавала голоса.

Она остановила Макарова на пороге со своей особенной заботой:

— Чего ж ты, Кузьма, про кладбище пемалкиваешь? Неужто и вправду власть задумала срыть могилки по всем деревням, смахнуть кресты?

Макаров уверил, что это, конечно, вздор, кулацкие провокационные разговорчики.

### XXV

Лукич в одно и то же время был и деятелен, и боллив. Деятельность его была направлена прямо к цели, рассуждал же он туманно, старался прослыть пустомелей.

Сколько он наговорил всякого вздора, нанимая у кузнеца Телина квартиру! Будто бы его и дешевка соблазнила, и близость к конторе. Он даже намекнул, что не поладил с Чеготаевым, что между ним и завхозом нет согласия в колхозных делах, а значит, и мир невозможен. А причина была другая. Телин слыл обстоятельным, работающим колхозником, и Лукичу выгодно было водить компанию с ним, а не с Чеготаевым.

Председатель поселился в маленькой, оклеенной газетами горенке. На закопченном потолке бумага местами лопнула, и от хлопанья дверью сверху сыпалась зола. Подоконники в горенке подгнили и обвисли. В них были прорублены желобки, а под желобками висели тряпочки, с которых вода бежала в бутылки.

Одно нравилось Лукичу: в своей неказистой комнате он был полный хозяин. Вдовец Телин жил со старой бабкой и двумя мальчишками на кухне. Семейство подобралось — один к одному: все

нелюдимые, молчаливые. Дети редко смеялись и никогда не плакали. Старушка и не помышляла наблюдать за чистотой в горенке, а жильцу это и лучше было: он привык делать все сам. Лукич поставил в углу свою узкую железную кровать, повесил над ней берданку и зажил почти так же самостоятельно, как в лесной сторожке. Ему недоставало только постоянного собеседника. В сторожке у него был Христофор — человек хотя и трудный, угловатый, но зато ближе родного. Телин же все время держался особняком. Войдет по приглашению председателя в горенку, присядет к уголку стола, будто не у себя в доме, и молчит-помалкивает. Выпьет два-три стакана чая, крякнет, утрется рукавом и опять молчит.

Как-то Лукич заговорил с кузнецом о пчелах. Говорил много и складно. Кажется, и мертвый поддакнул бы, а кузнец глотал с блюдечка крутой кипяток и молчал. Лукич доказывал, что пчел надо распределить по дворам, что от общей пасеки будет только убыток. Предлагал и самому Телину взять пяток колод. Выведенный из терпения, стал напрямик спрашивать: что же думает Телин о пчелах? Кузнец неопределенно пробурчал:

— Оно верно, от пчелы тоже своя выгода есть. Маленькая тварь, а поди ты!

И опять умолк.

### XXVI

В новом правлении, кроме Лукича и Чеготаева, состояли Телин, Тимофеич и Белохатко. Кандидатуру пчеловода и кузнеца на собрании поддержал сам Путовойтов — считалось, что эти люди пострадали от несправедливости Кузьмы Ильича. Бригадир же и без поддержки собрал больше голосов, чем другие. Лукич считал его человеком опасным.

Созвав правление колхоза, Лукич не спросил, надо или не надо раздавать ульи, а сразу предупредил, что пчелы заражены гнильцой, спасти их в колхозном ошманнике нет надежды. Остается, заботясь о человеке, раздать пчел колхозникам в счет доходов на трудодни.

Чегогаев зачитал список, кому сколько выдать колод. Разумеется, члены правления оставались не в обиде. Утверждения этого-то списка Лукич и ждал.

— Как, Тимофеич, твое согласие будет? — уверенно обратился он к пчеловоду, упустив из виду, что Тимофеичу дороже всего была именно пасека.

— Не будет согласия... — ответил Тимофеич. — А если гниль развели в омшанике, можно поставить колоды на зиму к гражданам, а весной собрать.

Лукич только руками развел:

— Кабы все были такие сознательные, как ты... Ну, а про себя как скажешь? Тут четыре колоды записано. Хватит?

— А я их в свое владение не возьму. На сохранение — можно, ежели колхоз даст подкормку.

Лукич еще не нашелся, как повернуть дело, а Белохатко уже прямо предложил: пасеку не разбазаривать.

Пришлось поставить вопрос на голосование. И вот тут подстерегала Лукича новая неожиданность. Телегин воздержался — он ни слова не сказал и руки не поднял. Голоса разделились поровну.

Лукич сманеврировал, обещал посоветоваться о пчелах в районе и предложил не писать в беловом протоколе.

## XXVII

Из Туночной явился сектантский голец, — рассказал, как Макаров был в гостях у «крестителя».

Новость пришла после разговора о пчелах. В этот долгий осенний вечер вязанье не давалось Лукичу. Он то-и-дело спускал петли. Экая жизнь началась сплошная — вертись и вертись, что сница в клетке! Тут подкапывался смутьян Макаров, там ссорились прожорливые и недружные сектанты, которых надо было готовить к большому делу. А, кроме колхоза, кроме странников, был еще Семин, безбожник и гордец, и перед ним — люб или не люб — приходилось ломать шапку. «Что и говорить, в тяжелый воз я впрягся, — думал Лукич. — Какова-то будет награда?».

Утром он поехал на дрожках в город.

Из-за хребтины Орлиной горы вынырнул навстречу ему велосипедист. Пугливый, задерганный иноходец захрапел и шарахнулся в сторону, едва не вывалил ездока в придорожную канаву.

Лукич потрепал иноходцу холку, шажком выехал на седловину перевала. Здесь он огляделся. Велосипедист подъезжал к плотине, вокруг не было ни души. Лукич привязал лошадь к дереву, взял за храп и стал бить черенком кнута по ушам, по брюху, по самым чувствительным местам. Насытившись местью, Лукич поехал дальше, кротко почмокивая, стараясь перевести озверевшую лошадь на спокойную иноходь.

Он застал в кабинете Семина нескольких посетителей. Обеспокоенно поглядывая на Лукича, председатель райисполкома быстро всех выпроводил.

— Ну, что еще у тебя? — спросил Семин. — Опять не ладится? Надоело. — Он капризничал.

Лукич смотрел на Семина с притворным сочувствием.

— Житья нет от Макарова. Поедом ест.

— Не уезжает?

— И не думает. Сил нет. Многие мечтают: вынести бы его из села ногами вперед.

Семину намек не понравился. Отпали бы все возведенные против Макарова обвинения, начались бы комиссии, следствия. Нет, Макарова нужно убрать законным путем, — сказал Семин. — Советская власть покарает Макарова как врага колхозного строя. А умные люди должны помочь разоблачить проходимца.

Лукич на этот раз говорил прямой, чем обычно:

— Ох, давненько нас обещаниями кормят. Обнадежили ведь вы нас. Мы высунулись, а теперь как же? А Макаров не ждет. Яму под меня роет. Рыщет по чужим деревням...

Лукич рассказал о поездке Макарова к «крестителю».

Семин долго молчал. По другую сторону стола — кругленький, тихий, воды не замутит, — сидел Лукич. Он был

противен Семину. Разглядывая свои розовые пальцы, Семин печально процедил сквозь зубы:

— Хорошо. Пускай граждане пришлют нам из Туночной заявление об этих встречах. «Крестителя» придется убрать. А с Макаровым не так просто. Действуйте. Больше я не хочу слышать никаких жалоб. Иначе я вообще откажусь от Теплых гор. И шантажировать меня не советую.

Прощаясь, Лукич сказал:

— За советы премного благодарны. А про шантаж обидно даже слышать. Разве я что-нибудь такое себе позволю? И страшать не надо бы. Извините за глупые слова, — читал я в книжке про лису, как она задумала кувшин со своей головы утопить. Кувшин-то, говорят, потонул, да и лису за собой потянул... До свиданья. Счастливо оставаться...

...Семин долго сидел в оцепенении. Этот жулик Лукич держался слишком развязно. И все же приходилось выручать его. Пройдоха верно оценил положение: он был кувшин на голове Семина.

Семин почти физически ощущал приближение гибели, как человек, погружающийся в трясину. «Провались они в тар-тарары, все враги и друзья!» — думал он. Он сидел, ссутулясь, при пульсирующем свете электрической лампы, пока не появилась в дверях сторожика с ведром и тряпкой. Семин с усилием выпрямил спину.

Блюстительница чистоты сокрушенно покачала головой:

— Все работает? Ах ты батюшки...

— Приходится, Марковна. — Семин улыбнулся с бездушной, начальственной вежливостью. — Ну, не буду вам мешать, теперь вы здесь главный командир.

Неторопливо, как человек, вполне довольный собой, он надел в рукава плащ, застегнул все до одной пуговицы, закрыл чернильницы медными колпачками и направился к двери, на ходу расправляя узким носком сапога складки дорожки.

Марковна проводила его сочувственными вздохами — этакий душевный и негордый начальник.

Фрина была пронизательней сторожика. Она встретила мужа восклицанием:

— Что с тобой, Семин? На тебе лица нет!

Застигнутый врасплох, он ответил грубо:

— Ты тут долежалась до одури.

Она тотчас приняла оборонительную позу:

— Ну, конечно, ты давно ищешь, к чему бы придраться. Ведь ненавидишь? Получил свое, а теперь ненавидишь. Так бы и сказал: «Убирайся, надоела». Так нет, надо комедию разыгрывать!

Он молча поужинал, а добравшись до постели, тотчас притворился уснувшим.

## XXVIII

Белохатко видел, что теперь даже самой наиглибнейшей работой не выручишь колхоз из беды. Волей-неволей приходилось «соображать политически».

Он съездил в Подгорск; к секретарю райкома не попал — сказали, что тот занят. Решил действовать с подходом. Вызнал, что районное начальство обещало побывать в заречном селе по случаю вручения акта на вечное пользование землей, явился туда к дальнему родственнику. На празднике долго похаживал вокруг Пустовойтова, не решаясь заговорить.

Начинались танцы. Девушка в вышитой кофте так отплясывала гопака, что Белохатко с тоской вспомнил молодые годы. Пустовойтов стоял впереди цепочки зрителей и солидно, значительно говорил какому-то отпускинику-командиру:

— Замечательная дивчина. Умница. Стахановка. Первая в колхозе применила удобрение полей куриным пометом.

Столько было важности во всей фигуре, в голосе Пустовойтова!

Снисходительно хлопнув ладошами, он поманил рослого парня, спросил:

— Где же твой комсомольский задор?

Парень пустился в пляс.

Теперь, пока секретарь не вернулся к важным своим рассуждениям, удобней всего было подступить к нему. Белохатко откашлялся и сказал неожиданно ослабшим голосом:

— Извиняюсь, товарищ ответственный секретарь, нельзя ли с вами поговорить? Очень желательно. А по случаю чего, что дельце есть небольшое.

## XXIX

— Говоришь, приехал посоветоваться? Хорошее дело, — благосклонно рассуждал Пустовойтов, сидя у окна, в уголке клуба, верхом на табуретке. — Мы, руководители, всегда прислушиваемся к голосу рядовиков. Стало быть, не хочешь за Макарова ходатайствовать? И за это хвалю. Я рад, что бекляшевцы раскусили этого человечка. Макаров не стоит, чтобы за него хлопотать.

Белохатко приглядел прядку волос, что украшала его лысое надлобье, острожно поправил:

— Я Макарова не стану чернить. Макаров сам по себе. Я на партийных собраниях с ним не бывал, — возможно, он где-нибудь не так высказался или еще что, — это не моего ума дело. А колхоз тоже сам по себе. Без Макарова мы как-нибудь проживем, а без колхоза нам всем придет край.

— Понятно. И что же мешает вашему колхозу? По глазам вижу — сейчас заговоришь про кладбище. Слышал. Думаю, ваш актив правильно рассуждает. Не кресты должны украшать въезд в колхозную деревню, а цветочные клумбы, высокоурожайные огороды, силосные башни. Старое руководство давало слишком много свободы представителям религии.

— Уж не без этого, — отозвался Белохатко. Ему показалось неудобно ставить под сомнение догадливость секретаря райкома и защищать кладбище.

И он перешел к делу. Сказал, что ему не нравится линия нового правления. Может ли он, беспартийный крестьянин, рассуждать об этом?

— А ты не стесняйся, — приободрил Пустовойтов.

— Да уж тут стесняться не приходится. Не в ту сторону тянет новый председатель. Я со своей стороны спросил бы — нельзя ли, например, послать к нам другого?

— Отлично. Вот что, дорогой това-

рищ, мысли твои очень благородны, и намерения у тебя, видать, честные. Могу только по-большевистски поблагодарить тебя. А теперь слушай да мотай на ус. В чем твоя ошибка? А вот в чем: сам того не желая, ты повторяешь демагогию разоблаченного вашего «вождя», который, благодаря бдительности нашей районной организации, предстал перед вами во всей неприглядной наготе. Становишься рупором Макарова. Мой совет тебе — помочь новому руководству вывести колхоз из тупика.

И Пустовойтов обстоятельно разрисовал, что это значит — вывести колхоз из тупика — и как это сделать. Но когда Белохатко заметил, что с Лукичем трудно будет чего-нибудь добиться, Пустовойтов разочаровался.

— И упрямы же вы в Теплых горах, — упрекнул Михаил Куприянович. Он считал своим долгом чутко выслушивать рядовиков, но обижался, если те перечили его наставлениям.

А так как Белохатко снова и снова возобновлял свои доказательства, то в конце-концов Михаил Куприянович повернулся к теплогорскому ходуку спиной.

## XXX

В те дни, когда Макаров ездил к «крестителю», Настя по пояс в ледяной воде перебрела на Сорочий остров и разыскала брошенную дегтекурочную печь. Короб был ловко замазан в кирпичные упоры, Настя узнала мотькину работу. Она взяла длинную слегу и развалила отсыревшую кирпичную кладку.

Воротясь с Сорочьего острова, Настя почувствовала озноб и головную боль, а назавтра свалилась. Пять дней пролежала она в полузабытии на своей узкой кровати между стеной и печкой.

Настя ясно понимала, что ее короткое счастье, а вместе с ним и молодость миновали. Оставаясь одна дома, она добиралась до окна, садилась на лавку и подолгу следила за улицей. Проходила под окнами девушка, улыбаясь чему-то своему, тайному, и Настя знала, что ей самой уже не улыбаясь так беззаботно и мечтательно. Во дворе напротив па-



рень-комбайнер перебирал лады гармо-ни. Наверное, он думал о любимой.

Пока Настя болела, родные обра-щались с ней сносно, но, как только Настя поднялась с постели, они ожесточились больше прежнего. Как будто она обманом добилась их временного расположе-ния.

Повадилась к Зотовым бабка Туры-сиха. Угощали ее не щедро, но слушали охотно. Хозяйке она объясняла сны:

— Темная вода — к хвори, жди. А собаки кусают — это недобрые люди. Мне самой одна приснился черный кобель с желтым усом, я глянула — ба-тושки, ведь это Кузьма Макаров.

Настя села на своей кровати, громко сказала:

— Во сне видеть — мало важности, к иному дому наяву бешеная собака при-вяжется, ни крестом, ни пестом ее не прогонишь, — вот такую в мешок бы завязать да в прорубь.

Степан стибом пальцев постучал по столу:

— Настасья!

Турьсиха любила разговаривать при закрытых ставнях, Настя нарочно открывала их. Старуха не терпела лишних людей, — Настя зазывала с улицы по-друг.

— И в кого ты такая ненавистница? — корила Настю невестка. А Степан — тот вовсе не разговаривал с ней.

Жизнь становилась невыносимой. И не видела Настя никакого просвета.

Новое правление колхоза не давало ей работы. Полученный на ее трудодни хлеб пошел в степановы лари, а самой Насте не на что было купить в лавке головных шпилек. Когда она попросила какую-то мелочь, брат грубо ответил:

— Сбегай к Макарову. Вы тут, акти-висты, нахозяйничали на нашу шею. Ва-ши племенные овечки всех колхозников объели.

Дошло до того, что, садясь обедать, родные не звали ее к столу.

### XXXI

Узнав о бедственном положении На-сти, к Зотовым зашла учительница. Она

застала Настю одну, быстро все вызна-ла и осталась ждать ее родных.

Невестка с детишками пришла только к обеду, она полоскала на пруду белье. Едва она собрала на стол, явился и Сте-пан. Он сразу почуял неладное.

— Садись, ешь,—сказал он Насте.— Жаловаться мы умеем, а старших ува-жать — нас нет. Гордость нас обуяла.

Пригласил он и учительницу, но та осталась сидеть в сторонке.

— Давно, однако, вы не бывали на родине, — сказал Степан, когда борщ был разлит по тарелкам. — Небось, на-доело тут.

— А я в прошлом году ездила и, знаете, соскучилась по деревне, — отве-тила Галя.

— Ну, скучать, поди, некогда. Город Ленинград не то, что наша деревня, — недоверчиво возразил Степан.

— Город по-своему хорош, деревня — по-своему, — примиряюще заметила Га-ля.

— Ничего хорошего у нас в деревне нет, — убежденно повторил Степан.

Из чувства такта учительница не ста-ла спорить.

— А я к Насте приходила, — сказа-ла она. — У нас через месяц техничка уходит в декретный отпуск, вот я и ищу, кто бы временно заменил ее. Уборка у нас небольшая. А жить, пожалуй, Настя могла бы при школе.

— А чего ей тут не живет? Небось, хлеб у нас не покупной... — насторожил-ся Степан. Он не хотел ссориться с людьми, которые снова могли взять си-лу. — Разве уж мы опротивели?

Настя поспешила разуверить его.

### XXXII

Обком партии все не отзывался на письма Макарова. Кузьма Ильич не вы-держал—отправился в областной центр. По дороге с вокзала он купил газету. Только-что прошел дождь, по желобкам вдоль трамвайных рельсов бежала вода. Макаров в своих сапожищах смело ша-гал по лужам. Он на ходу просмотрел первую и четвертую страницы и в конце газеты наткнулся на слово «Бекляше-во», стоявшее в заголовке заметки.

Он остановился посреди улицы. Люди толкали его, ругались, а он как остоленел. На этот раз от неизвестного писака досталось не только ему, но и Зайцеву. Ему — за овец, за «развал колхоза», Зайцеву за то, что он, приезжая в Теплые горы, всегда останавливался у Макарова и не сигнализировал о бекляшевских безобразиях. Макаров еще раз перечитал заметку; ничего благоприятного для себя он не нашел ни в словах, ни между строк. Он спросил прохожего, где редакция.

По каменной лестнице со сбитыми ступеньками он поднялся на третий этаж. В темном коридоре было пустынно, за высокими дверями рабочих комнат — глухо. Бойкая девушка, перебегающая из дверей в двери, не останавливаясь, ответила ему:

— Редактор на совещании, сейчас кончится.

В темноте Макаров нашел дощатый диванчик. Сидеть пришлось недолго. В конце коридора широко раскрылись двери, послышался человеческий гомон. Прямо на Макарова шел здоровенный дядя, чуть не выбивая каблуками шашки паркета.

— Я буду главный редактор, — ответил он Макарову. — Но вы извините, я еду к секретарям районных газет, разговаривать сейчас не могу. Именно я нужен?

— Тут вы напечатали статейку, — начал было Макаров, но редактор подхватил с полфразы:

— Когда?

— Нынче.

— О чем?

— Я из Теплых гор, то-есть из Бекляшева, Макаров.

— Ма-ка-ров!

Редактор открыл дверь в одну из комнат, взглянул на стенные часы. Придержал дверь и окинул глазами Кузьму Ильича.

— Что же вы хотите? Не согласны с заметкой?

Голос редактора показался Макарову грубоватым.

— Не согласен, — ответил Макаров с достоинством.

— Что поделаешь! А я только-что

на совещании хвалил заметку. Вас из партии исключили?

— Ну, исключили.

— За что?

— За здорово живешь.

— А конкретней. С какой формулировкой?

— Формулировка важная. Там и развал, и связь с сектантами.

— В чем выражалась связь?

— А ни в чем. Под одним солнцем портянки сушил. Жена у меня верующая.

— За это же исключают.

— Смотря где.

— Видать, на ходу мы не сговоримся. Долго здесь пробудете?

— Дело покажет.

— Что ж, гражданин Макаров, заходите.

Редактор уже свернул было на лестницу, но опять показался и буркнул все так же недружелюбно:

— Постараемся разобраться беспристрастно.

Макаров решил не заходить сюда. «Ну, и бурбон, — подумал он о редакторе, — нет уж, без него добыюсь правды».

...В первый день Макарову не удалось даже получить пропуск в обком партии. До вечера проторчал он в комендатуре, у телефона. Какая-то барышня отвечала ему развязно и бесцеремонно:

— Другой месяц ждете? Ну, и что из того? У нас письма и по три месяца лежат неотвеченные. Чего такое? Безобразие? Вы, гражданин, не забываете, где находитесь... — И трубка была повешена.

Макаров звонил помощнику секретаря обкома, потом опять той же девушке. Она ответила обиженным тоном, что он напрасно нервничает, надо не жаловаться, а толком спрашивать. Апелляция находится у партследователя. Не все ли равно, как его фамилия. Следовательно скоро придет и сам поговорит по телефону, а пропуск пока не нужен Макарову.

Кузьма Ильич позвонил через час, потом еще и еще. Занятия кончились, уже никто не снимал трубки, и Кузьма Ильич, усталый и обозленный, вернулся в

неуютное общежитие дешевой гостиницы.

Покидая Теплые горы, Макаров рассчитывал «провернуть» все дело в три дня, но только на третий день попал на прием к партследователю, и то лишь при поддержке Бориса Ефимыча, к которому Кузьма Ильич обратился на второй день пребывания в городе.

Макаров боялся, что начальник областного отдела не вспомнит его. А тот встретил дружески, угостил в своем роскошном кабинете чаем с бутербродами. Борис Ефимыч сказал, что только накануне из газеты он узнал об исключении Макарова из партии. Он стал спрашивать, как Макарова исключили, кто какую занял позицию. Двуличное поведение Семина возмутило его до глубины души. Тут же, при Макарове, Борис Ефимыч позвонил кому-то в обком и рассказал о мытарствах Кузьмы Ильича.

— Существа дела я сейчас не касаюсь, — заявил Борис Ефимыч. — Пусть со мной свяжутся — я сообщу все, что знаю. Но — виноват человек или нет — нельзя издеваться над ним!

Макарову не понравилось, что Борис Ефимыч отмахнулся от существа дела, но тот спокойно ответил, что никакие материалы не могут изменить его отношение к организатору замечательного хозяйства в горах.

На другое утро ненавистная Макарову девица говорила с ним извиняющимся тоном. Ему тотчас дали пропуск. Партследователь — внушительных манер, но, видимо, нехрабрый — только теперь прочитал письма Макарова. Ссылка на Бориса Ефимыча расположила его в пользу Кузьмы Ильича. Он спрашивал у Макарова не только о действительных или мнимых проступках, но и о прошлых заслугах — накапливал факты, характеризующие его с хорошей стороны. Следователь обещал немедленно доложить о деле Макарова одному из секретарей обкома и связаться с Борисом Ефимычем. Он считал, что в течение ближайших трех-четырех дней дело будет разобрано на бюро обкома.

— Можно надеяться? — спросил Макаров.

— Вопрос решаю не я. — Следова-

тель извиняюще улынулся. — Вы чувствуете за собой серьезную вину? Нет? Ну, и отлично.

### XXXIII

В этот день и партследователь, и барышня у телефона обходились с Кузьмой Ильичом так, словно им самим доставляло огромное удовольствие способствовать восстановлению его в партии. Но уже на другой день они вновь охладели к Макарову. Следователь говорил скучным голосом: да, он изучает макаровское дело, но не от него зависят сроки обсуждения. И смотрел так, как будто хотел добавить: «Стыдно! Стыдно!». А чего стыдиться — Кузьма Ильич не знал.

Потом ему не выдали пропуска. Барышня не хотела позвать к телефону старичка, вышедшего в соседнюю комнату, и Макаров битых два часа дежурил у аппарата в комендатуре. Наконец ему сказали, что дело сейчас не может быть разобрано — слишком много темных мест. И все. Снова Кузьма Ильич оказался перед глухой стеной. Он звонил по всем телефонам — никакого результата. Один только Борис Ефимыч посочувствовал Макарову. Но... что поделаешь, теперь подобные дела разбирают чересчур тщательно, он бы сказал — придирчиво. Значит, появились какие-то сомнения.

Так Макаров потерял целую неделю. На дорогу ему Поля набрала займы сто рублей, все эти деньги вылетели. А он еще обещал купить сынишке зимнее пальто.

...Макаров выписался из гостиницы с утра, хотя поезд уходил поздно вечером. В кармане у него оставалось сорок копеек. Поехать зайцем? Он не боялся позора. Но как же с пальтишком? Васек был болен. «Продам свое» — решил Макаров. На нем был грубошерстный пиджак с цигейковым воротником и цигейковая же шапка. «Доберусь какнибудь» — успокоил он себя.

Макаров нашел огромный пустырь, посреди которого, между рядами дощатых лавок, медленно ворошилась толпа. Он зашел на скупочный пункт. Моло-

дой, лобастый татарин долго вертел в руках его одежду и вернул с разочарованным видом.

— Не годится? — спросил Макаров.

— Пятнадцать рублей. По таксе. Рукава потерты — на шапки пойдет. Для себя возьму за двадцать.

Макаров пошел на толкучку.

Здесь к нему сразу подлетел низенький, небритый человечек в измятой железнодорожной фуражке, утащил Макарова за палатки мясного ряда, к забору.

— Две красненьких.

— Пятьдесят, — сказал Макаров.

— Тридцать. Пока не увидали.

— Сорок пять. Ведь с шапкой. Пускай глядят — не краденое.

— Шапка — ерунда. Не знаешь порядков? Оштрафуют.

— Коли ерунда, — пускай у меня останется.

— Из деревни? — спросил спекулянт.

— Из Подгорского района. Теплые горы — слышал?

— Семечки у вас сеют?

— Лучшие наших подсолнухов нет, — ответил Макаров с невольной гордостью.

— Можно достать?

— Как сумеешь.

Семечки заинтересовали спекулянта, он опять стал рядиться и в конце концов дал сорок пять рублей.

Тотчас появился юркий юноша и унес пиджак Макарова через боковую калитку.

— На той неделе приеду. Ты там поспрошай семечек-то, — заговорил спекулянт тоном сообщника.

Макаров дал волю своему гневу:

— Приезжай, приезжай — в милиции места хватит. Нет уж, теплогорских семечек не увидишь ты, как своих ушей.

Купив в магазине пальтишко сыну, Макаров — терять ему нечего было — пошел в редакцию. Но прежде чем войти в трехэтажный дом, он обогрелся по соседству в магазине. Он не хотел подкупать кого-нибудь своим жалким видом.

Редактор разговаривал с ним часа полтора. Рассуждения Макарова о хозяйстве заинтересовали редактора.

Оживился и Кузьма Ильич.

— Дайте одному человеку только руки, другому — только ноги, третьему — только голову, — все трое не будут стоить одного настоящего человека. Так и колхозы, если один будет заниматься зерном, а другой — скотом, третий — садами, — калеки получатся, а не колхозы.

— А что вышло у вас на практике?

— Да уж могу речительство дать, Теплые горы прогремели бы на весь СССР. Да вы спросите этого, начальника земотдела.

— Борис Ефимыч хорошо вас знает? — спросил редактор, многозначительно подчеркнув слово «хорошо».

— Он приезжал по моей телеграмме насчет лугов.

— И что же?

— Очень хорошо помог. Спасибо.

— Значит, помог? Он и Зайцева хорошо знает?

— А как же.

Редактор насупился.

— Что ж, гражданин Макаров, езжайте. Если считаете себя невиновным, действуйте, добивайтесь реабилитации.

— Ну, а заметка?

— Что ж, заметка не кажется мне неправильной, а дальше — посмотрим.

Макаров долго сидел, понурившись. Редактор перебирал бумаги.

— Знаете, дорогой товарищ, — с горьким упреком заговорил Кузьма Ильич, — неправильно вы все поступаете.

— Кто же именно?

— Да хотя бы и вы. Все в прятки со мной играете. Лови, мол, Макаров, правду с завязанными глазами. Оплевать человека можно, не задумываясь, а выслушать его, — так нет. Этот хочет подождать, у другого какие-то материалы есть. Он на бумагах, извините, и сидит — цыплат выводит. Нет! — Макаров гордо выпрямился. — Если есть на меня материалы, ты и меня послушай, что я скажу.

Редактор присматривался к нему с интересом.

— Кто же прячет от вас компрометирующие материалы?

— Партийный следователь, вот кто, — твердо ответил Макаров. Недоверчиво пожав плечами, редактор взял телефонную трубку.

— Тут у меня сидит Макаров,—сказал он партследователю.— Да, из Бекляшева. В каком положении его дело?

Кузьма Ильич долго слушал невнятное верещание телефонной трубки.

Окончив разговор, редактор спросил Макарова:

— Вы с сектантскими активистами встречались?

— Я уже говорил. Моя жена—бегунской веры.

— Речь идет не о жене.

— Я с ними всегда боролся.

— Значит, всегда боролись. И никакой связи с ними не держите?

Макаров задумался. Что этому человеку было нужно?

— Не держу, — ответил он в раздумье. — Правда, ездил я недавно к одному. К бывшему «крестителю», в деревню Туночную...

— Значит, ездили все-таки? И зачем же? Он что, сродни вам?

Макаров понял, что именно об этой его поездке знал редактор.

— Ездил потому, что Леонидушка от сектантов отошел. Я думал, не поможет ли он нам в борьбе.

— Даже так? — иронически усмехнулся редактор.

— Да, так.

— И затея удалась вам?

— Есть надежда.

— И кто же вам поручил вести работу с бывшим «крестителем»?

— Мне теперь не поручают, а мешают. Я сам.

— Никому не сказавшись?

— Говорил кой с кем. С Зайцевым говорил.

— Все с тем же Зайцевым?

— С ним.

— Да... Что ж, гражданин Макаров, вы сами, должно быть, видите — дело ваше не из простых. В нем с налету не разберешься.

Макаров вздохнул:

— О-ох! Ладно. И на том спасибо.— И, еле волоча ноги, вышел.

#### XXXIV

Редактор был человек новый в области, всего лишь месяц назад он пере-

ехал из Донецкого бассейна с путевкой ЦК партии. Его, недавнего забойщика, взяли из редакции многотиражки и послали с большими, сложными заданиями. В ЦК один из руководителей партии сказал ему:

— Мы посылаем вас не для того, чтобы вы охраняли или раздували репутацию какого-нибудь Александра Ивановича или Ивана Венедиктовича. Сообразуйте свою работу только с интересами народа, судите о людях только по их преданности партии и народу. Отметайте все наносное. Иногда у нас пытаются похоронить живого человека под ворохом мусора и вздора. Смелотравите охотников до таких развлечений. Держитесь твердо. Помните: ваше выдвижение как шахтера, выросшего на низовой работе, поддержал товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович желает вам успеха в работе и доброго здоровья.

Редактор мечтал о таких осязательных победах, каких добивался на шахтах, когда из декады в декаду росла подача угля на-гора.

Но вот прошел уже месяц, а редактор все еще не видел результатов своей новой деятельности.

Жил он беспорядочно. Семья еще не приехала к нему — болела жена. Он занимал в гостинице неудобную комнату, питался бутербродами. Домой возвращался на рассвете и ложился спать впроголодь.

В работе было много общего с бытом. Та же неустроенность, то же самоощущение случайного человека на чужом месте.

В одном он не сомневался: областное руководство было засорено. Слишком много делалось здесь за кулисами, путем тайного сговора. Стоило выступить с критикой негодного работника, как редактор немедленно наткнулся на рогатку, причем не мог даже хорошенько понять, кто и почему с ним не согласен. У него зародились сомнения в честности некоторых очень высоких местных персон. Судя по всему, сомнения были и в Москве; и если в ЦК говорили об условном Александре Ивано-

виче, то он очень походил на реально-го Александра Венедиктовича.

Между тем люди, в которых сомневался редактор, спешили выбросить его из области. С ним обращались высокомерно, презрительно. Редактор часто приводил в пример свою шахту. Из этой привычки сделали анекдот. Говоря о крупных политических событиях или о международных делах, руководители области прибавляли в тоне фальшиво-дружелюбной шутки: «Это что! То ли дело у нас на шахте...». Они старались внушить редактору, что он человек маленький и так и останется пигмеем, если не пойдет в подручные к Александру Венедиктовичу.

Когда новый руководитель стал вводить дисциплину в редакции, пошли разговоры, что он хочет творческий коллектив превратить в канцелярию, а газету — в казенные ведомости. Двоих уволенных им работников обком партии немедленно восстановил в прежних должностях. В коллективе создалось впечатление, что партийный авторитет редактора невелик, и это еще больше затруднило его положение. Однажды в руках одного из сотрудников редактор увидел следку, завернутую в селькоровское письмо. При помощи «легкой кавалерии» он обнаружил в редакционных столах залежи нескрытых конвертов. Редактор понял, что именно сигналы с мест могут навести его на правильный путь, и стал сам просматривать ежедневную почту. Заметка о Макарове была одной из первых, какие он выделил. Редактор говорил об этой заметке на совещании. Вот, мол, что значит прислушиваться к голосу трудящихся.

И вот пришел к нему бывший бекляшевский председатель, человек, исключенный из партии за темные дела, попытался опорочить заметку да еще ссылался при этом на авторитет начальника земотдела. А редактор считал Бориса Ефимыча политическим шулером.

Разговор с партследователем внес новую путаницу.

Партследователь сказал про Макарова:

— Жулик. Проходимец. Ссылался здесь на Бориса Ефимыча, а тот дал ему уничтожающую характеристику.

Проводив Макарова, редактор долго не мог сосредоточиться на заметках. Отрицательная характеристика, данная Макарову начальником земотдела, имела в глазах редактора обратное значение. Подкупала и личность самого Макарова. Нельзя было отмахнуться от этого человека. Редактор потребовал бекляшевское письмо. Прягавшийся за псевдонимом автор был Чеготаев, — может быть, тот самый, о котором Макаров отзывался очень скверно. Редактор вызвал сотрудника и предложил съездить в Теплые горы.

— Правильно! — кивнул слишком расторопный сотрудник.—Опровергает? Еще раз стукнем.

Но редактор ответил строго:

— Жизнь надо изучать беспристрастно. А выезжать на места с готовым мнением — значит попустому загружать железнодорожный транспорт.

### XXXV

С веранды больницы через деревья палисадника виден был весь Подгорск. На первом плане зеленела широкая площадь. Однажды утром она заполнилась народом. Было солнечно, больные, накрывшись одеялами, выползли из палаты. Даже Беляеву врач разрешил посидеть под открытым небом. Няня и санитар вывели Николая Ивановича под руки и усадили в тени, которую отбрасывала на веранду вершина тополя. На площади, на сколоченные из досок подмости, поднялись люди, разноголосо гудевшая толпа умолкла, заиграла музыка. Могуче и широко разносились под высоким и ярким осенним небом стройные звуки. Потом кто-то, взявшись обеими руками за перила, выкрикнул с трибуны высоким, звонким голосом:

— Товарищи! На полях Испании льется кровь наших братьев трудящихся...

Дальше уже нельзя было разобрать речи, лишь изредка долетали отдельные слова.

Беляев оживился, вместе с толпой кричал «ура». Но, когда митинг окончился, ему стало плохо. Он сидел с закрытыми глазами, желваки на его шее пульсировали редко и неровно.

Его перенесли на кровать. Прибежал толстяк Яков Яковлевич, стал упрекать.

— Как же это вы, мой милый! Этак мы никогда не встанем. Я и лечить вас откажусь.

Больной, еще очень слабый после обморока, отворачивался.

— К чему пустые слова,— говорил он с расстановкой.— Вы же сами прекрасно знаете... А мне охота забыть это хоть на полчаса.

— Давно ли хворь терзает тебя?— спросил ночью Досифей, заметив, что сосед не спит.

— Давно. Смешной я человек. Простудился когда-то. Попусту.

— На войне?

— Если бы хоть на войне,— усмехнулся Беляев.— Так, по глупости. Я и на войну не доехал. Записался в добровольцы, да ничего у меня не вышло. Попал в комсомольский продотряд. Мне тогда семнадцать лет было, я мандаты носил в кармане, бумаги — во! — не меньше больничной простыни. Пришлось через речку переправляться. Мост далеко. А ведь надо свою личность показать — давай вброд. Обсудиться на другом берегу не пришлось. Ну, ревматизм, порок сердца, и пошло...

— Скоро ли встанешь? — спросил Досифей.

Николай Иванович долго молчал.

— А я не очень тороплюсь, — ответил он с горькой усмешкой. — Хочу с веранды посмотреть на октябрьский праздник...

Утром Николая Ивановича усадили в кресло на колесиках и увезли куда-то по коридору. Это повторялось через день.

Усатый спросил Досифея:

— О чем вы тут ночью шептались?

— О страстях мирских,— ответил Досифей.

Усатый вздохнул.

— Хороший человек Николай Ива-

нович, а не встанет. Не встанет, и думать нечего, где там встать. У него уж не сердце, а так, тряпочка. Все врачи говорят. Да он и сам знает.

Досифей в смятении и страхе отвернулся к стене и заплакал. Ему открылось, что хорошим можно быть не только для бога, но и ради людей. Ведь вот даже перед лицом смерти Николай Иванович с любовью вспоминал обо всем, что сделал или пытался сделать.

С этого дня Досифей примирился с мыслью, что, когда выздоровеет, будет жить в миру. Правда, он и в миру намеревался исполнять требования бегунского устава.

### XXXVI

Больничная няня велела Досифею выйти в палисадник. Как приятно шуршали в это утро палье листья, как оглушительно кричали на деревьях скворцы! На скамейках никого не было.

За углом больничного корпуса начиналась большой фруктовый сад. Оттуда донесся притворно ласковый старушечий голос.

— Иди, иди сюда, болезный, страдалец мой...

И Досифей пошел. Все погибло! Теперь он понял, что всегда боялся минуты, когда братья позовут его на свой суровый суд.

Турсыиха уходила в глубину сада. Уже Досифей видел глухой, заросший бурьяном переулочек.

У покосившегося забора дворник сгребал листья. Турсыиха остановилась. Иссохшими пальцами ушпинула через халат руку Досифея, затрясла головой, запричитала:

— Облекся в сатанинские ризы? Греховную пищу принимаешь? Весь в грехе. — Всклинула, продолжала жалобно: — Сна я через тебя лишилась, болезный. Все видятся мне бесы. Будто лежишь ты, миленький, в саване, а они кругом тебя скачут, а сами хватают тебя за язык раскаленными клещами и тянут, тянут. Неужто осилили? Неужто сказал ты им тайны о братьях своих, ругательски надругался над матерью своей — пустыней?

Досифей отрицательно качнул головой. Старуха рванулась ему навстречу:

— Так и вперед молчи, миленький. Молчи. Мол-чи! То-то я слышу — бесы пляшут, пляшут, а потом схватятся рыдать, и уж так они рыдают. Молчи, деточка, — бесы-то слезами изойдут. На вот, милый, праведной пищи отведай. Выгонишь бесов из нутря. Самый страшный бес, который в нутре сидит!

Турысиха достала из-за пазухи пресную лепешку, пошептала над ней, перекрестилась, подала Досифею, заставила тут же съесть. А потом отпустила. Велела уповать на бога и ждать.

Когда Досифей, осунувшийся и несчастный, притащился в палату, Николай Иванович стал спрашивать:

— Что с тобой? Расскажи, кто тебя звал-то?

Досифей не ответил. Ему тягостно было среди людей, добротой которых он так долго пользовался. Он вышел на веранду и долго сидел здесь на белой табуретке. Мысли его блуждали по всем тем местам, где когда-либо он побывал, в памяти мелькали знакомые лица. Но потом все стало затуманиваться. Что-то больно давило на глазные яблоки. Досифей с усилием огляделся. Он увидел в углу ворох палых листьев, но сейчас же вдруг листья превратились в бутоны цветов. Досифей протянул к ним руку и вдруг догадался, что это не цветы, а горящие уголья. Он хотел бежать, но силы изменили ему, и он полетел в открывшуюся перед ним пропасть, туда, где жарко горели уголья...

Среди ночи Досифей пришел в сознание. Возле него суетились врачи в белых халатах. Между ними почему-то был Николай Иванович.

— Кто тебя беленой-то угостил, приятель? — спросил Николай Иванович. — Говори скорее, что там за старуха приходила?

Досифей стиснул зубы, чтобы не проговориться. Опять забыть напывало на него жарким туманом.

На рассвете он умер.

## XXXVII

Казалось бы, Макаров должны были опротиветь родные места, где он пертерпел столько несправедливых обид. А нет, всякий раз с волнением возвращался он в Теплые горы.

Он подошел к деревне около полудня.

Разведрилось, восточный ветер-подзимок коробил и скручивал палые листья на обочинах дороги. В деревне еще курились поздние трубы. Длинными витками поднимался дым из котловины и тянулся с ветром через седловину Орлиной горы. Макаров жадно вдыхал горьковатый, пряный запах дыма. Прерывисто горланили молодые петухи, было свежо и тихо, как на заре, и кочеты, должно быть, потеряли меру времени. Ослепительно зеленели озими на бугре — они уже достаточно окрепли, чтобы уйти под снег.

Нет, не мог Макаров разлюбить эту милую землю!

За плотиной он свернул на стежку. Местами ее размыло дождями, приходилось цепляться за изгороди, чтобы не оборваться в пруд. Со своего огорода Макаров увидел Полю. Она стояла за калиткой и смотрела вдоль улицы. Ветер шевелил ее непокрытые волосы. Давно ли эти русые, с медным оттенком волосы спускались до пояса двумя тяжелыми, туго заплетенными косами, и вот уже иссохли они и посекались, и Поля уже не ждет, как бывало, чтобы Макаров любовался ими. Она озабочена долгим отсутствием мужа и высматривает его на дороге. Макарову захотелось хоть на минуту забыть все неудачи, улыбнуться, как встарь, любимой женщине и увидеть ответную улыбку.

Он незаметно прокрался в дом. Он решил надеть на сынишку новое пальто, а потом уже постучать Поле в окошко. Осторожно открыл он дверь в горницу, приподнял на петлях, чтобы не скрипнула.

Васек лежал с забинтованной головой. На осунувшихся щеках тлеи летучие пятна румянца.

И тотчас же вслед за Макаровым



вошла Поля, точно ей на ухо шепнули, что он дома.

— Как твое здоровье, сынок? — спросил Макаров с деланной беспечностью.

Васек, не отвечая, смотрел на отца жалующимися глазами.

— Плохо слышит, — прошептала Поля.

— Наш папаня приехал, Васенька, — добавила она громко.

— Я знаю, — ответил Васек тихо. — Вон он стоит.

Этот вялый, безразличный тон испугал Макарова.

Когда Макаров надел на сынишку пальто, Васек оживился, сел, несколько минут говорил торопливо, захлебываясь, как бывало, но вскоре устал, прилег на подушку и задремал. Поля осторожно высвободила его худые ручки из рукавов, отвернулась, закрылась пальтишком и беззвучно заплакала.

Кузьма Ильич долго стоял у окна, наблюдал игру мальчишек. Это было равнодушие усталости.

Макарову казалось, что больше он не в силах бороться. Противник походил на сказочного дракона, который от каждого удара делается сильнее. На пути из области Макаров останавливался в Туночной. Манефа едва не выцарапала ему глаза. После его первого визита начальник милиции, угрожая арестом, предложил Леонидушке убраться куда-нибудь подальше. И «креститель» уехал на Беломорский канал вольнонаемным рабочим.

— Ты зачем на него властям набрехал? — кричала Макарову Манефа.

... А тут Васек снова расхворался. «Гори все кругом, пальцем не шевельну» — думал Макаров.

В эту ночь углы стекол затянуло ледяной пленкой.

### XXXVIII

Утром приехал Лялин — смотреть кладбище. Бекляшевцы заволновались, особенно женщины.

Народ заполнил межмогильные дорожки. Лялин шагал прямо по холмикам, покуривая, прижимая локтевым стибом портфель. Перебивая друг дру-

га, женщины о чем-то кричали, Лялин отшучивался:

— Обождите, какие тут дыни вырастут сладкие! — Вот он взялся за перекладину покосившегося креста. Послышались предостерегающие крики:

— Не трожь, не трожь, мы — сами.

Лялин раскачал крест и ногой повалил на землю. На мгновение толпа онемела, потом взвился, перекинулся через горы и лес внезапный женский крик. Ахнула, колыхнулась толпа и скрыла в недрах своих человека в кожаной тулупке. Старушечий голос выкрикнул:

— Бейте их, антихристов, коммунистов! Бейте, родненькие!

Этот выкрик и спас Лялина. Люди почувствовали, чьим оружием они могли стать. Толпа отпрянула.

Перескочив из своего огорода через плетень, Макаров бросился за овраг, с разбегу едва не сшиб Лялина.

— Ах ты, дубина! — выругался Макаров. — Ах ты, остолоп! Ты думаешь — затем права тебе даны, чтобы вытворять безобразия?

Толпа загомонила, успокаиваясь. Так гомонит галочья стая, отогнав сороку.

Лялин, только-что перед этим струсивший, теперь приосанился, не без гонора ответил:

— А ты, гражданин Макаров, не забывайся, с кем разговариваешь. Я тебе не зря какой-нибудь человек... Всем вам, граждане, придется ответить, — пригрозил он толпе. — А что дрова тут понатыканы, мы их — долой, а землю — под капусту.

Толпа отвечала нестройно:

— Ишь, важный какой!

— Все одно мы тебя с должности спихнем, балабона!

Лялин привязал к изгороди калитку. С аппетитом подышал на медную печатку, расплюснул ею комок теплого сургуча на концах бечевы, нате, мол, получайте!

Развалясь на двуколке, уехал.

### XXXIX

Вечером 1 ноября Михаил Куприянович позвонил из кабинета в кабинет по телефону и позвал Зайцева. Когда

второй секретарь явился, Михаил Куприянович мелкими шажками ходил по комнате. Остановиваясь то у раскрытого несгораемого шкафа, то у письменного стола с выдвинутыми ящиками, он находил какую-нибудь бумажку, просматривал и засовывал в раздувшийся портфель. Вид у него был озабоченный и несколько торжественный.

Кивком головы Пустовойтов указал на диван. Зайцев сел.

— В области работает комиссия ЦК, — начал Михаил Куприянович многозначительно. Он любил щегольнуть своей осведомленностью. — Замечаешь, областная печать уже кричит о засоренности организации. Ты имеешь случай лишний раз убедиться в дальновидности Пустовойтова. Как кому, а нам есть что сказать о борьбе за очищение наших рядов. — Он остановился перед Зайцевым лицом к лицу, готовый выслушать раскаяние и простить. — Мы с Семиным едем в обком, на расширенный пленум. Район оставляю на тебя. Надеюсь...

Зайцев молча рассматривал сапоги Михаила Куприяновича. Пустовойтов выпрямился и закончил сухо:

— Надеюсь, ты тут обойдешься без отсебятины.

Выслушивая наставления, Зайцев думал не о Подгортске, — о пленуме. Можно было ждать, что Пустовойтов козырнет и там расправой над Макаровым. Не исключено, что теплогорская история попадет в резолюцию, и тогда долго не добьешься, чтобы на дело Кузьмы Ильича посмотрели новыми глазами.

Зайцев уже не был добряком и тихоней. С тех пор, как он решил, что, защищая Макарова, он отстаивает интересы партии, Зайцев стал непреклонен. И на этот раз он подтвердил свою прежнюю точку зрения. Пустовойтов оборвал разговор — эта музыка ему наскучила. Но Зайцев вернулся из коридора, сел на прежнее место и сказал, что хотел бы поехать на пленум вместо Семина.

С трудом подавляя грубый гнев, Михаил Куприянович возразил ядовито: — К сожалению, на пленумы ездят

не те, «кому хочется», а те, кто там нужен.

Зайцев подошел к телефону. Жалкое, зависимое положение его в райкоме простиралось до того, что его собственный телефон не соединялся с загородными линиями. Но теперь он не стеснялся. Из кабинета Пустовойтова он вызвал обком, руководителя комиссии ЦК и стал объяснять, почему необходимо ему быть на пленуме. Он не согласен с некоторыми принятыми в Подгортске решениями. Он берется доказать, что они несправедливы и приняты под давлением Пустовойтова и Семина.

Руководитель комиссии обещал поговорить в обкоме. Зайцев ушел, не взглянув на Пустовойтова. Тот тоже отвел глаза.

Ночью пришла телеграмма. На пленум вместо Семина вызывался Зайцев.

## XL

Докладывая пленуму об итогах сельскохозяйственного года, Борис Ефимыч к месту процитировал стихи Некрасова о трагедии крестьянина, у которого пала лошадь, отсюда ловко перекинул мост к письму комбайнера: юноша спрашивал, где купить автомобиль. Начальник областного отдела туго начинил свой доклад цифрами, в общем благоприятными, ласкающими ухо. Шельмовал бюрократов. Деятели одного района так полюбили «спускать в низы» длинные директивные письма, что технический аппарат ну просто изнемогал, пока хитрый управдел не догадался рассылать остатки прошлогодних бумаг на те же темы — зябь, уборка. При проверке оказалось, что они мало чем отличались от новых.

Первые два оратора пошли за докладчиком — сообщили новые ласкающие ухо цифры и безобидные анекдоты.

В зале шептались, поглядывали на представителя Москвы — ждали, что он даст прениям нужный тон. В это время слово получил Зайцев. Он еще пробирался между скамейками, а его уже начали клевать.

— Не забудь про сектантов!

— Говорят, иные подгорские коммунисты заделались сектантскими благодетелями?

Поднимаясь на трибуну, Зайцев споткнулся и рассыпал листки с записями. По залу грокатился холодный смешок. Зайцев присел, стал собирать листки. Руки у него дрожали.

— Расскажи про своего дружка Макарова, — закричал кто-то.

Это был спасительный якорь для скромного подгорского работника. Зайцев сунул скомканные бумажки в карман и заявил, принимая вызов:

— Я затем и приехал, чтобы сказать про товарища Макарова.

## ХLI

Зайцев начал с признания: действительно, в иных селах Подгорского района сектанты сели на шею колхозникам. Судя по репликам, все помнят заметку областной газеты. Товарищ редактор не ошибся, заинтересовавшись Подгорским районом. Тут Зайцев повысил голос.

Одна беда: редактор повел обстрел вслепую. Р-раз! — бабахнул по Макарову. Конечно, это не опасно: Макаров исключен из партии, оплеван, защищаться ему трудно. Правда, он, этот Макаров, создал образцовый колхоз в отсталом сектантском селе, но в Подгорске уговорились забыть это. Колхозом уже руководит новый человек...

Зал слушал настороженно. В задних рядах некоторые приставили к уху ладони. Зайцев передохнул, огляделся и перешел в наступление. Макарова сняли. А кого послали в Теплые горы? Человека, которого не знают ни колхозники, ни партийная организация района. И что принес этот человек? Замечательное хозяйство покатило под гору. Зайцев привел несколько цифр. Падеш овец, развал пчеловодческой фермы, массовые невыходы на работу — признак разочарования колхозников, вот новое в жизни Теплых гор.

— Надо же совесть знать! — выкрикнул с места Пустовойтов. — Овечья чума когда появилась?

Зайцев дал залу переволноваться и заговорил еще жарче. Он признал, что овечья чума появилась при Макарове. Но овцы пришли из совхоза. Правда, все привыкли слышать похвалы этому совхозу. Сегодня докладчик опять восторгался им. Но Макаров настаивает, что овцы пришли зараженные. Почему мы отказываемся проверить это? Макаров трижды заслужил доверие уже после того, как его опозорили. Вопреки всему он остается в родных Теплых горах. Около него сгруппировались люди, которым дорог колхоз. А когда он приходит в райком за поддержкой, Пустовойтов грозит ему решеткой. И вот в этой обстановке областная газета открыла огонь по Макарову же.

— Пошла настоящая травля! — Зайцев не говорил, он выкрикивал слова: — Сектанты виснут на Макарове, как собаки на медведе, вцепились в самое горло. Макаров хочет стряхнуть их, а мы его по лбу — тррах!

За столом президиума вскинулся, как пружиной подброшенный, Борис Ефимыч.

— Это — вражеское глумление над партией!

## ХLII

Борис Ефимыч слыл сильнейшим забиякой, было принято восхищаться его репликами. Зайцев осекся, обернулся к столу президиума. Уже Александр Венедиктович потянулся рукой к колокольчику (истекло время?) и склонился к представителю Москвы. Но представитель неодобрительно пожал плечами, и рука оставила колокольчик. Зайцев опомнился. Что ж, крик Бориса Ефимыча — признак его нервозности и только. Зайцев вытер лоб платком.

— Я обвиняю не партию, а некоторых лиц с партийными билетами в кармане, — начал он хрипло. — Я кое-что знаю про одну такую личность, которая прикидывается другом, а из-за угла обливает Макарова помоями.

— Гнусная ложь! — прервал Борис Ефимыч.

Зайцев обернулся и медленно, нараспев спросил:

— А почему вы узнали, что я про вас?

По залу короткой волной прокатился восхищенный смешок. Ну, и режет, ну и режет этот подгорский протак!

Зайцев видел, что теперь уже не только правда, но и сила на его стороне. Он не спешил. Сказал, что не будет подражать редактору и стрелять вслепую. Что, несмотря на замечку, он не считает редактора «главной опасностью». Даже признает, что газета стала лучше, зубастей.

Он, Зайцев, хочет довести до конца разговор с докладчиком.

— Хотя Борис Ефимыч, видать, недолюбливает Теплые горы, я хочу еще одно дело ему напомнить — про заливные луга.

— Нет, почему не любить, — Борис Ефимыч вежливо развел руками. — Вы там, ну, как бы помягче сказать, начудили, а Борис Ефимыч подхватил сигнал Макарова, примчался, сломя голову, в Теплые горы, луга были спасены.

— Со-вер-шен-но верно! И мы проводили вас, хлопая ладонями и ушами. Но я хочу продолжить воспоминания. Директива о распашке лугов пришла из области. И хотя Макаров доказал, что это вредительская директива, — мы не слышали, чтобы с авторов ее было взяскано. Мало этого. Я тут узнал, что в других местах пахали луга даже после сигнала из Теплых гор. Пахали до самого сенокоса.

— Ложь! Глумление! — вновь взъярился Борис Ефимыч.

— Правильно! Было! Косили и пахали, пока не застопорили на свой страх и риск! — ответил зал.

— И вот, никак не могу я разобраться, — продолжал Зайцев высоким (вот-вот сорвется) голосом. — В чем тут было дело? Борис Ефимыч подхватил сигнал местного работника? Тогда — плохо, по-чиновничьи подхватил. Или он заглушил сигнал? Тогда мы должны признать, что он ловко всех нас околпачил. Вот оно где глумление над партией!..

И Зайцев пошел между рядами стульев, зачем-то просматривая теперь свои записки.

Следующий по списку оратор перенес выступление на вечер. Скромный человек из Подгорска дал новый тон. Не словесные упражнения нужны были пленуму, нужна была обжигающая, раскаленная добела правда.

### XLIII

Над Теплыми горами вздыбливались, кружились новые вихри, осыпали Макарова пылью, валили с ног.

Лукич распорядился разобрать водопровод, трубы распилить на дрова.

Какие-то краеведы приехали составлять историю колхоза. Они начали с расспросов про Кузьму Ильича и все записали в книжку. Потом съездили в райисполком. Историю зачитывали в клубе — Кузьма Ильич и не упоминался, но Четотаев попал в организаторы колхоза. А там, где перечислялись первые поселенцы, не нашлось места для имени покойного Ильи Осиповича.

Как видно, враги хотели не только уничтожить все, что сделал Кузьма Ильич, но и доказать, будто Макаровых никогда на свете не было.

«Ну, нет, — мысленно твердил Макаров. — Ну, нет».

В конторе было людно, грязно, гуляли сквозняки, тоненько зудела на разбитом окне бумажка. Мужики теснились по углам, а бабы столпились у барьера и ругались с сонным бухгалтером.

— И чего вы раскудахтались? — уговаривал ослотивший от пьянства сморщенный старичок. — Говорю русским языком: пришло разрешение от района. Вот она, здесь бумажка подшитая. Все в порядочке.

— Мы и на район не посмотрим! — кричала за всех Лукерья. — На машинах ездют, а ума с ноготок не нажили. Мы до Москвы дойдем, а отыщем на этих начальников управу! Ишь ты — ломать водопровод!.. Опять — на тухлую воду.

— Вот оно — наше сознание! — сетовал бухгалтер. — Ты хоть не задевала бы руководителей...

— Я их не задену! — трубила Лукерья. — Пойду к ним в кабинеты, всех умою тухлой водой.

Бухгалтер строго кашлянул и потрянул счетами, сбросив разом все косячки слева направо.

Но и счета на этот раз не помогли. Оставив в покое бухгалтера, колхозницы осадили группу мужиков — противников водопровода. Мужики, которых подбивал Степан Зотов, вяло отругивались. Они говорили, что не хотят на деревянную трубу батрачить. Чем тратиться на водопровод, лучше раздать деньги по едокам... Но бабы не унимались. Они не хотели таскать воду с Орлиной горы. Пускай Степан походит сам с коромыслом, а потом рассуждает!

Макаров застал перебранку в самом разгаре. Он пришел с твердым намерением схватиться с Лукичом. Женщины стали жаловаться ему на новые порядки, он отвечал:

— А зачем без пользы шуметь? Вы бы позвали председателя да сообща все и решили.

Женщины хлынули за барьер, распахнули дверь в кабинетик. Макарову казалось: вот-вот, как медведь из берлоги, выйдет разъяренный Лукич. Но Лукич и на этот раз появился ласковый, словно позвали его к праздничному столу.

— Молодцы, бабоньки, так и надо бороться за свои достижения, — похвалил он. — Да ведь школа осталась без дров, — вот беда. Наши с вами детки заябнут. А из лесу возить дрова — колхозные лошадки из сил выбьются. И притом же: ежели водопровод не порушить, надо трубы в землю зарывать, наши драгоценные трудовни растраниживать.

Макаров не перебивал. Этого сладкоголосого хитреца трудно было поймать на слове. Кузьма Ильич пошептался с Ванюшкой, и тот объявил, что трубы комсомольцы заруют в порядке воскресника, без записи трудовней.

Лукич поблагодарил, народ затих.

... Работы начались в тот же день. Комсомольцы хотели во что бы то ни стало закончить дело к 7 ноября, а бы-

ло уже третье число. На Орлиную гору высыпало все село. Пришел и Макаров. На даровой работе ни для кого не могло быть ограничений. Он выравнивал дно канавы, срезая лопатой твердую слоистую землю. Кузьма Ильич снял фуражку, расстегнул ворот. Жизнь еще раз улыбнулась ему. Он видел, что колхоз в Теплых горах выдержит все напасти. Видел, что его труд не пропал даром. Даже тепер, оплеванный, выставленный на посмешище, он все еще сохранял влияние, приносил какую-то пользу родному селу.

Но помочь себе самому он был не в силах.

#### XLIV

Чеготаев вошел в кабинетик председателя. Лукич тихо сидел над выдвинутым ящиком стола.

Чеготаев осторожно присел на диван, кашлянул в руку и тихо сказал:

— Уехал бы ты, а? Право слово.

Лукич поднял на него ясные, простодушные глаза. «А куда?» — спрашивали они.

— И эти, которые в лесу, пущай бегут, — продолжал Александр Петрович уверенней. — Небось, мы не бараны. Те и в пропасть сигают всем стадом, а нам надо порознь себя сохранить.

Лукич еще не сказал завхозу ни слова, но Чеготаев вдруг осекся, отвернулся к углу, с глухим и нестойким упрямством закончил:

— Я вот чего — пойду канаву рыть. Там вся деревня вышла...

Чеготаев поднялся, но уйти не осмеливался. Он всецело находился в руках Лукича и только делал вид, что способен один предпринять что-нибудь решительное.

— Ступай, — мирно сказал Лукич. — Иди-где, не к чему нам гордиться, нам за это медалей не дадут. А я следом на лошади поеду — в город меня вызывают. Видать, и там кой-кому не сладко приходится. Ну, ты иди.

... Лукича вызвал Семин, который, действительно, находился в самом удрученном состоянии.

Утром к Семину явился Борис Ефимыч — испуганный и совершенно не-

узнаваемый. Щеки его были обложены, как войлоком, густой курчавой бородкой, костюм запылен. С вокзала он шел пшшком да еще тащил огромный чемодан.

Семин и сам растерялся, зачем-то взял Бориса Ефимыча под руку, вместо того чтобы помочь втащить чемодан.

Они прошли в кабинет. Борис Ефимыч вытер платком вспотевшие руки.

— Позавчера закончился пленум обкома. Не слышал? — спросил он, разглядывая платок.

— Жду Пустовойтова. Что-нибудь случилось?

— А то, что твой друг Борис Ефимыч уже не начальник облзема. И не член бюро обкома. И вообще — ничто. И даже еще хуже — инструктор облкустпромсоюза по гончарному производству. Не нужно ли тебе цветочных горшков? Или урыльников? Теперь это сфера моей государственной деятельности!

Семин смотрел на него с жалостливым любопытством. Борис Ефимыч всегда говорил с выкрутасами, но прежде он каламбурил мимоходом, а теперь — без конца, надоедливо ершился, плевался, казалось, стараясь как можно больней себя обидеть. Прежде в быстрых поворотах его головы, в насмешливом пофыркивании видна была кипучая энергия. Теперь же, раздраженный и испуганный, он казался только светлым.

В характере его появились новые черты или, может быть, обнажились старые, которые он больше не скрывал.

Наконец Борис Ефимыч успокоился настолько, что мог уже связно рассказать о происшедшем.

— Как же это тебя? — спросил Семин. — Неужели Александр Венедиктович не поддержал?

— Вот, дал должностишку, все-таки не послал торговать арбузами, и на том спасибо. Я, как видишь, уже в командировку выехал. Не бойся, не в твой район. Быть другом Бориса Ефимыча теперь уже не так выгодно, — вижу это по твоему лицу.

Семин поморщился.

— Это все ерунда. На улице тебя

никто не видел? Все-таки можно было устроиться лучше, незаметней... Квартиру тебе оставили прежнюю?

— Пока. На этом свете нет ничего вечного. Даже дружбы. Но могу оправдаться: в моем приезде ты заинтересован не меньше меня. Фрина еще в постели?

— Фрина уехала в коммуну, за яблочками. Еще чем порадуешь?

Некоторое время Борис Ефимыч рисовал носком ботинка вензеля.

— Меня комиссия ЦК сняла на основании, так сказать, старых «заслуг». Помогла и ваша кооперативная крыса. Этого Зайцева ты считал чуть не блажененьким, а комиссия послала его наводить порядок в облземеделе. Конечно, и редактор сыграл в моем свержении какую-то роль. Но это все только начало. Поговорим лучше о местных делах. Чорт вас дернул связаться с идиотом «крестителем»! Макаров сообщил об исчезновении этой святыни прямо «шахтеру». И даже у этого деятеля печати хватило ума заподозрить неладное. Это надо было предвидеть. Как можно без суда высылать человека, хотя бы сектанта? Если он виноват, накажи по закону. На канал уже отправлена бумажка. Там найдут «крестителя» и распросят.

— Но ты сам звонил в Туночную Севастьянову, — осторожно напомнил Семин.

— Сам! Сам! Не все ли равно, кто звонил. Это дело может привести Севастьянова за решетку. Да и нас с тобой тоже. И уже тогда нас будут судить по совокупности и за правых и левых, и за этих ваших дырников. Представляешь, какая находка для «шахтера»? Закрою глаза — и вижу заглавие через всю страницу: «Троцкистско-сектантские...» — и так далее. Как тебе улыбается такое персональное звание? Не очень? Так вот: Макаров должен быть дискредитирован как преступник, тогда все его жалобы и догадки потеряют цену. Тогда и его адвоката мы свалим. Действуй, Семин, пока еще держатся люди, могущие помочь тебе. Смешно будет, если кооперативная мышь подроет гору. Слышишь, Семин? Действуй.

Обвиняй кого только можно. Побольше исключенных и арестованных! Ты, конечно, понимаешь, что это не моя только директива. Никого не жалею, — тебя не пожалеют. — Борис Ефимыч подсаживался к Семину то с одной, то с другой стороны. — Слышишь? — повторял он. — Я приехал только затем, чтобы предупредить тебя. Я пошел бы пешком. Буря приближается, попытаемся отвести ее от себя. Пусть все смешается. Действуй, Семин, пока тебя еще не послали кассиром в сапожную мастерскую. И зачем ты связался со всей этой средневековой плесенью?

Семин хотел возразить, что он не сам связался, но Борис Ефимыч нетерпеливо фыркнул:

— Не все ли равно... Важно одно: чтобы эти святители и крестители поскорей провалились. Во всяком случае они нас не должны знать. Так ведь и есть?

Семин поморщился.

— Не обманывай себя... Ну, а война? — спросил он без особой надежды.

— Боюсь, пока она придет, мы будем вне игры, — сказал Борис Ефимыч серьезно, не кривляясь.

Чай пили молча. На прощанье гость заговорил о ковре, что висел над кушеткой. Когда-то он сам подарил этот ковер Фрине, а теперь вдруг нашел, что ковер не идет к мебели семинского кабинета. Борису Ефимычу дома как-раз не доставало такого ковра. Семин не стал спорить о вкусах и только сказал, что не может распоряжаться без Фрины ее вещами.

#### XLV.

Днем Семин разговаривал с Лукичом. Ночью приехал Пустовойтов.

Семин встретил секретаря на вокзале и поделился новой неприятностью: до него дошли слухи, будто Макаров грозился пустить «красного петуха».

— Нет, как можно ошибаться в человеке! — пожаловался Семин. — Может быть, этот праведник и сделал что-нибудь для колхоза, но, раз его обидели, — конец: пусть вокруг трава не растет! Типичный карьерист!

Пустовойтов поддержал его. Он решил принять меры не только против Макарова, но и против Зайцева, который хлопотал за Кузьму Ильича.

Утром Пустовойтов вызвал в райком секретаря парткома торговых организаций. Он напомнил, что в кооперации, где работал прежде Зайцев, была какая-то растрата, и попросил собрать об этом материал.

— Тогда товарища Зайцева оправдали... — вопросительно заметил секретарь парткома.

— Мы, большевики, никогда не считали себя застрахованными от ошибок, — нравоучительно возразил Пустовойтов. — Узнавая новые факты, начинаешь глубже судить о людях.

— Что-нибудь политическое?

— В наше время все перерастает в политику, — заключил Пустовойтов и смерил неприязненным взглядом секретаря парткома, который ждал еще каких-то объяснений.

Только накануне Пустовойтов долго разговаривал в комиссии ЦК. Его спрашивали про Бориса Ефимыча, про Семину, про Макарова.

Был повод усомниться в правильности взятой линии, но Пустовойтов не усомнился. Трудно было ступить на новую дорогу. Старая казалась правильной уже потому, что по ней он шел. К тому же, Пустовойтов не мог допустить, чтобы Зайцев, — второй секретарь да еще выдвинутый им самим, — восторжествовал в жестоком, затянувшемся споре.

#### XLVI

В ночь на четвертое ноября сгорел полевой бригадный стан. Когда бекляшевы доскакали до озера, на берегу, среди курящихся головешек, одиноко торчала печная труба, да там, где была рига, ветер шевелил легкие перья пела, под которыми еще тлел огонь.

Днем продолжался воскресник. Трубы были зарыты, и вода опять помчалась с Орлиной горы в Бекляшево. А ночью загорелась молочно-товарная ферма. Макаров прибежал одним из первых. Над длинным огненным гребнем кружили голуби. Огонь занялся над во-

ротами, и ночной сторож успел выгнать не больше десятка коров. Другой выход — в дальнем конце сарая — был завален изнутри навозом. Кто-то качал помпу, струя воды только взбивала пламя.

Макаров бросился выламывать ворота. Он бухал по доскам увесистым булыжником. Кто-то рубил брусья. Наконец одну створку ворот повалили на землю. Животные ринулись в проход, обдирая бока о столбы. Когда стадо схлынуло, в сарай под огненные брызги вбежали, облившись водой, трое: Макаров, Ванюшка и Мокеев. Пеструю стельную корову они с трудом вытащили из стойла за рога. В другом стойле, переступив передними ногами в кормушку, пригнуч голову, стояла красная телка. Выгнать ее не удавалось. Мокеев сунул ей под нос пучок горящей соломы, она шарахнулась вон, но не к свободному выходу, а в другой, уже охваченный пламенем, конец сарая.

Кроме этой симменталки, погиб еще племенной производитель. За пропущенное через ноздри кольцо он был привязан к стене. Бык бесновался, рашепил рогами колоду. Подойти к нему оказалось невозможным.

Лишь к утру разошелся народ. Настроение было недоброе, смутное. Ждали новых бед. Тимофеич, который всегда был патриотом Теплых гор, сказал Макарову с завистью:

— Хорошо заречным! Там из села в село подашь голос. А у нас что? Мы да волки!

А Степан Зотов громко доказывал кому-то во дворе, когда мимо проходил Кузьма Ильич:

— Его работа. Никто, как он. Само партийное начальство подозревает. Народом бы его порешить, властей не дожидься.

Вечером к Макарову пришел с доброй вестью Ванюшка. Комсомольцы решили временно взять хозяйство под свою охрану.

— Только тут есть маленькая заковыка... — замылся Ванюшка. — Не охота нам открывать карты сычу лесному, а так, боимся, нагорит за игнорирование. Имеем мы право?

Макаров постарался рассеять сомнения комсомольцев.

— Ясно, имеете. Каждому дано право защищать колхоз, а уж для комсомольцев тут самая святая обязанность.

Бывший председатель колхоза и бывший комсомольский секретарь обсудили, кого привлечь к делу, где устроить засады. Решили, что надо заодно посмотреть из оврага, не шляется ли по ночам кто-нибудь лишний в деревню.

Ночью вышли комсомольские караулы, но им не удалось заметить ничего подозрительного.

## XLVII

Районная газета в заметке о пожаре прямо указала на Макарова, как на вероятного поджигателя. Теперь Макарова в самом деле могли арестовать. Ему стало страшно. Сумеет ли он, находясь в заключении, доказать свою невиновность? Может быть, люди, строившие против него подлые козни, окажут давление и на следователя, и на судей? А что будет, если его друзья — Тимофеич, Ванюшка — опустят руки и выдадут колхоз на полное разграбление?

Наступил канун октябрьских торжеств. Из года в год Макаров возглавлял в родной деревне революционные празднества, а на этот раз не мог даже пойти на митинг. Он отлично понимал это.

И Макаров собрался в город.

После обеда он попросил красную вышитую косоворотку.

Поля испугалась, — не сделал бы он чего-нибудь над собой, — выпустила крышку сундука и заплакала.

— Ну зачем тебе в город? Наплюй ты на них. Поверь моему слову — съедят они тебя, живьем съедят. Не тягайся с ними! Уезжай! На коленях буду тебя молить — уезжай ты отсюда, бога ради.

— Хватит, — остановил Макаров. — Сказано — об отъезде и не заикайся.

Он оделся, с минуту постоял у кроватки сына, который в забытьи жевал губами, и тихо вышел из избы.

Дождевая пыль оседала на ворсинках дождевика Макарова, не сливаясь в



крупные капли. Но, выбравшись на Орлиную гору, Макаров почувствовал, как тяжела стала его одежда, — она напиталась влагой.

Макаров шел по траве, рядом с раскисшей дорогой. Слабую лесную траву выбили холода. Тяжелый суглинок облеплял сапоги. Время от времени Макаров останавливался и, поймав пальцами прядь прилипшей травы или сухую ветку, отрывал от подошвы увесистый ломоть грязи.

На душе у него было уныло и пусто, голова работала вяло. «Дойду до той березы и посмотрю на небо — нет ли просветов» — заказывал он. Забывшись, смотрел раньше, — просветов не было. «Не буду счищать грязь, покуда не сделаю сто шагов». И он считал: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать». «Если сорока улетит с хвоста сейчас, — плохо; если успею подойти, — хорошо». Сорока улетела, и Макаров загадывал снова: «Если она села близко к дороге, то хорошо». Шагал по грязи и искал глазами сороку.

К переправе пришел в полной темноте. Ильяс предлагал переночевать в сторожке, угощал чаем, но Макаров от всего отказался, сказав, что очень торопится. Ильяс перевез его на лодке.

На той стороне, в низине, дорога совсем раскисла. Макаров почувствовал, что до города не дойдет. Переночевать где-нибудь в соломе, — наверняка простынешь. И он шагал, шагал. Выбравшись на взгорье, он отвернулся от ветра и стал чиркать спичками о коробок. Спички отсырели, сера не держалась на них.

Следом кто-то быстро ехал на паре, лошади засекали подковами. «Если успею закурить, — хорошо». Спичка вспыхнула. Макаров закурил. Ездок осадил лошадей, окликнул:

— Что за человек?

Отступивший в канаву Макаров узнал голос Бибича, но не ответил.

— Кто тут бродит по ночам? А ну, выходи, покажь документы.

Кузьма Ильич с трудом вылез из канавы. Бибич посветил ему в лицо карманным фонариком.

— Никак Макаров? Куда ты в та-

кую непогоду? Да ты зубами клацаешь? А ну, седай сюда. Седай, не отказывайся. Еще нехватало, чтоб у нас на виду люди замерзали.

На дрогах, кроме Бибича, был секретарь парткома — рослый, медлительный украинец. Он подвинулся к задним колесам, и Макаров сел в середину. И сейчас же он вспомнил летний день и покрасневшего от досады Бибича в кузове бекляшевского грузовика. Тогда они были равны, Бибич даже завидовал Макарову и немножко сердился, а теперь подобрал его, как бродягу. Небось, злорадствует!

Бибич тоже вспомнил встречу, но без злорадства. Напротив, он чувствовал себя виноватым.

— В области не рассматривали? — неуверенно спросил он.

Макаров пожал плечами.

— ...Знаешь, Кузьма Ильич, ты злоко мне не имей. Скажу тебе открыто: я тебя преступником не считаю. Если мы с тобой спорили, то о другом. Зараз из-за тебя я уже поругался кой с кем из начальства. А вот Павло Якимыч прямо на активе выступил с речью. Верно, Павло?

Секретарь парткома ответил дружеским выговором.

— Ты, товарищ Бибич, хоть и толковый хозяин, а в этих делах с тропки сбиваешься... Идешь кое за кем на поводу.

Бибич вздохнул.

— Кончилось. Как сказал, так и будет... А мы, Кузьма Ильич, с Родников. Провели там собрание, а сейчас едем в центральную усадьбу на торжество.

Лошади уже свернули с тракта, открылась расцвеченная электрическими огнями усадьба «Прогресса».

Подъехали прямо к клубу, и Бибич заставил Макарова войти в зал. Столкнувшись с кем-то на пороге, спросил:

— Звонили? Чего же представителя нет?

— Выехал, сейчас будет. Сам товарищ Семин.

Бибич качнул головой:

— Скажи, какой ласковый!

А под окнами уже остановилась новая пара разгоряченных коней, — вы-

ездная конюшня коммуны славилась на всю область.

Хотя Макаров отошел в сторону, Семин сразу же заметил его.

И потом, заняв место за столом президиума, он снова нашел глазами Макарова, нашел и скользнул с незамечающим видом.

Макаров чувствовал, что и в продолжение всей своей речи Семин помнил о нем. Медленно, воровато подбирался он взглядом к дальнему уголку, встречался глазами с Макаровым и отворачивался. Слов Макаров не слышал. Он только следил за своим врагом и старался показать, что не допустит даже игры в примирение. Потом вышел на трибуну Бибич и сказал такое, чего Макаров никак не ожидал.

Бибич заявил, что хотя «Прогрессу» и присудили переходящее знамя, но сам он, не касаясь прочих хозяйственных дел, считает, что полевые работы в Теплых горах были организованы лучше и проходили дружнее. И при этом — что еще удивительней — в зале раздались аплодисменты. Несомненно, коммунары хотели показать, что они не согласны с расправой районных руководителей над Макаровым! Кузьма Ильич отлично понимал, что его односельчане не поднялись еще до такой ясности и самостоятельности политических суждений. И еще раз Семин метнул на своего врага быстрый взгляд, теперь встревоженный и мстительный.

Бибич говорил недолго. Секретарь парткома объявил торжественное заседание закрытым.

Из клуба все перешли в столовую. Составленные в три ряда столы были накрыты разноцветными вышитыми скатертями. Коммунарки в белых фартуках вынесли из кухни на широких блюдах пельмени, и начался шумный, веселый пир.

Семин сидел между Бибичем и секретарем парткома и провозглашал тосты в честь советских вождей, которых любил коммунары, но которых сам он ненавидел.

Макаров, — его притащили едва не силой, — пристроился в уголочке. Он почти не пил, смотрел в окно, иссечен-

ное дождевыми каплями, и боялся думать о том, что было бы с ним, если бы не попал он в чужой дом на свой праздник.

Его тронули за плечо, он вздрогнул. — Пора и ночь делить, — сказал Бибич, пряча усмешку в плутовских глазах. — Устал? У меня заночуешь.

— Сморился, так и клонит ко сну, — признался Макаров.

В дверях Бибича ждал Семин. Покосившись на Кузьму Ильича, он спросил с подслащенной ненавистью:

— И ты тоже празднуешь?

Макаров хотел промолчать, но не выдержал, огрызнулся:

— Я не «тоже». Я честный советский гражданин, потому и праздную.

Семин отвернулся.

Они шли вместе. Бибич предупреждал: тут канавка, перейдем по доске, а сейчас будут ступеньки. Пешеходная тропа была посыпана песочком, от кустов пахло дождевой водой. И Макаров, и Семин начинали догадываться, какую каверзную штуку задумал председатель «Прогресса», — он вел их обоих в свою квартиру.

Жил Бибич на втором этаже бревенчатого дома, в двух плохо оштукатуренных комнатах. В первой спали дети, гости на цыпочках прошли во вторую. Там жена Бибича ждала их ужинать.

Семин вызвал хозяина на лестницу. Они закурили. Семин — нервничая, Бибич — с простодушнейшим видом.

— Как ты неосторожен! — упрекнул Семин.

— А шо такое?

— Ты знаешь, что за человек этот Макаров?

— Ну, Макаров и Макаров, ничего особенного я за ним не знаю.

— Да? А если бюро районного комитета исключило человека из партии? Ты решениям партии подчиняешься?

— А как же! Да ведь я его не зову на закрытые собрания, пригласил просто в гости... А что, может быть, не полагается?..

— Все полагается. Можно любого бандита пригреть, но только до поры до времени.

Бибич был обидчив. Бросив игру в простачка, он сухо ответил:

— Я Макарова бандитом не считаю.

Оба были под хмельком, и Семин уже не мог остановиться. Он пригрозил:

— А мы считаем. Ты должен вышвырнуть его, если не хочешь со мной сориться.

— А если не вышвырну?

— Тогда вели запретить лошадей.

Но теперь и Бибич потерял равновесие. Шагнув к двери, вернулся:

— Думали, Бибич арбузы и дыни вам возил, так и душу свою запродавал? У Бибича душа не продажная! Сейчас будет лошадь.

В горнице Бибич крутнул ручку телефона.

— Конюшню... Нестеренко? Заложил «Савраску», пошли кого-нибудь отвезти представителя. Не «Самолета», говорю, а «Савраску». Мы племенных в дым загнали, довольно... Ну вот, заложил мерина в дрожки, да смотри, рессорные не трожь... Знаю, знаю, что из того? Он голова райисполкому, а я голова коммуны «Прогресс». Понятно?

— Чего ты мне в рот глядишь? — прикрикнул Бибич на жену. — Уезжает, стало быть, надо. Дела. Неси самовар.

Пока Макаров и Бибич молча пили чай, к крыльцу подъехали дроги. Мосластый мерин уныло развесил уши. Около дома горел электрический фонарь, и в окно было видно, как по ступенькам спустился Семин, как затряслась его голова, должно быть, он закричал на подъехавшего подростка, как стоял он в раздумье на каменной плите, а потом боком, неловко влез на дроги.

— Поехал... — вздохнул Бибич. — Струсил! Значит, жулик и есть. Будь он честный, — он голову оторвал бы мне!

— А все же ты хватил через край, — заметил Макаров. — Партизанишь.

— Есть немножко. Говорят, один бог без греха.

Утром Макаров вернулся в Теплые горы.

## XLVIII

В лесном бегунском скиту по мере того, как наполнялся он новыми людьми, разногласия заходили все глубже. Иси-

дор и его приспешники жили, как вздувается, без оглядки на установления соборов и пример первых общин. Рябой большак, напившись, раскрывал христофоровы «Цветники» и спрашивал келейников:

— Знает кто из вас, какая мудрость в этой книжке зарыта? Чорта лысого вы знаете! А я и знаю, да не скажу. Накося, выкуси! — И делал неприличный жест.

Желтый, испитой помощник, теребил его за рукав. Исидор вырывал руку и спрашивал:

— Ну, чего ты ко мне пристал? А плясать не хочешь? Вот ударю в ладошки и скажу: «Ваше благородие, попляши» — и запляшешь. Верно Исидор говорит? Потому, хотя ты и офицер царской службы, я тебя, дохлую кикимору, из грязи подобрал, от тюрьмы спас и к делу приставил. Ты чего молчишь? Правду Исидор говорит или брешет?

Протрезвившись, Исидор ходил мрачнее тучи и ни себе, ни людям не давал покоя. Приспешников своих рассылал в дальнюю дорогу с поручениями, странниц прогонял собирать в поездах и по деревням подаяния да подсовывать людям подметные записки. И сам куда-то стучался, а потом сидел ночами, совещался с пришлыми людьми и с «дохлой кикиморой».

Многие из странней братии — даже наставник Ипатий, даже старшая сестра Анфия — простили Исидору и недостаток благочестия, и водку, считая, что за одну волчью ненависть к советской власти он заслужит прощения. Они были уверены, что этот человек не остановится на подороге и, если будет на то господня воля, поведет братию на последнюю брань. Но те, кто отвергал христофорово учение о последней брани, видели в Исидоре едва ли не самого сатану. В особенности непримирим был Харлампий.

До Харлампия дошли слухи с родины. Сыновья ждали его домой. Жили они хорошо, дружно, и только одна у них оставалась забота — непутевый отец. Харлампий нарядился во все чистое, расчесал, намаслил волосы и тор-

жественно объявил зарок: не покидать подземную келью до смерти. Он думал таким образом еще более заслужить счастья для сыновей и замолишь их грехи. Но он еще решительней восстал против насильственной борьбы с безбожниками. Харлампей утверждал, что странники внесли в свои кельи ересь. Пусть мирские живут, как хотят. Мироотречники же должны жить тихо, для бога.

Исидор, понадеявшись на Лукича и его тайных сообщников, слишком много наобещал в самом начале: и удобные жилища, и хорошие харчи, и близкое выступление. Вполпьяна он замахивался через годик завоевать чуть не все Приуралье. Прошли первые месяцы, а еще не было ни одной деревни, на которую можно было рассчитывать. Даже в Теплых горах странники могли появляться лишь в темные ночи, да и то всего в трех-четыре домах.

Приближалась скудная, тоскливая зима. Исидор не знал, как прокормит он ораву в сорок-пятьдесят человек. И главное, сам начинал задумываться: а есть ли смысл ее кормить, не лучше ли отбросить широкие планы и, вооружившись ломиком, перейти на добычливый «промысел» в город.

Смуга в лесном скиту усилилась. Исидор решил обратиться за поддержкой к самому преимуществу старцу и снарядил в путь Никодима. Но и Харлампей надеялся доказать Артемию свою правоту. Посланцем своим он избрал Мотьку — единственного здорового мужика из числа своих ближайших приверженцев.

## XLIX

Мотька шел по замерзающей земле, тихо шуршали листья у него под ногами, по лицу скользили редкие, колючие снежинки. На душе у него было горькое чувство, как будто он расставался с родными местами навсегда. Он слышал неровные, шаркающие шаги Никодима позади себя.

Путь сектантов лежал мимо бывшего дьяновского хутора. Здесь было безлюдно. Уцелевших овец правление колоза перевело в деревню, и фермы стоя-

ли с открытыми воротами. На месте жилого дома остались лишь ямы, засыпанные штукатуркой.

Бродяги присели на камни отдохнуть. Мотька нашел под щепнем губную гармошку и сразу узнал ее. Гармошку подарил отец, когда Мотьке было лет семь или восемь.

Теперь отца не было, не было также ни дома, ни усадьбы, а гармошка нашлась. Мотька приложил сладковатую ржавую жестянку к губам и подул. Только один лад издал тонкий и слабый писк. Вытерев гармошку о штаны, Мотька сунул ее в карман и тронулся в путь. Он не испытывал сожаления о потерянном, а только еще острее почувствовал, что все кончено. Прямой тропинкой они вышли к реке и зашагали вдоль берега в сторону переправы.

Ветер разгорался. Огромные сосны круговую раскачивались на ветру. Мотька шел впереди — усталый, с повисшими руками, но все-таки быстрый, как истинный лесной волк. Никодим едва поспевал за ним. Порой тропинка выводила их на самый край берега. По реке с тихим шорохом плыли льдины, вода между ними блестела холодной сталью. Мотька прибавлял шаг: ему нетерпелось поскорее переправиться на тот берег.

Но вот и заснеженный паром показался вдаль. Он находился у берега, но никак не мог пробиться к причалу — мешали льдины.

Когда Мотька и Никодим подошли, паром уже был на месте, хромой татарин крепил его к берегу стальным тросом.

— Далеко идешь? — спросил он Мотьку. — И тут же, бросив взгляд на Никодима, укоризненно покачал головой. — Ай-яй, Матвей Семенович, а я думал — ты хороший человек. А ты совсем плохой человек, ай-яй! — И продолжал крепить трос к лапе старого, врытого в землю якоря.

Потом паромщик принес из своей будки цепь и привязал лодку к корню срубленного дерева.

— Пускай зима вас перевозит, — сказал он небрежно. — Мой сезон прошел, пускай зима теперь перевозит. — Он под-

нял голову и неожиданно добавил: — Две красненьких дашь, — перевезу.

— Прости его, царица небесная, не ведает, что творит, — забормотал Никодим. — Мил человек, где возьмем деньги?

— Денег нет, пускай зима перевозит. — Вероятно, перевозчику очень понравилась эта мысль, и он то-и-дело повторял ее. Он замкнул цепь, вскинул на плечо весло и, припадая на деревянную култышку, ушел вверх по берегу, еще раз сострив на прощанье.

Сектанты остались одни. Лодка была прикована крепко, и у них к тому же не было весла; оставалось только ждать. Они вошли в сторожку паромщика и расположились на нарах. Это была низкая изба с железной печкой посредине. Закопченные, лоснящиеся бревенчатые стены были всюду затесаны топором — таким путем добывалась щепка для растопки. В стену, обращенную к реке, было вставлено широкое, низкое окно, чтобы дальше можно было видеть вверх и вниз по течению. Возле печки сектанты нашли несколько чурок и перед сном протопили печь, но все же к утру они продрогли.

## Г

Испуганный недавними пожарами, Белохатко на праздниках махнул в областной город. Еще в поезде он узнал, что в городе — представитель самой Москвы. Колхозники из Туночского района направлялись к нему с жалобой на местные порядки. Белохатко хотел присоединиться к ходокам, — не приняли.

В комендатуре обкома теплогорскому бригадиру не дали пропуска — у него не оказалось нужных документов. Он отдежурил здесь весь день и подконец приметил — таки москвича, а наутро подкараулил у подъезда его машину. Как только открылась дверца, Белохатко сказал, загораживая дорогу:

— Извиняюсь, случайно не вы будете представитель?

Так Белохатко добился приема.

Представитель Москвы был человек обыкновенного среднего роста, и на запылке у него очень простой и понятный

торчал вихор. «Характерный» — с опаской подумал Белохатко.

Москвич между тем позвонил по телефону, и через минуту явился к нему Зайцев с пачкой бумаг.

— Знакомы? — спросил москвич.

— Иначе быть не может! — весело ответил Зайцев, присаживаясь сбоку стола и пожимая Белохатко руку. — Это же замечательный бригадир! Орел.

Белохатко из осторожности не ответил. Подумал: «На похвалы нынче все горазды, а как до дела коснется, — зайти в другой раз».

Москвич перебрал бумажки, спросил бригадира:

— Это у вас Макаров был в председателях?

«Эка, куда метнул!» — сметил Белохатко и ответил уклончиво:

— Был такой. Да ведь я совсем по другому делу.

— Отлично. Кстати уж, что за история случилась у вас с кладбищем?

Белохатко окончательно упал духом. «Ну, попался! Ненароком в свидетели попадешь. Ведь гворила matka — сиди дома. Эх!».

— Я, вообще, по политической части не спец, — попытался Белохатко отговориться.

Но представитель не выпускал его.

— Да ведь тут политика не очень мудреная. Распахать хотят — так, что ли?

Белохатко счел полезным для своего дела отречься от кладбища.

— Серость наша кругом виновата, — пожаловался он. — В городах — там уж люди другие, а мы по неучености своей еще и старинку не забываем, чтим упокойников. — И неожиданно для себя скорбно закончил: — Вот и мой батя там похоронен. И место такое — под елочкой, светлосе.

Бригадир ожидающе и недоверчиво глянул на представителя. Тот сидел серьезный, думал о чем-то важном. Ответил медленно, точно и себе самому, не только бригадиру:

— Тут, пожалуй, серость ни при чем. Почему серость? Отец ведь.

— Вот и главное, что отец, — горячо подхватил Белохатко. — Хотите верьте,

хотите нет, а я чту его без всякого дурману. Мы-то с батькой бегунской веры держались, а как я от бегунского бога отстал и к церковному не пристал, — то и хоронил его без молитв. А ведь до кладбища коснулось — и заскребло на душе. Прямо, хоть бога вспоминай... Сказал бы я вам, товарищ уполномоченный, так: проверил бы кто наших районных начальников, тут в политике не спрятана ли другая политика. Ведь если кладбище смахнуть — народ наш в секту ударится...

Уполномоченный спросил, кому же в Подгорске нужна двойная политика, но бригадир дальше не подавался.

— А уж это не моего ума дело. Я вам дал намек, а вы раскусите. Я сам больше насчет хозяйства — прямо край приходит нашему колхозу.

Уполномоченный отметил что-то в блок-ноте и стал спрашивать про хозяйство.

Белохатко говорил долго. Говорить было легко, потому что москвич кое-что знал уже или тут же узнавал подробности из своих бумаг. Он и сам задавал вопросы. А кто такой Лукич? Где он находился в годы гражданской войны? А кто такой Чеготаев? Не случалось ли Белохатко видеть у лесной сторожки машин кого-нибудь из районных работников?

Белохатко видел, что ввязался в самую уж крутую политику, но теперь нельзя было повернуть назад, да и разговор обнадеживал. С каждой минутой оживлялся москвич, веселел Зайцев.

Трижды звали москвича куда-то на заседание. Уже ушел Зайцев. Наконец москвич встал, пожал обветренную руку бригадира, сказал:

— Езжайте домой, продолжайте и впредь беречь родной колхоз, а мы вам поможем. Поможем очень скоро. Постараемся, чтобы и кладбище ваше оставили в покое, поскольку оно никому не мешает. — Перевел глаза с Белохатко куда-то в пространство.

И опять изменилось лицо москвича, в глазах сверкнула лукавая искра:

— А не напрасно ли ты, товарищ бригадир, боишься защищать Макарова? Вспомни: Макаров не побоялся за-

щитить тебя. Записка-то подметная, помнишь? — Москвич захлопнул за собой и за Белохатко дверь и скрылся за поворотом коридора.

## II

Белохатко вышел радостный, ошеломленный. Он отправлялся в путешествие с одной мечтой: как-нибудь защитить хозяйство от разорения. И вдруг оказалось, что для партии не безразлична вся жизнь в Теплых горах. Представитель Москвы и о Макарове помнил, и даже призадумался о теплогорском кладбище. «И ведь так участливо спросил: отца, говорит, давно схоронили?» — вспоминал Белохатко, стоя на обкомовском крыльце. Он не знал, куда ему пойти и за что приняться. Хотелось ему поговорить с кем-нибудь. Присесть бы на корточки у железной решетки над подвальным окном и побеседовать. И сухо на тротуаре, и солнышко пригревает... Да не с кем! Все куда-то спешат, бегут, не оглядываясь, как будто тяжесть какую несут в своих портфелях.

Только милиционер стоял на дороге, словно бы без дела. Белохатко подошел к милиционеру и сказал, почтительно приподнимая фуражку.

— Извиняюсь, служивый, случайно в Москве не бывали?

Не подготовленный к такого рода вопросам, милиционер вполне по-житейски, даже несколько виновато, ответил:

— Не приходилось, папаша, не стану вам врать.

Но, увидя вывернувшуюся из-за угла машину, снова проникся важностью, отдал честь, отвернулся. Белохатко знал: если тебе отдали честь, стало быть, уходи.

Он зашагал серединой улицы, помаленьку прибавляя ходу, и скоро уж бежал вслед за трамваями чуть не вприпрыжку; боялся, что если сесть, — трамвай завезут куда не следует. Через час Белохатко сидел в поезде.

## III

Сколько было слез, когда Кузьма Ильич прочищал ребенку уши!

Пришла Наденька, погрела о закипавший самовар руки и стала разбинтовывать ребенку уши. Тот захныкал, тихий, слабый.

В пазухах за ушами вздулась опухоль, от нее едва не до самого затылка растекалась краснота.

— Знаете, папаша и мамаша, я больше ничего не могу сделать, нужна немедленная операция, — призналась Наденька, и Макаров увидел, что это была совсем еще молодая девушка, почти подросток. Губы у нее дергались, на глаза навертывались слезы. Фельдшерницу надо было утешать.

Наденька сбегала в контору к телефону и вскоре вернулась с еще более растерянным видом.

— Не посылают, — сказала она нервно. — Свинство какое...

Оказалось, что единственный в районе ушник мог выехать из города только по распоряжению здравотдела.

— Коноплянский сначала обещал, а потом спросил, чей ребенок. Он сказал... Ну, в общем... пошел напопятную.

— То-есть как — «чей ребенок»?

— Ну, вообще, — Наденька покраснела и отвела глаза. — Вообще, что вы исключены из партии и все такое... А вы поговорили бы сами.

Ни с кем не здороваясь, Макаров вошел в правление колхоза и стал крутить ручку телефона.

— Товарищ Коноплянский? — спросил он, когда его соединили. — Говорит Макаров. Кто такой? Никто. Просто гражданин Макаров. Моему ребенку нужна операция. Ухо. Вот-вот, обо мне с вами и говорили. Не можете послать? Занят? А мне сказали, вы иначе ответили сначала. Будто вы расспрашивали не о ребенке, а обо мне.

— Ну и что ж? — провода донесли обиженный голос из города. — Нам не безразлично, вызывает ли врача колхозник-стахановец, или, — на резкость и я могу отвечать резкостью, — или сомнительная личность, исключенная из партии.

— Я из вас, товарищ Коноплянский, куделю сделаю! — гаркнул в трубку Макаров. — Исключили из партии ме-

ня, а не моего ребенка. Я сейчас же буду звонить в райисполком.

— Пожалуйста! — ехидно ответил заведующий здравотделом. — Пожалуйста. Я уже звонил.

Кузьма Ильич повесил трубку. Его трясло. Сейчас же он стал звонить снова, но не в райисполком, а в райком, Пустовойтову.

— Так-так... Так-так... — спокойно отзывался Пустовойтов. В заключение же он сказал: — Но я не понимаю, зачем об этом знать районному комитету партии? Я должен лечить вашего сына? — В первый раз Пустовойтов говорил с Макаровым на «вы». — Районный комитет руководит партийной организацией и не занимается лечебной практикой.

— А районными учреждениями вы не руководите?

— Товарищ Макаров, не учите нас, чем нам заниматься. Вы никак не можете привыкнуть к мысли, что колхозники отобрали у вас портфель. А пора!

— Но я все-таки остаюсь советским гражданином, — перебил Макаров.

— Да, но вы напрасно считаете, что за вами должен ухаживать районный комитет партии. Обратитесь в райисполком.

... — Это Макаров, — сказал Кузьма Ильич Семину. — Мне пришлось обратиться к вам. У меня сын... сильно болен.

— Васек? — переспросил Семин участливо. — Не может быть! Что с ним?

Кузьма Ильич рассказал о сыне. Он добавил:

— Понятно, у нас примирения быть не может. Но одно другому не мешает.

— Очень хорошо, — ответил Семин суше. — Сделаю все, что в моей власти. А врач у нас есть? Так в чем же дело? Вот что, Кузьма, я сейчас этим займусь. А ты позвони мне через часок.

Этот час тянулся для Макарова необыкновенно долго. Он дважды уходил домой и вновь возвращался, принимался дома за работу, брал у секретаря правления газету. Наконец время пришло. Он стал звонить. Ручка телефон-

ного аппарата вырывалась из его ослабевших пальцев.

Ему ответили, что Семин срочно выехал в колхоз и о врачах ни с кем не разговаривал.

Весь день Макаров дежурил около телефона. Поздно вечером услышал он крикливый голос райисполкомовской сторожихи.

— Чего? — переспрашивала она. — Чего? Председатель? Они еще вчера приехали. Чего такое? Никуда они ночью не ездили, туточки сидели. Да как же я не знаю, раз я туточки служу.

Макаров вышел на улицу и долго не мог отдышаться. «Ах, подлюга!» — шептал он.

Пришлось отложить хлопоты до утра. Кузьма Ильич уговорил Полю прилечь, а сам сел к столу и взял книгу, но ничто не шло на ум. Васек тяжело дышал. Стоило ему вздохнуть протяжной обычной — и Поля вскакивала. Под утро Макарова стала одолевать истома. Он положил на стол руки, прислонился к ним головой и забылся.

### ЛIII

Кузьма Ильич не понимал смерти. Он мог представить: раскинутые в жару ручки и ножки, прядка взмокших волос, бредовое бормотанье. Мог бы поверить, что болезнь станет еще тяжелей. Но он не мог допустить, чтобы все это кончилось смертью.

И вот Поля трясет его за плечо и шепчет:

— Ну, проснись же, проснись... уходит.

Выгоревшая лампа разливает душный желтоватый свет. Около Кузьмы Ильича — никого, но там, у кровати, склонившаяся фигура Поля с отведенной в сторону рукой: тише, тише, тише! «Ну, вот, опять выдумала» — хочется сказать Кузьме Ильичу, но он молчит, неторопко подходит к кровати, желая удостовериться в том, что Поля испугалась напрасно.

Светлая головенка свалилась с подушки. Глаза открыты, взгляд их устремлен прямо на него. И вдруг Кузьма

Ильич замечает, что сын ни на что не смотрит и что глаза эти, кажущиеся теперь темными на иссиня-бледном лице, уже не могут видеть.

На одних носках выходит Кузьма Ильич в кухню, машинально всовывает ноги в калоши, снимает фуражку с гвоздя, открывает дверь — осторожно, чтобы не скрипнули петли. На улице тихо, сухие хлопья снега скользят по лицу. «Снег на сырую землю, к урожаю» — механически отмечает Кузьма Ильич. Мертво на улице, только в двух или трех избушках желтеет свет, да кой-где над трубами по-зимнему стройно поднимается дым...

Когда Макаров вернулся с Наденькой, голова Васька все так же лежала рядом с подушкой и глаза были приоткрыты. Около сидела на табуретке Поля, прижимая к своей груди ноги сынишки.

— Умер, — прошептала Наденька Макарову.

Поля посмотрела на них недоверчиво, даже враждебно.

— Ну, не будем так убиваться, — Наденька боязливо взяла Полю за плечи.

Рассветало. Кузьма Ильич отошел к окошку и стал смотреть на светлый, необыкновенно светлый бугор, на который бесконечным роем падали снежинки. Он думал о том, что нет у него больше сына, и о том, что надо будет потушить лампу. Как только закрылась за Наденькой дверь, он подошел к столу и дунул сверху в ламповый пузырь, но лампа уже не горела, только фитиль тлел и курился. Кузьме Ильичу хотелось сощипать красный гребень фитиля, но показалось неприлично уделить этому столько внимания, и он ограничился тем, что покрутил медный кружочек. А Поля лежала всем телом поперек кровати, на похолодевшем тельце сына и задыхалась в долгих, безголосых всхлипах. Кузьма Ильич с болью и сожалением подумал, что он вот не умеет так глубоко страдать, так безраздельно отдаваться своему горю.

На другой день Васька хоронили. Воротясь с кладбища, Кузьма Ильич сказал Поле:



— Теперь мы с тобой вроде старика со старухой.

В самом деле, одинокие, тихие, они походили на стариков, доживающих свой век в опустевшем доме.

#### LIV.

На рассвете, после трех ночевок, едва Мотька приоткрыл дверь, под ноги ему шарахнулась зима. Не слышно было ни плеска волн, ни шороха льдин, только ветер свистел, гоня с того берега по шероховатой корке снежные крупинки. Вокруг неумолчно шумел бор. Мотька вспомнил детство, ночное в лесу, смертный страх того часа, когда ждешь за подалых товарищей. Вспомнил теплую песью голову, когда в страхе прижимаешь ее к своему боку, чтобы, упаси боже, не залаял лохматый. Вспомнил такой же вот отдаленный шум. Знаешь, что это товарищи едут вброд по реке, и не веришь, пока не выйдут кони на берег и не огласят лес приветливым ржаньем... Все это ушло безвозвратно.

Мотька вернулся в землянку, сел на нары, сцепил на коленках руки и задремал, склоняясь головой к стене. Никодим что-то жевал. Мотька был голоден, и его бесила запасливость спутника.

Когда рассвело, через порог переступила девушка в пунцовых варежках.

— Вы не знаете, лед уже крепкий? — спросила она, из опаски не очень плотно прикрыв дверь.

— Торопятся все, а куда торопятся, сами не знают. Завтра будет крепкий лед, завтра, барышня! — проворчал Мотька.

— А сегодня нельзя перейти? Ой, заругают меня. Я на курсы иду, велели вечером, в 8 часов в городе быть.

— Какие хорошие варежки! — вмешался Никодим, позевывая спростонья. — Зачем тебе, красавица, такие? В тебе кровь горячая, отдай варежки бедному человеку. У меня голубиная душа, рыба кровь, пропадают мои белые рученьки. — И он, поднявшись с нар и выставляя свои грязные руки, пошел к девушке, но та поспешно отступила за дверь и сбегала на лед. Лед заскрипел.

затрещал, прогнулся, но перепуганная девушка не остановилась.

— Шест взяла бы, шест возьми! — окликнул Мотька, выбежав вслед за ней. Она все-таки не вернулась, боясь, как бы у ней не отняли ее красные варежки. Мотька отодрал от настила нар доску и с силой швырнул по льду вдогонку девушке.

— Дура! — сказал он. — А ну, провалишься?

Она подняла доску на плечо и пошла дальше маленькими, частыми шажками, балансируя свободной рукой. Над самой быстринной она остановилась, — должно быть, лед там был очень тонок. Потом бросила перед собой доску, упала на нее со всего роста и поехала на ней дальше, отталкиваясь о лед руками, как веслами. Ее пунцовые варежки горели на синем льду, как два огонька. На берегу она стряхнула снег с рукавов и коленок и ушла.

Мотька разволновался и почувствовал прилив энергии. Он нашел под нарами, за круглой, поросшей грибками подпоркой, топор, подтащил к избушке оставшееся после сплава бревно и, надсекая на нем зарубки, стал перешибать на короткие кругляши. Он рубил, колол, побрякивая, полпевывая на руки. Щепки ударялись о лубочную крышу, гора поленьев быстро росла, в железной печке уже гудел огонь, и Никодим лежал на краю нар, наслаждаясь теплом. Окончив работу, Мотька прилег рядом.

Очнулся он испуганный, с сильно бьющимся сердцем — его разбудил голос Насти.

#### LV

В это утро Макаров босой, в исподнем белье подошел к окну и вытер мякотью ладони запотевшее стекло. На земле, на крыше школы лежал снег, и небо было зимнее — высокое, ослепительно белое.

Поля покрывала праздничным одеялом детскую кроватку. Ее бескровные губы были плотно сжаты, слез на глазах не было. На стене висело маленькое разглаженное пальтишко. Поля хотела

чтобы комната подольше хранила память о Ваське. С волнением признательности Макаров еще раз подумал — насколько материнская любовь сильнее, а горе матери откровеннее отцовского.

Он стал одеваться.

Горе вернуло Макарову свежесть восприятия. Он точно заново входил в этот обжитой, давно знакомый мир.

Он подошел к сундуку, достал шапку-ушанку с обтершимся по околышку мехом, здесь же, возле сундука, напялил ее на голову и вышел наружу. Дверь захлопнулась по-зимнему легко.

Кузьма Ильич пошел обочиной дороги. По правую руку от него была полевая изгородь, дальше лежало заочневшее поле. Вокруг громоздились хребты гор с седыми лесами. С высоты осыпались блестящие снежной пыли, — в горах бушевала метель. Кузьме Ильичу было как-то ново и больно видеть все это, как будто он отнял у сынишки весь окружающий мир.

Тропинка была протоптана у самой стены школы. Перила крыльца были шершавы от изморози — ученики еще не приходили.

Совсем близко к Орлиной горе, напротив крайних избенок, стояло кирпичное зданье гаража. Это было последнее законченное дело Кузьмы Ильича. Остановясь в раскрытых воротах, Макаров с трудом нашел в темноте Ванюшку. Тот лежал на спине под машиной.

Кузьма Ильич частенько заглядывал в гараж. Ванюшка работал здесь в одиночестве, и они могли о многом говорить.

Они сели рядом на крыло машины и закурили. Макаров — суровый, неповоротливый в зимней одежде, Ванюшка — в распахнутой кожаной тужурке, разгоряченный работой.

— Слышно, в область приехала комиссия, — заметил Ванюшка.

— Слух был, — подтвердил Макаров. Больше они не говорили об этом. Каждому были ясны мысли другого.

— Говорят, Белохатко воротился из города. Ждет за рекой ледостава. Другой все-таки разузнал бы что-нибудь, а уж этот тупой до политики.

Макаров безнадежно махнул рукой.

— А еще Ильяс тут пришел, — продолжал Ванюшка. — Тебя уж он не стал тревожить. И я не посоветовал. Говорит, двое бродяг устроились в сторожке, ожидают льда. Один, знаешь, Мотька. Вот тебе и перековался! Ну, что ты с ними сделаешь?

— Все-таки... — ответил Макаров в раздумье. Он снова ощутил привычное беспокойство. Кузьма Ильич оставил Ванюшку докуривать в полутьме гаража папиросу, а сам пошел за овраг, к Лукерье.

...Выставив сбоку стола деревянную, отпотевшую в тепле култышку, паромщик пил с блюдечка чай. Он весь размлел от наслаждения.

— Чего же ты ко мне не зашел? — упрекнул Ильяса Макаров. Тактичный паромщик смолчал. — Постояльцы-то, наверно, утекли?

Ильяс ответил, что лед тонок, сектанты сегодня еще не могут уйти.

Теперь Макаров решил действовать. Он отказался от угощения, хотя Лукерья ради него бросила в чайник свежую заварку.

Он пошел назад, в деревню, и постучался в окошко к Зотовым. Настя бежала без платка, она почувствовала что случилось что-то важное, иначе Макаров не пришел бы на другой день сле похорон.

Макаров поздоровался с ней за руку.

— А я по делу к тебе, — прямо сказал он. — Там Матвей на переправе. С бегуном. Если его не остановить — пропадет без поворота. А сейчас он и колхозу сделал бы пользу.

— Что ж, я схожу, — ответила Настя, вспыхнув.

## LVI

Внезапное решение Насти говорить с Мотькой было сильно и непоколебимо. К этой встрече ее вела тоска, мучительные попытки понять, чем же был Мотька для нее и для других. Ослепляемая порывами бурана, она бежала по горной дорожке, шепча гневные слова, какие скоро скажет Мотьке. Но, когда она вошла в землянку и увидела его, обрюзгше-

го и жалкого, все задуманные фразы забылись.

— Я пришла поговорить с тобой, Мотя, — просто сказала Настя.

Мотыка не сразу откликнулся, хотя в искренность Насти поверил сразу.

— А за дверями милиционера не оставила? — сказал Мотыка враждебно, садясь на край нар. Ему хотелось поломаться, порисоваться тем, что он пропащий.

Никодим весь заколыхался в беззвучном смехе, изо рта у него стали падать мокрые крошки.

— Наизмывались, со свету сжили... Костям на кладбище и то не дадите покою, — продолжал Мотыка, воодушевленный поддержкой. — Говори при нем, мы все для вас одной меткой мечены.

Мотыка решился глянуть Насте в глаза, но, как только глянул, все перед ним потемнело. Он увидел ее, незнакомую и по-новому красивую. Щеки ее с мороза пылали румянцем, а шея под растянутым воротом шубы была молочной белизны — полная шея молодой женщины; еще не растаяла набившаяся в брови снежная пыль, — и, может быть, именно она делала все лицо неуловимо живым.

Настя увидела себя его глазами. Как она счастлива была прежде, как хотела быть красивой для него...

Глядя на Мотыку и обращаясь, в сущности, к Мотыке, она сказала Никодиму:

— Сами его загубили, сами и предали. Не ты ли, змей, про бересту на него наговаривал, а теперь дружочком прикинулся?

Мотыка поднялся. Некоторое время он стоял посреди землянки, онемевший от нахлынувших чувств, — и в это время и Настя, и Никодим смотрели на него со страхом, — потом подступил к Никодиму и простонал хрипло:

— Уйди.

## LVII

Едва в дыму мороза занялась утренняя заяя, из деревни вышли два пешехода. Оба были коренасты, почти одного роста, и, может быть, ровесники. Но

даже со стороны легко было бы заметить, что эти люди, хотя и идут одной дорогой, но не к одной цели и не с одинаковыми мыслями.

Один все время шел позади и лишь затем отводил глаза от спины спутника, чтобы с недоверием глянуть на придорожные кусты. Он держался, как очень ревностный конвоир, хотя был одет покрестьянски и не имел при себе оружия.

Впрочем, спутник его едва ли помышлял о бегстве. Он шагал устало-безразличный, глядя себе под ноги. Неловко выдвинул плечи вперед и весь ссутулился: он отогревал в рукавах пальцы. Был он в летнем картузе и, чтобы не отморозить уши, прижимал голову то к одному плечу, то к другому. И от того, что весь съезжился, он косолапил и шаркал грубыми ботинками по окаменелой дороге.

Это были Кузьма Ильич Макаров и Мотыка Демьянов.

Выйдя на Орлиную гору, Мотыка покосился через плечо назад, туда, где остались деревня. Он не осмелился попроситься с родными местами. Макаров же кинул вдаль долгий, влюбленный взгляд.

Скованная холодом природа и в оцепенении своем была могуча и прекрасна.

Из пропасти поднимались массивные ели с комьями первого снега на ветвях и легкие, дымчато-сизые шатры берез.

Внизу видна была деревня.

У Макарова затуманились глаза. Он вел в областной город важного свидетеля и верил, что теперь, наконец, уличит своих врагов. Он предчувствовал, что впереди будет все: и метели, и ростепели, и полые воды, и колыханье пшеничного моря, и хмельной азарт труда, и тихий отдых в холодке у ометов...

Иной раз посчастливится путнику увидеть сверкающий корпус парохода над зеленью лугов. Пароход пройдет по реке и скроется, а в памяти путника долго еще остается что-то светлое и веселое.

Макаров, взглянув на родные места, долго еще шел с прояснившимся лицом. Он думал о скором возвращении в Теплые горы.

# Стихотворения

НИК. УШАКОВ

★

## В ПОЕЗДЕ

Как быстро отпускное лето!  
Оно блокпостами отпето,  
оплакано исподтишка  
далеким петушком рожка...  
А горизонт краснеет синий  
вдоль железнодорожных линий,  
пока, гремя,  
пока, свища,  
идет «Максим» из отдаленья,  
пока в служебном отделенье  
мерцает первая свеча,  
и ей единственная вторит  
на небесах больших, как море,  
едва заметная звезда,  
и пассажирка шарфом легким  
взмахнет, —  
и легче станет легким  
в румянном воздухе тогда,  
и дышишь, дышишь всем закатом,  
и — пустота...  
Лишь дым хохлатый —  
ушедшего состава след.  
Он дорог, как воспоминанье  
о людях,  
о делах,  
о зданьях,  
каких, быть может, больше нет...

Мы сами в поезде.  
Недаром  
курьерский поезд нас несет,  
года окутывая паром,  
ведя мгновенным верстам счет.

И только знаки верстовые  
летят в лесах,  
как бы впотьмах,

и только точки световые —  
как бы сигналы на путях.

Мы сами в поезде...  
Мельканье  
прудов в осеннем осыпанье  
лимонной рощи.

Палисад.

Дымок над кипятильным кубом.  
Дрова. На них грибы, как губы,  
и день от ливня полосат,  
и встречный пролетает с шиком,  
едва кивнувши сторожикам,  
и роща желтою копной,  
мосточка дробь,

и речки росчерк,

и снова роща,

роща,

роща,

еще одна —

и ни одной.

★

## НАШИ КОРАБЛИ

Не аллигаторы в запретных водах,  
вкушающие в знойный полдень отдых,  
гранеными хребтами повели, —  
военные проходят корабли,  
и в небо отлетает дым нескорый.

Эсминцы, крейсера, линкоры,  
и субмарины, и москитный флот,  
вы — часовые у моих ворот;  
как хороши цветные ваши флаги  
над зеленью тяжелозвонкой влаги,  
как назидательно учебный щит  
под нашими снарядами трещит,  
влекомый в сизом море на буксире.

Уже мне виден — самый первый в мире,  
в готовности своей — спокойный строй  
на севере, на юге, на востоке,  
на западе в волненье волн высоких,  
меж брызг и радуг в синеве сырой.

---

# Невыдуманнные рассказы о прошлом

В. ВЕРЕСАЕВ

★

*Чистый вымысел принужден всегда быть настороже, чтоб сохранить доверие читателя. А факты не несут на себе ответственности и смеются над неверящими.*

РАБИНДРАНАТ ТАГОР. «Четверо».

С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести; и все интереснее — живые рассказы о действительно бывшем. И в художнике не то интересуется, что он рассказывает, а как он сам отразился в рассказе.

И вообще мне кажется, что и беллетристы, и поэты говорят ужасно много и ужасно много напихивают в свои произведения известки, единственное назначение которой — тоненьким слоем спаивать кирпичи. Это относится даже к такому, например, скупому на слова, сжатому поэту, как Гюгчев.

*Душа, увы, не выстрадает счастья,  
Но может выстрадать себя.*

Это стихотворение к Д. Ф. Тютчевой только выиграло бы в достоинстве, если бы состояло всего из приведенного двустишия.

Я по этому поводу ни с кем не собираюсь спорить и заранее готов согласиться со всеми возражениями. Я и сам был бы очень рад, если бы Левин охотился еще на пространстве целого печатного листа и если бы чеховский Егорушка тоже еще в течение целого печатного листа ехал по стене. Я только хочу сказать, что таково мое теперешнее настроение. Многое из того, что тут помещается, я долгие годы собирался «развить», обставить психологией, описаниями природы, бытовыми подробностями, разогнать листа на три, на четыре, а то и на целый роман. А теперь вижу, что все это было совершенно ненужно, что нужно, напротив, сжимать, стискивать, уважать и внимание, и время читателя.

□ □ □

I

1

## СЛУЧАЙ НА ХИТРОВОМ РЫНКЕ

В Москве, между Солянкой и Яузским бульваром, находился до революции широко известный Хитров рынок. Днем там толокся народ, продавал и покупал всякое барахло, в толпе мель-

кали босяки с жуликоватыми глазами. Вечером тускло светились окна ночлежных домов, трактиров и низкопробных притонов. Распахивалась дверь кабака, вместе с клубами пара кубарем вылетал на мороз избитый, рычащий пьянчуга в разодранной ситцевой рубашке. Ночью повсюду звучали пьяные песни и крики «караул».

В чулане одного из хитровских домов был найден под кроватью труп задушенного старика. Дали знать в полицию. Приехали товарищ прокурора и судебный следователь. Под темной лестницей, пахнувшей отхожим местом, — чулан при шапочном заведении. Поверху проходит железная труба из кухни заведения, — единственное отопление чулана. Чулан тесно заставлен мебелью. Под железной кроватью труп задушенного старика с багровым лицом. Ему хозяин шапочного заведения сдавал под жилье чулан. Все вещи целы. В комодѣ найдена жестянка, в ней семнадцать рублей с копейками. Не грабеж. Кто убил?

Много помог следствию городской, давно служивший в той местности; все взаимоотношения, романы и истории рынка были ему хорошо известны. Найти виновника преступления оказалось очень нетрудно.

Убитый старик был когда-то начальником крупной железнодорожной станции, спился, попал на Хитров рынок. Под старость стал пить меньше. Скупал по тридцать, по сорок копеек старые шерстяные платья и из лоскутьев шил шикарные одеяла для хитровских красавиц, зарабатывал по шестнадцать-восемнадцать рублей в месяц. Считался богачом, имел постоянный заработок, свой угол.

Допрос свидетелей. Как будто раскрылся пол, и из подполья полезли жуткие, совершенно невероятные фигуры в человеческом обличе. Хозяин шапочного заведения, у которого убитый нанимал чулан, старик лет пятидесяти. Был очень пьян, пришлось отправить в участок для вытрезвления, и допросить его можно было только на следующий день вечером. С опухшим лицом, сидит, сгорбившись, в лисьей шубе. И вдруг начал икать. Это было что-то ужасное. Как будто все внутренности его выворачивались. Умоляет дать водки, чтобы опохмелиться.

Спрашивают об убитом. Он очень уклончиво. Ничего путного нельзя добиться. Наконец сознался.

— Я его ни разу не видал.

— Как не видали? Он у вас уже пять месяцев живет!

— Извините! Я шесть месяцев без просыпу пьян. Как сукин сын, извините за выражение.

Оказалось, действительно, все время пьет. Днем в трактире, вечером возвращается, — спать. Ночью проснется, хрипит: «Водки!». Жена ему вставляет в рот горлышко бутылки. Утром проснется, опять: «Водки!». Встанет и идет в трактир. Дома только спит, пьет водку и бьет жену.

Пришлось для допроса призвать жену. Она кажется много старше своих лет, управляет мастерской, нянчит ребят, покупает мужу водку. На лице глубокое горе, но совершенно заморуженное. Рассказывает обо всем равнодушно.

Прежняя любовница убитого: бабича лет пятидесяти, толщины невероятной, красная, вся словно налита водкой. Спрашивают у нее имя ее, звание. Она вдруг:

— Je vous prie, ne demandez moi devant ces gens-là!

Оказывается: дочь генерала, окончила Павловский институт. Вышла несчастно замуж, разъехалась, сошла с уланским ротмистром, много кутила; потом он ее передал другому, постепенно все ниже, — стала проституткой. Последние два-три года жила с убитым, потом разругались и разошлись. Он взял себе другую.

Вот эта другая его и убила.

Исхудалая, с большими глазами, лет тридцати. Звали Татьяной. История ее такая.

Молодой девушкой служила горничной у богатых купцов в Ярославле. Забеременела от хозяйского сына. Ей подарили шубу, платье, дали немножко денег и сплавил в Москву. Родила ребенка, отдала в воспитательный дом. Сама поступила работать в прачечную. Получала пятьдесят копеек в день. Жила тихо, скромно. За три года принакопила рублей семьдесят пять.

Тут она познакомилась с известным хитровским «котом» Игнатом и горячо его полюбила. Коренастый, но прекрасный сложенный, лицо цвета серой брон-

зы, огненные глаза, черные усики в стрелку. В одну неделю он спустил все ее деньги, шубу, платья. После этого она из своего пятидесятикопеечного жалованья пять копеек оставляла себе на харчи, гривенник в ночлежку за него и за себя. Остальные тридцать пять копеек отдавала ему. Так прожила с ним полгода и была хорошо для себя счастлива.

Вдруг он исчез. На рынке ей сказали: арестован за кражу. Она кинулась в участок, рыдая, умоляла допустить ее к нему, прорвалась к самому приставу. Городовые наклали ей в шею и вытолкали вон.

После этого у нее—усталость, глубокое желание покоя, тихой жизни, своего угла. И пошла на содержание к упомянутому старику.

Паспорту Татьяны вышел срок. Старик отобрал его и от себя послал на обмен. Она осталась без паспорта и не могла уйти от старика. Вдруг воротился Игнат. Оказалось, он был арестован не за кражу, а только за бесписьменность: выслали этапом на родину, он выправил паспорт и воротился. Рыночные бабенки сейчас же сообщили Татьяне. Она отыскала его, радостно кинулась навстречу. Он засунул руки в карманы:

— Чего тебе надо?

Она остолбенела.

— Отыска-ала!.. На что ты мне такая? Худая, как холера. Я и тогда-то с тобой так только жил, от скуки. Скажите, пожалуйста: за такого мальчика — тридцать пять копеек! Я себе богатую найду.

Еле, наконец, до нее снизошел. Но она и тому была рада. Он ее бил, измывался, отбирал все деньги. И все попрекал стариком.

— Старика своего любишь, — ну, и иди к своему старику.

А она уйти от старика не могла: паспорт у него. А беспаспортную вышлют. А Игнат все измывался и утверждал, что она больше любит старика, чем его.

Татьяна вскочила:

— Ну, я ж тебе докажу, что больше люблю тебя!

Побежала домой и задушила спавшего старика.

И вот стали ее допрашивать. Худая, некрасивая, в отрепанной юбке, глаза волчонка, смотрит исподлобья. От всего отпирается. Вдруг какой-то произошел перелом — и во всем созналась. Рассказывает о своей любви к Игнату, и вся преобразилась. Глаза стали большие, яркие, целые снопы лучей посыпались из них, на губах застенчивая, мягкая улыбка. Как красива становится женщина, когда любит!

Старик-следователь, раздражительный и сухой формалист, вначале грубо покрикивал на нее, но, как подвигался допрос, становился все мягче. А когда ее увели, развел руками и сказал:

— Вот не думал, чтоб на Хитровом рынке могла быть такая жемчужина!

Товарищ прокурора, уравновешенный, не старый человек, в золотых очках, задумчиво улыбнулся:

— Да-а... «Вечно-женственное» в полой яме!

Стали допрашивать Игната. Держится в высшей степени благородно, приводит всяческие улики против Татьяны, полон негодования.

— Дозвольте вам доложить: шкура и больше ничего-с! Какое безобразие, ну скажите, пожалуйста! За что она старичка?

В один из вопросов, когда товарищ прокурора допрашивал Игната, из соседней комнаты, от следователя, вышла Татьяна. Вдруг увидела Игната, вспыхнула радостью, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Ну, Игнат, прощай! Больше не увидимся: я на каторгу иду.

Он дернул плечом, отвернулся и презрительно отрезал:

— Пошла прочь... Стерва!

Товарищ прокурора вспыхнул и возмущенно крикнул:

— Сукин ты сын!.. Негодяй!

Городовые, и те негодуяще замычали. Стоявший в дверях следователь злобно плюнул.

Она низко опустила голову и вышла.



## 2

## «НЕ ТАКОЙ ПОДЛЕЦ»

Богатая семья. Большое имение под Москвой. Особняк в Москве. Братья служили военными, дипломатами, все поженились. Сестра их Соня осталась в девушках. Ей уж значительно перевалило за сорок, была она некрасивая, высохшая, но очень тонная, туго затягивалась в корсет, пудрилась. Лето вся семья проводила в деревне. И вдруг весть: Соня выходит замуж! Все хохотали. Она спешно поехала в Москву вставить себе челюсть и вообще омолодиться.

Жениху было лет сорок пять. Он занимал довольно видный пост в государственном контроле. Пришла от него телеграмма, что едет в командировку и по дороге завернет на день к ним. Все ждали с большим интересом. Приехал поздно вечером. Был очень безобразный, с толстыми губами. Но оказался большим умницей, интересным рассказчиком: в разговоре безобразие исчезло, и за ужином он всех очаровал.

Утром — пить кофе.

— Что жених?

— Спит.

Сели завтракать.

— Что он?

— Спит.

Пошли в рощу собирать грибы, воротились...

— Спит!

Вышел к обеду, к шести часам. Разговаривал со всеми, на невесту не обращал никакого внимания, — так, перекинется, как со всеми, словом, ответит на ее вопрос. Сейчас же после обеда уехал. Общее изумление. Скрытно-растерянные глаза Сони.

Через три недели приехал на свадьбу. Опять спал до четырех часов дня. Потом вышел в залу, сел за рояль и все время играл похоронный марш Шопена. Вечером отправились в церковь, обвенчались и уехали.

Осенью Соня приехала к родителям в Москву, сказала, — на два дня, но прожила три недели. Уехала к мужу, через неделю опять вернулась и осталась у родителей.

Через несколько месяцев брат Сони, полковник, встретился на улице с бывшим ее мужем, отвернулся. Но тот перешел к нему с другой стороны улицы и сам заговорил:

— Я не такой подлец, как вы можете подумать. Я вам все напишу.

И написал, что давно любил другую, долго жил с нею, потом она его бросила. Чтоб ее задеть, он нарочно женился и постарался сделать это как можно нелепее.

Почему-то думал, что в этом он оказался не таким подлецом, как можно было подумать.

□ □ □

## 3

## ПИСАТЕЛЬ

Вся редакция журнала любовно носилась с ним. Он напечатал уже три рассказа в журнале, и один был лучше другого. Даже у секретарши Анны Михайловны, суровой женщины, недавно воротившейся из ссылки, глаза становились теплее и мягче, когда она разговаривала с ним.

А сам он все не верил своему счастью и жадно ловил всякий одобрительный отзыв. Особенно он дорожил почему-то мнением Анны Михайловны и все спрашивал ее:

— Ну как вы думаете, выйдет из меня настоящий писатель?

Был он красивый парень с мужественным голосом, а в глазах и в интонациях то-и-дело прорывалось что-то совсем детское и ужасно милое.

Однажды, когда Анна Михайловна была одна, он, краснея и смущаясь, обратился к ней с очень страшной просьбой: дать ему на одни сутки полный комплект женской одежды до самых интимных ее частей.

— Надевать никто не будет, даю честное слово. Это нужно только для бутафории.

— Что вы собираетесь делать?

Он лукаво поглядел и ответил:

— Секрет. Только очень нужно. Для рассказа.

Анна Михайловна рассмеялась и обещала. На следующий день принесла че-

моданчик с просимыми вещами. Он ушел очень довольный и обещал завтра же возвратить.

Пришел он не завтра, а послезавтра. Лицо смотрело неподвижно, и в глазах было недоумевающе-смущенное выражение ребенка, которого высекли, — он не знает, за что, но, повиному, за дело.

— Вот чемоданчик, возвращаю. Спасибо.

Сел. Дрожащими руками закурил папиросу.

— Я к вам, Анна Михайловна, с просьбой. Такая штука получилась, — без вашей помощи не расхлебаю.

— Что случилось?

— Видите ли... Я уж вам все откровенно... Для нового моего рассказа нужна мне сцена ревности женщины. А я никогда в натуре не видал, как в таких случаях проявляется женщина. Вот я и надумал... Любит меня одна девушка. Ну, и я, конечно, ее люблю. Обычно приходит она ко мне по утрам, два раза в неделю. Я и решил понаблюдать, как она ревнует. Третьего дня вечером соответственно убрал свою комнату: на столе как будто остатки ужина, — тарелки с закуской, бутылки, стаканчики наполовину с вином. По креслам раскидал то, что вы мне дали, на самых видных местах — рубашку, чулки и тому подобное. А утром, к ее приходу, сделал на кровати из своей шубы как будто человеческую фигуру, закутал в одеяло, — очень хорошо вышло, лежит, как живая. Собрался сам одеваться, вдруг — стук в дверь, и она вошла. Минут на десять почему-то раньше, чем обычно. В удивлении остановилась на пороге. Я, чтоб не расхохотаться, подошел к окну и смотрю наружу, кусаю губы. Сзади молчание, я оглянулся. Она вдруг охнула, пошатнулась и выбежала вон. А я в одном нижнем белье!.. Одежда, побежал следом... Нет ее. К ней, — нет дома. Вечером только застал. Рассказал все, как было. Она слушает и молчит. Он почесал за ухом.

— Хоть бы ругала, хоть бы плакала! Сидит и молчит, и глаза сухие, только очень большие. Видно, не ве-

рит... Я вот вас и хочу просить, Анна Михайловна. Пойдемте к ней вместе, расскажите, что это вы мне дали одежду.

Анна Михайловна брезгливо ответила:

— Нет уж, избавьте, пожалуйста! Очень жалею, что вы не сочили нужным предупредить, на что вам это было нужно. Бедная девочка, — с кем связалась!.. А вас могу поздравить: рано это немножко, но стали вы — самым, самым «настоящим» писателем!

□ □ □

#### 4

### ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ

На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом. Его выстроил для себя один богатый сибирский золото-промышленник. Заказал архитектору проект, одобрил, заключили договор. В договор промышленник ввел огромную неустойку, если работа не будет закончена к условленному сроку. Все время при стройке придирался, тормозил, заставлял снова и снова переделывать. Архитектор увидел, что попал в когти дьявола, что к сроку заказа не кончит; уплатить же неустойки он не имел возможности. И повесился в этом самом доме, который построил.

Хозяин поселился в доме с девушкой-дочерью. Она влюбилась в певца итальянской оперы. Отец, конечно, и думать ей запретил о подобном замужестве. Она убежала с итальянцем за границу. Отец остался жить один в огромном доме. Сильно зловился на дочь и сильно по ней тосковал. Госка победила. Поехал за границу отыскивать дочь. Отыскал ее, брошенную итальянцем, в нужде, беременную.

Привез обратно. И тут победила злоба. Он замуровал дочь в светелке над вторым этажом. Дверь наглухо заделал кирпичами, оставил только маленькое окошечко; в него ей подавали еду и питье. Подкупленная прислуга молчала.

Пришло время ей родить. Ее крики и стоны разносились по всему дому. Отец запретил рассказывать ей какую-либо помощь, сидел у себя в кабинете и три дня слушал, как по гулким комнатам обеих этажей носились ее стоны и вопли. В ночь на четвертый день все стихло. В светелке нашли мертвую мать и мертвого младенца.

А для отца дом продолжал оставаться полным стонами и криками. Он не спал по ночам и все время расхаживал в халате по ярко освещенным комнатам особняка. Наконец не выдержал и уехал куда-то за границу. Дом до самой революции стоял пустым.

□ □ □

5

### ОШИБКА

Мы с ним уж два года были до этого знакомы, и все ничего.

А этот вечер вдруг стал совсем необычным. Случилось это в августе, были яблоки, были ночи с туманами. Он смотрел мне в глаза, и я вдруг почувствовала, что он восхищается мною, и я не могла не быть от этого доброй и прекрасной. Восхищение действует на меня, как масло на скрипучую дверь. Мы говорили глазами и улыбками так хорошо, как люди не говорят словами. Ночь была совсем особенная. Месяц, блестящие от росы крыши и заборы, тяжелые черные тени на дорожках. Я чувствовала, как у меня блестят глаза.

Мы бродили под яблонями, довольно близко друг от друга. Иногда на землю тяжело шлепалось яблоко. У меня ноги были совсем мокрые от росы, я видела, что он тоже промок, но что это ничего, потому что ему хорошо со мною. Он гладил мои руки. Это было так просто и понятно в ту ночь!..казалось, в ней все друг друга любят, и ничего не было удивительного или нехорошего в его ласке. И неудивительно было, когда он поцеловал меня нежно, нежно... И я отвечала ему, и это было так и нужно тогда, чтобы после нам не было жалко и стыдно. Да, и стыдно!

Потому что стыдно должно было бы быть обоим, если бы мы эту ночь проморгали.

А потом мы продолжали встречаться. И месяц такой же был, и росы, и яблоки падали. А уж этого не повторилось. Почему? Я не понимала. Плакала по ночам. И мне ясно стало, что чувство, которое меня к нему влечет, — не любовь. Я боялась обмануться и обмануть его. Старалась заминать возникавшие между нами разговоры на эту тему.

Мы расстались. Он уехал на службу в Донецкий край. Он — горный инженер, только-что кончил курс. И как только он уехал, я поняла, что люблю его. Хотя нет, вовсе не так. Не сразу было. Я тосковала, но говорила себе, что это пустяки, пройдет. Мы переписывались года два. И вот тогда я поняла окончательно, что люблю его. А он вдруг прекратил переписку. Стороной я узнала, что он женился. Подействовала разлука, отвык от меня и женился. И осталась я одна на свете. Овладела черная меланхолия, мне казалось, что я никому не нужна. Потом выправилась, опять появилась жажда жить.

Осенью девятьсот пятого года я познакомилась с одним человеком. Он был старше меня на одиннадцать лет. Сначала я чувствовала себя с ним очень хорошо и легко. К тому же он был окружен ореолом героя, — только-что вышел из тюрьмы, где просидел два года. Но очень скоро я стала замечать, что он относится ко мне исключительно, как к женщине. Это меня обижало, сердило, я решила объяснить с ним. Но он так повернул дело, что я невольно стала думать: отчего меня так волнует его отношение? Да, меня тянуло к нему. Он меня уверял, что мы любим друг друга, что, хотя я отрицаю, я люблю его. Я думала, что у нас установится прочная привязанность, и мы станем друг для друга мужем и женой. Но он совсем не желал этого. Он говорил:

— Я хочу, чтоб наша встреча пронеслась сверкающим метеором по серенькому небу обывательщины.

Я не любила его, но не могла уйти. Так ему и говорила, что не люблю, хотя и тянет к нему. А он становился настойчив до дерзости. Скажи мне в это время тот, первый, хоть слово, напиши самое обыкновенное письмо (он был очень чистый и серьезный человек), — ничего бы не было... И я отдалась нелюбимому, — отчасти по разбуженному им чувственному влечению, отчасти из желания все это узнать, но главное: я решила, что не умею любить и никогда никого не полюблю по настоящему. А тогда не все ли равно? Притом он обещал, что последствий не будет. И, правда, не было.

Радость во всем этом было очень мало. Тяжело было и как-то гадостно. Утром я давала себе слово разорвать с ним, но наступал вечер, приходил он, ласковый и веселый, и с первым поцелуем я теряла силу. Наконец разлад во мне стал сильнее чувственного влечения, и мы расстались.

То, первое, чувство заглохло пока, но я чувствовала: все хоршее, цельное, чистое, что есть во мне, связано с тем, первым. Не смейтесь, если кто случайно прочтет эти строки; я, действительно, не считала, что я нравственно стала хуже, чем была прежде. Я никого не обманула. Этот, второй, узнал, что я его не люблю.

Через год осенью я получила письмо от первого, любимого, на адрес Женского медицинского института (я тогда кончала в нем курс). У меня потемнело в глазах, когда я узнала его руку. Письмо было отчаянное. Жизнь исковеркана. Он спрашивал, хочу ли я выслушать исповедь своего бывшего друга. Что я пережила после этого письма! До других мне было все равно, но его суд (о той истории) мог бы меня окончательно срезать. А скрывать я ничего не хотела. Я ответила на письмо, не говоря пока ничего. Ответа не было. Прошел еще год. Однажды в театре мне так вспомнилось старое, так всколыхнулось, что отогнать я уж не могла. Я написала ему простое, дружеское письмо. Он моментально ответил и на рождество приехал повидаться. Оказалось, тогда с него взяла слово жена не от-

вечать мне, так как мое письмо попало ей в руки. Теперь он мой. Жена, еще до моего последнего письма, ушла от него... с гусарским офицером! Как в пошлейших романах сотню лет назад: «На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет»...

Мне хочется все это рассказать самой себе вот почему. Я отдалась другому без любви, это была, конечно, ошибка, и была грязь. И вот, несмотря на это, я сохранила в глубине души всю чистоту и поэзию чувства. Да, именно поэзию, так как после той современной истории, «санинской», я особенно сильно почувствовала поэзию и силу настоящей любви. Конечно, я рассказала ему про ту историю. Он все понял. Я теперь могу любить только его. И то, что я отдалась без любви, сделало меня только чище и целомудреннее, и никогда ничего такого не сможет повториться со мною.

□ □ □

## 6

### ДОКУМЕНТ

Сегодня вечером Федор Иванович сидел у меня. Рассказывал, что в их квартире кончила самоубийством молодая девушка.

— Интереснейший документ, знаете ли!

Я так и обомлела. Спросила растерянно:

— Документ... Это что же? Дневники ее?

Он с недоумением ответил:

— Ну, да!

Документ! Какое определение! «Документ»! О, подлецы! Нужно же было слово откопать! Я вся дрожала от бешенства. Еще бы одно слово, и я, кажется, потеряла бы власть над собою, встала бы, сказала бы ему ужаснейшую грубость, выгнала бы вон. Но он вдруг замолчал. Понял ли он, что делается со мною, или это была случайность, но он замолчал. А я понемножку успокоилась.

Однако и сейчас все время мучает вопрос: «Зачем она писала?». Ведь это же обыск, обыск сердца! Ах, охота же

ей была пускать в свою жизнь каких-то трубочистов, чтобы все чистое было замазано их черными венниками! Неужели она этого хотела? И чтоб какой-нибудь болван Федор Иванович читал ее «документ», — откусывал от сахара, попивал бы с блюдечка чаек и важно говорил бы:

— Какой интересный документ!

Неужели она хотела! Мне страшно было, и не только за нее. Ведь и сама я способна попасть в такие документы, я тоже пишу дневник.. Боже мой, как же мне сделать, чтобы он не мог стать «документом»?

□ □ □

7

### ФРАНЧЕСКА

**Ж**ил в Москве генерал Зарудин, очень богатый. У него было шестьдесят тысяч десятин на Урале да десять тысяч в черноземных губерниях России. И было у него две дочери. Старшая, Зинаида Аркадьевна, была замужем за русским посланником в одном второстепенном государстве. Младшая, Валентина, еще не была замужем.

Путешествовала она по Италии с двумя дамами. Они обе были замужние и очень хорошенькие. Валентина же была некрасива. В Риме они познакомились с итальянским офицером изумительной красоты, Луиджи Маринелли ди Толомеи, из старинной флорентинской патрицианской фамилии. Он стал было приударять за обеими хорошенькими замужними дамами. Но вскоре убедился, что они любят своих мужей, и тут же узнал, что некрасивая их спутница-девушка—наследница огромных имений в семьдесят тысяч десятин. Шутка! Чуть не с целую Италию. А собственные дела его были порядком расстроены. Он вспылал горячею любовью к Валентине.

Распрощались. Условились переписываться. Переписка становилась все оживленнее. Отец и особенно мать были сильно против, но Валентина ничего и слушать не хотела. Съехались в Ницце и повенчались.

Вскоре умер отец Валентины, потом мать. Муж настаивал, чтобы все имения в России продать и деньги отдать ему. Но наследство не было еще поделено между сестрами. Одною по частям имения продавались, и деньги поступали в его распоряжение. Муж страшно ревновал Валентину, хотя она была некрасивая, а сам он постоянно ей изменял.

Родилась у них девочка. Франческа Маринелли ди Толомеи. Муж заявил с отвращением:

— Девочки мне не нужны. Нужны мальчики для продолжения нашего рода. Иначе он со мною угаснет.

Съездили вместе в Россию, муж усиленно настаивал на полной ликвидации ее родительского наследства. Но родственники всячески противились. Возвратились в Италию. Он поселил жену с маленькой дочкой под Флоренцией, в загородной вилле, а сам уехал в Геную. Жена жила под присмотром его матери, настоящей мегеры, и его сестры, старой девы. Письма Валентины в Россию и из России к ней перехватывались. Выходить ей запрещалось, — можно было только в православную церковь. Она через священника послала в Россию отчаянное письмо. Родня у нее была влиятельная, стала принимать меры. Но неожиданно Валентину освободила одна молодая американка, — тут уж совсем, как в авантюрном романе. Узнала о положении Валентины и взялась ее похитить, — не за деньги, а так, из любви к спорту и приключениям. Поселилась рядом с ее виллой, через священника наладила с нею связь. В одну темную ночь Валентина с двумя детьми (в заключении у нее родился еще ребенок, мальчик) вышла в сад. В условленном месте через каменный забор была переброшена веревочная лестница. Валентина перебралась с детьми через забор, американка ждала их в автомобиле. Увезла и отправила на пароходе в Россию.

Валентина прожила в России три года. Приехал из Италии муж, стал звать обратно, давал клятвы. Прожил с нею несколько месяцев, уговорил-таки продать ее большое воронч-

ское имение. Она продала. Была уже опять беременна. Он уехал, взяв с собою деньги. Условились, что приедет за нею, когда она родит.

Разразилась всемирная война, потом революция. Старший сын Валентины, тринадцатилетний Андрей, поступил добровольцем в армию Юденича. Она в Ревеле служила кухаркой, мыла поденно полы, стирала белье. Воротился с фронта Андрей, перенесший сыпной тиф, — больной, обовшивевший. Страшно бедствовали. Итальянский консул дал знать в Италию мужу. Тот ответил: «Очень буду рад принять жену и мальчиков, а дочь прошу не присылать, она мне не нужна». Мать с сыновьями уехала к нему, а дочь Франческу согласилась взять к себе ее тетка Зинаида Аркадьевна. Жила она в Москве. У нее был сын, на три года старше Франчески. Ребятами они полюбили друг друга и решили пожениться, когда вырастут. Теперь юноша напомнил ей об этом решении. Франческа было шестнадцать лет. Она согласилась Кузен предупредил ее, что у него была другая любовь, есть ребенок. Франческа взяла у него слово, что он совершенно разорвет с тою.

Пожились. Стали жить в его комнате, рядом с комнатой матери. А через две недели Франческа нашла в кармане мужа письмо от прежней. Она порвала с мужем. Он ту устроил под Москвой и поселился с нею, а Франческе предоставил свою комнату. Вскоре, однако, нашел, что ему из-под Москвы далеко ездить на службу. Разгородил комнату Франчески и в половине комнаты поселился с прежнею своею семьею. Франческе было очень тяжело. Написала матери в Италию, нельзя ли ей приехать к ним. Вместо матери ответил отец: «Мы ничего не имеем против, но имей в виду, что в Италии на разведенных жен смотрят, как на проститутки».

Не поехала. Но жизнь рядом с семьею бывшего мужа томила. Пошла в домком и просила дать ей другую комнату, какая бы ни была. К ней там отнеслись участливо. Дали комнату на чердаке.

Через два года после первого брака, восемнадцати лет, вышла Франческа замуж за профессора термодинамики Краюшкина. Было ему уже пятьдесят лет, и был он очень безобразен. Она бешено ревновала его и возмущалась, что он ее не ревнует. Он говорил ее тетке:

— Она образцовая жена, я с нею очень счастлив, — но только эта ревность! И к кому! Ну, поглядите на меня, — как меня можно ревновать!

У Франчески были золотистые волосы, она не была красива, но сложна удивительно. Самое же замечательное в ней было — необыкновенное изящество. Ни одного лишнего слова, ни одного лишнего жеста. Гордое достоинство в каждом движении. А никаким манерам ее никогда не учили. Да и ни одна гувернантка не могла научить ее так держаться. Знатная флорентинка-патрицианка времен Возрождения Франческа Маринелли ди Толомен, ставшая гражданкой Краюшкиной и имеющая дела с домкомом. Совершенно не была способна на какую-либо подлость, умирала бы с голоду, не украла бы рубля, — но легко и без малейшего колебания отравила бы человека.

А там, в Италии, — чудеса. Отец Франчески во время войны отличился, был контужен, обвешан орденами, вышел в отставку с крупным чином. Он с почетом встретил жену, приехавшую из России, жалкие обноски сменил на ней шелком и бархатом — и зажили они душа в душу, как самые нежные супруги. Полнейшая семейная идиллия. С ними два их сына, оба изумительные красавцы. Знатный род Маринелли ди Толомен не угаснет.

□ □ □

## II

### 8

#### АННА ВЛАДИМИРОВНА

(Пунктирный портрет)

Ей двадцать пять, двадцать шесть лет. Худошавая, — больная чахоткой, но этого не знает. Красивое лицо, но главная красота — огромные, лучистые гла-

за, наивные и невинно-наглые. Дочь жандармского генерала, давно умершего. У нее хорошенькая дочка Муся, лет семи, неизвестно от кого. Сейчас при ней состоит сосед по комнате, студент Макс с масляными глазами. Как дочь жандармского генерала, получает пенсию, — тридцать два рубля в месяц. Но главный источник доходов — всяческие пособия, которые она умеет выхлопывать, как первейшая артистка в подобных делах.

Пушки Петропавловской крепости гремят над Петербургом: царица разрешилась от бремени. Оказалось — опять дочерью, но сначала слух прошел, что — долгожданным сыном.

Анна Владимировна сидит у стола и, торопясь, пишет прошение.

— Что это вы пишете?

— Прошение министру императорского двора. О пособии. Вы слышали? У царя родился сын.

— Так вы-то тут при чем?

— Должен же он быть рад, что у него наконец сын родился. Отчего ему на радостях не отпустить мне триста рублей, — что ему стоит?

— Надела я свою министерскую кофточку...

— Министерскую?

— Да. У меня такая кофточка есть, чтоб ходить по министрам: скромная, в три складки. Выглядит бедно, но благородно. Чтоб их разжалобить... И я министру Витте прямо сказала: «Вы черствый человек, вы сухой человек, наверно, вас никогда ни одна женщина не любила! И, наверно, вы всю жизнь пили только молоко и кипяченую воду!». Через неделю опять пошла к нему на прием. А он не велел меня больше записывать. Я все-таки в залу проскользнула. Прием большой. Вызывают степенного генерал-губернатора Духовского. Маленький и толстый, как лампа. Живот — вот такой. Я бросилась к двери, а дверь узенькая. Я с его животом и столкнулась. Он, конечно, воспитанный человек, уступил мне дорогу. Витте ме-

ня увидал: «Опять вы?!». — «Опять я!». Плюнул и подписал на моем прошении резолюцию: «Выдать просимое пособие».

— Ужасно не люблю непроизводительных расходов.

— Каких, например?

— Калоши покупать, зубы пломбировать, платить за квартиру.

— Какие же расходы производительные?

— Ну... в оперетку поехать, коробка конфет хороших. Бутылка шампанского.

— Люблю много на чай давать.

— Ну, да... все таки, — рабочие люди...

— На это мне наплевать. А чтоб была любовь и готовность. Ужасно люблю, чтоб меня кругом все любили.

— Терпеть не могу работать. Когда уж ничего добывать не смогу, пойду туда, где пенсию получают старушки. Всякая, как получит деньги, с удовольствием даст.

Свою дочку Мусю отдала на казенный счет в балетную школу.

— По крайней мере, будет нравиться старичкам. Пускай балериной будет. Можно хорошую партию себе устроить.

— Это лето мы жили в Уфимской губернии у Мефодия Егорыча. Ничего нет, только семь тощих собак на дворе. Скука; есть нечего, только одни яйца. Муся ходит по комнатам и твердит: «Не бойтесь, Мефодий Егорыч, я вас не боюсь!». Такой дурак этот Мефодий Егорыч! Я разденусь, лягу спать, — он придет ко мне в спальню и сидит. Целует руки и не хочет уходить. Говорит: «Ведь жарко, зачем вы в одеяло кутаетесь?». А денег нет у меня, выехать не на что. Приехал становой описывать имение, я у него двадцать пять рублей заняла...

Общий хохот. Она недоумевающе оглядывает всех своими ясными глазами.

— Чего вы смеетесь?

— Несимпатичный он!

— Нет, он красивый!

— Макс! Кто председателем суда в Полтаве?

— Я почему знаю!

— Вот дурак, ничего не знаешь!

— Он мой друг и очень большой негодяй.

— Я, когда градусником меряю, — вижу, что к тридцати девяти подходит, — поскорей выдергиваю. Боюсь, вдруг сорок градусов окажется. Страсть боюсь, когда сорок градусов температура.

— Жена доктора очень меня ревнует. А сама красная и глупая, как пшон. Сцену мне устроила, дурища такая. Я нарочно ухожу и говорю: «Миленький доктор, прощайте!» — и чмок его в щеку!

— Нет, к другому доктору не хочу. Вдруг он мне скажет: у вас чахотка. Ведь есть такие жестокие доктора.

— Я как-то захандрила, говорю Максусу: «Наверно, у меня чахотка!». А он, дурак такой: «Что ты! У чахоточных бывает необыкновенный блеск в глазах и по ночам поты». Ушел он, я подошла к зеркалу, — у меня в глазах фосфорический свет, клянусь вам богом! И всю ночь так трясло, — от постели поднимало. Чуть у меня от страха не сделалась белая горячка!

— Нет, я не хочу умирать. Гробы всегда такие узкие!

□ □ □

9

## ФЕЛЬДШЕР КИЧУНОВ

(Пунктирный портрет)

Звали его Иван Михайлович. Фельдшер приемного покоя больницы,

где я тогда работал ординатором. Редкие усы и борода, держится солидно, с большим достоинством. Вид глубокомысленный, на жизнь и людей смотрит свысока, с затаенною в глазах сожалущею усмешкою. Истина жизни вся целиком, до последней буквочки, находится у него в жилетном кармане.

На дежурстве вечером, когда поток привозимых больных почти иссякает и гулко звучат в пустых коридорах шаги проходящей сиделки, иногда засидишься в приемном покое и беседуешь с Иваном Михайловичем.

— Как, Иван Михайлович, дела?

— Какие ж у меня дела! В гости я не хожу, картами и водочкой не занимаюсь, за девочками не бегаю... В церковь сходить, свечечку поставить в гривенник, просвирку подать, — вот и все мои дела. Дома библию читаю. Дела у меня обыкновенные. Вчера библию купил себе новую. Хорошая книга, давно к ней приглядывался. Книга фундаментальная, пятнадцать фунтов весом! Приятно иметь такую книгу. Переплет красивый, — не барский, этого нельзя сказать, — скромный, смиренный, но обращает на себя строгое внимание. Книга, можно сказать, вполне официальная.

— Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый?

— Нет-с, не всегда. Раньше я был не такой. Раньше я все романы читал. Ну, и конечно, от этого у меня развивались ненависть, разврат, любовь к мышлению и тому подобные пошлые наклонности. Раз, однако, задумался я о своей жизни. Ехал я тогда по Волге на пароходе, под Самарой дело было. Пароход «Святослав» общества «Самолет». Ем виноград. Виноград там дешевый, три копейки фунт, так что я мякоть высасываю, а кожу и косточки, значит, выплевываю. Солнце садилось, испытал этакое приятное состояние души. Вот и задумался я о своей жизни. Что, думаю, такое? Человек я не завалыщий, имею кой-какой умишко, кой-какие познания. Как же так? Нет, думаю, жизнь жить — не в бабки играть, пустяки надо оставить, о боге вспомнить, о собственной



душе. Тут вот я и стал на стезю добродетели.

В газетах описали нашу больницу. Отзыв был очень хороший. Кичунов возмущен.

— Голодные псы! Буквой питаются!

— За что вы их ругаете? Ведь они же нас хвалят.

— Когда дурак хвалит, так это обиднее, чем когда умный ругает...

— Проповедь у нас в церкви читал отец Варсонофий. Господь, говорит, — «благ!» Ну, это мне ввелось в плоть и кровь, все равно, как хронический ревматизм. Скучно. Знай, свое болтают всё: «Благ, благ!». Господь благ только к своим! Вовсе он не весь мир пришел спасти. В евангелии от Иоанна, глава семнадцатая, он прямо говорит: «Отче, я о них молю,—не о всем мире молю,—но о тех, которых ты дал мне». А когда язычница к нему пришла, он сказал: «Нельзя отнимать у детей и бросать псам». Значит, неверующие для него псы. И правильно, — так и должно быть. Евангелие нужно понимать без изменения одной черты, одной ноты. Что я вам говорю, это — простой логический взгляд... «Благ», — скажите, пожалуйста! Бог должен быть строг! жесток! Христос ясно сказал: «Я пришел принести на землю не мир, но меч!». На соборах это место разбирали: говорят, что тут нужно понимать меч духовный. Хе-хе! Разбирали! Шишки еловой не разобрали! Ну, скажите, пожалуйста, как меч может быть духовным? Холодное-то оружие!.. Христос понимал, что без меча с нашим братом дела никакого не сделаешь. И так мы его не боимся, а если бы он был благ, мы бы совсем избаловались. Мы его даже не боимся, как черт боится. Тот знает, что ему пощады нет, а мы все надеемся на «искупление», на отпущение грехов. Помер человек, ему поп перед смертью грехи отпустил, — он этаким козырем на тот свет идет, ждет, что ему Христос скажет: «Пожалуйста, милостивый государь, вот сюда, в рай!», А как полетит

там кувыркоком к черту на рога, тогда узнает! Хе-хе-хе!

Привезли в больницу мужчину с крупным воспалением легких. Лицо синюшное, пульс плох. Приняли.

Привезшая его жена сказала Кичунову:

— Можно будет распорядиться, что бы причастили его? Он уж пятнадцать лет не говел.

Кичунов грозно нахмурил брови:

— Как же это его без сознания причащать? Священник не станет.

— Пожалуйста, уж будьте добры. Нельзя ли?

— Гм! Пятнадцать лет не говел, христиане называются! А смертный час пришел, — спохватились!.. Этого нельзя устроить! — отрезал он.

Женщина вздохнула и пошла к выходу. Я ее остановил, и, конечно, оказался возможным устроить.

Больной возвратным тифом, ноцлежником, с опухшим лицом. Оборванный дрожит. Лет семнадцати. Кичунов его записывает в книгу, кричит:

— Мещанин? Крестьянин?

— Я — незаконнорожденный?

— Та-ак! — иронически процедил

Кичунов. — Вот этак гуляет девица, — боа у нее, турниор, а детей в ноцлежники кидает; такие кавалеры и выходят!.. В Петербурге родился?

— В Петербурге, — стиснув зубы, ответил больной.

— Ну, конечно! Самый для таких дел подходящий город... Ступай.

— Незаконнорожденные, они не имеют прав ни на земле, ни на небе! Ну, как же незаконнорожденный может войти в царствие небесное, скажите, пожалуйста! У бога прелюбодеяния нету. Во «Второзаконии», глава двадцать третья, ясно сказано: «Сын блудницы не может войти в общество господне, и десятое поколение его не может войти в общество господне». Для таких людей... Я бы не стал и жить на их месте... Вы себе как представляете антихриста? (с рогами, с когтями? Он уже народился

— Где же он?

— Он есть то, что рождено в прелюбодеянии. Он рождается от девы, как и Христос, только прелюбодейно, как незаконнорожденный. Христос ведь не был незаконнорожденным, заметьте себе!.. Каждый незаконнорожденный есть предшественник антихриста. Апостол Иаков в послании, глава первая, говорит: «Похоть, зачавши, рождает грех». Пройдитесь по Невскому, посмотрите на фотографии балерин: стоит девка, груди распустила, ногу подняла. Мальчишка украдет у отца целковый и побежит, — знаете, куда? Вот-от что похоть значит!

— Я бы, будь моя власть, — я бы женщинам запретил выходить на улицу.

— Почему?

— Как почему? Вид неприличный!

— Что вы такое говорите!

— Ну, а как же! (Очерчивает на себе руками выпуклости груди, бедер.) Что вы, господа! Ведь по улицам дети ходят! Конечно, привыкнуть ко всему можно, а только... Неудобно, знаете, неудобно! Я хохотал.

— Как вы скажете, предки наши глупее нас были? Я полагаю, что они умнее были не только меня, но даже, — извините за дерзкое выражение, — умнее были, чем вы. А они женщин запирали — в терем! Почему? Возьму хоть себя. Человек я пожилой, солидный, занимаюсь богомыслием. А встретишь на улице этакую бабеночку полнуюгрудую, — и ввергаешься в соблазн. Ничего не поделаешь: человек бо есмь! Ecce homo!..

Позвали меня к больной. Вхожу в приемную врача. Кичунов стоит, осматривает больную. Это совершенно не его дело. Его дело — в соседней комнате, когда больного примут, записать в книгу и составить на него скорбный лист. Стоит Кичунов, а перед ним, рядом со старухой матерью, — изумительно красивая девушка лет пятнадцати, голая по пояс. И Кичунов глубокомысленно тыкает ее указательным пальцем в груди. Увидел меня, сконфузился.

— Вот, Викентий Викентьевич... Какая сыпь странная!.. Я заинтересовался.

Я мельком взглянул на сыпь и холодно ответил:

— Что же странного! Самая обыкновенная скарлатинозная сыпь.

— А я смотрю: что это, странная какая сыпь? Не признал сразу, что скарлатинозная...

□ □ □

10

## СТЕПАН СЕРГЕИЧ

(Пунктирный портрет)

Стулый человек с большою головою. Серая кожа на лице висит крупными морщинистыми складками. Но ему нет еще сорока лет. Он был профессор и даже неглупый человек. Имел ряд научных работ по истории Византии. Его монография о византийском историке Никите Хониате была подробно реферирована в немецком историческом журнале. Но изумительно было в нем полное молчание голосов тела, глубокое отмирание инстинктов. В обычной городской жизни это не так замечалось, но, когда приходилось видеть его среди природы, жутко становилось за человека, и возникал вопрос: если не спохватиться во-время, не обратится ли вообще человек будущего в подобную уродину? Само тело ничего ему не говорило. Все он должен был узнавать от других людей, от термометра, барометра и прочих инструментов.

Проснется ночью и не знает — выспался или нет. Как будто выспался, пора вставать. Посмотрел на часы, — всего шесть часов утра. Заснул опять. А часы, оказывается, остановились. Спал до одиннадцати часов.

Карманные часы остановились, стальные сломались. А дело было на даче. Трагедия: не знает, когда лечь спать, когда вставать, когда есть.

За обедом на третье подали сырники.

Степан Сергеич ел. Дочка Таня сказала:

— Из манной крупы.

Степан Сергеич нахмурился и отодвинул тарелку. Пришла жена Елизавета Алексеевна, на минуту уходящая в кухню. Он сказал хмуро:

— Лиза! Ведь ты знаешь, что я терпеть не могу манной каши. Зачем же ты заказываешь сырники из нее?

Елизавета Алексеевна изумилась:

— Как из нее? Из творога сырники.

Степан Сергеич прикусил губу. Верно. Из творога. И с аппетитом стал есть.

— Что я — пил кофе или только хотел пить?

— Не пил.

Выпил два стакана с бутербродами. Жена и свояченица расхохотались. Своаяченица воскликнула:

— Ведь вы пили уже!

Степан Сергеич потемнел и враждебно взглянул на жену.

— Какие глупые шутки!

Весь день ходил хмурый, с тяжестью в желудке.

Двенадцать лет назад, во время свадебной поездки по Германии и Швейцарии. Выйдет из отеля купить папирос, — а через пять часов шущман приводит его из загородного леса, куда забрел, сам не знает, как: заблудился. Совершенно лишен способности к ориентировке.

До 15 мая ходит в зимней одежде, после пятнадцатого — в летней, и ее уж не снимает, как бы ни было холодно.

В жилетных карманах — часы, шагомер, на террасе дачи — термометр и гигрометр, в столовой — барометр. Вышел на террасу, смотрит на термометр.

— Стоит надевать пальто?

— Да разве ты так не чувствуешь?

— Четырнадцать с половиной, — не стоит.

Посмотрел на термометр. Было 12 градусов. Тогда он почувствовал, что ему холодно.

— Степа, ты с нами пойдешь гулять?

— (Сердито.) Куда же итти, если барометр упал до 740. Удивляюсь, что ты идешь, да еще детей берешь с собой.

Стояла ласковая, томящая теплынь. Получилась чудесная прогулка. Он, конечно, остался дома. Дождь пошел только утром.

Не замечает, что молоко прокисло, что мясо несвежее. Простудился, лихорадит, колет в боку.

Свояченица:

— Ведь сквозняк, что вы тут сидите!

Он с жалкой, беспомощной улыбкой:

— Я этого ничего не чувствую.

Начало июля. На даче. В столовую вошел Степан Сергеич с лицом темным, как чугуна. Стоял нахмуренный, сердитый и тяжелым взглядом следил за женой. Она штопала чулки Танюшки и не видела его взгляда.

В открытое окно подул ветерок и принес запах цветущей липы. Елизавета Алексеевна сказала:

— А, уж липы зацвели!

Степан Сергеич раздраженно отозвался:

— Что липы зацвели, это, конечно, хорошо. А вот что у нас опять кошки по всем комнатам нагадили, это черт знает что такое! Не продохнешь от вони!

Елизавета Алексеевна удивилась.

— Где тут кошками пахнет? Я ничего не чувствую.

— Ну, конечно! А я, во всяком случае, чувствую совершенно ясно. И требую категорически, — Лиза, слышишь? Я требую, чтобы никаких своих Пушкинчиков и Снежков ребята в комнаты не таскали! В воскресенье Димка весь день возился в столовой с кошками... Скажи Матрене, пусть сейчас же придет с тряпкою и подотрет.

Степан Сергеич ходил с Матреною по комнатам и искал, где нагадила кошка.

Матрена заглядывала под диваны, отодвигала шкафы и посмеивалась под нос.

— Господь с вами, барин, какие тут кошки! Дух — лучше и быть нельзя!

— Вы тут все так приняхались ко всякой вони, что даже уже не слышите ничего!.. Танюшка, Димка, пойдите сюда! Если еще раз в комнатах я увижу кошку, то всех ваших Пушкив и Снежков велю забросить в реку!.. Слышите? Запомните это!

Елизавета Алексеевна, с упрямыми и грустными глазами, сидела в столовой у стола и не помогала искать. Это особенно сердило Степана Сергеевича, и он неумоимо двигал сундуки, комоды и шкафы. Однако ничего не нашли. Матрена, скрывая улыбку, ушла с тряпкою в кухню. Степан Сергеевич позвал детей и еще раз строго подтвердил, чтобы не пускали кошек в комнаты.

После обеда Елизавета Алексеевна лежала в спальне; у нее болела голова. В дверь заглянул Степан Сергеевич.

— Ты не спишь?

— Нет.

Он вошел, сел к ней на край постели. На лице была сконфуженная, детская улыбка, и от нее светилось все его серое лицо.

— Вот, Лизанька, грязная история!.. С кошками-то! Оказывается, это вовсе не кошки нагадили, а знаешь, что?.. Я сейчас только сообразил: это... липы зацвели!

— Что? — Елизавета Алексеевна, хоть была сердита, вскочила на постели и расхохоталась. — Ты шутишь?

Пристыженное лицо Степана Сергеевича дрожало смеющимися морщинками.

— В том-то и дело, что нет! Понимаешь, какая штука. Был я еще мальчиком, жили мы на даче под Калугой. Мама меня посылала набирать липовый цвет, и потом мы его сушили на газетных листах на чердаке нашей дачи. А кошек там была гибель, постоянно так ими пахло, что не продохнешь. Вот оба эти запаха у меня и смешались, и я их уж не могу разъединить. После обеда сегодня вышел на террасу, — что такое? Опять кошками несет! Откуда? Из саду-то! Принюхиваюсь, — смотрю, молодая липка у террасы вся в цвету. И

тут я вдруг сообразил. Вот, Лизанька, какая история уродливая!

— Д-да-а...

— Рассказать, — никто не поверит! Ты уж прости меня.

Елизавета Алексеевна безнадежно смеялась.

□ □ □

## 11

### ИВАН ИВАНОВИЧ

(Пунктирный портрет)

**Ж**елезнодорожный подрядчик. Ловкий и умный, вполне интеллигентный. Хорошо наживался. Заболел прогрессивным параличом, сошел с ума. И тут так из него и поперла дикая, плутовская, мордобойная Русь.

Читают ему газеты. Московский педагогический съезд посетили два английских педагога.

— Погодите, я все это знаю, сейчас вам расскажу. Как приехали, их первым делом в полицию позвали и — выпороли. Чтоб не зазнавались. Потом на съезд привезли. «Садитесь, пожалуйста!».—Нет, знаете... Мы стоим! — «Да вы не стесняйтесь!». — Нам вот к телефончику, — разрешите! — «Пожалуйста!». — Дайте генерал-губернатора! — «Что?! Выпороли?». Сейчас позвонил в участок: — Прибавить от меня еще сорок розог!

На вокзале сидит, пьет пиво. Подходит, любезно улыбаясь, господин:

— Мы с вами, кажется, встречались?

— Как же! Вместе из Челябинска. шли по этапу! Я вас сразу узнал. (Господин отшатнулся, тот ему в догонку.) За кражу часов сидели, вместе крали. Хорошо помню: стенные часы были... с боем...

Читал он «Новое время», имена запомнил, а события перерабатывал самым фантастическим образом. В конце девяностых годов Россия заняла китайскую гавань Порт-Артур.

Иван Иванович рассказывал:

— СалисбЮри того не знал и послал из Англии Камбона, чтобы занял. Приехал. Ему навстречу адмирал Скрыдлов. «Что вам угодно?». — Видите ли, вот... Порт-Артур... Мы приехали...—«Ах, вы приехали?.. Тр-рах!!». — Ой, больно! — «Больно? Затем и бьют, чтоб было больно... Тр-рах!!.. Ваш вон он, видите, на той стороне: Вей-хай-вей! А это наше!». — Тогда извините, пожалуйста, мы не знали. Прощайте! — «До свидания!». Поплыли. Скрыдлов поглядел. «Ну-ка, малый, заряди-ка пушечку...». Бах!!.. Корабли кувырк!.. СалисбЮри в Лондоне ждет, беспокоится. Телеграмму в Порт-Артур: «Приехали. СалисбЮри». — «Были тут... как-не-то! Скрыдлов». — «Где ж они? СалисбЮри». — «Потопли. Скрыдлов».

И хохочет торжествуяще.

Его племянник окончил курс врачом в Московском университете. Сестра Ивана Ивановича с торжеством принесла ему показать диплом, полученный ее сыном. Иван Иванович посмотрел и вдруг объявил:

— Этот диплом подложный. Борис его сам написал.

— Ну, что ты говоришь! Как же подложный? Видишь, подпись: «Декан медицинского факультета Д. Зернов».

— Я его знаю: это почтальон со Смоленского рынка.

— Видишь, и другие подписи: профессор Остроумов, профессор Шервинский...

— Довольно! Пойди на Большую Царицынскую, справься в казенном винном складе: это все — сторожка склада. Борьку за этот самый диплом в Хамовнической полицейской части выпороли.

— Как это выпороли? Прежде всего, не имеют права выпороть. Он дворянин, закон запрещает.

— Ничего закон не запрещает. Нет такого закона.

— Я тебе отыщу, покажу. Есть специальная статья...

— Довольно! Вот по этой самой специальной статье и выпороли.

□ □ □

В 1899 году в иллюстрированном еженедельнике «Нива» печатался новый роман Льва Толстого «Воскресение». Везде только о нем и говорили. Возвращался я в Петербург в спальном вагоне третьего класса. Среди трех спутников — старик-купец в высоких сапогах, в пиджаке. Заговорили о романе. Купец:

— Плохо, плохо! Я «Ниву» получаю, читаю, — очень плохо! Как раньше-то писал! «Казачи»! «Анна Каренина»! «Война и мир»! Вот это было дело! А теперь!.. Нет, устарел! На чердак пора ему. Куда старую мебель убирают... Что же это, скажите, пожалуйста: князь, человек живет в почете, имеет звание, человек, можно сказать, возвращается, — и вдруг на этакой швали жениться! Какая же она ему пара, позвольте спросить? И у кого таких девчонок не было? Кто не грешен? И у вас, наверное, десять таких было, и у меня, может, двадцать. И на каждой жениться!.. Нет, на чердак, на чердак пора! Плохо! Потому только все и читают, что подписано: «граф». Фирма!

□ □ □

### ПОД ОГНЕМ ПАРОВОЗА

Было это в десятых годах. В апреле месяце, в двенадцатом часу ночи, под поезд Московско-Нижегородской железной дороги бросился неизвестный молодой человек. Ему раздробило голову и отрезало левую руку по плечо. В кармане платья покойного нашли писанную дрожащею рукою записку, смоченную слезами: «Прощайте, товарищи, друзья и подруги! Кончилась жизнь моя под огнем паровоза. Хотел стереть с лица земли своего соперника, но стало жаль его. Бог с ним! Пусть пользуется жизнью. Посылаю привет любимой девице. Не вскрывайте больной груди моей, я, любя и страдая, погибаю. Григорий Прохоров Матвеев».

□ □ □

14

## С ОПОЗДАНИЕМ

Петербург. Окраина. Узкие ломовые сани, на них высоко громоздились деревянные ящики с чем-то тяжелым. Поклажа кренилась на сторону. Возчик—парень в полушубке—шагал рядом с санями и растерянно подпирал плечом накренившийся воз. Приказчик у дверей лабаза с любопытством смотрел. Легковые извозчики у трактира тоже с любопытством смотрели и переговаривались:

— Завалится!

— Бесперечь завалится!

— Как бы парня не придавило.

— И очень просто! Сколько народу погребали тяжести. А он, дурень, сбоку улицы едет, еще больше набок накрениется воз...

Поклажа качнулась, и ящики тяжело посыпались на возчика.

Приказчик лабаза со всех ног кинулся на помощь. Извозчики, подобрав полы синих армяков, побежали туда же. И отовсюду сбегался народ. Мигом разобрали ящики. Парень-возчик лежал с восковым лицом, с закрытыми глазами, из угла губ стекала вниз струйка крови.

□ □ □

15

## ПАРИКМАХЕР ПО СОБАЧЬЕЙ ЧАСТИ

— Я, как вам сказать? Извините меня за это выражение, — парикмахер по собачьей части. В деревне так если скажешь, — засмеют, а в Петербурге можно на этом хорошие дела делать. Вот я, например. Как видите, милостыни не прошу, не ворую, не граблю, а живу, благодарение богу! Кабы еще водочкой не занимался, у меня бы теперь вот этакий дом был. Рублей полтора ста в месяц смело вырабатываю... Бывает ли, что кусают? Нет, меня не кусают, я понимаю их характер. Недавно приходит ко мне господин.

— Это вы, голубчик, в газетах публикуетесь? Нужно остричь моего пуделя,

только заранее предупреждаю: он никого к себе не подпускает. Если искушает, я не отвечаю.

— Ничего, не извольте беспокоиться.

Пришел. Злющая собака. Даже горничная, которая ее кормит, — и та боится.

— Дайте мне, говорю, мокрое полотенце. Да не найдется ли у вас комната отдельная, чтоб никто мне не мешал?

Заперли пуделя в комнату. Взял я полотенце, разом открыл дверь, вошел, да строго так:

— Что тут за шум?

Да как ахну полотенцем мокрым по стене! Пудель очень даже этому удивился. Подошел я к нему и начал машинкой стричь. А он все сидит и удивляется. Горничной интересно было, стала в замочную скважину глядеть. Пудель оскалил зубы, зарычал.

— Кто это там? — говорю кротким голосом. — Не мешайте, пожалуйста.

И остриг. Пять целковых получил за это дело... Никогда не нужно бить собаку, чтобы, например, отучить гадить, — особенно плеткой. Всего больше собака боится — шуму. Скольких я отучил! Нужно бить по полу мокрым полотенцем или клеенкой, а собаку носом тыкать, куда следует. В один раз отвыкнет.

Да! Много случается видеть!.. Графиня одна уезжала на лето за границу и мне свою болонку оставила на содержание. И нужно же: сегодня графиня приехала, а собачонка за день до того сдохла. Старая собачонка, паршивая, — вы бы ее за три сажени обошли кругом. Принес я ее, дохлую. И что же вы думаете? Графиня этому дохлому псу начала лапки целовать! Сама плачет, заливаясь. Вижу, тут можно делов надевать. Послунывил потихоньку палец себе, намочил глаза. Стою, всхлипываю:

— Уж как жалко! Какая аккуратная была собачка, до чего чувствительная! Как будто у самого меня дитё померло!

Она заливается, а я стою, нос себе утираю да рожи строю.

— Ваше сиятельство! Уж не говорите! До чего мне даже тяжело, — что же вам-то!

Она говорит:

— Можете вы с нее лапochку снять, чучельнику отдать, чтоб хоть лапochка мне осталась на память?

— Это, я говорю, можно.

— И потом: я хочу ее похоронить. Можете вы это взять на себя? Только чтоб я сама не видела, а то у меня сердце, говорит, разорвется на части.

— Это тоже можно. Не мое это, собственно, дело, но для вас... Опять же и для собачки, — потому уж очень я ее полюбил... Можно будет, не извольте беспокоиться!

— Гробик чтобы обить голубым атласом... Сколько все это будет стоить?

— Десять рублей чучельнику, три рубля чухонцу, чтоб отвез гробик, — здесь, в Петербурге, нельзя. Ну, гробик, чтобы был вполне приличный, все прочее — рублей пятнадцать...

А сам думаю:

«Дай ты мне, дура, в морду за мое замечательное нахальство!».

— Ну, говорит, вот вам тридцать пять рублей.

Я собачонку в мешок и, конечно, на пустыре забросил, а деньги в карман. Вот какие бывают графини! Прислуга умирай у нее, ей дела не будет—убирайся в больницу! А для паршивой собачонки что готова делать!.. Вот я вам теперь объяснил всю дурость Петербурга.

□ □ □

### III

16

#### НОЧЬЮ

Начало июля. Полная луна. Черные тени от деревьев и строений на травке двора. Сухо серебрится даль.

Близ запертого на ночь крыльца барского дома сидел черный пес Цыган и надрывно выл. Перестанет на минутку, прислушается, начнет лаять и кончает жалующимся воем.

В окне дома зажегся огонек. Раскрылась окно, высунулась седая голова Федора Федоровича. Он крикнул сердито: — Пошел ты! Цыган!

Молчание.

— Цы-ыган!

Было тихо. Окно медленно закрылось. Цыган вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то очень горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

Дверь крыльца раскрылась. На двор вышел Федор Федорович в халате, с палочкой; за ним гимназист Боря. Федор Федорович жалким, заискивающим тоном говорил сыну:

— Знаешь... что это? Посмотри-ка... Собака тут воет. Так странно!

Боря ответил хриплым от сна голосом:

— Не пожар ли где-нибудь?.. Нет, зарева не видно. Чего это он? Цыган!

Цыган, виляя хвостом, подошел.

— Болен, должно быть, — сказал Федор Федорович. — Нет, нос холодный, изо рта не пахнет... — И, помолчав, прибавил со стыдящеюся улыбкою: — А ведь это, говорят, дурная примета, когда собака воет. К покойнику.

— Другие собаки ушли с работниками на ночное, к стогам, а Цыган тут остался. Вот он и воет.

— А другие собаки с работниками ушли?

— Они всегда с работниками на ночь уходят. А Цыган тут случайно остался. — Боря зевнул, поежился от холода. — Ну, я спать пойду.

И ушел. Федор Федорович тоскливо огляделся. Цыган снова завыл. Маленькое окошечко около крыльца открылось, выглянула старуха-няня Матрена Михайловна.

— Барин, вы это?

Федор Федорович обрадовался:

— Это ты, Матрена Михайловна! Вот тут всё... Так странно! Собака воет.

— Я вот тоже все лежу, слушаю. Думаю: с чего это так собака развылась? Не к добру это.

— А это что значит, когда собака воет?

— Разное значит. Если носом кверху воеет, — к пожару, если книзу носом, — к покойнику. Если ямы собака роет, — тоже к покойнику.

— А скажи... вот, ты говоришь: к покойнику. Мало ли у нас тут народу. Кому же это она воет, собака?

Матрена Михайловна насторожилась.

— Да уж, понятно, — не гостям станет выть собака или там прислуге. Из хозяев кому-нибудь.

— Ну, матушка, это вздор! Так уж собака все разбирает!

Собака опять завывала. Федор Федорович тоскливо огляделся. Матрена Михайловна, помолчав, заговорила:

— Я у Елагиных крепостная была, девушкой. Так за неделю до его смерти всё собаки ямы рыли. Тоже самовары на разные голоса шумели. Барский дом большой был. На одной половине господа жили, а на другой прислуга: лакеи, казачки, мы—девушки. Вот раз вечером барин вышел в коридор, а там лестница была на чердак. Вдруг кто-то белый ему с лестницы навстречу, и обнял. Пришел барин к нам, спрашивает: «Кто сейчас на чердак ходил?». — «Никто». Взял лакея с фонарем, смотрит — и дверь-то на чердак заперта на замок. А через три дня барин помер.

— Кто же это был?

— Ну, значит... за душой его приходил.

Федор Федорович спросил с глупой улыбкой:

— Ангел, что ли?

— Да уж кто там ни на есть... За чем ангел? Смерть.

Помолчали.

— А все-таки, матушка, ты это вздор говоришь. Не может собака того разбирать, хозяин ли померет, или там, например, прислуга.

Матрена Михайловна враждебно поглядела на барина.

— Как это так, — не может? Очень, батюшка, хорошо может!

— Нет, не может! Вот, может, ты как-раз и померешь!

— На все божья воля, на все божья воля! А только не станет барская собака для прислуги выть.

Федор Федорович сердито смеялся.

— Какой вздор! Какой вздор! Почему не станет? Что за предрассудок! Очень просто, может выть и на тебя.

— Не-ет, не-ет... Боже сохрани! Этого не бывает. А ну вас, и слушать вас не хочу, господь с вами!..

Она поспешно закрыла оконце. Федор

Федорович поднимался на крыльцо, стукал палкой по каменным ступенькам и говорил, фыркая:

— Ишь, что придумала! Хэ-хэ! Собака может знать, на кого воет, — на барина или на прислугу! Вздор какой! Может, на меня, а может быть,—и на тебя!

□ □ □

17

## ПОХОРОНЫ

Помещик, отставной корнет, прокутил два имения. От дальней тетки получил в наследство еще одно. Приехал из Москвы с восемью прихлебателями. Под Николин день (зимний) пригласил причт отслужить молебен. Отслужили. А потом всех их напоил мертвецки. Дьякон ползком добрался до дому. Ударил утром к заутрене. Дьякон пришел с трещащей головой. Сходится народ. Священника нет. Ждали, ждали, — нету. Дьякон сообщил, что вчера пили у помещика. Церковный староста и несколько крестьян пошли к помещику.

Сидит в халате, курит трубку. Отры- висто:

— Чего вам, братцы?

— Батюшка не у вас?

— Нет.

— Где же он?

— Помер.

— Как помер?

— Ну, как!.. Как помирают? Так и помер, как помирают.

Помолчали, мнутя.

— Где же он?

— На кладбище похоронен.

— Шутить изволите?

— Зачем шутить! Пойдите сами, посмотрите. От ворот направо, в самом углу.

Пошли. И правда: в правом углу свеженасыпанная куча снега. Отрыли, — в деревянном ящике храпит мертвецки пьяный поп.

Накануне вечером упаковали его в ящик, помещик надел его ризу, пошел вперед с кадилом, за ним прихлебатели несли ящик с телом. Отпели, сколько знали, панихиду, и зарыли в снег.

□ □ □



Приехал в Петербург помещик посоветоваться с доктором. Случился у него легкий ударчик. Пришел от докторов к приятелю, швырнул фуражку в угол и мрачно зашагал по комнате.

— Не стоит жить!

— Что так?

Остановился, закурил трубку, раздвинул ноги и стал отсчитывать по пальцам:

— Не курить, особенно трубку! Много не есть! После обеда не спать! И — ничего не пить спиртного! Вместо этого пейте, говорит, молоко. Я молока, говорю, не переносу, меня с него пучит. — Прибавляйте в него коньяку. — Сколько?! — Двадцать... к-капель!..

□ □ □

#### IV

19

#### ГРЕХ

Дядя Семен в солдатах служил, а батя мой дома хозяйствовал. Был он много постарше Семена, и были они неподделенные. Жена Семена Агафья жила в Тулице, в прислугах у сидельца казенной винной лавки.

Вот раз поехали мы с батей в Тулицу бычка продавать. Тридцать верст от нас. Заехали к Агафье. Закраснелась вся. Стала нас чаем поить. Села, а сама все словно хоронится, животом к столу приваливается.

— Дайте, говорит, мне пачпорт. В Москву поеду, тут мне больше нельзя. А у самой слезы, слезы...

Отец подумал и говорит:

— Вот с нашими посоветуюсь, может, что и удумаем.

Вернулся домой, всех созвал и про бабу рассказал:

— Уж плачет, плачет как!

Бабка говорит:

— Что ж теперь плакать. Надо как-нибудь бабу выручать. Мы все молотить пойдем, а ты поезжай.

— Нет, отец говорит, лучше поеду, как темнеть станет.

— Как темнеть станет, тебе уж назад обернуться надо. Нет, вот мы пойдем молотить, а ты собирайся, словно за дровами; а как стемнеет, тут ты с нею и вернешься, никто ее и не увидит. А потом пачпорт справим, пушай в Москве родит.

Так и сделали. Только соседка, бабка Александра, увидала. Стала под окнами нашими похаживать.

— Что это, Агафья приехала? Чего же она с вами молотить не ходит?

А наша бабка ей:

— Только приехала, сейчас и в молотью! Пушай отдохнет.

Агафья сидит и руки повесила, и голову.

— Все одно, говорит, уж не схоронишься!

— Ну, когда не схоронишься, тогда и молоти, а пока не знают, нечего показываться.

Поехала бабка с батей, справили ей пачпорт, отправили в Москву. Через две недели она родила. Пишет: «Больно девочка хорошенькая, приезжайте посмотреть». Бабка и поехала.

Воротилась.

— Уж то-то хороша-то девочка! Баба убивается: ни за что в вошпиталь<sup>1</sup> не хочет отдавать. Совета просит.

Отец говорит:

— Ну-ка, я поеду, посмотрю.

Поехал. И вправду, девочка хорошая. Крепенькая такая, здоровенькая. Тут он Агафье присоветовал:

— Напиши мужу, что он тебе скажет.

Она и написала. А дядя Семен сперва у нас справился, — правда ли девочка хорошая? Как ему ответили, то он жене и пишет: «Если ты эту девочку в вошпиталь отдашь, то не жена ты мне больше. Если же ее при себе будешь растить, то я тебе все прощу».

Вот прошло сколько-то времени, два ли, три ли года. Отслужил дядя в солдатах, сколько надобно, под рождество воротился домой. А жнну его перед праздниками с места не отпустили: «справь праздники, тогда и домой поедешь».

<sup>1</sup> Воспитательный дом.

Все веселый был дядя Семен, а потом стали мы примечать, что, как придет, сейчас на печь, ни с кем слова не скажет. Все вечера у Серегиных сидит. Тут Аленька нам сказала:

— Что вы его к нам пущаете? Бабка Александра его только расстраивает. Оттого, говорит, твоя жена не едет, что опять брюхата.

Стала ему бабка наша говорить, мать его. А он на нее:

— Потатчица ты, потаскух разводишь!

Прошли праздники. Жена его едет. Подъезжает. Он ни с места. Мать говорит:

— Ступай, ступай, твоя жена едет.

А он:

— Невестки встренут!

Вошла Агафья. Глядим: одна. Семен молчит, ничего не спрашивает. Нам неловко. Вышел он. Батя говорит:

— Девочка-то где ж?

— Померла. Как ему прийти, тут и померла.

Стали на ночь все разбираться. Агафья мне и говорит:

— Боюсь я с ним остаться: ну-ка, бить начнет! Девонька, ты под дверьми послушай!

— Он те послушает!

— Ничего! Двоим-то словно не так страшно.

Ушли они вдвоем в холодную избу. Стала я под дверьми и слушаю. Он говорит:

— Ну, сказывай, сколько без меня ребят родила?

— Двоих: девочку да мальчика.

— Где ж они?

— Померли.

— Врешь!

— Вот те владычица небесная, не вру.

— Показывай запись, где похоронены.

Она пошла в сундук, достала, показала. Все рассмотрел.

— Ну, хорошо, что у тебя все в порядке, а то я думал: коли без ребят приедешь, коли в вошпиталь их отдала, поворолил бы я тебя от двора назад за ребятами...

Так все по-хорошему у них и кончилось. И бить ее не стал.

*(Продолжение следует.)*

---

# Возвращение к морю

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

★

Я к прибою простираю руки.  
Под ногами жаркий хруст песка.  
После долгих месяцев разлуки  
Даль морская снова мне близка.

Мчат валы, друг друга настигая.  
То взлетая, то едва видна,  
Ты со мной играешь, золотая,  
Косы разметавшая волна.

Звездами, которых нет на небе,  
Каждый твой унизан завиток.  
Ты подходишь. И стеклянный гребень,  
Разбиваясь, падает у ног.

Я тебя не мог забыть, шутница.  
За признание смейся надо мной:  
Мне московскими ночами снится  
Твой наряд прозрачно-кружевной.

Вот и улетучилась усталость.  
Ни обид... ни горя... ничего...  
Солью на губах моих осталась  
Свежесть поцелуя твоего.

★

# Емелька

РАССКАЗ

В. ИЛЬЕНКОВ

★

Емелька сидел на пороге церковной сторожки и уныло смотрел на безлюдную дорогу. Костлявый, сгорбленный, с лицом, заросшим серой щетиной, он был похож на покосившийся, обомшелый крест, стоявший возле церкви на безымянной могиле.

Было тихо, тонкий меланхолический свист стрижей, кружившихся над облезлой церковью, не только не нарушал вечерней тишины, но сильнее сгущал ее.

Емелька думал о том, что ему уже шестьдесят лет, что сторожка совсем сгнила и зимовать в ней никак невозможно, что в церковь ходят только горбатые, слепые, глухие, что и попы пошли какие-то несуразные — без всякого образования, службу справляют без благолепия, торопко, путают акафисты и возгласы.

«Такому и прислуживать-то противно. Фальшивые попы, — удрученно думал Емелька. — Антиминус до чего довели, хуже моей портянки... Крыша прохудилась. В непогоду дождь прямо на престол хлещет...».

Три года назад с карниза церкви свалился каменный апостол да так и остался лежать на земле, раскинув руки, — в позе безмерно уставшего человека.

Емелька видел, что мир, который он охранял тридцать два года, рушится неотвратно, но ничего не мог придумать для его спасения, и от этих бесполезных дум и гнетущей тишины ему становилось еще тоскливей.

Тень от церкви покрыла кладбище, пересекла развалившуюся каменную ограду и острым концом уперлась в кучу щебня, оставшегося от часовни. Емелька оживился, увидев человека в розовой рубашке, который шел по дороге, пошатываясь, рассуждая сам с собой. Это был низенький краснощекий старичок с веселыми глазами — Каллистрат из колхоза «Красная Поляна».

Старичок, поровнявшись со сторожкой, остановился и, заметив Емельку, удивленно спросил:

— Жив еще? Все стерегешь?

— Стерегу, — хмуро ответил Емелька, испытывая зависть к моложавому старичку.

— Стереги, правильно... А то какой смелый украдет.

— Чего украдет?

— Бога. — Старичок рассмеялся, и все лицо его покрыли морщины, придав ему выражение плутоватости и озорства. — Возьмет твоего бога подмышку, обменяет на литру, и выкомаривай!

— Не украдет, — сказал Емелька, подозрительно вглядываясь в Каллистрата.

— Украдет, — уверенно повторил старичок и опять рассмеялся.

— Не допустит бог-то... Он, брат, все видит, бог-то... Его не украдешь.

— А не допустит, так нечего его и стеречь. Раз он — бог, стало быть, и с ворами управляйся сам. А ежели не можешь, какой же ты после этого бог? — Старичок затрясся от смеха, закашлялся

и присел рядом с Емелькой, обдав его запахом водки и лука.

— Озоруешь ты. Придется помирать, другое, брат, запоешь про бога-то, — строго сказал Емелька.

— Я нескоро помру. Мне сейчас помирать никак нельзя, — деловито заговорил Каллистрат: — Некогда... Делов у меня во! — Он провел ребром ладони по горлу. — И здоровышко ничего... Не жалуясь. А ты вот вовсе оплошал, Емелька. И чего ты тут сидишь, пустое место стерегешь?

— Как... пустое?

— А так. Бога никакого нету. Одно твое помрачение ума. Фик один! — Старичок засмеялся, и от этого смеха, тоненького, сиплого, Емельке стало холодно.

— Выпил и болтаешь, — сказал он, отодвигаясь и зябко передернув плечами.

— А почему мне не выпить, ежели есть причина? Я у дочки в гостях был... На крестинах, как говорится... Афродитой назвали.

— Все ты пьян. Афросиньей! — поправил Емелька.

— Ты меня не путай. Все помню, что к чему. Аф-ро-ди-та!

— Нету таких святых.

— Нет, и не надо, — беспечно сказал Каллистрат и встал, поглаживая тугой живот, перегнутый новеньким ремешком с никелированной пряжкой. — Две чашки студно съел... Пойду.

Старичок пошел, сильно наклоняясь вперед, точно кто-то невидимый толкал его в спину. Отойдя немного, он остановился и, обернувшись, озорно крикнул:

— Аф-ро-ди-та! Выкомаривай!

Емелька смотрел ему вслед с завистью и тоской. У него не было ни семьи, ни родных. Жена попалась неродящая, а потом вдруг в сорок пять лет забеременела и умерла вместе с ребенком. Так и прошла вся его жизнь в одиночестве, среди кладбищенской тишины. Никто не звал его в гости, — он даже забыл вкус водки. Он утешал себя надеждой на щедрую награду, которая ожидает его в царстве небесном, в раю, и рай этот представлялся ему в виде жарко натопленной избы, посреди которой стоит

стол, уставленный блюдами с пшеничными пирогами, чашками со студнем, а над столом возвышается неугасимый самовар.

Каллистрат растаял в сумерках, и снова возвратилась давящая мозг тишина... Емелька вдруг почувствовал, что в нем как будто оборвалась та тонкая ниточка, которая еще связывала его с этой облупленной церковью и с тропинкой, протоптанной его ногами за десятки лет.

Вспомнив, что нужно закрыть двери, которые он распахнул еще утром, чтобы проветрить церковь, Емелька встал и поплелся, волоча разбитые ревматизмом ноги. Он увидел белевшего в траве апостола и вдруг подумал, что и сам он вот так же будет скоро лежать — недвижимый, никому не нужный.

Емелька вздрогнул и торопливо пошел к селу, спотыкаясь о бугорки могил. От села доносились звуки гармошки, рев скота, возвращающегося с поля. звонкие детские голоса. На улице былолюдно и весело. Из открытых окон чайной вылетал металлический смех патефона. Емелька постоял, послушал и не решительно вошел в чайную.

За столиками сидели знакомые колхозники, пили чай, пиво, разговаривали громко, смеялись. Емелька робко потоптался у порога и присел к столику.

— Вам чего, гражданин? — спросила буфетчица: — Чаю или пива?

Емелька растерянно посмотрел на нее, вспомнил, что у него за пазухой лежит единственная трехрублевая бумажка, вынул ее, повертел в руках и неожиданно для себя громко сказал:

— Пива!

Выпив стакан, он лихо пристукнул донышком о стол, крикнул и оглянулся, но никто не обращал на него никакого внимания. Председатель колхоза Букашкин что-то объяснял незнакомому человеку в очках.

— Все обыскали, все поля, кусты... Пропал, чорт!

— Не могли привязать покрепче, — недовольно пробурчал человек в очках.

— Не в клетку же сажать дьявола! Железную чепь порвал, — оправдывался председатель, огорченно разводя руками.

Из дальнейшего разговора Емелька понял, что колхозный бык «Гром» в тот момент, когда ветеринар собирался обрезать ему копыта, сорвался с привязи и убежал в лес.

Емелька выпил всю бутылку. Ему было обидно, что никто его не замечает.

— Давай другую! — крикнул он, заглушая голоса и ударяя стаканом по бутылке.

— Чего развонился? Празднуешь Пимена-гулимена, лентяя преподобного? — с презрительной усмешкой спросил Букашкин.

Все с удивлением смотрели на Емельку, а он довольный, что наконец-то на него обратили внимание, заговорил о своей жизни, — о том, как тридцать два года он сторожил церковь звонил по ночам, оберегал бога от воров, и воры ни разу не осмелились даже близко подойти к церкви. Но люди уже не слушали его, они толковали о своих делах — об урожае, о погоде, о пропавшем быке, и Емелька обиженно умолк. Он подумал, что бык для людей дороже, важнее, чем он, Емелька, церковный сторож. Умри он завтра, и никто даже не спросит: «А куда девался Емелька?».

Он как бы увидел себя со стороны — обтрепанного, тощего, всеми презираемого, — и слезы полились из глаз. Он размазывал их ладонью по лицу, всхлипывал и бормотал о том, что уже два года не пил чаю, а питается одним сухим хлебом, что скоро в сторожке обвалится потолок... Потом ему вдруг представилось, что веселый старичок вовсе не Каллистрат из колхоза «Красная Поляна», а дьявол, который унес с собой последнее, чем держался он, Емелька, в своей угасающей жизни, — надежду на вознаграждение от бога на том свете.

— Врешь... не пустое! — закричал он, стуча кулаком по столу.

— Гражданин, не кричи. Здесь шуметь нельзя, — сказала буфетчица.

Емелька схватил ее за руку, удерживая возле себя, — ему хотелось сказать ей все, что накипело в душе.

— Ты можешь меня понимать? Поясни мне мое положение...

— Гражданин, ежели мне каждому объяснять, то я проторгуюсь. Иди на свежий воздух, просвежись.

Но Емельке не хотелось уходить в темень, на кладбище, он продолжал сидеть, разговаривая сам с собой:

— Ладно, рассудим... Звонил Емелька? Звонил! А ты, товарищ Букашкин, не ходил на мой звон... молиться? Ходил... молился, детей крестил... Стало быть, и ты поклонялся пустому месту? Все ходили... к пустому месту... А я теперь при чем? Был бог — и нету бога... Один пшик остался!

Он вышел из чайной последним. Было уже полночь. Емелька брел по темной улице, говоря:

— Спите? А до Емельки вам дела нет? Так... Хорошо... Вы в рай попали, а Емельке куда деваться? Ку-да?!

Потом он остановился и запел:

Ве-еч-на-я-а... па-мя-а-ать...

Ве-еч-на-я-а-а... па-а-а...

Ему показалось, что это поют ему вечную память, а он — в гробу, лежит, как тот апостол, окаменевший, холодный. Емелька испуганно оглянулся. Где-то за околицей пели парни и девушки, жалобно взвизгивала гармошка. Емелька пошел на этот звук.

Его узнали:

— Братцы, Емелька!

— Емелька, спляши!

Емельку окружили, захопали в ладоши, засвистали. Емельке было приятно, что им интересуются. Он заломил на затылок шапочку и начал топтаться на одном месте, нелепо размахивая руками и выворачивая ноги.

— Выкомаривай! — лихо выкрикивал он, ударяя разбитыми лаптями о землю.

Быстро рассветало. Емелька метался в сером полумраке, костлявый, лохматый, и кто-то с жалостью сказал:

— Будет вам потешаться.

Гармошка умолкла. Провожаемый молчанием, Емелька побрел к сторожке. Увидев издали церковь, Емелька вспомнил, что двери так и остались раскрытыми на всю ночь. Это случилось первый раз за тридцать два года.

«Все через этого Каллистрата вышло» — подумал он, приближаясь к двери, и тут услышал чье-то шумное дыхание и стук внутри церкви.

«Воры!» — мелькнуло подозрение, и Емелька, окончательно протрезвев, схватил лом и ринулся в церковь с криком:

— Стой! Кто тут?!

— Что-то огромное с ревом вынеслось из церкви, сшибло Емельку с ног, и он, ударившись головой о приступку, потерял сознание.

Очнувшись, Емелька увидел пегого быка, — «Гром» стоял на могиле, как памятник, и жевал антиминс.

— Тпррूसь! Антиминус сожрал! Тпррूसь!.. — заорал Емелька, бросаясь с ломом к быку, но «Гром», выплюнув тряпку, круто повернулся и, наклонив голову, пошел на него с грозным мычанием.

Емелька отскочил за памятник из серого гранита. Бык, недоумевая, куда мог исчезнуть Емелька, постоял, победно ударяя себя хвостом по бокам, и вдруг увидел апостола, лежавшего в траве. Нагнув голову к земле, широко расставив задние ноги, с могучим ревом бык ударил рогами апостола и покачнулся от боли. Пена хлопьями падала с его губ. Он посмотрел на апостола осоловелыми, налитыми кровью глазами, помотал головой, как бы проверяя, цела ли она, и медленно пошел к саду.

Емелька поднял изжеванную тряпку, покачал головой и, потрясенный бессилием бога, который не мог отстоять себя перед быком, швырнул антиминс на землю.

Повесив на церковные двери замок, Емелька пошел к Букашкину.

— Отзвонил я. Дай мне работу, — сказал он, протягивая ключи.

— Чего же мне с тобой делать? — озадаченно спросил Букашкин. Емелька стоял перед ним, виновато опустив голову, как подсудимый.

— Элемент ты для нас, прямо скажу, затруднительный... — рассуждал про себя Букашкин. — К амбарам тебя нешто поставить?

— Все, что велишь, буду делать. Только не гони, — тихо проговорил Емелька.

— Нет, нельзя, — решительно сказал Букашкин. — Хлеб — дело сурьезное. Хлеб — это не бога стеречь. Тут, брат, уши остро надо держать... На скотный двор тебя нешто поставить? Но только гляди в оба, — один бык стоит три тысячи.

... В эту ночь Емелька ходил с берданкой вокруг скотного двора и при каждом малейшем шорохе панически кричал:

— Кто тут?!

За стеной коровника звенели цепи и грозно посапывал «Гром». Емелька с любопытством заглядывал в щель и видел освещенную фонарем огромную лобастую башку с короткими, широко расставленными рогами.

«Три тысячи стоит» — думал Емелька, гордясь, что ему доверили сторожить такое богатство.

Мысль о том, что ему не придется этой зимой мерзнуть в сторожке, навевала спокойствие и дремоту. Но Емелька вскакивал и напряженно вглядывался в тьму слезящимися глазами.

# Путешествие к лосям

СЕРГЕЙ ЮРИН

★

I

Мой отец всю жизнь жил в лесах. Лес он любил по-своему, а к растениям относился, как к живым существам. Еще в старинное царское время, работая в казенных дачах, он по воскресеньям ходил лечить деревья. Брал с собой лестницу, ведро с глиной и шел в непролазные чащи.

Бывает, что липы, осины, березы так тесно растут, что от трения у них образуются язвы, рак. Они жалобно скрипят, раскачиваемые ветром, и течет из раны красноватый сок, любимый осами и муравьями. Старые, одинокие дубы, вязы тоже часто заболевают раком.

Заметив больное дерево, отец подходил к нему, приставлял лестницу и, сокрушенно качая головой, начинал счищать гниль.

Потом закладывал отверстие камнями и замазывал глиной, смешанной с коровьим навозом.

Он был древесный хирург.

Деревья выздоравливали, и это доставляло большую радость отцу. Иногда он навещал своих пациентов спустя много лет. Только по едва заметной выпуклости или рубцу можно было догадаться о прежней страшной ране. Дерево успевало нарастить много колец, выравнивалось, шумело свежей листвой, и отец говорил:

— Вот какое хорошее дерево!

Однажды отец взял меня и меньшого брата Ивана на заготовку корья.

Это было в голодный год. Мы питались грибами и малиной в мордовских лесах, за Мокшей.

Старались не ссориться с медведями, чтобы они не мешали работе.

— Главное дело — не трогай его, обходи стороной, и он тебя не тронет, — учил отец.

Мы обходили стороной, и медведи нас не трогали.

В мокшанских лесах в первый раз я увидел лося. Он меня долго не замечал, кормясь на светлой поляне. Потом учуял. Гордо и презрительно мотнув головой, он будто сказал: «А! а!» — и пошел прочь.

Его ветвистые, могучие рога покачивались над головой, и молодые осины склонялись перед ним, как трава.

С тех пор я не видел дикого лося. Тот, который угрюмо живет в Зоопарке, мало похож на виденную мною сказку.

Прошло много лет. Все реже и реже навещал я леса, и только заросли комнатных растений на моих окнах напоминали мне о них. Однажды, войдя в свою комнату, я включил радио.

«...Серпуховском... лосях... ездили... за пятьдесят километров...».

Это было все, что успел я услышать. Но этого было довольно.

II

Конечно, можно было бы узнать про лосей в Москве подробнее. Но зачем



это мне, ведь было известно: «Серпуховском».

Это могло быть только: «Серпуховском районе» или «Серпуховском лесхозе». Во всяком случае, Серпухов должен быть исходной точкой в поисках лосей, на которых ездили за пятьдесят километров.

К утреннему поезду Москва — Серпухов я приехал с ночным автобусом. Мой сосед по купе, прокурор из Лопасни, так заинтересовался сообщением о прирученных лосях, что вызвался пройти по всем вагонам: он надеялся встретить серпуховских знакомых.

— Да нет же, не может быть, — бормотал он, пробираясь среди молочниц с мешками и придерживая в тамбурах фуражку. — Мы бы знали... у нас в Лопасне мехпункт, охотники... и притом это же рядом. Нет, я ничего не слышал!

От Шарاپовой Охоты косой дождик провожал нас до самого Серпухова. Город был чистенький и старинный, с красивой площадью в центре; каменные улицы сбегали от нее к полноводной Наре. В поисках лесхоза я вышел к узенькой Серпейке и увидел средневековый кремль, дали, трубы фабрик...

В лесхозе я нашел директора. Он старательно и молчаливо подытоживал какие-то цифры. Ответы директора были немногословны: сегодня выходной день, занятий в лесхозе нет; он человек в Серпухове новый, езду на лосях считает невероятной, ничего подобного в их лесничестве нет. Дикие лоси, правда, встречаются, но это не то, что меня интересовало.

Во время нашего разговора пришел старший лесничий. Он подтвердил, что лосей много, особенно в Новинковском лесничестве. Прошлым сухим летом выкашивали лесные болота и там нередко видели диких лосей. Но чтобы лосей приручали и чтобы на них ездили, — нет, этого не было!

На следующий день я был приглашен работниками лесхоза поехать с ними в Новинки: может быть, там удастся увидеть диких лосей.

Я сидел в приемной «Дома колхозника», перелистывая от нечего делать те-

лефонный справочник; по правде сказать, я искал телефон райисполкома чтобы окончательно убедиться в нелепости заметки радиоизвестий. Мои глаза случайно остановились на телефон серпуховского отделения «Динамо». Мне ответил тонкий детский голосок:

— Прирученные лоси? Да, есть. На них приезжали в Серпухов...

— Где же мне их увидеть?

— А это так: поезжайте автобусом на станцию Лесную, по узкоколейке до Троянова, оттуда вдоль линии до первого поворота направо: лесом на Тростье, из Тростья на Комарово, а там спросите хутор, бывший Ярошенко. Там и найдете лосей.

— Когда уходит поезд?

— В пять вечера.

— Да верно ли? Нельзя ли позвать кого-нибудь из старших?

— Есть егерь, но он сейчас в городе.

— Я вас очень прошу, чтобы он позвонил мне в «Дом колхозника», когда придет, хорошо?

— Ладно!

Так четко и быстро, прямо по-пионерски, договорились мы о важном для меня лосином деле.

Надо, однако, сказать, что я уже был предупрежден о склонности к шуткам обитателей фабричного Поочья. Достаточно посмотреть, как разговаривают здесь между собой парни и девушки: подтрунивают, насмешничают, а глаза блестят, и губы смеются. Короче, я не верил в слишком простой и ясный девочкин маршрут, особенно после вдумчивых рассуждений пожилых знатоков местной охоты и лесного хозяйства. К тому же я подозревал, что девочка была не так мала, как можно было судить по ее тонкому и нежному голоску.

Все же я просил дежурную разбудить себя ровно в три часа: два часа, которые останутся до отхода поезда, считал я достаточными для разоблачения милой шутки. Я начал развязывать дорожный мешок, но услышал стук в дверь.

— К вам пришли.

— Войдите!

Передо мной появился человек, его голова чуть не касалась притолоки. Охот-

ничьи сапоги, блуза, стянутая ремешком, тронутые сединой стриженные волосы, загорелое лицо.

— Егеря и начальник Серпуховского охотхозяйства «Динамо» Ванин! — сказал вошедший громовым голосом.

Наверное, он принимал меня за начальство из Москвы и рапортовал по военному.

Я выслушал егеря стоя и просил рассказать о лосях. Он присел на стул и расправил пышные усы.

Лоси есть. Они теперь переходят даже за Оку, в сухие леса, где раньше никогда не водились. В прошлом году, во время рева, он сам нашел четырех лавших лосей-быков, они были в кровоподтеках и ссадинах, — видно, погибли в жестокой брачной битве.

Необходим отстрел быков. Такой отстрел уже был разрешен в прошлом году. На номера охотничьего круга вышло восемь лосей, в том числе коровы (лосихи) с телятами. Охотники так волновались, что не убили ни одного. Они боялись подстрелить корову или лосенка, потому что стадо держалось кучно... Да, вот еще история, прямо странная история! Не далее как вчера на Торговую площадь забежал лось. Он шел гоним по Борисовскому шоссе, со стороны лесов, вихрем промчался через базар, покрутился на окраинах и упал на канаве в Лагерном переулке.

Это было в одиннадцать часов утра. Женщины шли мимо с ведрами. Первым их движением было — напоить тяжело дышавшее животное. Но было поздно: лось пал.

Ванину позвонил дежурный из милиции: пусть-де он сходит на место происшествия и выяснит — не большой ли какой лось?

Ванин подумал: «Э, стар я, чтобы шутки со мной шутить!» — и молча положил трубку. Второй звонок был настойчивый, звонил помощник начальника; но Ванин и тогда не поверил. Третий звонок, решительный приказ начальника милиции, заставил его отправиться в Лагерный переулок. Сомнений не было: с закинутой ушастью головой, с упругими «розами» будущих рогов

и подернутыми пленкой глазами, лежал двугодовалый лось...

Что касается ручных лосей, то все, сказанное девочкой, верно. Верен и маршрут. Только от Троянова надо держаться все вправо, не заходить на Покров, а дальше по столбам, все по столбам... и в сумерки я буду у лосей.

### III

День был базарный. Автобус, ухая и скрипя, перетащился по мосту через Нару. Дороги на Лесную я не знал. Рабочие показали — «двором фабрики!».

Двор был, как улица, — с цветами и газонами, с вывесками магазинов и афишами кино. Фабрика громадная — «Красный текстильщик». Еще бывший владелец ее Коншин провел узкоколейку в глубь лесов, чтобы доставлять дрова. Теперь часть вагонов приспособлена и для пассажирского движения.

Крохотный поезд полз среди лесов, как гусеница. Кругом звенящей стеной тянулись боры и дубравы. Перекликался с кукушками свисток игрушечного паровоза.

Вот и последняя остановка — Трояново. «Все вправо, вправо, дальше по столбам на Тростье и Комарово...». Я пробирался по корням в обход поросших осокой болот, вдыхал крепкий запах багульника, отмахивался зеленой веткой от комариной тучи.

В Тростье посчастливилось найти лошадь. Извозчик был случайный, нездешний, недавно приехавший сюда на лесоразработки курянин. Он не знал дороги. Мы ехали уже около часа. В Комарове пастух сказал: «Поднимитесь на горку, будет видно лосеферму».

Признаюсь, это слово я услышал в первый раз. Потом мне пришлось услышать вместо «теля-теля» — «лося-лося», вместо ипподром — лоседром; дети играли не «в лошадки», а «в лосятки».

Пастух был прав. Скоро среди деревьев мелькнула высокая, метра в два с половиной, изгородь.

— Это здесь! — сказал я, протягивая руку. — У Брема написано, что лось прыгает без разбега на два

метра... — И я остановился на полуслове.

Лошадь не испугалась. Она, наверно, приняла это за что-то знакомое. Может быть, за большого телянка: лось был безрогий. Он появился на фоне синеющей прогалины и шел очень изящно, легко переступая стройными ногами. Лось был заседлан. В седле сидела девушка.

Я смахнул с головы кепку и громко сказал:

— Здравствуйте, товарищ!

Лось остановился, и девушка ответила:

— Здравствуйте. Вы не к нам?

Чего бы, казалось, проще ответить: да, к вам. Не тут-то было! Извозчик, сидевший до того молча, внезапно издал хриплый крик. Либо у него перехватило горло, либо комар попал, не знаю, только в ответ лось промычал: «А! а!», — и что-то такое было в этих звуках, что лошадь наша рванулась и понесла.

Комья земли, щепки, ветки полетели мне в лицо. Стволы берез замелькали так, что зарябило в глазах. В один миг мы вынеслись на поляну.

— Что ж ты... не держал!.. — кричал я, подсакивая в телеге и стараясь поймать вожжи, которые со свистом хлестали по кустам.

— Да... чорт... чорт ее теперь удержит! — также подсакивая, со злым и красным лицом кричал возница. — Ты бы еще куда по... похуже завез! Да я сроду... да ни за какие деньги... к этим лосям не поеду!

Тут в телеге что-то хряснуло, я упал плашмя на лошадиный круп, а курянин, описывая дугу, благополучно опустился на мягкую землю. Лошадь уперлась в забор...

На краю поляны, по-вечернему тихой, желтели новенькие домики лосефермы.

#### IV

Еще в 1919 году Владимир Ильич Ленин нашел силы и время заняться делом охраны природы. За подписью Ленина был издан декрет, запрещающий всякого рода охоту на лосей.

И вот устраиваются заповедники, охотничьи заказники, звероводческие совхозы.

Необычайно приспособленные к жизни, невзыскательные, лоси начинают быстро размножаться. В специальных журналах появляются статьи о технике учета лосей, о прикорме лосей, о солонцах.

Лосями понемногу начинает заниматься Комитет по заповедникам, опытная станция в Якутии, Наркомзем, Арктический институт, Военно-охотничье общество.

Одни — с целью сохранить их и размножить, другие — приручить.

В Завидовском охотхозяйстве за один год поголовье лосей увеличилось с 300 до 365 голов. Государственный заповедник Бузулукский Бор опубликовал итоги своей пятилетней работы по изучению лосей. Лоси могут ужиться с человеком, могут работать в упряжи, по перевозке клади.

Зимой 1937 года испытывались лоси на льду реки Лены. Двухлетняя лосиха свободно брала больше двух тонн груза и везла его на санях со скоростью семи километров в час. Еще важнее были результаты, которые она показала в работе под вьюком.

...Представляешь себе где-нибудь в отрогах Саян, без дорог, в буреломе, буро, шерстистого лося. Морда заиндевелила, сзади — погонщик. Лось ловко передвигается среди ям, камней, вывороченных с корнем деревьев, по крутым подъемам и спускам. На спине у него вьюк.

Настал вечер. Погонщики греются у костра. Лоси кормятся тут же. Их пища — древесная кора, мох, хвоя...

Хорошо бы на лосях вывозить лес из глубин тайги, к сплавному рекам, железным дорогам.

Понятно и оборонное значение выезженного и приученного к переноске вьюков лося...

Пока что «лосиные энтузиасты» задались целью: сделать лося таким же рабочим животным для леса, каким олень служит для тундры и верблюд для пустыни. И уже можно сказать, что дело разведения и приручения лосей постав-

лено у нас достаточно крепко, по советски серьезно, по крайней мере, в двух охотхозяйствах: Завидовском и Серпуховском. Среди пионеров этого дела — такой ученый, как академик Николай Михайлович Кулагин, профессор Мантейфель и другие.

#### У

Когда наша испуганная лошадь, дрожа, остановилась у забора и мы немного оправились от аварии, к нам подошел длинноногий человек в очках и сказал, протягивая руку:

— Зоотехник Подчуфаров.

...В бревенчатом доме все спало, кроме сверчков. На сучках, прибитых к стенам, наохлились чучела птиц. Когда зажгли лампу, они словно ожили, зашевелились, длинные тени протянулись от распластанных крыльев, и стеклянные глаза засверкали. Тут же висели два ружья и часы с разбитым стеклом. В углу — этажерка с книгами и тетрадьми дневников. Отдельно на подоконнике, в бумажках, — высушенный лосинный кал и образцы шерсти. На полу валялись обломанные лосиные рога. Около двери — резиновые сапоги. Брезентовый плащ и ватная куртка — на вешалке.

Сам Подчуфаров, владелец всех этих богатств, — молодой человек с легко загорающими, сердитыми глазами и с вздыбленной копной волос, выгоревших от солнца.

От Подчуфарова я узнал, что место для лосефермы на речке Аложе выбрала комиссия в 1937 году, а первые лоси прибыли зимой 1938 года.

Ох, какие это были лоси! Вот Злой, — он раньше был в зоопарке. Люди боялись к нему подходить, били жердью, — плохая школа! По странному выбору, первым директором фермы был назначен человек, который свою профессию юриста променял на воспитание песцов, а потом лосей. Он устроил для лосей сплошные изгороди, гнал от них все живое.

— Мы приняли другой метод. Постепенно стала вырабатываться практика обращения с лосем... Вот он заклады-

вает уши — балуется или хочет ударить? Пика и Партизан любят играть, иногда же просыпаются злые. Потом опять станут добродушными, толкаются, трутся. Наш Сгибнев обнимает лося.

— А кто это Сгибнев?

— Рабочий, лосинный тренер. Их у нас трое: Кухарчук, Сгибнев и Трунов. Люди тут нужны с выдержкой, терпением... Так вот, Сгибнев обнимет Партизана за шею, а тот его тащит. Или вскочит на спину и едет без узды. Есть и вполне смиренные, обвезженные лоси. У них есть азарт: заметили, когда пришлось обгонять. Ушки закладывают, чешут во всю! Теперь их к бегам приучаем. Лоседром есть небольшой. Первая поездка была в Тарутино. Я ехал на Крале. Дома, собаки... а Краля была поймана в шестимесячном возрасте собаками. Понятно, переживаний у нее было много. Мост встретился, горбатый, высокий, без перил. Людям боязно, не то что лосям! Потом поехали в Серпухов. Оспаривают некоторые выносливость лосей, это надо было проверить. Оттепель, снег мокрый падает, дорога тяжелая. При встрече с машинами лоси бросались в сторону, становились на дыбы. В Серпухове люди окружили, ехать было невозможно... Теперь от услуг лошади мы почти отказались. Все, что надо по хозяйству, — на лосях. Дрова возим, бревна, мусор. Думаем, как ездить целиной по лесу? Это такая штука, что можно голову потерять. Однажды выехали на Покров — Буриново на шести лосях, испытывали сбрую. Дорогой остановились покурить. Табак был только у меня. Собрались все ко мне, лоси стоят смиренно; вдруг Лося испугалась чего-то, да как бросится в лес! Мы всполошились, начали звать:

— Лося, Лося, куда ты?

И вот видим, сделала она большой крюк по лесу и по дороге летит к нам. Вот умница! Стали мы ее хвалить, поглаживать. А Кухарчук смотрит на сани и говорит:

— Смотрите, сани целые, нигде не зацепились!

И в самом деле, Лося так ловко пронеслась между деревьями, что сани остались целы...

В стену постучали:

— Граждане, ложитесь спать!

— Это Лидия Карловна, — говорит Подчуфаров. — Ну, спокойной ночи! — и сам рассмеялся: — Э, да уж совсем светло!

Комната была полна дыма, я распахнул окно. Вместе с опьяняющей лесной свежестью в комнату ворвалось бормотание тетеревов: казалось, десятки, сотни ручьев журчат и булькают в лесу.

## VI

Огромный лес между Протвой и Нарой раскинулся на десятки тысяч гектаров. Это — охотничье научно-опытное хозяйство.

Оно разделено на кварталы и ничем не ограниченные участки, урочища и болота, массивы глухомани и пятна зеленых полей. Изо дня в день охотнаблюдатели замечают: когда и какой лежал в лесу снег, чьи на нем следы, когда зацвела черемуха и первый раз вышли на подслух глухаря, как «скрадывали» на жировке лося, — все это и многое другое записывается в дневниках.

Прочитать их непосвященному довольно трудно. Для того чтобы облегчить запись, выработались особые условные знаки. Самец — это кружочек и стрелка вверх, самка — кружочек и стрелка вниз: так создается звериная и птичья азбука, лесные письмена, своеобразная стенография лесной жизни.

На утро следующего дня моего приезда на лосеферму по плану работ было намечено отловить дикого лосенка.

★

У стены, слегка сгорбившись, покуривая, сидел человек в выдавшем виды плаще, с кожаной сумкой через плечо: охотник. Рядом с ним — ученая специалистка по ловле лосей — Амга. Это очень важная фигура в предстоящем нам деле, несмотря на то, что она такая маленькая, черненькая: обыкновенная лайка. По ее виду и нетерпеливым взглядам можно было догадаться, что она уже знает, куда и зачем мы пойдем.

Стоило нам только тронуться с ме-

ста — Амга бросилась вперед. Она молча и сосредоточенно описывала где-то по кустам под еловым лапником широкие круги.

Вел нас охотник с кожаной сумкой — Иван Борисович Кулишов, или, попросту, Кулиш. За ним шел Подчуфаров, за Подчуфаровым — я, а за мной — Иван Александров.

Мы шлепали по болотам без особой осторожности, даже курили. Впереди нас бежала Амга в наморднике.

Вооружен был только Александров. Да и то для виду: из этого ружья 24-го калибра можно было, пожалуй, убить рябчика, но не лося. Убивать мы никого и не собирались. То один, то другой показывал пальцем вниз: лосиные следы. Они хорошо были заметны на болотистой почве по росе.

Мимо примет, не относящихся к делу, Кулишов проходил без внимания. Он был слегка нахмурен: лосенка намечено взять на его участке.

Александров был беспечен и весел. Он не забывал любоваться окружающим. Сорвет и надкусит желтый цветок — «баранчик». Увидит в мелколесье хрупкий подгоревший сморчок — сорвет и сморчок. Вот почему он и отстал от нас намого.

★

Уже часа полтора мы идем по болотам. Охотники о чем-то совещаются вполголоса.

Я улавливаю, что они собираются идти «в сторону Журавля».

— Куда? — спрашиваю я шопотом.

— «В сторону Журавля», — ответил Кулиш, — в осиновое болотце. Там по весне я нашел журавлиное гнездо. В нем были яйца, а теперь уже есть желтенькие журавлята.

Становится жарко. Я с наслаждением подставляю голову под ветки с тяжелой росой, хочется пить. В одном месте Подчуфаров показывает лосиную «поядь» — гектара три молодого осинника обкусано, поломано, осинник выглядит, как после пожара. Кулиш шопотом подзывает Амгу и берет ее на поводок. На мой немой вопрос отвечает также шопотом:

— Здесь гнездо журавля. Не хотим показывать Амге.

А коровы с лосенком все нет. Коротенькое совещание. Решено идти «в сторону Сада», а затем «в сторону Куликова болота».

Цветущие бело-розовые яблони появляются в лесу неожиданно. Мы ложимся на траву и отдыхаем минут десять. Клубятся рыжие комары. Амга, повернув голову набок и насторожив одно ухо, как бы говорит: «А нет ли чего закусить?». Но закусить нечего, потому что мы считаемся «дома»: ферма, по прямой, километрах в пяти. Кулиш рассказывает, что когда-то здесь жил лесной помещик, он же крупный хищник, браконьер. После революции нашли десятки пудов лосиных костей на чердаке его дома. Помещика давно нет, а сад так и цветет сейчас в самом сердце леса.

Мы поднимаемся и идем «в сторону Куликова болота».

Едва разошлись мы на пятьдесят шагов, — я услышал лай. Бор встрепенулся в тревоге... Охотники, задыхаясь, погружаясь по колено в воду, побежали вперед.

Где-то здесь, рядом, слышится треск валежника и короткое угрожающее мычание. Лось, защищаясь, бьет передними ногами.

Александров, наконец, стреляет в воздух, как и полагается. Треск раздается с новой силой, потом затихает вдали. Лосиха испугана и бросила теленка. Судя по лаю Амги, он побежал в противоположную сторону.

Вдруг Кулиш падает и не может подняться.

— Что с тобой? — кричит с отчаянием Подчуфаров.

— Вступило... в поясницу... — шепчет побелевшими губами Кулиш.

— Оставайся, лежи — пришлем лошадей!..

Лес редет. Во впадине — угрюмое коричневое озерцо. На берегу, высунув красный язык, с взъерошенной шерстью, лает Амга. Она лает на лосенка. Он стоит по грудь в воде. Так лоси спасаются от волков. Инстинкт подсказал лосенку, как поступить.

Но вот лосенок, горбась, неуклюже выскакивает из воды.

Амге только того и нужно. Она встречает его у берега и вцепляется, насколько позволяет ей намордник, в заднюю ногу лосенка. Он, широко отставляя эту ногу, машисто бежит, и за ним кудлатым, рычащим комком волочится Амга. Лосенок бежит медленной. Александров, растеряв свои сморчки и ландыши, настигает лосенка. Он протягивает руку — и лосенок тут же покорно ложится.

Придерживая одной рукой добычу другой рукой Александров быстро снимает с себя пояс. Добычу связывают. Лапы у Амги дрожат, она нервно зевает, облизывает мокрую шерсть и тихононько повизгивает, вся еще полная охотничьего азарта.

Через час лосенка принесли на ферму, а еще через полчаса приплелся ковыляющий, но удовлетворенный Кулишов. План выполнен. Это уже третий пойманный в мае лосенок: ушастый, на высоких ногах, палево-рыжий теленок, обещающий хорошую статью.

Охотники, рабочие, дети собрались в питомнике, в зеленом четырехугольнике луга, обнесенном забором. С северной стороны его — лес, посредине — ручей. Ширина ручья — один шаг, лосята через него перепрыгивают. В одном углу луга — сарай для зимы и непогоды, пол в нем устлан мягким сеном. В другом, по ту сторону ручья, ближе к лесу, — «дача». Там сарайчик плетневый и рядом — искусственный, ежедневно сменяемый садик из древесных веток, воткнутых в дерн.

Лидия Карловна обмывает марганцевым раствором пораненную ногу лосенка. Нога еще дрожит мелкой дрожью. Сестру сменяет кормилица: приходит телятница Федосья Скорлупкина с бутылкой молока. Делаются попытки напоить лосенка. После многих трудов и уговоров удается влить ему в горло стакан или два.

В отдельном загоне стоят три лося. Они в карантине: готовятся к отъезду на Сельскохозяйственную выставку.

К загону подходят несколько человек. Впереди — толстый шорник с новым хо-

мутом в руках. Хомут из двух частей, с застежками.

Комсомолец Кухарчук выводит «боксер» Партизана. «Боксер» смирен, как теленок. Кухарчук берет из рук шорника хомут и показывает его Партизану.

— Вот, Партюша, новый хомут. Ты не бойся, посмотри, понюхай.. Что головой мотаешь? Комары кусают? Вот мы их сейчас отгоним.

Под эти уговоры сложное сооружение с колпаком, напоминающим шляпу средневекового ремесленника, надевается на холку лося. Все разглядывают новую сбрую. Колпак велик, а эту постромку надо сделать шире. Партюша терпеливо стоит. Шорник суетится вокруг него. Наконец все готово. Лось запрягают в легкую двуколку. Кухарчук садится в нее, как опытный наездник, и легко трогает вожжами.

— Но!

Лось отвечает: «А! а!» — и через минуту скрывается из глаз...

## VII

Охотники разошлись, и детвора улеглась на отдых. Солнце перевалило за полдень. Высушив после болотных хождений свои сапоги, я сижу на столетнем пне в лесу, среди седого хвойного бурелома.

Передо мной лужайка, на ней покачиваются лимонно-желтые купальницы, и в траве, среди купальниц, лежит лось. Он поставил свои уши, как два крыла, и внимательно на меня смотрит. Все-таки я не похож на пастуха-девушку, которая стоит, грызя семечки, неподалеку. На волосах ее повязан платок концами наперед, в руке она держит раскрытую книгу.

Убедившись, что я сижу спокойно, лось начинает размеренно, неторопливо жевать. Время от времени он взмахивает головой, отгоняя комаров. Под обросшими длинной бурой шерстью салазками мотается бородка кисточкой.

— Это вас мы встретили в лесу? — спрашиваю я девушку.

— А то кого же? Да что-то быстро вы скрылись... Я и оглянуться не успела.

Белая скорлупка прилипла к губам девушки, она смеется.

Время идет неторопливо. Тишина. Слышно, как звенит мошкара в траве. Лось поднимается и, долго, сладко потягиваясь, расправляет мышцы.

Потом он бредет среди берез, становится на колени и так щиплет траву. Но он не голоден. Ему хочется полакомиться. Он направляется к тонкому стволу осины с еще красноватой, клейкой листвой и налегает на него грудью, продолжая итти. Согнутая в дугу осина теперь под его брюхом, между ног. Лось как бы нехотя ощипывает верхушку, которая приходится как-раз у самых его губ. Потом он «сходит» с осины, и дерево со свистом выпрямляется.

— Пика! Пика! — слышит он мой зовущий голос и медленно подходит.

Его интересуют мои карманы и хлеб, который он чует в них. Я пробую погладить Пику по жесткой гриве, но это занятие не из приятных: грива и вся шерсть пропитаны пахучим жиром — смазкой от комаров.

— Ну, иди, иди! — говорю я лосю.

Голос девушки-пастуха слышен уже где-то вдали, она собирает лосей. Выпас кончился. На ферме играют в охотничий рожок, лоси один за другим выходят из лесу и тянутся к стойлам...

Начинается вечерняя подкормка. Лосе и Злому — утренняя дача концентратов, Майке — витаминов. Зоотехники ходят с записными книжками в руках. Лосей взвешивают. Сгибнев, свободно разбираясь в сложной таблице, которая висит тут же, на досках забора, рассказывает мне об особенностях каждого животного. В нем чувствуется знаток, он ссылается на книгу Кулагина о лосях...

Сумерки. В садик выносят патефон. Окончив работу, Сгибнев преобразуется. Он надевает вельветовую куртку, шляпу-панамку и идет гулять. Независимо помахивая тросточкой, останавливается у скамейки среди кустов сирени и георгин, слушает вечернюю беседу женщин, пение Козловского и, мягко чему-то улыбаясь, идет дальше. А еще недавно дорога его жизни могла бы пойти вкось; он работал на канале

Москва — Волга, был освобожден досрочно.

Смелый человек, Сгибнев нашел себя в дрессировке лосей. Здесь пригодились его спокойствие и решительность. Здесь он — человек нужный. И оттого, может быть, — шляпа, тросточка и мягкая улыбка во время прогулок по вечерам.

В лосятнике долго гремит ведрами и сердится на что-то Федосья Скорлупкина.

Загадка — так назвали дети пойманного сегодня лосенка — пила плохо. Скорлупкина подсчитала, что она выпила не более литра.

Федосья поужинала и улеглась. Но уснуть не могла: сомнения тревожили ее. Поворочавшись с полчаса, она решила выйти в палисадник. Но тут недалеко и до лосятника. Пошла туда. Герой и Быстрый лежали, свернувшись на сене, в сарае, а Загадка стояла, и нога ее была неловко отставлена в сторону.

— Болит? — спросила Федосья.

Загадка жалобно мекнула.

Федосья оглянулась вокруг. Полночь, но в окне зоотехника еще краснеет огонек.

Я слышу у стены дома шаги и стук в соседнее окно. Голос Федосьи шепчет:

— Товарищ Подчуфаров, а товарищ Подчуфаров! Выглянь-ко на минуточку... Не голодно ему? Не дать еще?..

## VIII

Спустя два месяца мы с Подчуфаровым вышли из метро у Красных Ворот. Башни вокзалов были видны с асфальтового холма. Перед нами открывались простор Садовой магистрали и высокое небо Москвы.

Через полчаса, обогнав ливень, мы были у Сельскохозяйственной выставки.

Строгая охрана пропустила одного зоотехника, я остался дожидаться в конторе. Впрочем, лосиний домик был мне виден: я узнал Кухарчука в белом докторском халате и Партизана, которого выводили под уздцы, и, следом, раздобрешшую Краляю с однорогим Крепышом. Это было накануне открытия выставки. В окно я видел, как по дорожкам широко шагали то узбек в поло-

сатом халате, то в высокой папахе туркмен: здесь десятки знатных животноводов страны готовились, как и мы, перевести из карантина на выставку своих питомцев.

После мая, когда я не без приключений разыскал лосей, я был на ферме не раз. Пойманный лосенок — Загадка — был болен, оперирован и с ножкой в гипсе смешно ковылял за своей кормилицей Федосьей Скорлупкиной, к которой очень привязался.

На ферме появились новые рабочие, два комсомольца. Кухарчук с июня был в Москве. Новичков обучал Сгибнев. Под его руководством они преодолели искушение удирать на забор при виде Злого и научились терпению. У домашних лосей рано — уже в августе — появились признаки гона, самцы поднимались на дыбы и пробовали крепость своих рогов. Сгибнев, лениво-спокойный, шел к ним в загородку. Однажды, для моих записей по экстерьеру, он измерил длину ресниц двугодовалого лося: операция довольно трудная.

Измеряли мы соломиной: в верхней реснице оказалось восемь с половиной, в нижней — шесть сантиметров длины.

Под Москвой, в карантине, лоси выглядели хорошо; они округлились, прибавили в весе; Кухарчук не жалел для них овса, хлеба, сам ездил за зелеными ветками на Язуу.

Из ворот мы вышли торжественно. Впереди Подчуфаров с помощником от павильона Охоты и Звероводства вел строптивого Крепыша, за ним Партизана с Кралей — Кухарчук.

Мы шли по краю липовой аллеи. В сумерках то-и-дело возникали блестящие диски автомобильных фар. Лоси, высокие, тонконогие, вздергивали головы, упрямылись...

— Дяденька, кого ведете? — кричали встречные ребята.

— Домашних лосей! — отвечали мы, и ребята присоединялись к нам, следуя в почтительном отдалении.

Когда мы подошли к территории выставки, сотни электрических лун сразу вспыхнули над ее сказочными павильонами. Это была проба света.



Синий свет дрожал на листве, в темных деревьях Охотничьей тропы, где на искусственной речке уже были устроены гнезда ондатр и хатки бобров. Посеребренная лань поднималась над павильоном Охоты.

Мы пустили лосей в отведенный для них вольер с высокой росистой травой...

★

Прошло десять месяцев. Вновь открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Высокиническая лосеводческая ферма превратилась в лосесовхоз с проектным поголовьем к 1942 году в сто голов лосей.

В «Книге Почета» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки появилась запись:

«Серпуховское опытное охотхозяйство НКЗ РСФСР (лосесовхоз) Высокинического района за 1938—1939 годы освоило:

1. Отлов и стопроцентное выращивание диких молодых лосей (телят);
2. Отлов взрослых лосей (быков);
3. Объяживание лосей и использование их в упряжи зимней и летней в легких поездках, в работе по вывозке дров, бревен и т. д.

4. Езду на лосях верхом и с вьюком, кастрацию лосей-быков, сконструирование сбруи для транспортной, верховой и вьючной езды на лосях».

Как и следовало ожидать, наши северные, таежные районы прежде всего занялись превращением «вездехода тайги» в транспортное животное. В десятках мест — в Нарыме, на крайнем Севере, под Ленинградом — заинтересовались этим делом.

Первым за советом и помощью в организации лосефермы обратился техник-оленовод крупнейшего в Нарымском округе (Западная Сибирь) олениводческого колхоза им. Беляевских тов. Бобылев.

«Лосей у нас, — пишет тов. Бобылев, — непочатый край. Но пользы человеку они не

приносят... Использовать лося как рабочую силу, больше чем где-либо, у нас можно. Покрывать большие пространства, охотиться на песца, возить грузы... и, вообще, говорить о преимуществах лося перед другими животными в наших природных условиях излишне... Вопрос об организации у нас лосефермы является злободневным. Я получил письмо от секретаря РК ВКП(б), в котором он напоминает, что на бюро РК будет мой доклад об организации лосефермы, при этом добавляет, что доклад со всеми материалами должен быть рентабельным, без единого но!..».

«Если можно, — заканчивает свое письмо работникам лосесовхоза тов. Бобылев, — то я убедительно прошу бы вас как-нибудь доскональнее, со всеми мелочными сторонами выслать метод организации лосефермы. Одному с этой задачей справиться тяжело!».

В феврале этого года предложение об использовании лося для хозяйственных целей, в условиях крайнего Севера, внес депутат Верховного Совета СССР от Читинской области тов. Абрамов.

По этому вопросу, отметив важность его, Народный комиссариат земледелия СССР предложил Главному управлению Востока разработать соответствующие мероприятия.

Организует лосеферму также и Ленинградская Лосетехническая академия им. С. М. Кирова.

★

В Советском Союзе—без малого один миллиард гектаров лесов. Сейчас, весной, на этой огромной площади, тут и там, появляются на свет маленькие лосята. Тысячи их, подверженные всем невзгодам первобытного существования, погибнут. Но десятки будут пойманы организаторами лосеферм—для дальнейшего выращивания и размножения уже под контролем человека. Работа по одомашниванию лосей идет уже ряд лет. В этом году, как и в прошлом, на выставке представлены вполне обьеженные, готовые для службы социалистическому хозяйству лоси.

Немного внимания, организованности, заботы — и через несколько лет Советский Союз будет иметь новую высокоценную и продуктивную отрасль животноводства.

# Ананий Церетели

(1840 — 1915 гг.)



Ананий Церетели, столетие со дня рождения которого исполняется в этом году, — крупный грузинский поэт.

Вместе с Ильей Чавчавадзе А. Церетели был одним из выдающихся деятелей национально-освободительного движения в Грузии, борцом против крепостничества и самодержавия. Его мировоззрение сложилось под сильным влиянием русских революционных демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.

Главная тема творчества А. Церетели — освобождение и возрождение Грузии. «Я так люблю, прекрасная, и так скорблю, любя! Твой верный раб всечасно я, живу лишь для тебя» — обращается поэт к родине. Он боролся против самодержавия, которое, опираясь на реакционное грузинское дворянство, утвердило в Грузии свое господство. В этой атмосфере создалась мечта А. Церетели о национальном возрождении родной страны.

Беспредельна любовь А. Церетели к своей родине. «Сегодня Грузия побеждена, — писал он, — но раньше, в течение пятнадцати столетий, она изгоняла врагов; хотя она пала, все же закалилась, как железо в огне, и даже оставила правнукам в память пословицу: «Против зла нужно крепиться изнутри», — «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор», говоря словами Руставели. Последнее столетие, в котором проводилась совершенно иная политика, сковало душу и тело: физически как будто дало спокойствие, но каждое действие, каждый шаг был направлен к тому, чтобы задушить, и эта цель была достигнута: повторяю, мы, сегодняшние грузины, — скованы и душой, и телом».

А. Церетели глубоко верил в светлое будущее Грузии, в ее освобождение. Этот мотив проникает многие стихи поэта:

Настанет пора, и поднимет голову,  
Герой-героев разорвет цепи,  
И радость сменит  
Этот долгий гнет...

Дело освобождения родины, создания счастливой жизни Церетели связывает с трудящимся народом, в котором он видит неиссякаемую силу и энергию.

В период выступления А. Церетели на литературном поприще грузинское крестьянство находилось в крепостной зависимости, стонало под тяжелым ярмом барства. Церетели, гуманист, борец за справедливый и разумный строй человеческой жизни, не мог не восстать против позорного рабства. Он с огромной силой заклеивал крепостничество, обрекавшее крестьян на полуголодное бесправное существование. В стихотворении «Трудовая песня», написанном в 1861 году, поэт рассказывает устами самих крестьян о том, как тяжка их доля:

Будем мотыжить мы поле,  
Песню рабочую грянем,  
Чтоб разлучились мы с болью,  
Вечной нуждой и страданьем.  
Не для крестьян с этих пашен  
Будет снята кукуруза.

Барин покинутым страшен,  
 Барин несчастным обуза.  
 Жалобам нашим не внемля,  
 Дают свои и чужие,  
 Потом горячую землю  
 Нам орошать не впервые.  
 Сеем мы в пахоту семя,  
 Чтобы кормить тунеядца.  
 С голоду мрут наши семьи,  
 Чтоб богачам насыщаться.

(Перевод Б. Брика.)

Многим в свое время досталось от острого меча сатиры А. Церетели. Поэт ясно видел, что в современном ему дворянско-буржуазном обществе царил гнет, жадность, лицемерие. А. Церетели направлял острые стрелы сатиры против эксплуататоров, которые «ждут удобного случая, чтобы задушить» человека труда.

Революция 1905 года вызвала восторженный отклик у А. Церетели:

О, совершается, чего ждали мы,  
 И с надеждой я смотрю вперед.  
 Я состарился — полувек прошел.  
 Так давно желал, чтоб восстал народ.

(Перевод А. Корчагина.)

Поэт призывал народ к свержению самодержавия:

Долой правительство бесчестья!  
 Нуждой измученные злой,  
 Мы голоса сливаем вместе;  
 — Долой правительство, долой!

(Перевод Б. Брика.)

Своеобразное и особое место в истории грузинской литературы занимает А. Церетели. Своим художественным творчеством он ответил прогрессивным запросам эпохи. Его стихи, поэмы, повести, драмы проникнуты глубокими общественными интересами. Они пробуждают в читателе сознание активности и движения вперед.

А. Церетели при жизни пользовался огромной популярностью в народе. Народ пел и поет много песен на слова поэта.

Основываясь на реалистических принципах, А. Церетели, вместе с И. Чавчавадзе, смело внес в литературный язык народные слова и выражения. А. Церетели хорошо понимал, что, обращаясь к народному языку, поэт освобождается от искусственности, от интеллигентского «фокусничанья», пишет просто и понятно для всех.

А. Церетели заговорил в грузинской литературе настоящим, красочным, подлинно народным языком. После него стал невозможным возврат к старому церковно-схоластическому языку. Борьбу за народность и простоту литературного языка А. Церетели связывал с борьбой за великую литературу, которая воспитывала бы и просвещала народ.

Творческое наследие А. Церетели для нас, для строителей коммунистического общества, замечательно не только как исторический памятник, но и как живая культурная ценность, как источник идейно-художественного опыта.

Шалва Радзани.

# Стихотворения

АКАКИЙ ЦЕРТЕЛИ



## МЕЧТАНИЕ НА ТАРИ

Люблю я тари звук волнующий...  
Как будто все чего-то жду еще  
Под это стрекотанье струнное,  
И сердце бьется, вечно юное.

Под это легкое бряцание  
Растут в душе моей желанья.  
Ведет меня мечта высокая,  
И вижу восхищенным оком я,

Я вижу, словно с вышки башенной,  
Родную землю разукрашенной.  
Я вижу рай, — кусты жасминные,  
Я слышу песни соловьиные.

И шепчут звезды, в небе плавая:  
— Свободен край, покрытый славою,

1881 г.

Дороги горя ныне пройдены,  
Заре открыты двери родины.

Я вижу, полон умиления,  
Народы в братском единении,  
И краше роз цветут здесь женщины,  
Душевной прелестью увенчаны.

Здесь все сердца отчизне преданы,  
И песням слезы здесь неведомы...  
Тот край не ты ль, страна родимая?  
Увы... то сон, то лишь мечты мои.

Умолкло тари стрекотание,  
И кончились мои мечтания,  
Рассеялось виденье милое, —  
Вновь предо мною явь постылая.

*Перевод Веры Звягинцевой.*



## СТАРОСТЬ И ЮНОСТЬ

Над розой внемлю соловью.  
Вокруг обоих вьются грезы.  
Я песне сердце отдаю  
И быть хочу в плену у розы.

Но у желаний власти нет,  
Склонись перед судьбою молча.  
Вкушает молодость шербет,  
А старость ждет лишь горечь желчи.

Любовью правит красота,  
Гнездо свивается весною,  
Мечтанья юные — тщета  
Для убежденных сединою.

Мне ранит сердце седина  
Своей серебряной иголкой,  
Смеется над мечтой она  
И шепчет на ухо мне колко:

«Кого ты любишь? Берегись!  
Какие узы вас связали?  
Над юностью — сияет высь,  
А старость ждут одни печали.

Вы так различны, — юность к дням  
Приковывает цепь тугая,  
И по себе ты знаешь сам, —  
На волоске висит другая.

Твоя мечта — весны цветок,  
Меж роз растет, зефиру внемля,  
Ты — осени сухой листок:  
Чуть ветер, и слетишь на землю.

Иссяк сердечный водоем,  
На дне лишь сердца, неизменно,

Воспоминанье о былом  
Лежит, как жемчуг драгоценный

Влеком желанием, к нему  
Прохожий подойдет однажды  
И прочь отпрянет потому,  
Что здесь не утолит он жажды.

Уйдет туда, где юн ручей,  
В объятья молодого друга.  
Ведь даже искра горячей,  
Чем глыбою застывший уголь».

Так шепчет разум по ночам,  
А сердцу угомона нету:  
«Любуйтесь» — говорит очам,  
А языку: «Скажи про это!».

*Перевод Беры Звягинцевой.*

★

## ПЧЕЛА

Создатель свечи иконной,  
Труженик поля двукрылый  
Летит на работу с песней...  
О небо, пчелу помилуй!

Прилежным пчелиным гудом  
Наполнены лес и нива.  
Цветы пчела воспевают,  
И песня ее правдива.

Где сок для меда и воска  
Таят цветочные недра,  
Весь дар, у природы взятый,  
Она расходует щедро.

Натрудится и обратно  
Летит, под бременем взятка,

Чтоб душу богу и людям  
Пожертвовать без остатка.

И, если гроза настигнет  
Летящую во-свояси,  
Она, среди листьев прячась,  
Заботится о припасе.

Если ж полет ее мирный  
Хищником будет расстроен,  
Она его смелым жалом  
Пронзит и умрет, как воин.

Вот ей ты, поэт, подобен:  
Пчелой ты служишь народам  
И горечь одну вкушаешь,  
Даря их воском и медом!

1897 г. 30 августа.

*Перевод Марка Тарловского*

★



*Акакий Церетели.*

## ОТВЕТ СЕРДЦА

В слезе я желчь растирал  
И ею писал, как чернилами.  
Отравлен укусом мед,  
Как память — разлукой с милыми.

Но — горек иль сладок вкус —  
Могу ль считаться виновником?  
Все та же песнь соловья  
Над розой и над терновником.

Перевод Александра Гагова.

★

## МОЯ ВЕРА

Весной река, вздуваясь, плещет,  
Играет полая вода,  
И через край мятежно хлещет  
Ее вспененная гряда.

Ярмо насилия срывает  
С давно натруженных плечей  
И ждет зари, и прозревает  
Мильоном жаждущих очей.

И мчится все быстрее, смывая,  
Что ей мешает на пути.  
И в скалы прядает живая,  
Не устает играть, расти.

Он ищет света, жаждет чуда,  
Но, правду с кривдою смешав,  
Еще не ведает, откуда,  
Куда и как направить шаг.

И там, в низине отдаленной,  
На гальку вынесет, ярясь,  
С волною мутной и зеленой  
Ракушки, мертвых рыб и грязь.

Вот, вот она, благая сила!  
Ее стихией мы зовем.  
Она, смывая, выносила  
Столетия в мчании своем.

Так и народ! Когда, мятежась,  
Шумит восстанье, он таков.  
Его родной стихии свежесть  
На волю рвется из оков.

Мечта о ней лежала камнем  
На сердце с юношеских лет,  
И в старости она близка мне,  
И ничего мне ближе нет!

И все, что было тусклым в жизни,  
Ненужным, пошлым и больным,  
Все смоем кровью он, — в отчизне  
Все станет начисто иным.

И слава богу, век мой прожит,  
Я дожил до мечты своей.  
И песню молодую сложит  
Усталый, старый соловей.

И в умиротворенном стрежне  
Он стихнет, наконец. И вот  
Сверкает всею славой прежней  
Струя его прозрачных вод.

Бывало, кукурузу полют,  
Сорвут с травой два-три стебля.  
Но кто из-за того неволит  
Оставить в сорняке поля?

Так верил я, и вижу ныне,  
Как мой народ смывает грязь,  
Смывает рабство и унынье,  
С чиновной шатией борясь.

Так, вместе с сорною травойю  
Две розы где-нибудь сорвут.  
Но суть не в том, что гибнут двое,  
А в том, что сотни оживут.

Народ волнуется, бушует,  
 Честь и хвала ему за то!  
 Когда народ восторжествует, —  
 Все вспыхнет, солнцем залито.

1905 г.

И сердце бьется, мощно веря  
 В народ, в расцвет родной страны.  
 Как ни крути зима, — все двери  
 Открыты настежь для весны.

Перевод П. Антокольского.

★

## КИНЖАЛ

Я люблю тебя, как прежде,  
 Хорасанский мой кинжал, —  
 В жизни ты — моя надежда —  
 От врага всегда спасал.

Отточу тебя для боя,  
 Яркий блеск тебе придам.  
 Будь ты братом и слугою  
 Угнетенным и рабам.

На врага пойдешь ты слепо,  
 У тебя остры бока.  
 Твой хозяин сердцем крепок,  
 И тверда его рука!

Я люблю того счастливец,  
 Кто такую сталь ковал.

17 ноября 1905 года.

Бей, — потоком слез залиться  
 Мать врага заставь, кинжал!

В горе жил я, несчастливый,  
 В темноте, не видел дня, —  
 Ты спаси несправедливо  
 Угнетенного меня!

Черной той и злою кровью  
 Седину мою окрась.  
 Буду стон врага с любовью  
 Слушать я в победный час!

Я точу тебя без дрожи,  
 Стоек, крепок будь в борьбе!..  
 Час настал, — ступай из ножен!  
 Там уж места нет тебе!

Перевод Бориса Серебрякова.



# На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан<sup>1</sup>

Записки капитана

К. БАДИГИН

★

## ЛАГЕРЬ ТРИДЦАТИ ТРЕХ

Только теперь мы увидели, как, в сущности, мал наш коллектив, оставшийся на дрейфующих кораблях. Еще вчера по снежным тропам сновали десятки людей. Слышался смех. Звучали песни. Давал последний концерт джаз-капитана дальнего плавания.

И вот все резко оборвалось. Опустели твиндеки. Редко-редко мелькнет на льду одинокая фигура — это магнитолог вышел на работу в снежный домик или боцман отправился на аэродром собрать уже ненужные флажки. Тишь. Такая тишь, что слышно даже, как у борта соседнего корабля сошлись двое моряков и один у другого попросил закурить.

Зимой мы ввели шуточное административное деление наших многолюдных «населенных пунктов»: «город Садко», «деревня Малыгина» и «село Седово». Теперь и город, и деревня, и село были в лучшем случае хуторами...

Но скучать нам попрежнему было некогда. На нас, тридцати трех зимовщиках, лежала нелегкая задача — заменить всех выбывших на материк: надо было продолжать в полном объеме все научные наблюдения, подготовить корабли к навигации, вести необходимые работы по текущему ремонту.

В первую очередь следовало доставить на корабли грузы, принятые с са-

молетов, подсчитать все жизненные ресурсы и разделить их поровну между тремя экипажами. Это была трудная работа, если учесть, как мало людей осталось на судах.

Всего на аэродроме было выгружено несколько тонн грузов. Их нужно было перевезти на примитивных ручных санках за семь километров. Мы взваливали железную бочку или громоздкий ящик на полозья, окружали сани со всех сторон и с гиканьем и уханьем толкали вперед. В такие часы никто не жаловался на холод. Наоборот, все уверяли, что в Арктике стало жарко, как на южном берегу Крыма.

В этом юмористическом преувеличении была некоторая доля правды: близилась полярная весна. И хотя температура воздуха все еще держалась ниже нуля, черные металлические корпуса кораблей быстро нагревались. Образовавшийся за зиму в трюмах и твиндеках лед таял и отваливался пластами.

27 апреля, когда мы находились на 80°00',9 северной широты и 147°32' восточной долготы, я в первый раз увидел птичку. Взглянув в бинокль, чтобы получше рассмотреть нашу гостью, я убедился, что птичка эта не морская, а сухопутная. Какие далекие рейсы совершают эти маленькие существа! Что привлекает их в эти высокие широты?..

Накануне Первого мая мы провели генеральную уборку на корабле. Сбросили с палубы шлак, подмели мусор. Вымыли внутренние помещения.

<sup>1</sup> Продолжение. См. «Нов. мир», кн. 4—5 с. г.

Зимой седовцы жили в твиндеке, угрюмом и мрачном помещении, железные стены которого были покрыты инеем и льдом. Теперь мы переоборудовали под кубрик красный уголок, находившийся в деревянной надстройке корабля. Вымытые стены выкрасили белилами. Открыли иллюминаторы, и сквозь них круглые сутки светило солнце. Сразу стало светло и уютно.

Здесь поселились Буторин, Шарыпов, Алферов, Щелин и Шемякинский. Над койками прибили коврики. Развесили фотографии. Посреди кубрика поставили настольный бильярд. Так как людей на кораблях осталось немного и количество жилых помещений сократилось, мы смогли увеличить нормы расходования угля на отопление. В каютах и кубрике стало теплее.

— Теперь жить можно, — с довольным видом басил Алферов, неохотно вспоминая тяжелую зимнюю ночь, проведенную в холодном твиндеке.

Я и Андрей Георгиевич Ефремов разместились в апартаментах капитана, занимавших две каюты. Розов с Токаревым поселились в помещении, предназначенном для старшего механика. Для доктора мы оборудовали целый лазарет из двух кают, тщательно вымытых и окрашенных белилами. Можно было бы отвести новое комфортабельное помещение и для радиста Полянского, нашего уважаемого дяди Саши. Но он наотрез отказался покинуть свою радиорубку, в которой провел всю зиму.

Большим торжеством явилось открытие новой бани. Старая баня «Седова» пользовалась широкой известностью, как объект для острот и насмешек. В стенных газетах каравана изображали седовцев моющимися в меховых шапках и валенках. Это было недалеко от истины: старая баня помещалась в одном из отсеков корабля, у железной стены, которая в зимние холода неизменно обледеневала. Немудрено, что многие, вообще, избегали неприятных санитарных процедур. Я сам не могу без содрогания вспомнить, как в один из первых дней зимовки мы, вдвоем с Андреем Георгиевичем отправились помыться в это бан-

ное заведение и едва не стморозили себе носы.

Эта ледяная баня была немедленно закрыта. Взамен ее оборудовали новую в помещении ванной, предназначенной для командного состава. Здесь установили камелек сложной конструкции: в бочку из-под керосина делали железный бочонок поменьше — из-под масла. В большой бочке разжигали огонь, а в малой кипятили воду. Железная труба, отводившая дым, обычно нагревалась докрасна, и любители попариться могли всласть пользоваться этим удовольствием. А для того, чтобы удобнее было раздеваться, установили небольшой мягкий диванчик.

Но водолазу Щелину и этого показалось мало, и он перетащил туда четыре зеркала. Эти зеркала он развесил на всех стенах, и теперь каждый моющийся мог во всех ракурсах любоваться собственной персоной.

Оставалось привести в порядок каюткомпанию. В ней нам предстояло питаться, проводить часы досуга, собираться на занятия. Между тем, после долгой и трудной зимовки каюткомпания «Седова» напоминала скорее грязный сарай, чем культурное помещение корабля. Мы тщательно вымыли и выскребли все уголки, выбросили вечно дымивший маленький чугунный камелек и заменили его новым, выкрасили стены масляной краской, привели в порядок мебель. Все блестело и сияло. Теперь людей тянуло сюда выпить чашку чая, посидеть на мягком диване, побеседовать о разных разностях. А это невольно сближало нас между собой.

★

1 мая 1938 года мы встречали уже за восьмидесятой параллелью, в Центральном Полярном бассейне. Под нами лежал океан, прикрытый ледовой шапкой. Материковая отмель осталась позади, и для того, чтобы взять пробы грунта, гидрологу «Садко» приходилось опускать приборы на глубину свыше 1 300 метров.

В этот день стояла наредкость прекрасная погода. Легкий ветер шевелил

гирлянды флагов, поднятых над кораблями. На ослепительном синем небе не было видно ни облачка. Солнце уже начало свою разрушительную работу: на высоких голубоватых торосах можно было заметить первые капли соленой влаги. Поверхность снега кое-где покрылась легким хрустящим налетом, похожим на лепестки слюды.

В 10 часов 30 минут утра от кораблей отделились кучки людей. Тридцать три зимовщика шли с флагами и портретами вождей на праздничную встречу. Шли с песнями, построившись в ряды. Но как это было непохоже на многолюдные демонстрации минувшей зимы! Все время казалось, что кого-то нехватает, что вот-вот от кораблей должны подойти новые колонны демонстрантов. Но никого вокруг нас на многие тысячи километров не было. Мы были одни в полярном океане, и даже голос Москвы на этот раз не был слышен: волны радиостанции имени Коминтерна не доходили до нас.

Все же первомайские праздники на кораблях прошли оживленно и весело. Радисты приняли целые пачки приветственных радиограмм. Нас поздравляли с Первым мая руководители Главсевморпути, зимовщики арктических станций, пионеры-болельщики Арктики, родные, знакомые и вовсе незнакомые люди.

Мы честно заработали право на хороший отдых, и в течение четырех дней работы на кораблях не производились. Команды судов по очереди ходили в гости друг к другу. Сначала был дан праздничный ужин на «Садко», потом на «Малыгине» и, наконец, на «Седове». После отлета 184 зимовщиков у нас побавилось артистических талантов. Все же и мы не ударили лицом в... снег!

Старшие помощники капитанов — Румке, Кучерин и Ефремов — изобрели какой-то невероятный «танец старпомов». Глядя на них, мы часто вспоминали нашу медведицу Машку, которая примерно с такой же грацией топталась на льду.

Зато наш доктор Соболевский блеснул. Схватив в зубы кухонный нож, он лихо закручивал усы и вихрем пронесил-

ся по кают-компаниям, кружась и приседая. Пожалуй, доктор был самым северным в мире исполнителем лезгинки.

Потом наступал черед вокальных номеров. Откашлявшись, дядя Саша, наш отважный радист, запевал приятным баском одну за другой сентиментальные песенки, от которых щемило сердце. Когда нам это надоело, мигом образовывался хор, пели «Дальневосточную партизанскую» или «Если завтра война...».

Одним словом, мы веселились, как только могли, и никто не может сказать, что первомайские праздники 1938 года прошли в Центральном Полярном бассейне скучно.

★

5 мая в кают-компаниях «Садко» собрались капитаны всех кораблей, чтобы поделить грузы, доставленные на самолетах. «Садко» был ближайшим к аэродрому, и поэтому мы устроили на нем своеобразную оптовую базу.

Приемка грузов производилась в страшной спешке, никто толком не знал, что находится в этой упаковке. Мы решили вскрыть грузы и посмотреть, чем порадовали нас наши уважаемые снабженцы из Арктикснаба. Ожидали многого: ведь наши обширные заявки лежали с осени в Главсевморпути.

Под ударами топоров зашкрипели доски, завизжали гвозди. И... с каждым ударом наши физиономии вытягивались все длиннее...

Из ящиков появлялись на свет какие-то моторы, тяжелые аккумуляторы, гигантские шарикоподшипники, найти применение которым на кораблях было просто невысказимо. Зачем-то нам прислали два ящика фотохимикалий, словно мы затевали открыть фабрику фотографий. Едкого натра доставили так много, что мы впоследствии употребляли его... для мытья палубы. Но в то же время фотопластинок было чрезвычайно мало, а сульфит, без которого проявлять их нельзя, вовсе отсутствовал.

Из тюков мы извлекли меховые малицы и шапки. Такому подарку обрадовались. Но потом оказалось, что малицы

узкие, и только худощавому Буйницкому они были впору.

Остальным же приходилось прибегать к помощи товарищей, чтобы стащить с себя тесное меховое платье. Шапки были сшиты тонкими нитками и быстро расползались. И только теплые носки, на которых стояло клеймо «2-й сорт», оказались отличными, и мы потом часто вспоминали добрым словом текстильщиц, изготовивших их.

Институт инженеров общественного питания обещал по радио снабдить нас концентратами еще лучше, чем станцию «Северный полюс». Увы! Среди аккумуляторов и шарикоподшипников мы отыскали лишь несколько бидонов с концентратом витамина «С», ящики с лимонами и небольшой пакет замороженных фруктов.

Много месяцев спустя, уже вернувшись на материк, мы прочли в одной из газет не очень скромную статью заведующего кафедрой технологии приготовления пищи этого института. В этой статье сообщалось:

«...Весь запас продовольствия, доставленный из Москвы, был заготовлен в очень короткий срок Институтом инженеров общественного питания, имевшим уже значительный опыт в деле снабжения питанием арктических экспедиций.

...Коллектив работал с большим энтузиазмом. В течение двух шестидневок сотрудниками была проделана огромная работа: подобран и рассчитан состав рационов, с учетом оптимального соотношения пищевых веществ и необходимого запаса витамина «С». Был изготовлен разнообразный ассортимент концентратов, составлены десятидневные меню и наставления по рациональному использованию продуктов и приготовлению пищи из концентратов. Был проведен лабораторный контроль качества продуктов. Все продукты специально упаковали.

Институт заготовил около четырех тонн продовольствия: сухари с мясом, плавленый сыр, сливочное масло, свиное сало, корейка, сахар, шоколад, чай, соль, витамин «С», концентраты. Ассортимент концентратов значительно расширен: количество первых блюд доведено до 8, вторых — до 6. С особой тщательностью была проведена подготовка продуктов для удобного использования их в суровых условиях Арктики. При упаковке и укладке были приняты все меры к тому, чтобы была обеспечена целостность упаковки отдельных про-

дуктов и исключена возможность передачи запахов одних продуктов другим...».

К сожалению, до нас не дошел запах ни тех, ни других продуктов, и мы не имели возможности проверить качество их упаковки. Не знаю я до сих пор и того, кому достались все эти 14 блюд, о которых с таким вдохновением писал уважаемый автор статьи.

Больше всего нас удручало, что снабженцы забыли уложить в самолеты такие необходимые вещи, как, например, зубной порошок. Чего бы мы не дали в то время за тюбик «Санита» или коробку «Иридонта»! Ведь вокруг нас не было ни куска мела, а из льда, как известно, зубной порошок не сделаешь. Я упоминаю здесь об этой детали, чтобы подчеркнуть огромное значение в Арктике таких вещей, какие на материке кажутся часто мелочами, не заслуживающими внимания.

Что же касается необыкновенно тяжелых шарикоподшипников, моторов и аккумуляторов, то мы при всем желании не могли найти им применения. Уложенные в самые дальние углы трюмов, они преспокойно продрейфовали через весь океан и вернулись на базы в целости и сохранности.

Конечно, все эти досадные неполадки несколько не отразились на общем балансе наших жизненных ресурсов: подсчеты показали, что после эвакуации 184 зимовщиков наш коллектив был обеспечен продовольствием на 40 месяцев.

★

Начиналась размеренная, будничная жизнь зимовки. Жители лагеря тридцати трех, как и прежде, не могли пожаловаться на избыток досуга. У каждого было по горло работы.

Во-первых, с наступлением круглосветного светлого времени возрос объем научных исследований, центром которых попрежнему оставался «Садко», располагавший богатейшим оборудованием третьей высокширотной экспедиции.

Перебравшийся на «Садко» Виктор Буйницкий чувствовал себя в своей

стихий. Вместе с таким же молодым гидрологом Чернявским он проводил регулярные магнитные, астрономические, гравиметрические и гидрологические наблюдения. Велись также регулярные метеорологические наблюдения, собирались образцы животного мира Полярного бассейна, брались пробы грунта со дна моря, детально исследовалось состояние льда.

На борту «Седова» Андрей Георгиевич Ефремов проводил в этот период систематические наблюдения над наклоном видимого горизонта. Эти наблюдения чрезвычайно важны для точной работы с секстаном. Кроме того, Андрей Георгиевич наблюдал за поведением магнитного компаса.

Во-вторых, на кораблях шла деятельная подготовка к навигации. Вероятно, на материке многие удивлялись, читая наши сообщения о том, что корабли, унесенные льдами в Центральный Полярный бассейн, где-то там, за 80-й параллелью, готовятся к навигации. Ведь кое-кто уже заранее обрек наш караван на гибель. Но мы верили в возможности советского ледокольного флота и рассчитывали, что «Красин», «Ермак» или достраивавшийся тогда в Ленинграде ледокол «Иосиф Сталин» пробьются к нам на выручку. Следовательно, мы считали себя обязанными заранее подготовить свои котлы и машины к походу.

На долю механиков «Седова» выпало особенно много работы. Они трудились очень часто дни и ночи напролет. Эти труды не пропали даром. И если бы руль нашего корабля не был так изуродован льдами, «Седов» в это же лето покинул бы Центральный Полярный бассейн вместе с другими кораблями.

Некоторое представление о работе, проделанной в машинном отделении, дает рапорт старшего механика «Седова» Николая Розова, поданный после окончания ремонта. Вот этот документ, весьма поучительный для полярников и наглядно показывающий, к каким печальным результатам приводит небрежная постановка машины на консервацию:

«Работы в машинном отделении начались только после приема главных механизмов

«Седова». Выяснилось, что при постановке корабля на зимовку трубопровод не разобщился. Вместо этого ограничились тем, что вывернули всего несколько спускных кранов. Клапаны свежего и отработанного пара всломательных механизмов даже не вскрывались. В результате в трубопроводах и клапанах осталась вода. Она замерзла, и несколько колен труб, а также клапанов и пробок были заморожены. В частности, были прихвачены льдом следующие ответственные части:

1. Труба свежего пара с клапаном на подогревателе питательной воды.
2. Трубы свежего и отработанного пара с клапанами у валопроворотной машины.
3. Клапаны свежего пара у питательной (котельной) и циркуляционной донок.
4. Пробка и часть труб отработанного пара, ведущих в холодильник и атмосферу.
5. Пробки от рабочего пара — ст донок в холодильник рулевой машины и мусорной машинки.
6. Клапаны разобщительные с частью труб пожарной магистрали.

Лед обнаружен в водяных цилиндрах котельной донки и в приемной коробке забортно-балластных клапанов.

Лед оказался также в малом котле — в сторону крена его уровень достигал нижних связей. У главной машины не была спущена вода с поддонов. Поэтому льдом прихватило бугеля и эксцентрики. Когда понадобилось проворачивать машину, эти детали пришлось выкалывать из льда, портить поддоны и вновь их клепать.

Все это указано согласно записей в машинном журнале. Более мелких упущений я здесь не отмечаю.

В результате такой небрежной постановки машины на консервацию нам приходилось действовать крайне осторожно, применяя паяльную лампу: сначала отогревали клапаны и пробки, освобождали их от льда и воды, затем исправляли повреждения.

Много сил отнял ремонт главного холодильника, у которого пришлось ставить заплатки на дыры, размером 80×20 миллиметров и 25×70 миллиметров. Пришлось исправлять также четыре трубы, смятые прогнувшимся во время ледового сжатия бимсом у главных котлов.

Остальные работы протекали нормально, то-есть, как обычное восстановление в строй после консервации.

Стармех Розов».

Даже не специалисту видно из этого рапорта, как много совершенно излишних в обычной обстановке усилий пришлось затратить нашим механикам во время подготовки «Седова» к навигации. К этим его следует отметить, что на следующий год эту работу удалось произвести значительно быстрее и про-

ще: с приближением второй зимовки наша машинная команда провела консервацию механизмов по всем правилам.

Меня уже давно заботило состояние рулевого управления. Зимние сжатия могли серьезно повредить его. Но частые подвижки льда лишали нас возможности заняться окошкой руля.

Только с наступлением летнего таяния пришло долгожданное успокоение, и я решил не позднее июня приступить к обследованию руля.

Тем временем корабельные работы шли своим чередом. Вахтенные аккуратно записывали в судовом журнале:

«Пилка дров.

Сортировка и предохранение продуктов от порчи при оттаивании.

Установка в кают-компани и в жилом помещении противопожарных бочек с водой.

Санитарная уборка жилых помещений.

Осмотр корпуса и цистерн.

Заготовка льда для ледника и переноска в ледник лимонов.

Уборка жилых помещений выбывших зимовщиков.

Очистка и цементировка ледовых танков для принятия пресной воды из снежиц<sup>1</sup>.

Переборка продуктов. Очищаем от плесени мясокопчености.

Уборка мусора от борта.

Очищаем от плесени и смазываем маслом мясокопчености».

С каждым днем становилось все теплее. Правда, май за 80-й параллелью несколько прохладнее, чем в Москве, но во всяком случае теперь ртуть в термометре не спускалась ниже минус 15 градусов, а это по нашим представлениям была весьма приличная температура. Скоро можно будет взяться и за приведение в порядок корпуса судна, палубы, такелажа. Но накануне этой страдной поры произошло непредвиденное событие, внезапно выбившее меня из колен.

★

Я уже упоминал, что среди грузов, доставленных на самолетах, был небольшой пакет с замороженными фруктами. В нем находилось несколько коробок

со свежей земляникой и смородиной. Разделив полученное лакомство между экипажами трех кораблей, мы поспешили насладиться им.

Небольшие блюдечки, наполненные редкостным кушаньем, повар торжественно подавал нам на десерт. Все бурно выражали восторг и с удовольствием уплетали землянику и смородину.

Так прошло несколько дней. И вдруг совершенно неожиданно я, стоя на ночной вахте, почувствовал, что со мной творится что-то неладное. Ослабели ноги, начало тошнить, сильно болела голова. Немного знобило.

Я застегнул ватник на все крючки и поглубже натянул шапку. В голове мелькнуло: неужели простудился? Этого только недоставало! Попробовал не думать об этом, отвлечься. Но какая-то свинцовая тяжесть в затылке и ноющая боль в животе не давали покоя.

Кое-как достоял вахту. Выпил стакан горячего чая. Есть не хотелось. Боли усиливались. Пришлось идти к доктору. Александр Петрович недоуменно посмотрел на меня. Он знал, что я не принадлежал к числу поклонников его профессии и что только чрезвычайные обстоятельства могли вызвать мой визит к нему.

Он расспросил меня, потом отвел в мою каюту, уложил в постель, сунул подмышку градусник и начал рыться в медицинском справочнике. Я с беспокойством следил за его манипуляциями.

Термометр показал 38 градусов.

— Я запрещаю вам вставать,— решительно заявил доктор,—сейчас еще трудно поставить диагноз. Но у меня есть все данные утверждать, что заболевание серьезное. Симптомы настолько неожиданны, что мне надо подумать, как такая болезнь могла забрести в дрейфующие льды. Завтра вы лежите в постели...

Лежать в постели? Этого только недоставало! И я категорическим тоном отрезал:

— Вы говорите чепуху, Александр Петрович! У меня просто грипп, и я завтра встану. Дайте-ка сюда вашу библию...

<sup>1</sup> Озера пресной воды, образующиеся на льду в летнее время.

Я взял медицинский справочник и стал его перелистывать, отыскивая главу о гриппе. Самолюбие доктора не выдержало. Он вскочил:

— Как судовой врач я приказываю вам лежать!

В голове у меня стучало и гудело. Я плохо соображал, что со мной происходит.

Наутро мне как будто бы стало немного легче, но температура не снижалась. Я сполз с кровати и поднялся на мостик, стараясь делать вид, что все уже прошло. На всякий случай я категорически запретил доктору передавать в Москву радиogramмы о моей болезни. Соболевский ходил за мной по пятам и все время уговаривал лечь в постель. Я отказывался и даже съел обед, чтобы показать ему, что ничем не болен. Но после обеда меня так скрутило, что я сам ползл в каюту и свалился на постель. На этот раз уже и мне было ясно, что болезнь серьезна: я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Нахмурившийся доктор вошел в каюту с термометром в руках. Измерив мне температуру, он сказал:

— Тридцать девять и пять десятых. Вчера вечером было тридцать восемь? Сегодня утром тоже тридцать восемь? Все ясно. Такое ступенчатое нарастание температурной кривой—верный признак брюшного тифа. Завтра дойдет до сорока. С чем вас и поздравляю...

Брюшной тиф! У меня закружилась голова. Как же так? В самое горячее и трудное время оставить работу и лечь в постель... Но откуда же здесь, в Арктике, взялись бактерии брюшного тифа? Этот вопрос занимал не только меня.

— Вот хожу второй день и думаю: откуда это? — говорил доктор. — Белые медведи брюшным тифом не болеют. Морозы за зиму должны были убить всякую инфекцию...

У меня в голове мелькнула страшная догадка:

— А замороженные фрукты, Александр Петрович!..

— Что-о? — протянул он и с досадой заговорил: — Замороженные фрукты... Так-так... А ведь об этом стоило подумать. Они консервированы холодом...

Так... Холод мог убить миллиарды бактерий... Но сотни могли уцелеть. Вы правы... А потом, при оттаивании, они размножились, и... Но это же чорт знает что!..

Я иронически заметил:

— Срочно вешайте на торосах плакаты: «Не ешьте сырых фруктов». Не то, чего доброго, пуночки сожрут остатки земляники, и у них расстроятся желудки...

Доктор уничтожающе глянул на меня:

— Лежите, больной! Вы месяц не встанете с постели. На этот раз я буду приказывать вам, а не вы мне. Ваша сегодняшняя прогулка может дорого вам обойтись...

Я молчал. Болезнь сделала меня кротким. Трудно было дышать, не то что двинуться или встать.

Но я все еще пытался сопротивляться ей. Теперь пришлось командовать кораблем лежа. Каждое утро и каждый вечер ко мне приходил Андрей Георгиевич Ефремов. Я давал ему необходимые указания, он докладывал о проделанной работе.

В Москву мы пока не сообщили ни слова об этой досадной истории: незачем было волновать людей. Да и чем могла помочь Москва? Не вызывать же оттуда самолет с профессорами! Мы рассчитывали, что бактерии брюшного тифа будут побеждены местными средствами.

На «Седове» был объявлен карантин. Никто с других кораблей к нам не ходил. Никто из седовцев не ходил на «Садко» и «Малыгин». В мою каюту доступ также был строго ограничен. Доктор организовал настоящую блокаду опасной инфекции, так некстати занесенной с материка.

Между тем, мне становилось все хуже и хуже. Очень часто я с трудом разбирал, что говорил мне Андрей Георгиевич. В сознании появлялись какие-то провалы. Температура упорно держалась на высоком уровне. Я быстро исхудал и с трудом приподнимался с подушек, чтобы проглотить чашку рисового отвара или куриного бульона, заботливо приготовленного Шемякинским из консервов.

В первых числах июня мне стало совсем плохо. Я впал в тяжелое и долгое забытие.

Когда я очнулся, за тонкой переборкой слышались встревоженные голоса. В каюте Андрея Георгиевича Ефремова о чем-то совещались. Соболевский настойчиво доказывал:

— Раньше, чем через две недели, он не встанет. Это в лучшем случае. А сейчас всякое напряжение больному смертельно вредно. Ему нужен абсолютный покой. Иначе я ни за что не ручаюсь...

— Но ведь он не сдаст корабля, — нерешительно сказал Ефремов.

— Доктор дело говорит, — неожиданно услышал я басок капитана «Садко» Хромцова. — Сдаст или не сдаст, а вам надо братья. Сегодня же сообщим в Москву...

Я хотел крикнуть, что все равно корабль не сдам и что найду силы работать, но вместо крика получился какой-то шопот. Ко мне вошел Хромцов.

— Неважны ваши дела, Константин Сергеевич, — сказал он. — Александр Петрович говорит, что сегодня ночью у вас температура дошла до 41 градуса. Еще один прыжок, и она вас задушит. Если вы не хотите слушать доброго совета, то вам прикажут из Москвы передать на время болезни командование Андрею Георгиевичу...

Хотелось возражать, спорить, но силы уже оставляли меня, и я только кивнул головой. Впоследствии я прочел в вахтенном журнале такую запись:

« 9 и ю н я. С сего числа ввиду болезни капитана Бадигина К. С. командование ледокольным пароходом «Седов» временно принял врид. капитана Ефремов А. Г.».

Когда Хромцов вышел, я снова заболел. Стало жарко и темно. Мне чудился плеск воды и звон цикад. Казалось, что я лежу на палубе тральщика, бросившего якорь у берегов Цейлона. Это было восемь лет назад. Но не все ли равно? Может быть, это было вчера или сегодня. Нагретая солнцем палуба приятно пахнет смолой. С берега доносится жесткий шорох пальмовых ветвей и поскрипывание широких листьев

банана. Чувствуется запах магнолий. Хочется пить. Сейчас приплывут на своих шлюпках босоногие темнокожие мальчишки. У них всегда найдется в запасе бутылка с ледяным лимонным соком. Почему же их нет так долго? И такая тишина и темень вокруг. Хочется пить...

Только под утро я прихожу в себя. Нет ни пальм, ни цикад, ни палубы тральщика. Я лежу на широкой кровати с какими-то шишечками по углам, оставленной мне в наследство капитаном Швецовым. Сквозь иллюминаторы ярко светит солнце. Светлые зайчики бегают по меховому ковру, повешенному на стене. Все на своем месте — винтовка, бинокль, кинжал, портрет жены. Но кто это там, на диване, у моего трехногого письменного стола? Приглаживаюсь. Склонившись на стол, дремлет Буторин, на-днях произведенный из матросов в боцманы.

— Дмитрий Прокофьич, вы что здесь?..

Буторин вздрагивает:

— Так что назначен милосердной сестрой, товарищ капитан...

Я невольно улыбаюсь. Новая должность не очень подходит к этому коренастому мужественному помору, который, кажется, самой природой создан для борьбы со штормами, охоты за зверем и прочих сугубо мужских дел.

У Буторина усталое лицо. Видно, что он мало спал. Он встает, подходит ко мне, заботливо поправляет подушку и говорит, словно обращаясь к ребенку:

— Лежи, лежи, капитан. Порядок будет. А я бывальщину скажу. Да...

Он берется за совок, подкидывает угля в камелек, затем становится у столика, закуривает и, медленно пуская дым, начинает рассказывать:

— Было это на «Седове» в 1928 году. Я тогда еще совсем ребятенком был. Считаю, что первым рейсом шел. Да... Промышляем белого медведя. Старшие бьют, а мы, молодежь, шкуру снимаем. Помню, за две недели сто восемь шкур взяли, которые дни так по семнадцать зверей забивали. Медведь тогда был непуганный, сам к кораблю шел. Да... Медвежат не били. Их имали для зве-



ринцев или еще куда там требуется. Собрали десять лончаков, — по-нашему, по-поморски, так второгодков зовут. Куда их девать? Да...

Буторин всегда говорит неторопливо, с большими паузами, подбирая слово, как и подобает настоящему помору. Я слушаю его внимательно.

— Куда их девать, лончаков? Они поболее нашей Машки будут. А злющие — не дай господь! Учили клетки делать — из ящиков. Только это мало помогает. Лончак хитрой — лежит смиренно, ждет. Пройдет матрос, он его — цап зубом за голенище. Так и ходили все ободратые. Наказание одно! Да... Но тут нашелся у нас один помор, Василий Иванович Конюковский — здоровущий, дьявол. Так он взялся при этих медведях кучером быть. Он знал, как к медведю подойти надо.

Вот, к примеру, — медведь, извиняюсь, обпачкается, получится запах. Надо кубрик почистить. Вот Василий Иванович дверку откроет, и скок медведю на спину, а его самого за уши, как за вожжи. Медведь ревет, головой мотает, а достать его не может. Вот он держит его, а другие чистят или там еду переменяют. Так весь рейс и проездил на медведях...

Боцман помолчал, искоса наблюдая за тем, какой эффект произвед его рассказ, и затем начал новую историю:

— Сказывали деды, — храбреей помора никого не было. Вот придумали норвежцы имя Шпицберген. Все так эту землю и зовут. А то забыли, что поморы звали ее Беруны — Большой Берун и Малый. Еще звали они ее — Груман... Они туда на своих кочах плавали, сколько себя помнили. Норвежцем в ту пору там и не пахло. Вот сказывал мне один старик так...

Потрескивает уголь в камельке. Бегают по стене солнечные зайчики. Тянется-тянется долгий рассказ боцмана. Одна история занятнее другой. Поистине, голова у него — копилка поморских легенд и историй. Он может целыми днями рассказывать о разных приключениях, случаях, исторических и легендарных событиях.

Никто не расскажет с такими сочными подробностями привидевшийся ночью сон, никто так подробно не опишет обычаи и обряды северных рыбаков и охотников, как Буторин. Он знает сотни примет, заговоров и загадок. А если его хорошенько попросить, он и сказку расскажет про вихревое царство или про попа брюхатого, или про хитрого матроса.

Когда же речь зайдет насчет охоты на морского зверя или рыбной тони, — тут уж можно слушать целую неделю без отдыха. И я смиренно лежу и слушаю свою чисто выбритую милосердную сестру, одетую в свитер и стеганные штаны.

Потом в двери просовывается густая клочковатая борода Андрея Георгиевича. Он тревожно взглядывает на мою постель, но тут же его лицо проясняется, и он говорит:

— Ну вот, и прекрасно. Очень даже хорошо. А мы тут начинаем качать пресную воду из снежниц...

Слышно, как по палубе, под иллюминаторами, шаркают грузные шаги. Протащили что-то тяжелое и громоздкое. Потом с палубы доносится шуршание. Я догадываюсь, что на лед унесли брандспойт, а теперь прокладывают шланги к цистернам на ботдеке. Неужели лед так быстро растаял, что теперь уже можно добывать пресную воду из снежниц?

— А вам тут опять телеграммы из дому, — Андрей Георгиевич протягивает мне обрезки этикеток от консервных банок.

Дядя Саша постарался переписать текст покрупнее и разборчивее, чтобы больному адресату было легче читать.

— Отвечать-то что будем? — спрашивает Андрей Георгиевич, улыбаясь, и берет в руки карандаш и листок бумаги. У нас с ним устроен маленький заговор: каждые три-четыре дня мы вместе составляем успокоительные телеграммы моим родным. Я диктую:

— Благодарю за твои телеграммы. Не беспокойся, здоров...

Андрей Георгиевич складывает листик, прячет карандаш и поднимается с дивана.

— Ну, я побежал — по хозяйству. Сейчас будем меховую одежду сушить. А малую питьевую цистерну зацементируем, чтобы ржавчины поменьше было...

Входит доктор. Он горд. Теперь никто не посмеет сомневаться в непогрешимости его диагнозов. Он осматривает меня, освещаемый у Буторина, как я провел последние четыре часа. Узнаю из их разговора, что Александр Петрович тоже сидел ночью у моей постели.

— Благодарите северного бога, что выдержали, — сурово говорит доктор, все еще не простивший мне истории с его медицинским справочником, который я обозвал библией. — Больше я с вами церемониться не буду. Не встанете, пока не выздоровеете. Милосердная сестра вас не пустит.

И Буторин утвердительно кивает головой.

Время тянется медленно и тоскливо. Дмитрий Прокофьевич успел рассказать мне и о том, как в поморской деревне играют свадьбы, и о двадцати повахдах тюленя, и о том, как он ходил в дозор на самую-самую что ни на есть границу за Псковом. А день все еще не окончен.

По давно заученным приметам я угадываю размеренную смену вахт, чередование судовых работ. Сейчас ушли на обед. На палубе стало тихо. Опять зашумели. Значит, уже 14 часов, и обед закончен. Донеслось шарканье пилы. Это спиливают на дрова изломанный льдами карбас. Снова застучали сапоги по палубе. Слышны шутки, раскатистый смех. Наверное, Щелин опять рассказал о каком-нибудь забавном приключении. Это — конец рабочего дня: 17 часов 30 минут.

После вечернего чая ко мне опять приходит Андрей Георгиевич. В руках у него — запрепанный томик рассказов Анатоля Франса.

— Товарищ Буторин, отдохните немного, — говорит он, — а мы с капитаном займемся чтением. У меня тут «Остров пингинов». Читали? Я тоже читал. Это неважно, что читали...

Я соглашаюсь, что это неважно, и Андрей Георгиевич начинает читать.

Читает он негромко, но с увлечением, делая правильные интонации и возвышая голос в наиболее значительных местах. Я гляжу на его усталое бородастое лицо, на синий парусиновый китель, — он давно уже лопнул подмышкой, да все некогда хозяину защитить его, — на потрескавшиеся почерневшие руки своего старшего и — увы! — единственного помощника и думаю: как, в сущности, обманчива внешность людей!

Сколько было у нас на кораблях статных, плечистых людей, на лицах у которых каждый мог прочесть: вот я, отважный и благородный человек, — завидуйте мне! Где теперь эти гордецы? Небось, добрались уже на самолетах до Москвы и распивают чай на дачах где-нибудь на Клязьме. А вот этот скромный и тихий человек, в наружности которого нет, в сущности, ничего героического, добровольно остался здесь и безропотно тащит на себе тяжелый груз трудных и утомительных корабельных дел.

— Вы не слушаете, Константин Сергеевич! — с укором говорит он, отрываясь от книги. — А ведь это чудесно...

И он перечитывает снова, придерживая одной рукой сползающую с коленей книгу и жестикулируя другой:

— «...Она заказала такое количество обеден за упокой своей души, что каждый священник пингвинской церкви превратился, так сказать, в свечу, зажженную перед небом, дабы привлечь милосердие божие на главу преславной Крюши...».

В дверь постучали, и на пороге появился Буторин. В руках у него копошилось нечто мохнатое. Он подошел поближе и осторожно, словно хрупкий фарфор, опустил на пол двух беспомощных крохотных щенков. Лапы их разъезжались в стороны, щенки тыкались носом в пол и тихо скулили.

— Это вам, капитан, — сказал Буторин, — от малыгинцев. Пускай, говорят, у вас жируют, капитана веселят. Им не жалко. Машка<sup>1</sup> опросталась — один-

<sup>1</sup> В данном случае речь идет о собаке Машке.

надцать штук принесла. А Шелин уже и фамилии придумал. Вот это будет Джерри, а это Лыдинка. Подростут — материые будут, чик в чик как ихний папа — Нордик...

Он по очереди поднял щенков за шиворот и показал мне. Потом вынул из кармана банку сгущенного молока, вылил его в тарелку, разбавил водой и поставил перед ними. Джерри и Лыдинка, крихтя и повизгивая, тыкались в молоко носом, смешно перекидываясь друг через дружку.

Мы засмеялись. Я с благодарностью глядел на своих друзей и чувствовал, что мне с каждым часом становится все легче: трудно болеть, когда вокруг тебя хлопочут такие чудесные доктора!

★

20 июня я, наконец, встал с постели. Подошел к зеркалу. На меня глянуло незнакомое худое лицо, заросшее волосами. Сел, побрился. Вышел на палубу. От свежего, холодного воздуха сразу закружилась голова. Я ухватился за поручни, присел на какой-то ящик и с огромным интересом огляделся вокруг.

За месяц льды изменились до неузнаваемости. Снег стаял, обнажая грязно-желтые ропакки старого, многолетнего льда. Там и сям синели снежницы — глубокие лужи талой воды. В некоторых местах лед протаял насквозь. К этим естественным колодцам стекались с веселым журчанием потоки воды. Они несли с собой щепки, обрывки бумаги, мусор, сброшенный с кораблей, и это напоминало весенние ручьи Большой Земли. И только полнейшее отсутствие зелени нарушало иллюзию.

Мы очень скучали по зеленой листве. Еще в мае, до начала болезни, я был обрадсван бесценной находкой: в одном из углов капитанской каюты валялся старый цветочный горшок, на дне которого сохранилась щепотка земли. Эта щепотка была единственной на всем корабле. Я бережно размял землю и смочил ее водой. Андрей Георгиевич принес из своей кладовой несколько сухих горошин. Уложив горошины в мокрую тряпку, я продержал их в тепле

до тех пор, пока они не дали робкие ростки. Тогда эти горошины перекочевали в цветочный горшок, и мы все с огромным интересом следили, как из сухих, сморщенных семян вырастает кудрявый кустик гороха с нежными усиками и слабенькой бледнозеленой листвой.

Во время моей болезни об этом кустике в суматохе забыли, не полили его во время водой, и он засох. Это было большим огорчением для меня. Ни леса Сингапура, ни сады Манилы, ни плантации Формозы не оставили в моей памяти такого следа, как этот чахлый росток гороха, выращенный и погибший за 80-й параллелью...

Толщина ледового покрова значительно уменьшилась. Верхняя кромка пера руля теперь явственно выступала из-под рыжеватого-бурого льда. Надо было браться за расчистку льдов под кормой, чтобы проверить, наконец, состояние руля и винта.

Еще накануне я распорядился подготовить необходимый инструмент и раздобыть у садковцев взрывчатые вещества. Теперь на борт «Седова» уже были доставлены 150 килограммов аммонала и 100 детонаторов. Вся команда занималась осмотром и ремонтом ледового инструмента. К 17 часам все было готово, и мы занялись делами внеочередного порядка: приближался день выборов в Верховный Совет РСФСР. Все спешно приводили в порядок свои костюмы, брились, стриглись, стирали белье.

Вечером после долгого перерыва я раскрыл тетрадь, в которой вел дневник, и записал:

«Северный Ледовитый океан, 20 июня. Итак, уже почти девять месяцев наш караван дрейфует во льдах. Сейчас находимся на 81 градусе 11 минутах северной широты и 140 градусе 38 минутах восточной долготы. Ветры часто меняются. Поэтому за последний месяц нас отнесло к северу всего на 16 миль.

За последние дни пейзаж в районе дрейфа резко изменился. Вместо бело-снежной равнины льдов кругом раскинулась бесконечная цепь озер полу-

пресной воды. Таяние снега идет весьма интенсивно. Днем температура воздуха на солнце достигает 20 градусов тепла. Сообщение между судами затруднено. Снег стал рыхлым, лежи проваливаются.

Завтра начинаем окалывать ото льда руль и винт. Какие сюрпризы готовят нам этот день? Я уверен, что мы обнаружим повреждения, и притом, возможно, довольно серьезные.

Экипажи наших судов сейчас деятельно готовятся к выборам в Верховный Совет РСФСР. Зимовщики изучают Конституцию РСФСР, ведут агитацию за кандидата Архангельского Приморского скруга — краснофлотца Тарасова. На «Малыгине» приготовлено помещение для голосования.

В день выборов избирательный участок № 277 будет празднично убран: суда расцветятся флагами, украсятся портретами руководителей партии и правительства, лозунгами, плакатами.

Наши доморощенные парикмахеры загружены работой. У небольшого озера пресной воды, образовавшегося на льду, видны люди, полощущие белье.

Во всем чувствуется приближение праздника.

День выборов решено отметить вкусным обедом. Будет показана кинокартина; это удовольствие можем себе позволять не часто: киноаппарат требует много электроэнергии, а стало быть, и горючего.

Комсомольцы готовят плакаты, лозунги и очередной номер стенной газеты «Мы победим».

Над льдами с веселым щебетанием проносятся разные птички. Они, по видимому, избрали своей базой наши суда. Но ни моржей, ни тюленей, ни медведей, которых с большим нетерпением ожидают все наши моряки, попрежнему нет...».

В 9 часов утра 21 июня все одиннадцать седовцев собрались у кормы с кирками, ломami и пешнями.

— Благословясь, начнем, — сказал Буторин.

Ломы вонзились в податливый, рыхлый лед. Вначале казалось, что дело

подвигается вперед довольно быстро. Рядом с образовавшейся майной росла гряда битого льда. Но когда мы углубились примерно на метр, возникли непредвиденные затруднения: образовавшуюся яму быстро заполнила талая вода.

Притащили брандспойт, начали откачивать. По краям майны нагородили барьер из льда и снега. Но стремительные потоки снова и снова прорывались в чашу, вырубленную во льду. Приходилось работать ломami и пешнями, стоя наверху, у края майны. Обломки льда, всплывающие со дна, вылавливали железной сеткой.

После обеда я решил пустить в ход взрывчатые вещества. Мы закладывали аптекарские пузырьки с аммоналом в углубления, высверленные во льду на расстоянии в 5—10 метров от корпуса судна, и взрывали их. Однако и на этот раз существенных результатов не добились.

На следующий день нас ожидал неприятный сюрприз: вся майна, с таким трудом расчищенная нами накануне, была забита обломками льда, выплывшими откуда-то снизу. Начали вытаскивать их. Но снизу, словно в сказке, появлялись новые и новые льдины, — настоящая ледовая скатерть-самобранка!

Я догадался, в чем дело: очевидно, накануне мы пробили насквозь толщу льда, и теперь приходилось иметь дело с так называемыми подсовами: за зиму сжатия нагромодили под кормой мощные ледяные пласты, втиснутые один под другим, и сейчас куски льда, размеренного взрывами, находили выход на поверхность воды.

Снова пустили в ход аммонал. Вокруг кормы теперь высились целые горы льда, выжуженного нами из проруби. Но снизу всплывало еще больше голубых сверкающих глыб. Иногда эти глыбы несли на себе ржавые следы железных листов и заклепок, — они отрывались от самого днища корабля.

Видимо, природа создала за зиму под «Седовым» целый ледовый погреб, уходящий на несколько этажей под воду.

Команда работала весь день без отдыха. Все промокли, устали. Но дело и на этот раз почти не продвинулось вперед.

В конце работы чей-то лом, опущенный в воду, внезапно зазвенел о металл. Звон раздался примерно в метре от пера руля, считая вправо. Что же могло быть подо льдом так далеко от руля? Андрей Георгиевич, примчавшийся ко мне с докладом о неожиданной находке, был склонен считать, что это — лопасть нашего винта, которую льды отломали во время сжатия и отнесли в сторону.

Хотя это предположение и казалось маловероятным, но других объяснений загадочной находки пока не было. Никто не мог предполагать, что льды настолько искривили перо, что его нижняя кромка оказалась так далеко в стороне от верхней, остававшейся идеально ровной.

Чтобы доискаться, наконец, истины, мы на следующее утро с новой энергией возобновили околку. К полудню удалось выяснить: под водой, на глубине около метра, на ощупь заметно искривление пера вправо. Значит, то, что Андрей Георгиевич считал оторванной лопастью винта, на поверку могло оказаться изогнутым концом пера.

После обеда, чтобы ускорить околку, мы снова взрывали лед у самой кормы дозами по 100—200 граммов аммонала.

Когда удалось несколько освободить майну от льда, выяснилась еще одна неприятная деталь: на рудерпосте чернели предательские трещины.

Положение осложнялось. Я поплелся на пароход «Садко», чтобы посоветоваться с капитаном Хромцовым, который был начальником нашего каравана. После болезни ноги еще очень плохо повиновались мне, и дорога к «Садко» показалась необыкновенно длинной и трудной. Кое-как взобрался я по трапу на борт флагманского корабля и рассказал Хромцову о наших открытиях. Мой рассказ встревожил и его: только что по радио сообщили, что ледокол «Иосиф Сталин» вышел на ходовые испытания, и естественно было ждать, что

новый флагманский корабль ледокольного флота первым же рейсом отправится на выручку нашего каравана. Что же будет тогда с «Седовым», если окажется, что вместо руля у него исковерканная груда железа?

Утром 24 июня у кормы нашего парохода собралось большое общество. Кроме нас, одиннадцати, здесь присутствовали капитан Хромцов и водолаз «Садко» — Николаев. Пришло и несколько человек с «Мальгина». Предстояло, так сказать, провести консилиум с участием специалистов со стороны.

Установили водолазную станцию. Принесли скафандр и шлем. Матросы и механики поглядывали на них с опаской. Я и сам прекрасно понимал, что спуск в майну — дело довольно рискованное: в любую минуту могли всплыть новые обломки подсовов и заклинить или обрезать шланг, питающий воздухом водолаза. Но нам нужно было во что бы то ни стало добыть сведения о состоянии руля. Поэтому я в душе был искренне благодарен Щелину и Николаеву, которые без всяких возражений взялись выполнить трудное задание.

К трем часам дня майна была очищена от пловучего льда настолько, насколько это было возможно. Здоровяк Щелин облачился в скафандр. Николаев надел ему на голову шлем, привинтил шлем к скафандру и проверил все соединения. Неуклюже и тяжело ступая по льду свинцовыми подошвами, Щелин подошел к краю майны, согнулся и, осторожно держась за кромку, стал сползать в мутную ледяную воду. Через мгновение шлем его скрылся под водой.

Потянулись долгие минуты ожидания. Наконец, через четверть часа, Щелин вынырнул, и товарищи помогли ему встать на лед. Когда отвинтили шлем, водолаз недовольно сказал:

— Тьма египетская, ничего не видеть. Сейчас пойду опять, буду руками щупать...

В 15 часов 24 минуты Щелин снова опустился под воду и пробыл там еще 16 минут. Поднявшись, он сказал:

— Это — перо. Я всю нижнюю кромку прощупал. Согнуто вправо — граду-

сов на сорок пять. А сверху ровное. Получилось вроде такого черпака...

И он показал рукой, как изогнуто перо.

Водолаз «Садко» Николаев вызвался уточнить эти данные. Он также два раза опускался под воду и обследовал всю область кормы. В результате этого обследования в вахтенный журнал «Седова» вечером 24 июня была внесена такая запись:

«Осмотром обнаружено, что перо руля ниже 230 сантиметров от балера<sup>1</sup> находится во льду и согнуто нижней частью вправо, под углом около 45°. Рудерпис<sup>2</sup> и рудерпост<sup>3</sup> на этой глубине находятся в сплошной массе монолитного льда, и осмотреть их нет возможности. Под корпусом судна на 10—15 футов подсовы сплошных полей льда, идущих наклонно от левого борта. Общая толщина нагроможденного льда по измерению превышает 10 метров».

Первые итоги обследования были довольно безрадостны. Из них следовало, что нам предстояла большая и трудная работа. Требовалось расчистить майну, преодолеть сопротивление подсовов, непрерывно заполнявших ее обломками, освободить от льда всю область руля и винта и попытаться вернуть судну хотя бы частичную управляемость.

Борьба за исправление руля заняла больше месяца. Наш коллектив затратил много сил и энергии, но существенных результатов все же не достиг. Лишь на следующее лето нам удалось вернуть «Седову» частичную управляемость.

Для того, чтобы дать достаточное представление о наших неудачных, но достаточно трудоемких попытках наладить работу руля, я приведу здесь выдержки из своего дневника, описывающие их день за днем.

«25 и ю н я. Решили расширить майну

у кормы, чтобы как следует расчистить всю область рулевого управления и винта. Это трудно, но совершенно необходимо. До тех пор, пока мы не испробуем все средства для исправления руля, оставлять работу нельзя.

Сегодня возобновили околку. Дело движется вперед, хотя довольно-таки медленно.

26 и ю н я. 81°25',9 северной широты, 139°00' восточной долготы. День выборов в Верховный Совет РСФСР. Второй раз мы голосуем в дрейфующих льдах. Как и тогда, на кораблях царит праздничное оживление. Зимовщики принарядились, щеголяют в новых костюмах. Кое-кто даже надел галстуки и белые воротнички.

Суда расцвечены флагами.

Выборы начались ровно в шесть часов утра. Все избиратели дрейфующего избирательного участка № 277, за исключением тех, кто нес вахту, к этому времени собрались на «Малыгине». Малыгинцы с большой тщательностью и заботой приготовили кабинки для голосования. На столах разложено все необходимое вплоть до пепельниц.

Моряки, которые первыми опустили свои бюллетени, сразу же побежали на «Садко» и «Седов» подменить вахтенных, чтобы дать им возможность поскорее принять участие в голосовании. Вскоре, пробираясь между проталинами, проваливаясь зачастую по колено в воду, и последние избиратели зашагали к «Малыгину». Через 35 минут подача голосов была закончена.

Сегодня, по случаю праздника, околка рулевого управления не производилась.

27 и ю н я. Возобновили работы у кормы. Взрывали лед аммонитом, закладывая заряды по 200—500 граммов в трех метрах от судна. Работа затрудняется большим количеством всплывающих обломков из подсовов. Дует свежий северо-западный ветер. Похоже, что начнется пурга. Вот тебе и лето!

28 и ю н я. 81°24',3 с. ш. 138°31' в. д. Началась пурга. Однако работы у кормы не прекращаем. Мы свесили с кормы большие брезенты, и получилось

<sup>1</sup> Балер (голова) руля — верхняя, цилиндрическая его часть; на балер насаживается румпель, через который передается от рулевого привода усилие, вращающее руль.

<sup>2</sup> Рудерпис — основная, передняя часть руля. Подвешивается к петлям на рудерпосте.

<sup>3</sup> Рудерпост — стойка, к которой подвешивается руль.

нечто вроде большой палатки, под прикрытием которой нам удавалось продолжать счистку майны. К трем часам дня очистили ее настолько, что можно было без особого риска опускаться под воду. Щелин надел скафандр и обследовал подводную часть рулевого управления.

В половине четвертого он поднялся и доложил, что пятка руля ото льда уже свободна. Она находится в исправности.

Механики разобзили штуртрос, приготовили ручной привод и попытались повернуть руль вправо, где перо чисто ото льда. Руль не поворачивается.

29 июня. Продолжаем очищать рулевое управление ото льда. Опять приходили с «Садко» Хромцов и Николаев. Николаев опустился под воду и пробыл там 25 минут, осматривая руль. Подтверждает, что нижняя часть пера изогнута вправо, но каких-либо заметных повреждений рудерписа, рудерпоста и пятки руля не видно.

1 июля. 81°17',1 с. ш., 137°57',5 в. д. Пурга продолжается. Ветер часто и резко меняет направление. Под действием ветра во льду стали появляться трещины шириной до 75 метров. На востоке и западе образовались разводья шириной до одной мили. Если так пойдет дело дальше, ледоколы смогут пробиться к нам на выручку. Поэтому стараемся форсировать подготовку корабля к навигации.

Продолжаем очищать руль и винт, проiszводя взрывы аммонитом. Попржнему снизу всплывают большие обломки подссвсв.

Сегодня под воду опять опустился Щелин. Пробыл там полчаса, но ничего нового не обнаружил.

Подвели итоги за месяц работы.

Научные работники нашего каравана в июне сделали 24 астрономических определения, провели 3 гидрологических станции, магнитные наблюдения в 5 пунктах и гравитационные — также в 5 пунктах. Несколько раз измеряли глубину и взяли две пробы грунта.

Конечно, результаты эти неплохи. Но, по-моему, можно было бы сделать больше, если бы к участию в научных наблюдениях были привлечены все участники дрейфа, как это было решено на

совещании капитанов после отлета самолетов. Пока же исследования ведутся только научными работниками.

В июне мы продрейфовали по ломаной линии около ста миль.

4 июля. 81°19',4 с. ш., 137°25' в. д. Изо дня в день одно и то же: очищаем руль и винт ото льда. Под кормой уже образовалась майна довольно внушительных размеров.

7 июля. 81°05',3 с. ш. 137° 07' в. д. Сегодня снова взрывали лед за кормой. После трех взрывов убрали обломки, и Щелин опустился под воду. 55 минут обследовал он руль и винт, не выходя на поверхность.

Наконец поднялся и сказал, что ничего нового сообщить не может. Руль чист ото льда. Попробовали проворачивать его вручную. Он поворачивается около среднего положения всего на 10 градусов.

13 июля. 81°22',5 с. ш. 137°19',5 в. д. Вода в майне посветлела. Поэтому стало ясно видно все перо руля. Отчетливо виднеется изогнутая вправо нижняя кромка. Повреждение точно такое, как было описано водолазами, спускавшимися 24, 29 июня и 7 июля. Заметно также, что рудерпис и рудерпост несколько изогнуты вправо.

14 июля. 81°29',0 с. ш. 137°32' в. д. Продолжаем окалывать лед около винта. Одновременно взрываем его аммонитом для ускорения работы. Лед здесь достигает толщины двух метров, а с левого борта смерзшиеся подсовы уходят на значительно большую глубину.

Сегодня получил несколько телеграмм из дому. Оказывается, родные, хотя и с запозданием, узнали в Главсевморпути о моей болезни. Шлют по радио советы:

«Принимай квасцы, чайная ложка на два стакана горячей воды с сахаром. Пить четверть стакана, по два раза в день во время жара».

Спасибо, дорогие, но в квасцах я уже не нуждаюсь. Сегодня в адрес моих родных полетели сразу три успокоительных радиogramмы:

«Не беспокойтесь, болезнь кончилась. Чувствую себя хорошо. Костя».

«Большой Бадингг Константин поправился и перенес заболевание легко. Врач Соболевский».

«Бадингг выздоровел. Болел гриппом. Чувствует себя хорошо. Стармех Розов».

Конечно, в этих радиограммах не все изложено с идеальной точностью. Но ведь это неважно.

16 июля. Продолжаем очищать руль и винты ото льда. В конце дня водолаз Щелин снова пробыл под водой пятьдесят минут. Подтвердил, что рудерпис изогнут вправо. Пятка руля стоит на месте. Третий сверху штырь, соединяющий перо с рудерпостом, отсутствует, а отверстие петли рудерписа отошло примерно на два дюйма от отверстия петли рудерпоста вправо.

Щелин осмотрел и винт. Пока видны только три лопасти. Четвертая еще окочана льдом.

18 июля. 81°48' с. ш. 136°20' в. д. Очень много хлопот доставляет уборка мусора у бортов корабля. Видимо, это удел всех полярных экспедиций, участники которых зимой забывают, что летнее солнце растопит своими лучами снег.

Еще Свердруп в своем отчете о плавании «Фрама» писал: «В конце мая солнце и весенняя погода начали так сильно разъедать снеговой покров вокруг судна, что впереди его образовался на льду от таяния снега целый маленький пруд от воды. Так как снег, в особенности в этом месте, а также и вдоль боков судна, был переполнен сажой, нечистотами и собачьим пометом, то легко можно было опасаться возникновения опасного или во всяком случае неприятного зловония... Поэтому я заставил весь экипаж свозить снег с правой стороны судна».

На «Седове» зимовало в шесть раз больше людей, чем на «Фраме». Соответственно в шесть раз возросли и трудности поддержания санитарного порядка вокруг судна, тем более, что теперь на нем не 66 человек, а всего 11. И мы буквально утопаем в гниющих тряпках, картофельных очистках, ржа-

вых консервных банках и прочей дряни. Стоит снять один слой отбросов, как из-под талого снега показывается другой.

Вчера матросы предложили остроумную выдумку: пробить во льду прорубь и сплавить туда весь мусор. Заложили в скважину в 20 метрах от судна три килограмма аммонала, зажгли бикфордов шнур, и вровень с марсом взлетел целый столб воды и ледяных осколков. Теперь мы могли в образовавшейся проруби утопить весь мусор, находившийся возле судна.

Решено применить новый метод и для очистки нашей майны ото льда. Во льду вырублены два канала, ведущие к большим снежницам, которые окружают корабль сплошной цепью. Им присвоены громкие названия — канал Щелина и канал Соболевского.

Работа значительно упростилась. Вместо того, чтобы выуживать из майны льдины и сваливать их у кормы, где уже и так выросла гигантская гряда, наименованная сопкой Бугорина, — обломки подсовов теперь выпроваживают баграми по каналам в снежницы. Там они быстро тают.

20 июля. 81°51,6' с. ш. 136°05' в. д. Сегодня произвели генеральное обследование руля и винта. По моему настоянию для этой цели была создана комиссия, в которую, кроме меня и Ефремова, вошли капитан «Садко» — Хромцов, капитан «Мальгина» — Карельский и старшие механики всех трех кораблей — Матвеев, Розов и Шафандр.

Для детального осмотра руля два раза опускался водолаз Николаев и один раз Щелин. Но окончательный «диагноз» должен был поставить технически грамотный человек. Вначале вызвался опуститься под воду наш юный стармех Розов. Но, когда на него одели скафандр, он несколько растерялся, — не так ведь просто начинать водолазную карьеру среди пловучих льдин. Тогда ко мне подошел Андрей Георгиевич Ефремов.

— Я ползу, — просто сказал он, — я инженер, и все там разберу...



— Но ведь у вас больное сердце, и вы никогда не надевали водолазного костюма, — возразил я.

— Вот и хорошо. Раньше не надевал, а теперь надену.

Он быстро облачился в скафандр и ловким движением скользнул в воду. Соболевский с тревожным видом следил за стрелкой секундомера: как врач он не одобрял этого поступка Андрея Георгиевича. Но все обошлось вполне благополучно.

Вечером мы составили акт осмотра руля и винта. В акте указано, что перо руля, как это было обнаружено 24 июля, согнуто вправо в нижней части под углом  $45^\circ$ . Рудерпост также согнут вправо. В его замке отсутствуют пять заклепок, а у двух отсутствуют головки. Нижнее основание ахтерштевня сдвинуто от киля вправо, около 10 сантиметров, и согнуто вправо. Лопастни винта находятся на месте.

Общая картина, таким образом, весьма неутешительная. Вряд ли нам удастся до возвращения в порт сделать что-либо существенное. Но попробовать надо!

21 июля.  $81^\circ 52',9$  с. ш.  $135^\circ 46'$  в. д. Посоветовавшись с механиками, я решил осуществить такой план: снять четвертый штыр, соединяющий перо руля с рудерпостом. Так как третий штыр отсутствует, то перо будет держаться тогда только на верхних двух петлях. Поэтому оно отойдет несколько влево, и этим, в известной мере, компенсируется изгиб пера вправо.

Работать придется под водой. Поэтому сегодня привели в порядок водолазную станцию, перебрали и очистили ее.

22 июля.  $81^\circ 52',5$  с. ш.  $136^\circ 00'$  в. д. Начали работу. Удалить штыр, оказывается, не так просто. Сегодня водолаз Николаев больше двух часов провозился под водой, но ему пока не удалось даже выбить чеку, стопорящую гайку. Чеки расклепываются.

До позднего вечера водолазы паяли шлем, — он в нескольких местах пропускает воздух.

23 июля.  $81^\circ 50',8$  с. ш.  $136^\circ 11'$  в. д. Сегодня утром водолазы, наконец,

доконали упрямую чеку. Николаев держал под водой длинное водолазное зубило, а Щелин бил по нему сверху молотом. До обеда отвернули гайку на две грани. К вечеру удалось ее снять и поднять на поверхность.

25 июля.  $81^\circ 51',5$  с. ш.  $135^\circ 40'$  в. д. Тщетно пытались вытащить штыр. С утра били сверху молотом по зубилу, которое под водой держал Щелин. Штыр не поддавался ни на один сантиметр, так как он согнут и сильно зажат перекошенными петлями рулевого управления.

Навернули снова гайку на штыр на две нити резьбы и испробовали новый способ: механики ворочали ручным приводом руль вправо и влево доотказа, а водолазы одновременно выбивали штыр. И на этот раз он не сдвинулся ни на один сантиметр.

После обеда начали поворачивать руль трехтонными механическими таями за румпельный сектор. Влево руль не поворачивается более, чем на  $1-2$  градуса. Штыр не поддается никакому воздействию. Проклятия, адресованные этому упрямому куску металла нашей командой, не поддаются никакому литературному описанию.

26 июля.  $81^\circ 51',6$  с. ш.  $135^\circ 29'$  в. д. Испробовали последнее средство — спустили под воду мощный пятитонный домкрат и попытались выдавить им штыр из петель. В течение нескольких часов водолазы работали под водой. Невзирая на то, что мощность домкрата была использована полностью, штыр не поддавался.

Больше в нашем распоряжении нет никаких возможностей. После полутора месяцев упорной работы приходится оставить руль в том самом состоянии, в которое его привели ледовые сжатия. Горько и обидно, но ничего не поделаешь. В данном случае стихия оказалась сильнее нас. То, что сжатие шутя наделало в течение нескольких минут, нам не удалось исправить за целое лето...

Вечером пришлось записать в вахтенном журнале:

«Ввиду того, что все средства для удальения штыра использованы, но произвести эту работу в данных условиях не удается, попытки устранить штыр прекратили».

★

Постигшая нас неудача не лишила, однако, коллектив зимовщиков бодрости и уверенности. В машинном отделении полным ходом продолжалась подготовка к навигации.

С каждым днем ледовая обстановка становилась все более благоприятной. Во всех направлениях виднелись разводья. Черные, как уголь, полосы открытой воды чередовались с серыми и желтыми пространствами рыхлого, нездраватого льда. Вокруг «Садко» лед настолько протаял, что подломился, и наш флагманский корабль неожиданно превратился в свободно плавающее судно. К концу июля толщина льда уменьшилась в среднем на 70 сантиметров по сравнению с тем, что было в начале лета.

А еще совсем недавно нас окружали грозные, непреодолимые ледяные хребты, и, когда солнце взошло впервые в феврале, оно озарило фантастический ландшафт голубовато-зеленых скал. Мы часто вспоминали, как на огромном грозном торосе перед вывозом на материк собрались зимовщики с трех кораблей. Их было свыше 200 человек, а издали казалось, что это мухи сидят на обломке сахарной головы.

И вот, за какие-нибудь два месяца этот торос исчез. От него осталась жалкая куча рыхлого льда. Летом сообщение между судами было чрезвычайно затруднено. Ходить в одиночку по льду капитаны запретили. Отправляясь в поход, приходилось брать с собою багры, так как по пути часто надо было перепрыгивать трещины, достигавшие ширины в два метра.

Образовавшиеся в конце июля трещины и разводья намного оживили нашу бедную фауну: появились в большом количестве нерпы, утки, чайки и даже нарвал — морской зверь из семейства китовых, сделавшийся частым гостем близлежащих полыней.

После работы седовцы, садковцы и малыгинцы отправлялись с ружьями

вдоль разводьев попытать счастья. Охотничий сезон открыл капитан «Садко» — Хромцов, застреливший двух уток. Потом пришел черед более крупной добычи: малыгинцы застрелили нерпу, весившую около пяти пудов.

Это было большое событие, вызвавшее разговоры на всех кораблях. Консервы нам давно уже надоели, и потому даже черное мясо нерпы могло сойти за высший деликатес.

Малыгинцы оказались людьми нежадными и гостеприимно пригласили всех желающих отведать новое лакомство. Желаящие не замедлили пожаловать в кают-компанию «Малыгина». Бифштексы из нерпы, приправленные клюквой, показались нам превосходным блюдом: если есть их, зажмурившись, и не обращать внимания на запах сырой рыбы, то можно представить себе, что ты имеешь дело с медвежьим мясом.

После этого пира каждому захотелось убить нерпу. Теперь в свободные от работы часы вдоль разводьев крались десятки охотников, выслеживавших добычу. Наибольшей виртуозности в этом трудном деле достиг старпом «Малыгина». Он ползал по льду, извиваясь, как нерпа, рассчитывая, что морские животные примут его за своего собрата.

Очень хлопотливым делом была и добыча убитых нерп из воды. По большей части убитые звери сразу шли ко дну, и охотникам оставалось оплакивать ушедшую из-под самого носа добычу. Поэтому, собираясь на охоту, стали брать байдарки и резиновые надувные шлюпки.

Вскоре катанье на этих шлюпках стало самостоятельным видом развлечения. Мы уносили их за километр от корабля, где открылось огромное разводье, расходившееся временами до 700 метров, и отправлялись в дальнее плавание вдоль его берегов.

Особенно увлекался греблей наш стармех — комсомолец Розов. Но его не прельщала доставка байдарок на далекие разводья, и он довольствовался ближней снеговой лужей более скромных размеров.

В почете был стрелковый спорт. В июле на «Седове» состоялись призовые

стрельбы. Соревнования в стрельбе по международным мишеням выиграли Буторин и Полянский. В завершение программы они разбили двумя выстрелами на расстоянии 130 метров две бутылки. Чемпионам были торжественно вручены призы — каждому по пачке папирос «Беломорканал». Приз этот в наших условиях очень высоко ценился: нехватало хороших папирос.

Среди книг, прочитанных моряками, почетное место занимали труды об Арктике и Антарктике. С особенным вниманием все мы читали дневники Нансена, Свердруп, Де Лонга о научных экспедициях судов «Фрам», «Мод», «Жапетта», дрейфовавших во льдах Арктики.

С большим оживлением попрежнему проходили политзанятия. В июле была проведена теоретическая конференция комсомольцев трех судов по теме «Социализм и коммунизм». В работах этой конференции участвовали почти все члены экипажей.

Ежедневно во время чая зачитывались вслух «Последние известия», которые аккуратно принимал Полянский.

Наш коллектив обычно очень чутко откликался на все политические события, о которых нам сообщало радио. Ведь наши корабли были частью советской территории, а мы — советскими патриотами. Поэтому каждая весть о каком-либо событии государственного значения сразу же находила живой отклик у каждого, и мы подолгу обсуждали ее так же, как делали бы это в родном порту.

Помнится, в один из дней Полянский сообщил, что на Большой Земле выпущен новый заем. Сразу же была проведена подписка на кораблях, причем севодцы дали взаимны государству 118 процентов месячной зарплаты, заняв первое место по подписке в нашем караване.

Несколько позже Полянский принял тревожные радиogramмы с дальневосточной границы. Они сообщали о грандиозной провокации японской военщины в Посьетском районе, у какого-то неизвестного озера Хасан. Посьет я знал: часто приходилось там бывать, когда

служил на Тихом океане. О Хасане же и я не слыхал. Но вскоре мы, вместе со всеми гражданами СССР, хорошо узнали это слово, и в Ледовитом океане с тех пор оно произносилось с такой же гордостью, как в Москве или Владивостоке. Вместе со всеми мы радовались успехам нашей чудесной Красной армии, преподавшей зарвавшейся японской военщине предметный урок географии.

В долгие и светлые летние вечера мы коллективно вспоминали своих близких, мечтали о встрече с ними, делились друг с другом своими радостями, сомнениями, и постепенно чувства единения, дружбы все теснее спланивали наш коллектив.

Большое оживление в наш быт вносило празднование дней рождения зимовщиков. В соответствии с неписанной традицией дрейфующих кораблей, введенной еще Нансеном, эти дни праздновались у нас с большой торжественностью. Каждый именинник имел право пригласить со всех судов гостей по своему желанию. Ему предоставлялось также право потчевать этих гостей хорошим угощением. Капитан корабля преподносил «новорожденному» подарки. С подарками являлись и гости, приглашенные с других судов.

В июле на дрейфующих кораблях было пять «новорожденных». А чтобы кто-нибудь не схитрил и не отпраздновал свой день рождения досрочно или два раза за один год, эти торжественные даты точно проверялись по оставшимся от выборов избирательным спискам.

Подвижек льда давно уже не было. Погода стояла тихая, туманная, — в июле было всего четыре ясных дня. Порой окружающие нас пейзажи напоминали фантастические картины погруженной в тяжкую дремоту обледеневшей планеты, на которой медленно угасает жизнь: солнце уже бессильно разогнать мглу, воздух недвижим, царит тишина, и последние живые существа засыпают ленивым сном.

Но потом налетал внезапный порыв ветра, туман рвался на клочья и исчезал; из мглы вырисовывались четкие

контуры мощных кораблей; разносился смех вышедших на работу моряков, и сразу окружающий мир становился живым, теплым и реальным.

Подготовка к навигации уже заканчивалась. 29 июля мы завершили чистку лопастей руля ото льда и ручную провернули машину на передний ход на один оборот. Механики зорко и придирчиво следили при этом за работой каждого клапана и подшипника. Но придраться было не к чему: машина оказалась в полном порядке.

Я взялся за проверку гирокомпаса и других электронавигационных приборов. К концу августа гирокомпас был приведен в порядок, и, когда судовая динамомашинка дала ток, его ротор развил нормальное количество оборотов: прибор заработал, как часы.

После того, как механики закончили восстановление машины и всех механизмов после консервации, мы приступили к заключительной части работ: нам оставалось навести внешний лоск на корабль.

Надо сказать, что после долгой и трудной зимовки он выглядел весьма непрезентабельно. Надстройки закоптились, корпус облупился и поржавел. Между тем, с каждым днем у нас росла уверенность, что ледоколы подойдут к нам на выручку: ледовая обстановка улучшалась.

Надо было готовиться к встрече. И вот примерно в середине августа у нас начался большой аврал: все, от капитана до кока, взялись за чистку, мытье и окраску корабля.

К этому времени все механизмы уже находились в боевой готовности. Даже грузовые стрелы были осмотрены и проверены, а бэлки и шкентеля смазаны.

Великая чистка корабля началась с кормового кубрика, который мы мыли и скребли четыре дня подряд, пока он не превратился в нормальное корабельное помещение.

Затем мы взялись за мытье палубы. Установили брандспойт, опустили рукав в снежницу и скатывали палубу водой до тех пор, пока, наконец, можно было разобрать, что это действительно па-

луба, а не грязный лабаз. Потом окатили из брандспойта и борта.

20 августа все одиннадцать седовцев вооружились кистями и ведрами с разведенным суриком. Мы приспособили к бортам висячие деревянные беседки, лесенки и, словно заправские маляры, за день загрузовали суриком оба борта вплоть до кормового подзора, предварительно очистив их от ржавчины. Помнится, я весь перепачкался и изрядно устал. Но зато на душе было легко — теперь, по крайней мере, железные листы обшивки защищены от коррозии.

На следующий день мы сняли зимнее отопительное ограждение надстроек, вымыли их, очистили от ржавчины и покрыли суриком кормовой подзор. Палубу снова окатили водой из брандспойта и протерли песком. В 24 часа механики развели огонь в топке малокотла. Впервые за десять месяцев «Седов» поднимал пары: мы хотели привести в действие рулевую машину, чтобы окончательно выяснить, насколько повинуется ей искаленный льдами руль.

Назавтра мы покрыли суриком поручни. В завершение всего растопили баню и выкупались все по очереди.

Теперь наш корабль имел приличный вид. Все механизмы были в полной готовности, и даже машинный телеграф звякал так, словно мы уходили в рейс.

И только положение руля не давало нам покоя и снижало праздничное настроение у всех: несмотря на то, что мы заставляли рулевую машину работать с предельной нагрузкой, удавалось повсрачивать перо вправо всего на 8 градусов, а влево — на 10. Полтора часа билась механика и матросы у машины, непрерывно переключая руль, но угол повсрота от этого несколько не возрос.

Теперь оставалось надеяться только на буксир, — если бы нас повел за собой «Садко» или «Малыгин», то вслед за ледоколом мы, пожалуй, могли бы кое-как добраться до чистой воды.

В том, что к нам пробьется ледокол, теперь уже никто не сомневался: «Ермак» полным ходом шел к дрейфующе-

му каравану, и радисты уже явственно различали его сигналы.

Мы ждали встречи с ним с часу на час...

### «СЕДОВ» ОСТАЛСЯ ОДИН

«Сегодня в два часа ночи линейный ледокол советского арктического флота «Ермак», форсируя тяжелые многолетние льды, подошел к дрейфующим судам «Садко», «Малыгин» и «Седов» и установил тем самым новый мировой рекорд свободного высокоширотного плавания. Его координаты —  $83^{\circ}4',8$  северной широты,  $137^{\circ}2'$  восточной долготы».

Такова была сенсационная весть, прогремевшая 28 августа 1938 года на весь мир. Никогда в истории мореплавания ни один корабль не дерзал пробиваться в такие высокие широты. И только могучий «Ермак», напрягая всю свою мощь, преодолел препятствия на пути к поставленной цели и еще раз показал огромные возможности и резервы советского ледокольного флота.

Этот памятный поход имеет свою историю, с которой мне хочется хотя бы вкратце познакомить читателей.

Выше я уже рассказывал, как во льдах Арктики осенью 1937 года был заморожен без угля и без снаряжения почти весь ледокольный флот. Эта вынужденная зимовка приняла грандиозные размеры.

Ледокольные пароходы «Садко», «Малыгин» и «Седов» дрейфовали, приближаясь к району полюса. Караван ледокола «Ленин», поставленный «Красным» на зимовку у Хатангского залива был также вынесен льдами на середину моря Лаптевых и описывал там сложные петли, ежечасно подвергаясь угрозе сжатий. Караван ледореза «Литке» стоял во льдах в проливе Вилькицкого. Целая группа лесовозов вмерзла в лед у Диксона. Пароходы «Русанов», «Рошаль» и «Пролетарий» стояли во льдах близ бухты Тихой. Израненный льдами мощный «Красин» зимовал у Нордвика.

Один лишь «Ермак» мог быть включен в план навигации 1938 года, если

не считать слабосильных ледокольных пароходов «Таймыр» и «Мурман». Казалось бы, не так уж много! Но советские моряки сумели так использовать возможности этого прекрасного корабля, что и навигация 1938 года не только не потерпела краха, как этого можно было ожидать, но, наоборот, была проведена с успехом.

Рабочие Ленинграда в легендарно короткой срок исправили все повреждения, нанесенные ледоколу Арктикой, и в самом начале 1938 года, когда в Финском заливе еще стоял метровый лед, «Ермак» пробил эту ледовую блокаду и ушел в Гренландское море навстречу папанинговской льдине. Он встретил во льдах «Таймыр» и «Мурман» и доставил героев в город Ленина.

Это был первый этап триумфального пути «Ермака». Затем ранней весной, задолго до начала арктической навигации, мы совершенно неожиданно получили такую радиограмму от капитанов «Русанова», «Пролетария» и «Рошалья».

«Вчера вышли за «Ермаком». Идем развоями. Зимовка закончилась. Желаем вам и вашему каравану скорого благополучного освобождения».

Оказывается, «Ермак» дерзким сверхранним рейдом пробил тяжелые льды, подошел к Земле Франца-Иосифа и увел оттуда зимовавшие корабли.

Далее из эфира посыпались вести, одна радостнее другой. В начале июля «Ермак» подошел к Диксону, снабдил углем зимовавшие там шесть лесовозов и помог им выйти на чистую воду. Оттуда он пробился к зимовавшему в проливе Вилькицкого, близ острова Большевик, каравану ледокола «Литке» и 6 августа освободил его из плена. По каналу, проложенному «Ермаком», корабли вышли к острову Русскому в Карское море. «Литке», получив топливо, немедленно включился в навигацию.

Тем временем моряки «Красина» совершили славный подвиг, который обесмертил имя комсомольского ледокола. В суровую полярную ночь они под руководством своего мужественного капитана Белоусова организовали добычу

угля на берегу. Превратившись в углекопов, моряки за зиму снабдили свой корабль топливом, и «Красин», не дожидаясь прихода «Ермака», поднял пары и начал выводить из дрейфующих льдов караван «Ленина».

«Ермак», проникнувший в море Лаптевых через пролив Вилькицкого с новым караваном торговых судов, также включился в эту работу, и многострадальный караван ледокола «Ленин», сильно истрепанный льдами, был довольно быстро доставлен по назначению.

Мы с огромным вниманием следили за всеми этими операциями, развертывавшимися в небывало быстром темпе. Один узел развязывался за другим. «Ермак», словно могучий великан, яростно крушил и мял льды. И куда бы он ни шел, всюду ему сопутствовала победа. За каких-нибудь два месяца он прошел почти всю Арктику с запада на восток, освободив при этом десятки кораблей из арктического плена!..

Когда в районе нашего дрейфующего каравана появились разводья, у нас окрепла уверенность в том, что и наш караван может быть выведен из льдов. В последних числах июля я записал в своем дневнике:

«Никогда не наблюдал такого стремительного таяния и разрушения льдов, как в этом году. Всюду промоины, трещины, разводья. Все небо в темных водяных пятнах — значит, вокруг нас повсюду такая же обстановка, и большие пространства заполнены открытой водой.

Радиосводки о ледовой обстановке показывают, что путь от острова Котельный на север благоприятен. Если бы в ближайшие дни мощный ледокол, например, наш «Красин», двинулся к нам, он бы легко преодолел препятствия.

Боюсь, что промедление лишит нас шансов на успех. Видимо, после такого теплого лета рано наступят заморозки, и тогда молодой лед скует все трещины и разводья. Ледокол должен подойти к нам в первых числах августа, — тогда все будет в порядке. Но подойдет ли он?..».

Зная, насколько загружены работой моряки «Ермака», мы не хотели тревожить их. Конечно, лучше всего было бы, если бы к нам пошел новый ледокол «И. Сталин», мощность которого должна была равняться мощности «Красина». В первых числах июля нам сообщили из Москвы, что «И. Сталин» уже вышел в поход вместе с угольщиком «Дежневый». Но потом выяснилось, что необходимы некоторые доделки, и поход был отложен.

«Красин» стоял в Тикси. Капитан Белоусов сообщил, что его корабль в боевой готовности. Если бы только его двинули к нам, на север! А льды, как нарочно, дразнили нас: с каждым днем таяние усиливалось. В начале августа нам пришлось прекратить сообщение между «Седовым» и «Садко», так как корабли разделило большое разводье. Теперь мы переговаривались сигналами. «Садко» передвинулся в образовавшемся разводье к западу.

Было бы чрезвычайно обидно, если бы в результате отяжки ледокольных операций это благоприятное время упустили: короткое арктическое лето близилось к концу, и со дня на день можно было ожидать понижения температуры и образования молодого льда.

Я отправил телеграмму руководству Главсевморпути:

«Считаю долгом сообщить — дальнейшая отяжка работы ледокола в подходе к нам, а также задержка ледовой разведки ставит под сомнение возможность вывода из дрейфа «Седова». Сейчас работа мощного ледокола в нашем районе возможна. Прошу принять во внимание повреждение руля «Седова», значительно усложняющее операцию вывода из льдов...».

Заместитель начальника Главсевморпути Герой Советского Союза Шевелев радировал Хромцову и мне:

«Закончив операции по выводу «Литке» и «Ленина», перебросим авиаразведку в ваш район, пойдем в вашем направлении. Используем все возможности, чтобы вывести вас. Однако вам, опытным ледовым капитанам, должно быть ясно, что гарантировать возможность достижения «Ермаком» вашего места нельзя. Во избежание тяжелого разочарования, если «Ермак» пройти не сможет, информируйте в этом духе ваш экипаж...».

В телеграмме дважды упоминалось слово «Ермак», и ни разу не было упомянуто слово «Красин», хотя все свои расчеты я строил на нем. Конечно, мы не могли требовать, чтобы «Ермак» оставил первоочередные работы по выводу слабых коммерческих судов из дрейфа и ринулся на помощь к нам, в рискованный высокоширотный рейс. Это было бы похоже на авантюру.

Поэтому мы замолчали и больше не напоминали о себе, хотя, признаться, на душе у капитанов не раз скребли кошки. Было тяжело свыкнуться с мыслью о весьма вероятной второй зимовке.

И вдруг, совершенно неожиданно, 20 августа, когда мы находились на  $82^{\circ}36'.2$  северной широты и  $136^{\circ}47'$  восточной долготы, по радио прибыла молния, несказанно обрадовавшая нас:

«Разведкой летчика Купчина обнаружена чистая вода до широты 78 градусов 30 минут. Идем на север. Ш е в е л е в».

Семь дней пробивался к нам «Ермак». Чтобы не тешить нас напрасными надеждами, командование «Ермака» сообщало, что оно производит лишь глубокую ледовую разведку. И только тогда, когда координаты славного ледокола почти совпали с нашими, мы поняли, что подразумевается под этой разведкой...

В ночь на 28 августа механики подняли пары в котлах. Зажужжала судовая динамомашинка. Палубная команда кончила плести из пеньки гигантский кранец длиной три метра, диаметром 60 сантиметров. Этот кранец мы хотели одеть на форштвень — на случай, если придется итти на коротком буксире за «Садко».

Далеко за полночь разошлись по койкам немного прикорнуть. Не успел я заснуть, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет меня за плечо. Я открыл глаза. У кровати стоял Полянский. В его голубых глазах светилась несказанная радость.

— Капитан, — сказал он, — на юго-западе виден ледокол «Ермак».

Сон как рукой сняло. Я вскочил и торопливо скомандовал:

— Будить команду!

— Есть будить команду, — откликнулся Полянский и исчез в дверях.

За переборкой уже одевался Андрей Георгиевич. Мы выбежали с биноклями на мостик. Зоркие глаза Полянского не ошиблись. Далеко-далеко, у самой черты горизонта, вился дымок и, словно игла, виднелась мачта ледокола.

Через несколько минут все одиннадцать седовцев вышли на палубу. Было заметно оживление и на других кораблях. Повсюду люди карабкались на марсы и на надстройки, чтобы лучше разглядеть могучего гостя. Чувствовалось, что даже мощные машины «Ермака» с огромным трудом преодолевают сопротивление льдов. В бинокль можно было разглядеть, что корабль часто останавливался, потом медленно отползал назад, потом снова бил с разбегу ледяные поля.

Никто не хотел ложиться спать. На палубе и в машинном отделении люди завершали последние приготовления к походу. «Ермак», наша надежда и наша гордость, был рядом с нами, здесь, за 83-й параллелью.

Передо мною явственно встает картина встречи с «Ермаком».

Огромный, черный, псхожий на гигантский утюг, он идет к нам напрямик под хмурым августовским небом, ломая толстые ледяные поля, лавируя среди обтаявших торосов, раздвигая трещины. Уже явственно можно различить палубные надстройки, грузовые стрелы, такелаж. Палуба черна от людей, выпавших встречать нас. Давно-давно мы не видели так много людей сразу! И вот уже на мачтах кораблей трепещут приветственные флаги. Над «Ермаком» взвивается облачко пара—низкий, протяжный гудок вспугивает тишину. Еще один гудок. Еще один. Негромкое далекое «ура» прокатывается и гаснет над льдами. и тогда с борта «Ермака» долетают поющие звуки меди. Величественная и мощная мелодия «Интернационала» разносится над Арктикой.

7 часов утра. «Ермак», неукложе вращаясь среди льдов, словно медведь, утаптывающий снег, медленно подходит к «Садко», который стоит ближе всех к нему. Мы невольно завидуем садков-

цам, — они первыми встречают дорогих гостей. Оттуда доносятся приветственные крики. Снова вспыхивает и гаснет «ура». Но «Ермак» не останавливается. Он бережет время и топливо. Ломая торосистый лед, могучий корабль обходит вокруг «Садко». Потом он разворачивается и снова целиной, через ледяные поля, через протоптанные нами за год дорожки идет прямо к «Седову».

Я много раз наблюдал работу ледоколов, сам немало поработал на великане «Красине» и прекрасно знаю возможности этих стальных чудовищ. Но теперь, когда я вижу, как легко и просто «Ермак» справляется со льдами, перед которыми мы были бессильны. — эти возможности выступают особенно рельефно. И я, вместе с другими седовцами, с ликованием встречаю чудо освобождения наших кораблей из плена.

В восемь часов «Ермак» подходит вплотную к нам. Мы устраиваем ему не менее горячую встречу, чем садковцы. Но ледокол и на этот раз не останавливается. Он делает круг, окалывает наш левый борт, и многометровые льдины отваливаются, переворачиваются и дробятся. Исчезают под водой кучи мусора, консервных банок. Рушится гигантская ледяная сопка Буторина, исчезают каналы Щелина и Соболевского. В течение нескольких минут вся привычная, устоявшаяся география окрестностей «Седова» коренным образом меняется.

С мостика «Ермака» кто-то кричит мне в рупор:

— Приготовиться к буксировке!

— К буксировке готовы, — отвечаю я.

А «Ермак» уже уходит к «Малыгину». Разворочав весь лед вокруг него, он останавливается у самого борта ледокольного парохода, как усталый буйвол, решившийся немного отдохнуть. В бинокль видно, что на палубах обоих кораблей забегали люди. Начинается перегрузка угля с «Ермака» на «Малыгин».

Нам не удается узнать, какие новости привез «Ермак». Поэтому я посылаю Буторина в «разведку» на ледокол.

Повторять приказание не нужно, — Дмитрию Прокофьевичу и самому не терпится побывать на «Ермаке». Спустившись с корабля с багром, он быстро удаляется в сторону «Малыгина» по битому льду, ловко перепрыгивая с одного обломка на другой.

Через час он приходит с докладом:

— Есть посылки для нас. Несколько ящиков. Книжки и патефонные пластинки. И вот это — в подарок нам...

Он передал мне объемистую пачку газет. Газеты эти были двухмесячной давности, но для нас они представляли действительно драгоценный подарок. Ведь целое лето мы не слышали радиовещательных станций Москвы и пользовались только теми скудными новостями, которые Полянский принимал по радиотелеграфу с Диксона и мыса Челюскин.

Но сейчас читать газеты было некогда. Я бережно спрятал их и занялся подготовкой к походу. Поднялся ветер. Он угрожал изменить ледовую обстановку и закрыть обратный путь кораблям. А ведь на этом пути лежало много миль сплошных льдов. Поэтому малейшее промедление могло оказаться губительным.

В 20 часов все приготовления были закончены. «Ермак» отвалил от «Малыгина» и направился к нам. Подойдя вплотную к правому борту «Седова», он отколол часть ледовой чаши, в которой покоился корабль, и подошел своей кормой вплотную к нашему форштевню.

— Принимай концы! — прозвучала команда.

Я ответил в рупор:

— У меня с левого борта большая льдина, она будет мешать. Сначала надо кончить околку!

Но на «Ермаке», по всей вероятности, очень спешили, и немедленно началось крепление буксира. Я очень сожалел, что перед началом похода не было проведено хотя бы кратковременного совещания капитанов. Опыт работы на «Красине» подсказывал, что такое решение вопроса о буксировке не даст необходимых результатов: пробиваясь в тяжелых льдах, ледокол вынужден бу-



дет неизбежно давать обратный ход; тогда лишенный управления «Седов» начнет разворачиваться, и никакие тросы не выдержат. Буксировка дала бы неизмеримо лучшие результаты, если бы ее взял на себя «Садко» или «Малыгин», а «Ермак» пробивал впереди торный путь.

На носу «Седова» закипел аврал. Все свободные от машинной вахты, включая радиста и доктора, принимали концы, заводили буксир в якорные клюзы<sup>1</sup>, подкладывали под стальной трос деревянные брусья.

Буксир был закреплен в течение пятнадцати минут. «Ермак» попытался стронуть с места наш корабль. Толстый стальной трос натянулся, как струна. Брусья трещали и лопались. Надо было усиливать крепление.

С «Ермака» передали два добавочных буксира, и в 20 часов 30 минут мы последовали за ледоколом. Над океаном стоял грохот и стон; льдины раскалывались на куски. На том месте, где целый год простоял «Седов», осталась большая черная полынья. Увлекая за собой ледяную гору, примерзшую к днищу корпуса, «Седов» медленно тащился за «Ермаком». «Садко» и «Малыгин», подняв пары, выходили битым льдом нам в кильватер.

Не прошло и получаса, как один из добавочных буксиров с зловещим свистом лопнул. Оборвавшийся конец чуть-чуть не задел по голове Соболевского, стоявшего на носу.

Корабли остановились. Мы приняли и закрепили новый буксирный трос. «Ермак» двинулся дальше. Сорок минут спустя гигантская ледовая чаша, висевшая у левого борта «Седова», внезапно оборвалась, и наше судно стремительно накренилось в противоположную сторону. Теперь мы шли за «Ермаком» с креном на левый борт в 25 градусов.

С тяжелым грузом за кормой «Ермак» двигался очень медленно. Буксир сильно стеснял его. Он не мог свободно и смело давать задний ход и потом с разбегу громить тяжелый лед, как это

делает обычно в таких условиях линейный ледокол. Ему приходилось маневрировать вместе с нами.

В 22 часа 15 минут «Ермак» остановился. Стальной канат раздавил деревянную подкладку и врезался в бензель<sup>1</sup> манильского троса, которым на клюзах были закреплены огоны<sup>2</sup> буксира. Пришлось усилить крепление.

Сорок пять минут провозились мы с этим делом. На огоны стальных концов положили двадцать восемь витков трехдюймового манильского троса. Под крепление установили толстые деревянные брусья. Форштевень «Седова» был вплотную притянут к корме «Ермака», и оттуда подали дополнительно два стальных буксира крест-накрест. Казалось, что теперь никакая сила не будет в состоянии разъединить корабли.

«Ермак» дал полный ход вперед. Весь корпус «Седова» содрогался. Слышался подозрительный треск и стон. Тысячи лошадиных сил рвали вперед канаты, протянутые в якорные клюзы нашего судна.

Через десять минут с «Ермака» мне предложили пустить в ход машину, чтобы уменьшить натяжение буксира. За кормой «Седова» забурился винт. Но еще десять минут и... буксир лопнул и мы остались на месте.

За два часа наш караван не прошел и мили. Нельзя было больше возиться с буксиром. И «Ермак», отдав концы, ушел вперед вдвоем с «Малыгиным», чтобы нащупать наиболее легкий путь и пробить канал.

«Седов» и «Садко» остались на месте. Люди сильно измучились и устали. Мы не спали уже целые сутки. Мало приходилось спать и в предшествующие ночи. Но никто не уходил с палубы. Огромное нервное напряжение помогало держаться на ногах: ведь именно в эти часы решалась судьба кораблей. И вдруг мы узнали серьезную весть, предрешившую судьбу «Седова».

Я стоял на баке, когда ко мне подошел Полянский. Он был бледен. В ру-

<sup>1</sup> Бензель — перевязка двух тросов тонким лином.

<sup>2</sup> Огон — петля на конце троса.

<sup>1</sup> Клюз — труба для пропуска якорного каната.

как у него белели две радиogramмы. Я понял, что произошло какое-то событие чрезвычайной важности.

Молча протянул он мне свои листки и каким-то тяжелым, испытующим взором следил за мной, пока я читал:

«Садко» Хромцову. «Седов» Бадигину. «Ермак» потерял левый винт. Буксировать «Седова» не сможет. Предлагаю «Садко» срочно взять на буксир «Седова», попытайтесь итти за нами 28.812. Шевелев».

«Седов» Бадигину. Если буксировка с помощью «Садко» не удастся, то буду вынужден оставить «Седов» на вторую зимовку, уходить только с «Малыгиным» и «Садко». Сообщите, что вам нужно дать из снабжения. Учтите, что в будущем году весной будут снова сделаны такие полеты, как прошлой весной, для чего организованы базы на Рудольфе, Котельном и Челюскине. 28.814. Шевелев».

...Вторая зимовка! Целый вихрь невеселых мыслей пронесся в голове. Остаться с одним искалеченным кораблем в районе полюса, еще год не видеться с семьей, еще одну зиму провести во мраке, среди штормов, вьюг, среди движущихся льдов... Это невыразимо тяжело. Но другого исхода нет. Нельзя же уподобиться дезертиру и запросить смены! Капитан не может оставить корабль в минуту опасности, — это железный закон мореплавания, и не мне его нарушать.

Я взглянул на Полянского. Он все так же испытующе глядел на меня и медлил уходить. Я прекрасно понимал его. Он любил рассказывать о своих маленьких ребятишках Вите и Зоечке и мечтал вслух о встрече с ними. И, конечно, сейчас он многое дал бы за разрешение уйти на юг с «Ермаком».

— Ну, что? — неопределенно спросил я.

— Да так, ничего... — столь же неопределенно ответил он.

— Мы еще поговорим, Александр Петрович, — сказал я. — Но ведь вы понимаете, насколько важное дело радиосвязь в дрейфе. А насчет этих радиogramм — пока никому ни слова...

— Это ясно. Разве я когда-нибудь болтал? — ответил Полянский и тихо пошел к рубке.

Шел третий час утра. На носу продолжался аврал: готовили кранец и деревянные брусья для крепления буксира с «Садко». Люди еще не знали об аварии «Ермака». Но я уже прекрасно понимал, как мало теперь у нас шансов на выход из дрейфа: искалеченный ледадок вряд ли сможет провести «Садко» с «Седовым» на буксире.

Я подозвал Андрея Георгиевича. После двух бессонных ночей он с трудом держался на ногах.

— Прочтите, — сказал я и подал ему радиogramмы. Он внимательно прочел их, подумал, потом еще раз прочел и вопросительно взглянул на меня.

— Вы можете перейти на «Ермак», — сказал я, — я добьюсь для вас смены. Доктор подтвердит, что вы — больной человек и нуждаетесь в отдыхе...

В глазах у Андрея Георгиевича мелькнула тень.

— Я остаюсь, Константин Сергеевич, — решительно сказал он.

— Подумайте, Андрей Георгиевич! Вторая зимовка будет очень трудной...

— Я подумал.

— Хорошенько подумайте!..

— Я уже решил, капитан. Давайте закончим на этом разговор.

Я крепко пожал руку своему верному помощнику и от души поблагодарил его.

Через полчаса мы уже стояли за кормой «Садко» и готовили буксирное крепление. Вскоре из туманной мглы вынырнула громада «Ермака». Тяжело переваливаясь с одного ледяного поля на другое, он подтянулся к «Седову» и стал борт о борт с нами.

На «Седов» пришли Герои Советского Союза Шевелев и Алексеев. Они рассказали подробности аварии. Оказывается, у левой машины «Ермака» лопнул вал, и конец его вместе с винтом ушел на дно океана.

— Надо подготовить ваш экипаж ко всяким случайностям, — сказал Шевелев, — люди должны знать, что их ждет. Если буксировку «Садко» не осилит, — вы остаетесь здесь. Пока будет готовиться буксировка и пока мы будем совещаться, — начнем на всякий слу-

чай, перегрузку угля и снаряжения на ваш корабль.

В шесть часов, тридцать минут утра были пущены в ход грузовые стрелы. По воздуху плыли с «Ермака» бочки с бензином, ящики с продовольствием, мешки, тюки. Шевелев приказал передать на «Седов» все наилучшее, что только было в кладовых ледокола.

Тем временем в нашей тесной кают-компании был созван митинг экипажа. Я выступил с речью и сказал о том, что всем нам необходимо остаться на корабле.

Это была тяжелая, драматическая минута. Лица моих друзей отражали большую внутреннюю борьбу. Видимо, у каждого перед умственным взором вставали трагические сцены минувшей зимы. Тогда нас было 217. Мы зимовали первый год. У нас было три корабля. Как же теперь остаться во льдах с крохотной горсточкой людей на одном судне, и притом искалеченном сжатиями?..

В кают-компании царило тягостное молчание. Люди соглашались с тем, что корабль нельзя оставить. Но слыхом тяжело было назвать свое имя первым...

Решили дать людям время подумать. Один за другим подходили ко мне моряки и говорили о том, почему им необходимо вернуться на материк. У одного тяжело сложились семейные обстоятельства. Другому надо было лечиться. Третий хотел поступить в университет.

Я долго убеждал Шелина, что мы не можем остаться без водолаза. Он соглашался со мной, но его звали домой очень серьезные и запутанные семейные дела, и я вынужден был отпустить его.

Пока я беседовал в кубрике с Шелиным, Буторин молча укладывал вещи в своей сундучок.

— Дмитрий Прокофьевич, а вы куда? — спросил я его.

Нахмурившись, он ответил:

— Да что ж, видать, я вам здесь не нужен. Пойду на «Ермак»...

При всей серьезности положения я не мог не улыбнуться: самолюбие боцмана было оскорблено тем, что убеждают остаться не его, а другого человека.

— Но неужели вы, Дмитрий Прокофьевич, не понимаете, что я вас не могу отпустить? Кто, кроме вас, так хорошо знает «Седов»? Вы абсолютно необходимы. Вот и все...

Буторин вздохнул:

— Это вы верно говорите? Ну, тогда другое дело... — Он проворно спрятал сундучок под койку и побежал на палубу — ускорять аврал.

Повара Шемякинского я отпустил без спора. Он болел, а с «Ермака» мне обещали передать не одного, а сразу двух камбузников.

Но с машинной командой пришлось поспорить. Розова я был обязан отпустить, — после того, как лебедкой во время выгрузки у острова Генриэтты ему оторвало пальцы, он не мог как следует работать, и это сильно влияло на его душевное равновесие. Но с Алферовым и Токаревым я не мог расстаться, хотя у обоих были веские причины, заставлявшие их вернуться на родину.

В разгар этих споров меня вызвали на ледокол. Пока под руководством Андрея Георгиевича шла перегрузка угля и снаряжения, заместитель начальника Главсевморпути Шевелев созвал в кают-компании «Ермака» капитанов всех трех кораблей, чтобы окончательно решить вопрос о судьбе «Седова». Участники совещания были утомлены до крайности этим неимоверным ледовым авралом, продолжавшимся уже третьи сутки. Но почему-то никому не хотелось спать. И только горевшие неестественным блеском, налитые кровью глаза напоминали: еще немного — и люди свалятся с ног.

Капитан «Ермака» — Сорокин — говорил первым.

— Мы залезли в недозволенные широты. Это огромный риск. Если мы не хотим зимовать вместе с пароходами, надо немедленно пробиваться на юг. Можно, конечно, для очистки совести еще раз попытаться повести «Седова» на буксире. Но главное в том, чтобы возможно скорее уйти на юг. Не надо забывать, что «Ермак» уже потерял один винт...

Я возразил:

— Практика показала, как это и подсказывал опыт, что ледокол не в состоянии вести за собой судно на буксире. Но «Садко», по-моему, мог бы доставить «Седова» к кромке льда. Надо лишь околоть наш пароход от припайных ледяных подсовов.

Тогда в спор вмешался капитан «Садко».

— Попробовать буксировать, конечно, можно. Но тогда «Садко» останется без кормы...

Дублер старшего помощника капитана «Ермака» Марков стал на мою точку зрения и заявил, что необходимо пойти на риск. Но остальные участники совещания были против. В результате принятое решение гласило:

«Ермак» и «Садко» немедленно идут на юг. «Седов» остается в дрейфе. Команда «Седова» пополняется за счет команды «Ермака».

Я плохо помню очередность дальнейших событий. Сказались усталость и нервное напряжение тех дней. Словно в туманной дымке проходят сейчас передо мной знакомые и незнакомые фигуры людей, суetyщихся у раскрытых люков трюма, расплывчатые силуэты кораблей, грозное, облачное небо, озаренные злым багровым закатом серые и мокрые льды вокруг «Седова».

Который день, который час стоят, сбившись в тесную кучку, «Ермак», «Садко» и «Седов»... Время идет так медленно и в то же время так быстро. Пока ледокол не увел «Садко» на юг, надо успеть взять на борт «Седова» как можно больше снаряжения и продуктов. Надо все учесть, все захватить — и брезентовые рукавицы для кочегаров, и справочники по гидрологии, и бумагу. Ведь о каждом упущении мы долго будем потом жалеть, укоряя друг друга: как это можно было забыть такую драгоценность?

Андрей Георгиевич, вытирая рукавом мокрый лоб, стоит на баке, прислонившись к стене надстройки. Силы вот-вот оставят его. И без всякого пригласения старпом «Садко» Румке спешит ему на помощь. Он сам организует перегрузку снаряжения, передает со сво-

его корабля все, что можно передать, командует, уговаривает, подгоняет людей. Теперь уже нет времени перетаскивать грузы на палубу «Седова». Их выгружают с «Садко» прямо на лед, — у нас будет время подобрать все это.

На лед летят тюки с теплой одеждой бочки с маслом, банки с вареньем, мешки с картошкой, рисом, горохом. Бужетчик «Ермака» передает нам 120 свежих лимонов, увесистый окорок, пуд шоколадных конфет, ящики с сыром и колбасой, два пуда какао «Золотой ярлык», сто банок шпрот, три ящика первосортных папирос, — одним словом, все лучшее из того, чем он располагает.

Неожиданно послышался отчаянный поросячий визг, такой невероятный для этих широт: под бдительным надзором только-что назначенных на «Седов» камбузников Гетмана и Мегера с «Ермака» к нам переправляют двух живых свиней. Подвешенные к грузовой стреле, они плывут по воздуху и исчезают в раскрытом трюме нашего судна. Затем тот же путь совершают восемь мешков отрубей и кипа сена — корм для наших новых четвероногих пассажиров.

Радисты тащат на судно запасные аварийные радиостанции. Механики приняли у Матвея Матвеевича Матвеева два двигателя — «Симамото» и «Червоный двигун».

У меня нет времени как следует познакомиться с новыми людьми, которые переходят на «Седов». Желających зимовать чрезвычайно много. Уже сорок заявлений притащили помполиту «Ермака» матросы, кочегары, механики. Женщина-врач ледокола спрашивает Швелева разрешить ей заменить Соболевского, страдающего пороком сердца и неврастений.

Но мы идем в чрезвычайно трудный и долгий ледовый рейс. Нас ждут еще сотни авралов; десятки раз льды будут громить наш корабль, и женщине пришлось бы необычайно тяжело в такой непривычной обстановке. Поэтому Швелев долго беседует с нашим доктором. В конце-концов Соболевский подходит ко мне и коротко бросает:

— Остаюсь...

Потом настает черед Полянского. И он долго беседует с Шевелевым, и он подходит ко мне:

— Остаюсь...

Помполит «Ермака» подводит ко мне высокого, худощавого человека в синей рабочей одежде. Крутой лоб, глубоко сидящие пытливые глаза. Крепко сжатые, немного припухлые губы.

— Знакомьтесь. Четвертый механик, орденосец Дмитрий Григорьевич Трофимов. Настоящий человек. Прошел на «Литке» первым рейсом Арктику с востока на запад. Рекомендую к вам старшим механиком...

Трофимов энергично стискивает мне руку, улыбается:

— Перехваливает...

Короткий деловой разговор — и новый стармех торопливо уходит искать Розова, чтобы принять у него машину.

С остальными я даже не успеваю перебраться двумя словами. Все заняты, все на аврале. Мне показывают их издали. Вон тот коренастый, широкоскулый матрос с добродушным лицом, крупные черты которого словно вырублены топором, — Ефрем Гаманков. А этот улыбающийся, немного застенчивый человек в синей робе, перепачканной маслом, — машинист первого класса Иосиф Недзвецкий.

Бойки и, пожалуй, немного развязные камбузники Мегер и Гетман совсем молоды. В Арктике они новички. Но говорят, что это закадычные друзья и что в своем коллективном заявлении, поданном командованию, они написали:

«Готовы дрейфовать, сколько нужно, хоть пятнадцать лет, только не разлучайте нас...».

А сила дружбы — это немалая сила!

По веревочному штормовому трапу с трудом поднялся скромный молодой человек в кепке и штатском пальто. Это будущий помощник Полянского, молодой радист Николай Бекасов, совсем недавно окончивший морской техникум.

А это что за фигура? По палубе идет, чуть-чуть пошатываясь, человек, одетый в неряшливую робу. Мне говорят, что это старший машинист «Ермака», который рекомендован мне, как прекрасный

производственник, в качестве второго механика. Я недоверчиво провожаю его взглядом и думаю о том, какие, в сущности, разные люди переходят на «Седов».

Старший механик производит хорошее впечатление. Этот не растеряется в трудную минуту. Но за молодежь, которая впервые попадает в сложную обстановку, ручаться трудно. А этот второй механик, с первого дня разгуливающий по палубе нетвердыми ногами, мне и вовсе не нравится.

Как жаль, что все наши старые механики уже перебрались на борт «Садко»! Может быть, вернуть хотя бы Токарева и Алферова? Но я прекрасно знаю, что обоих зовут домой неотложные семейные дела. И к тому же в акте медицинского осмотра довольно-таки недвусмысленно сказано: «Токарев — хронический ревматизм, малокровие. Алферов — отсутствует три зуба, нуждается в санации еще трех зубов; функциональное расстройство сердечной деятельности». Нет, вернуть их невозможно.

Неожиданно ко мне подходит Николай Розов. Он уже сдал машинное отделение и может спокойно отправляться на «Садко». Теперь он только пассажир. Но Розов медлит уходить.

— Капитан, — говорит он, — в машине неладно...

Я оборачиваюсь к нему.

— Запасной холодильник дал течь. А новый второй механик лыка не вяжет. Боюсь, что одному Трофимову с Недзвецким там не управиться. Ведь они еще не познакомились с кораблем. Может худо выйти...

Мы торопливо опускаемся вдвоем с ним в машинное отделение. Действительно, из-под крышки запасного холодильника журчит струйка воды. Прорвало прокладку, и на полу уже образовалась солидная лужа. Трофимова и Недзвецкого нет, — они участвуют в аврале. Второй механик тупо смотрит на нас и неожиданно громко икает.

Я чувствую, что самообладание покидает меня.

— Вон с корабля, — кричу я, — вон отсюда, чтобы и духу вашего здесь не было!..

Испуганный механик шарахается в сторону. С каким наслаждением сейчас я вышвырнул бы за борт этого бездельника, решившего, что «Седов» станет для него тихой обителью!..

— Зовите сюда Токарева и Алферова и помогайте Трофимову ликвидировать течь, — командую я Розову. — Пока не подписан приказ о вашем увольнении, вы — работники «Седова»...

Через несколько минут прибежавшие с «Садко» механики уселись на чугунную крышку и заработали гаечными ключами так, что со стороны любо было смотреть.

Когда все было кончено, я подошел к ним и сказал:

— Товарищ Токарев! Вы остаетесь вторым механиком «Седова». Товарищ Алферов! С сегодняшнего дня вы третий механик. Я понимаю, что вам будет тяжело остаться еще на год в дрейфе. Но поступить иначе я не могу. Да и вам ведь нелегко покинуть родной корабль...

Механики на минуту задумались. Алферов смахнул непрошенную слезу и тихо сказал:

— Разрешите сходить за вещами, капитан.

Я улыбнулся:

— Не беспокойтесь. Вещи уже доставлены обратно. Я ведь знал, что вы не откажетесь...

Пожав руки своим друзьям, я поднялся наверх. Теперь за судьбу машинного отделения я был спокоен. Конечно, было бы хорошо, если бы остался и Розов. Но у него искалечена рука, и он сильно измотался за эти месяцы. К тому же Трофимов прекрасно его заменит. Недаром же он шестнадцать лет проплавал на кораблях!

На палубе я неожиданно встретил Виктора Буйницкого. Короткая ватная куртка была расстегнута, высокие сапоги мокры. Он тащил какие-то пробирки и книги. Достаточно было взглянуть на его счастливое, раскрасневшееся от восторга лицо, чтобы понять, в чем дело. Я все же спросил:

— А вы что же здесь делаете, Виктор Харлампиевич?

Он немного смутился:

— Константин Сергеевич!.. Шевелев

сказал, что вы решили взять меня на «Седов», а вас я никак не мог найти. Ну, и... жалко же терять время! Пока перегружаю научный инвентарь. Разрешите продолжать?..

Как можно было отказать в такой просьбе? Мне положительно везло: в течение какого-нибудь получаса я вновь обрел трех прекрасных работников, которые должны были уйти к берегам Большой Земли, но теперь решили остаться с нами. Я отвел Буйницкого в каюты, в которых жил когда-то старший помощник, и предложил ему располагаться в них со своими приборами и книгами, как дома.

Повеселев еще больше, он с удвоенной энергией забегал между «Садко» и «Седовым». Двое матросов, прикомандированных к нему для помощи, едва поспевали за своим руководителем. Буйницкий без-устали таскал целые корзины каких-то бутылок, огромные пачки карт, таблиц, тяжелые приборы, увесистые свитки тросов. С особой бережностью он перенес драгоценный прибор Венинга Мейнца, единственный в СССР. Все время его не оставляло беспокойство.

— Обязательно что-нибудь забуду, я знаю, так всегда бывает, — приговаривал он, карабкаясь на корабль с очередным ящиком реактивов или справочников.

Действительно, захватить все необходимое мы при всем желании не могли. Больше всего приходилось жалеть о прекрасной глубоководной лебедке, поконившейся в трюме «Садко». Она была нам крайне необходима для измерений глубин океана, но у нас нехватало времени для того, чтобы извлечь из трюма ее тяжелые и громоздкие детали...

«Ермак» и «Садко» уже подняли пары. Близилась минута прощания. Тогда коммунистов и комсомольцев, остающихся на «Седове», создали в кают-компанию. Мы уселись за нашим большим столом, покрытым выдавшей вида желтой клеенкой. Я оглянулся. Нас не так много, но не так уж и мало. Двое членов партии — Трофимов и я, один кандидат — Недзвецкий, пятеро комсомоль-

цев—Буйницкий, Шарыпов, Мегер, Гетман и Бекасов. С такой семьей можно неплохо поработать!

На повестке дня стоял один вопрос: надо было организовать партийно-комсомольскую группу и избрать парторга.

Долгих прений не было: выбор кандидатуры напрашивался сам собой. Кому другому, как не Трофимову, опытному полярнику, орденоносцу, члену партии с 1931 года взять на себя руководство группой?

Голосование было единогласным.

Мы распрощались с руководителями экспедиции на «Ермаке», присутствовавшими на собрании, и они покинули «Седов». На льду забегали люди. С «Ермака» тащили все новые и новые подарки. Нам совали в руки узлы с конфетами, печеньем, сушеными фруктами и прочими вкусными вещами. В последнюю минуту Шевелев, заботливо относившийся к экипажу «Седова», прислал мне толстую книгу Хансена — «Во мраке ночи и во льдах». Я сунул ее за борт ватника, поднялся на мостик и огляделся вокруг.

Начиналась пурга. Струи снега, словно сетка из марли, скрыли от нас «Садко». Лишь контуры его смутно проступали сквозь эту белую пелену. Дул резкий холодный ветер. «Ермак» дал три протяжных отходных гудка.

Зашумели могучие винты, захрустели льды. Тяжелый корпус ледокола, вздрагивая от напряжения, разбивал поле, около которого стоял «Седов». Затем «Ермак» и «Садко» медленно двинулись к югу.

Я взглянул на часы. Было три часа тридцать минут утра 30 августа. Ровно трое суток без сна! А сколько бессонных часов предстояло еще провести морякам «Ермака» и «Садко», пока они доберутся до «Малыгина» и вместе с ним пробьются к кромке льда?

Мы подняли прощальный приветственный сигнал из трех букв: Р.Щ.Х., что означает на условном языке сигнального кода: «Счастливого рейса». Нам ответили: Ж.М.У. и С.Ф.Н. — «Счастливой зимовки».

Не отрываясь, глядели мы вслед уходящим кораблям. Густая сетка пурги

быстро закрывала от нас силуэты «Ермака» и «Садко». Только гудки их напоминали: мы еще здесь, совсем близко от вас. Но скоро и гудки умолкли. Мы остались совсем одни среди разбитых на мелкие куски ледяных полей, засыпанных пушистым снегом.

«Седов» стоял, тяжело накренившись набок и опершись на льдину, словно раненый великан, которого оставили силы в самый разгар битвы. В топках еще тлели огни, в котлах еще теплилось живое дыхание пара, но скоро оно должно было вновь угаснуть. Опять надо было разбирать машину, браться за установку камельков, отеплять шлаком жилые помещения, мастерить керосиновые мигалки, готовиться к новой полярной ночи.

Но прежде всего надо было дать людям возможность отдохнуть и выспаться. И как только мы подняли со льда последние ящики снаряжения, сброшенные с «Садко», я пригласил людей в кают-компанию поужинать, хотя по времени суток это скорее походило на завтрак.

Камбузник Мегер, впервые выступивший в роли повара, с комичной торжественностью подал на стол аппетитно поджаренную свежую картошку. Давно невиданное лакомство было с восторгом принято седовцами-старожилами.

Я распорядился подать несколько бутылок вина и провозгласил тост за дружбу старожилов и новичков, за единство расширившейся семьи и за успех будущих научных работ. И хотя каждый из нас только-что пережил тяжелые минуты, глядя на удалявшиеся корабли, — эти слова нашли самый живой отклик. Минутные сомнения и колебания ушли вместе с этими кораблями. Путь к отступлению был отрезан. Теперь нам оставалась только борьба. Долгая и упорная борьба со льдами — не на жизнь, а на смерть. Другого исхода быть не могло.

После ужина я вышел на палубу и долго смотрел вокруг, отыскивая место, где удобнее всего поставить корабль на зимовку.

Возвращаясь к себе в каюту, я увидел в открытую дверь Андрея Георгиевича.

Низко склонившись над своим столом, он что-то писал. То-и-дело голова его падала, и руки съезжали со стола. Но потом он встряхивался и снова начинал писать.

Я заглянул через плечо. Исполнительный старпом заканчивал запись в вахтенном журнале, сверяясь с какими-то заметками, наспех сделанными на клочке бумаги. Крупными, скачущими буквами усталая рука вывела:

30 августа.

0,30. Подошли ближе к «Садко» и начали принимать с него горячее и снаряжение. Погрузку производим по льду. Общий аврал.

С «Садко» на «Седов» откомандирован научный сотрудник Буйницкий В. Х. На «Садко» для доставки на материк откомандированы зимовавшие члены экипажа:

1. Розов Н. Н. — старший механик.
  2. Щелин В. А. — матрос первого класса.
  3. Шемякинский В. — повар.
- Всего три человека.

3.15. Перегрузка груза с «Садко» закончена.

3.30. «Ермак» и «Садко» продолжают выход из льдов, идя переменными курсами.

С сего числа личный состав зимовщиков ледокольного парохода «Г. Седов» следующий:

1. Бадагин К. С. — капитан, 2-й год зимовки.
  2. Ефремов А. Г. — старший пом. капитана, 2-й год зимовки.
  3. Буйницкий В. Х. — второй пом. капитана, 2-й год зимовки.
  4. Трофимов Д. Г. — старший механик.
  5. Токарев С. Д. — второй механик, 2-й год зимовки.
  6. Алферов В. С. — третий механик, 2-й год зимовки.
  7. Соболевский А. П. — врач, 2-й год зимовки.
  8. Полянский А. А. — старший радист, 2-й год зимовки.
  9. Бекасов Н. М. — радист.
  10. Буторин Д. П. — боцман, 2-й год зимовки.
  11. Гаманков Е. И. — матрос первого класса.
  12. Недзвецкий И. М. — машинист.
  13. Шарыпов И. С. — коцегар первого класса, 2-й год зимовки.
  14. Гетман И. И. — коцегар.
  15. Мегер П. В. — повар.
- Всего 15 человек.

4.00. Закончили работы. Завтрак.

Ефремов обернулся и посмотрел на меня усталыми покрасневшими глазами.

— Нельзя откладывать, — сказал он, словно оправдываясь. — Отложишь — все забудешь и спутаешь потом. А ведь это — для истории.

Через десять минут весь корабль, за исключением вахтенных, спал мертвым сном. Бережно обхватив судно, льды тихо и спокойно уносили нас на север.

## НАКАНУНЕ ВТОРОЙ ЗИМОВКИ

Хмурое, безрадостное небо низко висит над океаном. С севера дует холодный и сырой ветер. В воздухе носится снежная пыль. Она оседает на грязно-желтый, обтаявший за лето лед, затягивает промоины, образуя на них корку мокрой снежурки, засыпает палубу корабля. Одинокий, накренившийся на борт «Седов» неподвижно стоит среди раздробленных и перемешанных обломков льда, плавающих в серо-свинцовой воде...

Таким врезалось мне в память позднее утро 30 августа 1938 года, когда вахтенный разбудил команду и мы вышли на палубу, чтобы начать свой трудовой день — первый день одиночного дрейфа «Седова».

Молчаливые, плохо выспавшиеся люди плотнее запахивали свои стеганые куртки, пожевываясь от сырости, и подолгу глядели на юг, — туда, где терялся след «Ермака» и «Садко», пробитый ими в ледяных полях.

Однообразный серый пейзаж поздней арктической осени навевал уныние. Снова, как и год назад, щемящее чувство тоски по родному дому и близким берегоду души. Невольно вспоминались тревожные авральные ночи первой зимовки, когда мы спасали от гибели вот этот самый корабль, служивший невольной мишенью для ледовых ударов. Какие-то сюрпризы сулила нам вторая полярная ночь?..

В сущности говоря, только сейчас начинался для меня настоящий экзамен на звание полярного исследователя. Только теперь, когда остальные корабли ушли, когда неоткуда было больше



ждать руководящего совета и поддержки, — я и должен был пройти настоящую проверку.

Когда во льдах зимовали три корабля, бороться со стихией было неизмеримо легче. Даже в том случае, если бы один из них погиб, у нас остались бы еще две мощных базы, прекрасно оборудованных и оснащенных. Люди с погибшего корабля просто перешли бы на соседние и продолжали там свою работу. Я уже не говорю здесь о том, как велика моральная сила взаимопомощи трех экипажей. Теперь же наш коллектив сократился до предела, а в нашем распоряжении оставался один лишь «Седов».

Мне поручено полное и безраздельное командование дрейфующей экспедицией. Справлюсь ли я с таким большим и трудным заданием? Хватит ли у меня сил, выдержки и такта, чтобы организовать коллектив зимовщиков, предотвратить возникновение склок и раздоров, сплотить людей, отразить все атаки льдов и провести свой корабль через Ледовитый океан целым и невредимым? Сумею ли я организовать с должным размахом исследования, которых ждет от нас научный мир?

Капитанский мостик «Седова» — первый, на который я взшел полноправным хозяином. И я прекрасно понимал, сколько трудностей придется преодолеть, пока будет накоплен опыт. Но партия большевиков, членом которой я являюсь, учит не бояться трудностей а преодолевать их. Вот почему я отказался принять любезное предложение о смене, сделанное мне перед уходом «Ермака» Шевелевым.

Теперь я должен был на деле оправдать оказанное мне доверие. Нельзя было терять ни дня, ни часа, чтобы с первого же дня одиночного дрейфа как следует организовать работу и жизнь на зимующем корабле.

Вглядываясь в серьезные лица своих товарищей, я видел, что не мне одному приходят в голову такие мысли. Каждый по-своему пережил разлуку с ушедшими кораблями: один — с радостным волнением, заранее предвкушая интерес будущих научных открытий; дру-

гой — с романтическим восторгом ожидающей приключений; третий — с глубокой и острой тревогой, испытывая всю тяжесть долгой разлуки с семьей; четвертый — с откровенным чувством боязни: выдержат ли его нервы еще одну зимовку.

Но теперь, когда все пути к отступлению были отрезаны, каждый проникался одной идеей, одной думой, которую народная мудрость облекла в лаконичную форму грубоватой, но справедливой поговорки: «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

Ответственность спланивала и объединяла нас. Она напоминала нам: как ни различны вы по своим характерам и вкусам, как ни различны ваш жизненный опыт, — с сегодняшнего дня вы — одно целое; как бы трудно вам ни приходилось, — вы должны объединенными силами своего коллектива преодолеть все препятствия и выйти победителями из этой борьбы.

И с первого же дня, с первого же часа этого дня я наблюдал, как начиналась своеобразная кристаллизация коллектива, ядром которого явились «старожилы» корабля.

Вот люди спускаются на лед, чтобы собрать оставшиеся на нем ящики с продовольствием. Легко и привычно то скальзывает по веревочному штормтрапу Буторин. Новичок Гетман спускается так же легко, но в его движениях чувствуется какая-то подчеркнутая, чуть-чуть показная щеголеватость. Буторину это не нравится, и он немного настороженно наблюдает за молодым моряком, только-что произведенным из камбузников в коцегары.

Новичок берется за ящики и начинает vorочать их так ловко и энергично, будто всю жизнь только этим делом и занимался. Но Буторин опять немного недоволен: темп слишком быстрый, человек скоро устанет и тогда будет работать медленно. И действительно, когда я отхожу в сторону, Гетман устал переводит дух и присаживается на ящик.

Боцман подходит к нему и начинает что-то объяснять. Потом он показывает, как надо работать: неторопливо, мето-

дично и спокойно. Его движениями можно залюбоваться: ни одного лишнего жеста. Когда Буторин работает, никогда не скажешь, что он спешит закончить порученное ему дело. Но потом неизменно оказывается, что он справился с ним раньше других.

Гетман внимательно смотрит. Потом он сам принимается за дело, стараясь копировать движения боцмана. Буторин доволен, и, когда они поднимаются на палубу, я уже слышу мирную дружескую беседу о ловле трески, — найдена общая тема: оказывается, Гетман добывал треску на боте «Молотов».

Вот новичок — радист Бекасов — ступает на дежурство. Ему надо передать радиограмму на «Ермак». Недостаточно опытный, он теряется в новой обстановке и не может включить передатчик. Дядя Саша спокойно и внимательно показывает ему, что и как надо сделать, и следит за работой своего нового помощника. Волнуясь, Бекасов дергается всем телом, нажимая на ключ. Тогда дядя Саша отцовски обнимает его и говорит:

— Спокойнее, Коля! Ты же не балерина. Зачем танцуешь?..

И сразу исчезает официальная обстановка, молодой радист успокаивается и начинает работать не так напряженно, но зато более грамотно.

А в трюме под руководством нового стармеха Трофимова уже идет перегрузка угля с одного борта на другой. Я приказал выровнять крен. И вот, вся машинная команда с участием палубной перебрасывает лопатами уголь с левого борта на правый. Работа тяжелая, грязная. Но люди стараются подбодрить друг друга удачной шуткой, веселой репликой.

Заглядываю в камбуз. Застаю немного растерянного повара. Мокрый и красный, он колдует над плитой, с которой разносится невыносимый чад. На столе валяется раскрытая книга — до невозможности затрепанный «Справочник кашевара полевой тракторной бригады», издания 1930 года. Это сомнительное кулинарное пособие подарил камбузнику кто-то из поваров «Ермака». Увы! В нем нет ни одного рецепта, как

сделать аппетитное блюдо из яичного порошка или сушеной капусты. Полевые бригады имеют возможность пользоваться более свежими продуктами.

Вся обстановка в камбузе красноречиво свидетельствует, что нашему повару впервые приходится заниматься этим делом. Питомец солнечной Одессы, он всего с полгода назад перекочевал в Арктику. А поварской стаж его еще меньше: только в июне он поступил на «Ермак» камбузником, то-есть кухонным рабочим, выражаясь на языке сухопутных людей.

Прискорбно, конечно, что мы будем лишены кулинарных деликатесов. Но зачем намекать на это человеку, который и так чувствует себя неловко? Тем более, что у него есть самолюбие.

Сконфуженный повар прикрывает свою растерянность напускной развязностью и начинает уверять меня:

— А мы с вами, Константин Сергеевич, старые знакомые. Ей-богу, не вру. Мы с вами где-то встречались, Константин Сергеевич...

«Разные, очень не похожие друг на друга люди собрались на корабле! И к каждому из них надо будет найти свой особенный подход, к каждому из них надо подобрать отдельный ключик. Много еще воды утечет, пока все они станут настоящими полярными моряками. Но они все-таки станут ими. Их сделает моряками коллектив» — так записал я в этот вечер в своем дневнике.

Наутро нам предстояло выполнить большую и ответственную работу — поставить корабль на зимовку среди плывучих льдов. Накануне я долго осматривал окружавшие нас поля, стараясь отыскать получше защищенное от сжатий место. Но во время своих маневров «Ермак» так размолот льды, что выбрать удобное место было трудно.

Наконец я остановил свой выбор на широком и властом торосистом поле площадью с квадратный километр. Это поле, судя по всему, образовалось еще в 1936—37 годах и казалось вполне надежным. В случае непоправимой аварии мы могли бы довериться ему и рас-

кинуть здесь свой лагерь. Но самым большим преимуществом этого поля была его конфигурация: на западе оно имело небольшую выбоину, на юге от него отходил большой и массивный отросток в виде тупого рога. Становясь к западной кромке льда, мы сразу получили надежную защиту с трех сторон — с юга, с востока и с севера, — мощное ледяное поле надежно прикрывало нас. Только с запада могли угрожать нам удары льдов.

От спасительного ледяного поля нас отделяло около ста метров. Для исправного корабля такое расстояние — пустяк. Но «Седову» с изуродованным рулевым управлением преодолеть его было не так просто.

Подняв пары, мы попытались дать ход вперед, потом назад. Но корабль упорно не слушался руля и все время упрямо разворачивался вправо. Не оставалось ничего другого, как перетянуться к облюбованному мною полю с помощью тросов и ледяных якорей.

Надо было отыскать дорогу среди обломков льда, заполнявших все пространство вокруг нас, прогнать на поле тросы и, выбирая их, постепенно подвести корабль к кромке.

После долгих и утомительных маневров нам удалось, наконец, просунуть нос «Седова» между плавающими обломками и полем. Буторин, Бекасов, Буйницкий и Мегер спустились по штурмтрапу на какую-то небольшую льдину и, вооружившись багром, поскакали к полю, перепрыгивая с одного куска льда на другой. За ними тащился длинный трос.

Добравшись до поля, боцман выбрал небольшой ропок покрепче, выдолбил за ним углубление и вставил туда ледовый якорь — массивный, железный крюк, напоминающий коготь чудовищной птицы.

Поддела было сделано. Через минуту затарахтел брашпиль, к которому был закреплен второй конец троса, присоединенного к ледовому якорю. Трос наматывался на барабан и, укорачиваясь, не давал носу корабля уходить вправо. Тем временем была пущена в ход машина. При помощи машины и брашпиля

нам удалось сначала подтянуть нос корабля к льдине, а затем стать к ней бортом. Подав кормовой конец, мы стали у льдины, как у стенки в заправском порту, и торжественно опустили трап. Теперь мы надолго обосновались у этого естественного причала, — в течение полутора лет льдина должна была заменить нам землю.

Я решил в самое ближайшее время по-хозяйски освоить это поле: выгрузить аварийные запасы и поместить их в палатках, создать резервный склад горючего, соорудить домик для магнитных наблюдений, установить рейки для наблюдения над поведением льда, — одним словом, придать льдине деловую внешность обычной зимовки.

В 17 часов механики погасили огни под двумя котлами. На завтра надо было начинать подготовку машин к зимовке. У Токарева, Алферова и Шарыпова уже был достаточный опыт, полученный прошлой осенью, и я не сомневался, что под руководством Трофимова и с помощью Недзведко они на этот раз образцово проведут консервацию.

Мы, «старожилы» корабля, уже свыклись с обстановкой дрейфующей зимовки. Ни меня, ни Андрея Георгиевича, ни Соболевского, ни, тем более, опытного помора Буторина, Полянского и других теперь нисколько не удручали грязные камельки, холодные крючты, обеды из одних консервов, отсыревшие валенки и прочие неудобства.

На людей же, только-что пришедших к нам, все эти безотрадные детали неизбежно должны были производить удручающее впечатление. Мы это прекрасно понимали, и я с большой признательностью должен здесь вспомнить о том, какими чуткими и внимательными товарищами показали себя в эти дни все без исключения «старожилы» по отношению к новым людям.

Это не была мелочная услужливость или ненужная лесть. Нет, как только за праздничным ужином по поводу прощания с «Ермаком» двое самых молодых новичков расшумелись и начали говорить громкие слова о своей героической решимости, — наши «старички»

твердо и внушительно напомнили им о том, что первое качество полярника — скромность. Кстати сказать, больше об этом напоминать не потребовалось, — урок пошел на пользу.

Зато во всем остальном новые люди встречали безоговорочную поддержку и готовность оказать необходимую помощь.

В первые же дни надо было разместить наше пополнение на корабле. Началось всеобщее «переселение народов», вызвавшее большое оживление. В бывшем красном уголке, превращенном за полгода до этого в кубрик, из «старожил» остались только Буторин и Шарыпов. К ним присоединились Гаманков, Гетман и Мегер. Молодежь сразу же подняла веселый шум и гам. С первого же взгляда можно было безошибочно угадать, что неразлучные друзья Гетман и Мегер быстро завоюют пальму первенства на долгих зимних вечерах у камелька. В запасе у них было столько историй и приключений, что на каждый случай они находили подходящий или неподходящий пример из собственной практики, и громкий хохот оглашал кубрик.

Алферов перенес свои вещи в каюту, в которой раньше жили Токарев и Розов. Вместе с ним здесь поселился Недзвецкий. Правда, в этом помещении не было отдельного камелька, но оно обогревалось дымовой трубой, идущей от самодельной печи, которая стояла в кают-компани.

Трифимов и Токарев заняли пустовавшую целый год каюту старшего механика. С присущей людям этой специальности хозяйственностью, они довольно быстро привели ее в превосходное состояние. В частности, здесь был установлен новый камелек.

Теперь оставалось подготовить помещение для Буйницкого. Я решил предоставить возможно лучшие условия для работы своему младшему помощнику, который был единственным на корабле профессиональным научным работником. Меня удивляло, что на «Садко» он вынужден был жить в общем кубрике со всей командой, в то время как для его работы совершенно необходимо иметь

отдельный угол, где он мог бы сосредоточиться над своими вычислениями.

Разобрав дощатые переборки, мы соединили две каюты, в которых когда-то помещался старший помощник капитана, с третьей, где находилась раньше канцелярия. Получилась солидная «квартира из трех комнат», которую я и предоставил Буйницкому. «Квартиру» эту, конечно, нельзя было назвать очень обширной: общая площадь всех трех кают не превышала 15 метров, но все же теперь Буйницкий мог спокойно работать.

К Буйницкому пристроился Бекасов. Он занял соседнюю каюту, ранее принадлежавшую второму помощнику. Проломив переборку, Буйницкий и Бекасов соединили оба помещения, поставили камелек, быстро привели свои апартаменты в порядок, и через два-три дня каюты выглядели так, словно хозяева живут здесь уже целую вечность.

В крохотном закоулке каюты Буйницкого они разместили письменный стол и кресло. Это был «кабинет». На гвоздиках были развешаны облезлая малица, бинокль, фотоаппарат. Украшением каюты с ужал давно уже бездействовавший электрический вентилятор, напоминавший владельцу об утраченных удобствах цивилизации.

Остальная часть этого помещения была занята койкой, полками с книгами и камельком.

На столиках у Бекасова и Буйницкого сразу же появились графинчики с клюквенным экстрактом, который они, не в пример прочим участникам зимовки, очень почитали. Этот неимоверно кислый напиток только при очень большой доле воображения можно было принимать за пиво, вкуса которого мы не знали уже около полутора лет.

Помещение бывшей канцелярии, вход в которую был завешан одеялом, благородно переименованным в портбюро, представляло собой святое-святых нашего молодого научного работника. Там было решено поместить хронометры и драгоценный маятниковый прибор Венинга Мейнеца, предназначенный для гравиметрических наблюдений. На «Садко» этот прибор находился в неотопли-

васом помещении и был подвержен резким температурным колебаниям. Здесь же удавалось хранить его при относительно ровной температуре — плюс 9—12°.

Таким образом, помещение нашего молодого научного работника было оборудовано с максимальными для наших условий удобствами.

Все эти хлопоты так заняли людей, что недавние опасения и переживания стали довольно быстро забываться. Они повеселели и больше не вспоминали об ушедших кораблях. В самом разгаре подготовки ко второй зимовке Полянский принес и торжественно вручил мне радиограмму с «Ермака». Его лицо выражало высшую степень довольства.

Я развернул листок и прочел в конце деловой телеграммы приписку:

«Привет всему экипажу, особенно Соболевскому и Полянскому. Как их настроение и самочувствие? 3189. Шевелев».

И сразу вспомнилось, как за неделю до этого Полянский вручил мне две другие радиограммы с «Ермака», предупреждавшие о том, что мы останемся в дрейфе. Вспомнилось, как тяжело это сообщение подействовало на нашего испытанного радиста, как мы беседовали о будущем.

Миновала всего неделя...

— Видите, Александр Александрович, как о нас заботятся?..

Старый радист усмехнулся:

— Что было, то бывшем поросло... А за это большое спасибо...

И он вернулся в свою рубку.

Вечером 31 августа приключилось одно происшествие, наделавшее много шума на корабле.

После долгого и трудного дня я дал людям заслуженный отдых. Было решено воспользоваться тем, что судовая динамомашинка еще работала, и показать кино. Наш кинотеатр был предметом гордости его заведующего — он же кинемеханик — Коли Шарыпова. Шарыпов ревниво оберегал свой киноаппарат от чужих рук и мог без-устали демонтировать все те же фильмы. Содержание которых мы выучили за этот год

наизусть: «Броненосец Потемкин», «Мы из Кронштадта», «Космический рейс», «Дочь партизана», «Настоящие охотники», «Дети капитана Гранта», «Коллежский регистратор», «Светлый город», «Герои Арктики», «Тихий Дон», «Солдатский сын», «Бабы рязанские», «Будьте такими», «Челюскин», «Дело с застужками», «Отважные мореплаватели», «Море и жизнь», «Генерал Топтыгин», «Эволюция небесных тел», «Служба времени», «Первая любовь», «Два Бульди», «Джувльбарс», «Последний аттракцион», «Земля жаждет» и несколько номеров журнала «Наука и техника».

Из этого перечня видно, что большинство фильмов было далеко не первой свежести. Но для нас, в конце-концов, был важен самый факт демонстрации фильмов, — тем самым мы как бы приобщались к культурному миру, а при известной доле воображения нашу тесную кают-компанию с трескучим аппаратом и экраном, сделанным из простыни, можно было принять за обширный зал кино «Ударник» или «Коллизей».

Правда, кино у нас было немое. Зато фильмы демонстрировались с музыкальным сопровождением: кто-нибудь из нас садился у патефона, выбирал свои любимые пластинки и неутомимо ставил их одну за другой. По экрану проплывали дородные казачки из «Тихого Дона» под аккомпанемент «Китайской серенады», а «Эволюция небесных тел» демонстрировалась под лихие звуки «Яблочка» или, наоборот, — в зависимости от того, кто в этот вечер дежурил у патефона.

Когда же Шарыпов пускал фильм задом наперед, то зрители испытывали еще более острые ощущения: из любой кинокартины получалось нечто новое, — люди пятились, поезда стремительно мчались задним ходом, предметы, вопреки законам земного притяжения, не падали, а взлетали вверх. Одним словом, — да простят нас кинорежиссеры — нам удавалось даже самый серьезный фильм превращать в веселую комедию.

На этот раз интерес к сеансу был особенно велик: шестеро новичков еще ни разу не были в нашем кино, и для

них фильмы сохраняли свою первоначальную ценность. Остальным представлялась редкая возможность понаблюдать за тем, какое впечатление производят наши потрепанные ленты на свежего человека.

К 7 часам вечера все лучшие места в кают-компании были заняты зрителями. Я хотел было присоединиться к ним, но усталость взяла верх, и я направился к себе в каюту — соснуть часика два, пока Коля Шарыпов будет развлекать народ.

Через некоторое время меня разбудил какой-то шум. Сквозь сон слышались шорох и звяканье. Открыв глаза, я увидел в дверях спину Андрея Георгиевича, убегавшего с моей винтовкой, снятой с ковра у койки.

— Андрей Георгиевич, что случилось?..

Но мой помощник был уже далеко. По палубе застучали торопливые шаги команды. Оттуда доносились крики, потом раздалась беспорядочные выстрелы из карабинов. Быстро накинув на себя одежду, я выбежал на палубу.

В сумерках я увидел — метрах в 75 от судна, за большим торосом, тесной кучкой стояли три медведя. Рослая, мохнатая матка оберегала своих детенышей, каждый из которых был не больше дворовой собаки.

Видимо, один из медвежат был ранен. Он хромал и отказывался идти. Не понимая, что с ним произошло, мать сердито толкала его. Четырнадцать разгорячившихся охотников бежали к медведям, стреляя наугад, хотя трех зверей можно было бы без труда уложить, хорошо прицелившись, с корабля. Сзади всех, задыхаясь, ковылял с моей винтовкой Андрей Георгиевич, оставивший меня безоружным.

Медведица, наконец, поняла грозящую ей опасность. Оставив своего раненого детеныша, она толкнула второго медвежонка, и оба зверя пустились галопом в сторону от корабля. За ними маячила быстро удаляющаяся щупленькая фигурка нашего уважаемого научного работника. Вскоре все трое скрылись из виду.

События развертывались в необычно-

венно быстром темпе. На корабль прибежали озабоченные Буторин и Алферов и тотчас убежали обратно с веревками.

— Медведя имать! — деловито крикнул мне на ходу боцман, быстро вошедший в привычную для него роль зверолова.

Потом со льда донеслись крики, пыхтение и разъяренный медвежий рев. Алферов, набросивший на раненого медвежонка петлю, был сбит с ног одним ударом его младенческой лапы, и через мгновение медвеженок плясал на нем, готовясь свести счеты за пулю, посланную Шарыповым. Но охотники успели вытащить из-под него третьего механика и заарканили зверя.

Связав его задние лапы, они торжественно приволокли ревушую и упирающуюся добычу к борту корабля. Теперь главным действующим лицом всей этой истории становился доктор. С невозмутимым видом он прозондировал глубокую рану на плече у сердито рычащего пациента, который все время норовил куснуть своего целителя молодыми острыми зубами, и поставил диагноз:

— Ранение серьезно, но некоторые шансы на выздоровление есть...

К сожалению, наш пленник очень дурно себя вел. Упорно отказываясь притронуться к пище, он выл и стонал так, что даже у самых черствых людей переворачивалась душа. Испуганные щенки Джерри и Лыдинка вторили ему, забившись в конуру. В конце-концов около трех часов утра я распорядился прикончить медвежонка, и пуля, посланная из карабина, освободила его от земных мучений. Все мы жалели, что так получилось: нам хотелось воспитать из него вторую Машку.

Остальные медведи ушли от преследования. Гнавшийся за ними несколько километров Буйницкий вернулся ни с чем, мокрый, всклокоченный и раздосадованный: выяснилось, что в пылу охотничьего азарта он забыл перезарядить карабин и поэтому впустую гонялся за зверями по торосам. Если бы только звери могли догадаться о том, что их сердитый преследователь безоружен!..

Таким образом, первая медвежья охо-

та, в общем, закончилась довольно плачевно. Сотни килограммов чудесного свежего мяса были безвозвратно утрачены, хотя они сами просились на вертел: любопытные медведи вплотную подошли к кораблю, чтобы получше разглядеть этот странный предмет, неожиданно появившийся в их вотчине.

Наш повар, вышедший из камбуза подышать свежим воздухом, обомлел от удивления при этом зрелище. Бросившись в кают-компанию, он прервал киносеанс криком: «Медведи!» Люди высыпали на палубу и... спугнули зверей.

Между прочим, первая охота произвела на нашего мечтательного повара такое сильное впечатление, что он написал стихотворение, посвященное трем медведям, которых он увидел впервые в жизни. Друзья долго уговаривали его сохранить это произведение в тайне. Но чувства оказались сильнее повара, и полтора года спустя, когда мы уже прибыли в Москву, на банкете в союзе писателей он все же предал свою «медвежьё поэму» гласности и потряс ею воображение всех присутствующих.

После первой охоты я ввел следующие новые правила:

1. При появлении зверей немедленно докладывать капитану.

2. Никто не имеет права сходить на лед, без разрешения открывать огонь раньше срока и спугивать зверя.

3. Стрельба проводится организованно, по команде.

Эти правила строго соблюдались, и вскоре нам представился удобный случай наполнить свои кладовые новым запасом медвежьего мяса, о чем будет рассказано ниже.

Наступил сентябрь. Дни становились все короче. Мы спешили закончить приготовления к зимовке. Жизнь постепенно входила в свою колею. Вот как отражалась она в повседневных записях:

«1 сентября: Сегодня целый день дует свежий ветер с востока и юго-востока. Надо ждать подвижек...

В Москве сейчас, вероятно, еще совсем тепло. У нас же толщина молодого льда в снежниках уже достигла пяти с

половиной сантиметров. Шуга<sup>1</sup>, образовавшаяся во время швартовки, смерзлась.

Весь день работали над оборудованием внутренних помещений. Полным ходом идет разоружение машин. После того, как выкачали воду из двух котлов, крен на левый борт увеличился до 5,5 градусов.

Московские радиостанции мы до сих пор не слышим. Поэтому не знаем точно, когда праздновать Международный юношеский день. Решили, по примеру прошлых лет, отметить его сегодня. С утра расцветились флагами. После работы провели открытое комсомольское собрание. Послали телеграмму в «Комсомольскую правду»:

«С далекого севера седовцы приветствуют молодежь Советского Союза, героических молодых борцов Испании и Китая, борющихся за революцию во всем мире».

Вечером устроили стрелковые соревнования. Потом повар сервировал торжественный ужин. Главным угощением были бифштексы из медвежонка. Мясо изумительно нежное и нисколько не пахнет рыбой. А так как повар не поспешил на свежую картошку для гарнира, то угощение получилось на славу.

2 с е н т я б р я. 83°11' северной широты и 137°35' восточной долготы. В три часа ночи проснулся от небольших толчков. Вышел на верхнюю палубу и обнаружил, что лед поджимает судно с правого борта. Меня встретил молодой вахтенный — Буйницкий. Теперь он осваивает новую для него специальность моряка. Немного растерянно Буйницкий доложил, что он не успел потравить носовой швартовный конец и его оборвало.

Так как шуга вокруг судна уже смерзлась, решил швартовов больше не заводить.

Небольшие толчки продолжались до шести часов утра. Потом все утихло. В результате сжатия усилился крен. Теперь «Седов» стоит, наклонившись на семь с половиной градусов. Ставить корабль с таким креном на зимовку немного неудобно.

<sup>1</sup> Разновидность молодого льда, образующаяся при беспокойном море.

Чтобы выровнять судно, перевалили весь уголь в бункер на правый борт. Ничего из этого не получается. Завтра попытаюсь пустить в ход аммонал, — хочу освободить судно от льдин, примерзших снизу под корпусом, и тем самым улучшить остойчивость. Быть может, тогда крен выровняется.

Бочки с горючим перегрузили на корму и тщательно укрыли матрацами, чтобы искра от какого-нибудь камелька не наделала беды. Якоря установили на место и закрепили по-походному. Лебедки и брашпиль уже продули паром и поставили на консервацию. В общем, окончательно устраиваемся на зимовку. Буйницкий и Соболевский сегодня установили шест для будущих наблюдений над ростом льда. В снежницах толщина пресного льда достигла 7,5 сантиметра.

3 с е н т я б р я. Знаменательная дата. Сегодня в 22 часа, после долгого рабочего дня, собрали митинг, обсудили и приняли текст коллективного обязательства перед партией и правительством.

Вот этот документ, уже переданный А. А. Полянским по радио в столицу:

Москва, Кремль.

Товарищам Сталину, Молотову,  
Кагановичу, Ворошилову,  
Калинину, Микояну.

Мы, экипаж «Седова», оставшийся в дрейфе в Центральном Полярном бассейне, считаем за великую честь оказанное нам доверие быть первыми в неизведанных широтах Северного Ледовитого океана. Мы, воспитанные любимой партией, Вами, любимый товарищ Сталин, с честью понесем гордое алое знамя нашей великой родины во льдах полярной ночи. Отдадим все наши силы, знания, опыт на выполнение возложенных на нас работ по исследованию Центрального Полярного бассейна, с гордостью будем бороться за новые победы советской науки, сделаем все, чтобы сохранить вверенное нам судно. Мы совершенно спокойны за свою судьбу, ибо уверены в заботе о нас партии, правительства и всего народа.

Заверяем Вас, товарищ Сталин, что 15 советских патриотов сделают все, чтобы оправдать великую честь и доверие, оказанные нам родиной.

По поручению коллектива  
капитан Бадигин,  
парторг Трофимов.

Борт «Седова», 3 сентября 1938 г.

Митинг прошел с большим подъемом. Никто не произносил общих, бесцветных фраз, которые у нас частенько говорят в торжественных случаях. Говорили от души, от сердца — то, что думали. И больше всего о том, как нам лучше организовать работу, обеспечить безопасность судна и сделать максимум возможного для науки.

У всех людей хорошее, приподнятое настроение, как у бойцов, принявших присягу.

4 с е н т я б р я. Вторые сутки боремся с креном. Сделали много взрывов. Одновременно перебрасывали уголь на правый борт. Результатов не было — судно упорно держалось на левый борт с креном в восемь градусов.

После ужина устроили аврал — все грузы перетаскивали вправо. Кроме того, накачивали воду в правый котел. В восемь часов вечера крен уменьшился до пяти градусов. Потом стремительным рывком судно выпрямилось и остановилось с креном всего в один градус.

Два часа спустя мы выкачали воду из правого котла. Неожиданно судно новым стремительным рывком перевалилось вправо же на целых 10 градусов. Немедленно накачали левый котел. Никаких результатов.

Судно совсем потеряло остойчивость. Видимо, в этом повинны примерзшие снизу льдины. Явление крайне неприятное, — при первом же сжатии оно может дать очень нежелательные последствия.

Получил приветственные телеграммы от капитанов «Садко» и «Малыгина». Сегодня «Ермак» их уже вывел из льдов. Стоят у кромки, бункеруются углем. Скоро они вернуться на родину. А мы?..

5 с е н т я б р я. 83°06' северной широты. Снова боремся с креном, — го перебрасываем уголь с одного борта на другой, то накачиваем поочередно правый и левый котлы водой.

Судно несколько раз переваливалось с борта на борт, словно ванька-встанька, но потом приобрело должную солидность и остановилось с креном в 2 градуса на левый борт. Было бы счастьем так и замерзнуть!



Всем зимовщикам выдана теплая одежда — каждому по меховой паре и паре пимов. Кроме того, каждый получил меховую шапку, ватный костюм, теплые носки и перчатки. Теперь люди во всеоружии встретят морозы,—не то, что в прошлом году!

Часть команды, прибывшую с «Ермака», сегодня порадовали еще одним нашим достижением, — затопили для них баню. Баня всем очень понравилась. Еще бы! По-моему, ни на «Фраме», ни на «Жанетте» люди не пользовались таким удовольствием.

До сих пор не удавалось слушать Москву. Когда работают столичные радиостанции, мы уже спим. Сегодня решили перевести время на 4 часа вперед по 11-му поясу. Тогда режим дня у нас изменится, и мы сможем слушать передачи радиостанции имени Коминтерна.

6 сентября. Огромная радость! Сегодня услышали голос Москвы. Непередаваемо приятно было слушать дикторов радиостанции после такого долгого перерыва.

Слушая радиопередачу, выяснили, что мы немного промахнулись и отметили Международный юношеский день на целую пятидневку раньше срока. На Большой Земле его отмечают сегодня.

Не теряясь, решили отпраздновать еще раз, тем более, что 1 сентября у нас был не праздник, а настоящий рабочий день, да еще какой трудный!

Подняли флаги. Составили план проведения праздника. Чтобы не терять зря времени до вечера, поработали: установили гравитационный прибор, разобрали и пересортировали продукты, так, чтобы они не испортились зимой, не в пример прошлому году.

После работы провели собрание всего коллектива, на котором я сделал доклад о юношеском празднике. Затем были оглашены приветствия, присланные нам с Большой Земли.

Устроили стрелковые соревнования из карабинов, потом все вместе сфотографировались, благо погода была наредкость хороша: первый ясный день за два месяца.

За ужином выяснилось еще одно праздничное событие: сегодня день ро-

ждения нашего боевого второго механика и физкультурного организатора Сергея Дмитриевича Токарева. Ему исполнилось 32 года. В честь такого события разрешил Андрею Георгиевичу выдать участнику ужина немного вина.

Торжество закончилось демонстрацией двух фильмов: «Будьте такими» и «Солдатская жизнь».

7 сентября. Сегодня первый раз за полгода зажег лампу, чтобы внести запись в дневник. Наступает ночь, наступают зима. Сегодня снова дует штибальный ветер с юго-юго-востока. Метет пурга. Снегу навалило уже на 10 сантиметров.

Теперь уже можно сказать наверняка: приди «Ермак» на неделю позже, и он не пробился бы к каравану.

Весь день, разбирая списки продовольствия, обдумывали, как лучше составить меню, чтобы пища была разнообразна. Вот как складывается наш примерный суточный рацион (беру один из дней на выбор); завтрак — какао с молоком, сыр американско-русский, булка, витамин «С»; обед — солянка сборная, свино-бобовые консервы с жареной грудинкой, чай с шоколадными конфетами и песочное печенье «Алые цветочки»; ужин — солянка, чай с абрикосовым вареньем, печенье; вечерний чай — ветчина отварная, чай с конфетами «Белка».

Начали поднимать шлак из кочегарки на палубу, засыпаем им железную палубу на ботдеке над камбузом, чтобы повар не замерз у своей плиты. Под толстым слоем шлака ему будет теплее.

«Кино-фестиваль» продолжается. Сегодня Шарыпов демонстрировал фильм «Дети капитана Гранта». Но, как только закончил консервацию машин и потушим огни под вспомогательным котлом, придется объявить заговоренье: ради одного кино жечь топливо не будем.

Чтобы на судне было больше чистоты и порядка, ввел дневальство. Будут дежурить по очереди все члены экипажа—каждый по пятидневке. Дежурный обязан убирать кают-компанию и топить в ней камелек, подавать еду, мыть посуду. График очередности составил Андрей Георгиевич.

Сегодня дневалил Бекасов. Он весьма старательно убирал коридоры, кают-компанию, мыл посуду. Но роль официанта ему решительно не по душе, и он то-и-дело заставлял нас дожидаться смены блюд во время обеда. Не приноровился Бекасов пока и к камельку,—он у него все время тухнет. Ну да ничего,—обучится и этим премудростям.

Где-то в Чукотском море сейчас дрейфует бот «Ост». Его не успели вывести из льдов, и команда этого суденышка находится примерно на таком же кочующем положении, как и мы. Сегодня я послал своим невольным коллегам телеграмму—предлагаю установить связь и переписываться по радио. Все-таки какое-то разнообразие в быту. Мы их будем поддерживать, а они нас.

8 с е н т я б р я. Сегодняшний день посвятил составлению списков аварийного запаса. Дело ответственное и серьезное. От того, как мы организуем его, многое будет зависеть.

Работая, частенько посматривал в труды Нансена и Де Лонга. У них есть чему поучиться. Собираясь в свои экспедиции, они прекрасно учитывали все случайности, которые могла поставить на их пути Арктика. Поэтому свои запасы провианта эти исследователи комплектовали так, чтобы они были, во-первых, очень питательны, а, во-вторых, компакты, легки и доступны для переноски.

С тех пор наука о питании шагнула далеко вперед, советская наука в особенности. Прекрасное тому доказательство—идеальная подготовка экспедиции на Северный полюс, которую снабдили очень хорошими концентратами.

Но вот, снабжая корабли страховыми запасами продовольствия, у нас забывают о том, в какой обстановке этими запасами придется пользоваться. В обычном плавании к ним не притрагиваются. До них доходит дело только в экстраординарных случаях, как, например, в нашем дрейфе. Значит, эти запасы также должны готовиться с учетом аварийных возможностей. Между тем мы совершенно не располагали такими легкими и питательными продуктами, какими располагали хотя бы экспедиции Нансе-

на и Де Лонга. А ведь в целом-то мы снабжены куда лучше, чем они!

Вот некоторые из продуктов, которыми пользовался Нансен: пеммикан, порошок из высушенной сыворотки, пластинки лимонного сока, рыбная мука, сушеный бульон, сушеное мясо, шоколад из мясного порошка, фруктовые соки, специальная пища—смесь гороховой муки, мясного порошка, жира и т. д.,—питательные и в то же время легкие.

Все это—незаменимые вещи для подбора аварийного запаса. Мы же подобными продуктами не располагаем. Поэтому нам придется брать вдвое-втрое больше продуктов по объему и по весу, чтобы обеспечить ту же питательность.

Вот из чего складывается пятимесячный аварийный запас продовольствия, который мы выгрузим на лед:

1. Шоколад — 40 кг.
2. Печенье — 250 кг.
3. Мука белая, 30-процентная, 150 кг.
4. Спирт винный — 60 литров.
5. Мясокопченности — 50 кг
6. Молоко сгущенное — 500 банок.
7. Сахар — 240 кг.
8. Витамин «С» — 18 кг.
9. Какао — 15 кг.
10. Горох — 40 кг.
11. Рис — 100 кг.
12. Консервы мясные — 848 банок.
13. Сыр — 100 кг.
14. Сухие овощи — 1,2 кг.
15. Сушеный лук — 12 пачек.
16. Сухие фрукты — 50 кг.
17. Крупа гречневая — 80 кг.
18. Томат — 1 банка — 3,5 кг.
19. Консервы мясо-растительные—192 банки.
20. Сельди — 1 бочонок — 100 кг.
21. Масло сливочное — 180 кг.
22. Масло растительное — 2 бочонка — 150 кг.
23. Соль — 75 кг.
24. Чай — 5 кг.
25. Кофе — 15 кг.
26. Конфеты — 35 кг.
27. Коньяк — 20 бутылок.
28. Папиросы «Красная звезда» — 1 ящик.
29. Спички — 1000 коробок.
30. Мыло туалетное — 1 ящик.

9 с е н т я б р я. Полная перемена декораций! Вчера была зима, а сегодня сразу началось лето. Ветер утих. Температура поднялась выше нуля. Все тает. Отовсюду каплет, словно с крыш московских домов в апреле. Висят сосульки.

Около полудня неожиданно показало солнце. Буйницкому удалось на миг «схватить» его, но после этого оно спряталось, и определить место судна было нельзя.

Целый день упаковывали продукты аварийного запаса в ящики. Механики продолжают разборку трубопроводов и ставят машины на консервацию. Доотказа откачали воду из поддонов, чтобы предупредить их замораживание.

Поздно вечером неожиданно узнал, что летчик Козлов летит к нам в разведку. Сразу поднялось бурное оживление: видимо, будет сделана еще одна попытка вывести «Седова» из дрейфа.

Козлов к нам не долетел. Из-за тумана ему пришлось сесть на острове Котельном. Пароход «Моссовет», груженный углем, все еще стоит у кромки льда, кого-то ждет. Оттуда сообщают, что выпавший позавчера снег интенсивно тает.

Я получил неофициальные сведения, что новому ледоколу «И. Сталин» поручено пробиться к нам. Задача очень трудная, ведь время для этого похода уже упущено. Но... что, если и в самом деле новая оттепель позволит ему пробиться к нам?..

10 сентября. Пока никаких подтверждающих сведений о походе «И. Сталина» нет. Поэтому продолжаем готовиться к зимовке. Сегодня засыпали шлаком из кочегарки кормовые ростры над помещением команды.

Много хлопот доставляют метеонаблюдения: Козлов просит давать сводки о погоде по радио каждый час, — ему не терпится прилететь к нам. Мы, конечно, не возражаем.

Попрежнему дует южный ветер. Сегодня, наконец, удалось определить координаты:  $83^{\circ}21',8$  северной широты,  $138^{\circ}05'$  восточной долготы. За последние восемь дней продрейфовали около десяти миль почти прямо на север. Если так пойдет дело дальше, скоро «разменяем»  $84$ -ю параллель. А туда даже «И. Сталину» с его 10 тысячами лошадиных сил будет добраться трудно.

Быт наш понемногу налаживается. Большое удовольствие в часы досуга доставляют новые патефонные пластинки,

привезенные «Ермаком». С огромным интересом слушаем концерты, передаваемые по радио из Москвы.

А сегодня у нас состоялся еще один концерт, единственный в своем роде: дебютировало трио четвероногих, заставившее покатываться со смеху даже самых флегматичных членов экипажа.

Наши щенки Джерри и Лыдинка, родившиеся среди льдов, обладают крайне ограниченным кругом познаний и поэтому с огромным любопытством воспринимают все новое на корабле. И вот сегодня, когда я отправился в твиндек на «свиноферму», где Гетман заботливо откармливает двух свиней, полученных нами от ермаковцев, Джерри увязался за мной и проскользнул за загородку.

Могучие и жирные боровы встретили гостя недружелюбно, и когда Джерри попытался поиграть с ними, он едва не поплатился жизнью за эту дерзость. Свинья уже цапала его за хвост, когда я вырвал у нее несчастного щенка.

Поднялся неимоверный визг и вой на весь корабль. Теперь наши щенки больше всего на свете боятся свиней и вздрагивают, услышав хрюканье..

11 сентября. Почти весь день давали ежечасно сводки погоды Козлову, и все зря: полет его в конце-концов отменили.

Решил завтра устроить выходной день: мы работали без отдыха 18 дней.

Сегодня — очередной сюрприз: начались незначительные подвижки льда, и судно сразу же повалилось на левый борт. Крен достиг 12 градусов.

Опять начали орудовать углем и водой и кое-как уменьшили этот крен до четырех с половиной градусов.

12 сентября. Сегодня стоял вахту от 0 до четырех часов. На морском языке такую вахту зовут «собакой», потому что в эти часы особенно хочется спать. Но мне было не до сна: разводья начали увеличиваться. Ветры южной половины горизонта крепчают. Сегодня они достигли почти штормовой силы — 8 баллов. Временами идет снег с дождем. Лед на снежниках и на соленой воде разрушается.

К утру у правого борта лед отошел, и открылась чистая вода — на 2—3 ме-

тра от борта. Выходит, что начало разводить всерьез. В пределах видимости много мелких разводий. С юго-востока на запад тянется большая трещина. В юго-западной части горизонта видно пятнами водяное небо — верный признак чистой воды. Невольно снова и снова ловишь себя на мысли о ледоколе «И. Сталин» — что, если он действительно пойдет к нам и выведет корабль из дрейфа?

С двух часов дня начали подрывные работы у правого борта — пытались оторвать ледяную чашу от корпуса. Ничего из этого не вышло. Ввиду безнадежности оставил попытки и дал людям отдохнуть.

В одном из разводий заметили нерпу, но охотников возиться с ней не нашлось. Вечером смотрели кинофильм «Герои Арктики».

Вечером 13 сентября, когда мы находились на  $83^{\circ}25,6$  северной широты и  $140^{\circ}20'$  восточной долготы, я получил официальное уведомление о том, что ледокол «И. Сталин» идет к нам на выручку. А на другой день утром радисты приняли с «И. Сталина» еще более конкретное указание:

— Готовьте машину, ждите указаний о поднятии пара.

Эти сообщения сразу внесли сумятицу в нашу привычную, уже устоявшуюся жизнь: только-что мы поставили машину на консервацию, только-что свыклись с мыслью о второй зимовке — и вдруг все начинается сначала...

Погода, как нарочно, дразнила нас. Ледовая обстановка была на редкость хороша. Вечером 15 сентября при трехмильной видимости по горизонту от северо-запада через запад до юга четко вырисовывалось сплошное водяное небо. Повсюду чернели разводья и полыньи. Даже «Ермак» не имел таких хороших ледяных условий во время своего похода к дрейфующему каравану.

У нового мощного ледокола «И. Сталин» теперь было гораздо больше шансов на успех, хотя за эти полмесяца нас отнесло почти на 20 миль к северу. Но как мы пошли бы за ним, лишенные рулевого управления? Требовалась помощь второго корабля: один

ледокол пробивал бы дорогу во льдах, а другой вел «Седова» на буксире.

Я сообщил капитану «И. Сталина», отвечая на запрос о состоянии нашего корабля:

«Самостоятельному продвижению судна препятствует только отсутствие возможности управляться. Полагаю, при ледовой обстановке в настоящее время вывод на буксире одним ледоколом затруднителен и даже невозможен. Вывод же двумя ледоколами при данной обстановке больших затруднений не представит».

В ответ на это 17 сентября прибыла телеграмма, еще больше поднявшая дух у экипажа:

«Продолжаем бункеровку углем с «Моссовета». Вечером пойдем на север. Получил распоряжение Шмидта идти к «Седову» двумя ледоколами. С нами пойдет «Литке». Последний бункеруется с «Ермака» на рейде островов «Комсомольской правды...».

«И. Сталин» и «Литке»! С такой эскадрой можно пробиться. На выручку к нам посылали цвет советского ледокольного флота. Мы наглядно ощущали великую заботу родины о себе и чувствовали себя неоплатными должниками перед нею. Сколько беспокойства и хлопот уже доставила наша дрейфующая зимовка правительству!

Снова и снова вспоминали мы простые и искренние слова Водопьянова:

— Сталин не бросит человека!..

Вот оно, живое, материальное выражение этой заботы — мощный флагманский корабль советского ледокольного флота, идущий к нам на помощь с именем великого человека нашего времени на своем борту.

На «Седове» все кипело. Механики вновь снимали с консервации механизмы. Палубная команда опять приводила в порядок все помещения корабля, чистила и красила пароход, готовясь достойно встретить дорогих гостей.

Работа спорилась. Уже 16 сентября был объявлен аврал, — требовалось накачать воду во вспомогательный котел: я решил поднять в нем пары, чтобы наполнить водой главные котлы и подготовить к работе брашпиль и лебедки. Вытащили брандспойт, протянули шланги из машинного отделения к бли-

жайшей снежице и начали качать, разбившись на три смены и чередуясь через каждые 15 минут.

Чтобы люди сменялись в строгом порядке, Буторин принес будильник и поставил его на лед. Через каждые 15 минут раздавался трезвон, и очередная смена бралась за дело. Сменившиеся снова заводили будильник.

Через два с четвертью часа непрерывной работы котел был наполнен водой.

17 сентября ( $83^{\circ}29',5$  северной широты и  $142^{\circ}16'$  восточной долготы) под вспомогательным котлом был заложен огонь. Назавтра машина в основном была готова к действию. Механики вновь собрали паровое отопление. Загудела дизель-динамо—мы давали радиопеленги идущим к нам ледоколам. Снова подняли и отклепали якоря, освободив клюзы для буксировки.

23 сентября были закончены последние приготовления к походу—мы убрали трубы камельков, завалили боты на кильблоки,—одним словом, навели порядок на палубе и в жилых помещениях. По первому приказанию «Седов» был готов поднять пары.

Но к этому времени благодаря перемене ветра ледовая обстановка вновь резко изменилась, и наши надежды на скорое освобождение из льдов стали быстро гаснуть.

Уже 19 сентября были заметны первые признаки сжатия. Семибалльный южный ветер привел льды в движение, и большой торосистый обломок с такой силой стукнул в правую скулу судна, что носовой швартов лопнул, как нитка. Большинство разводий свело. Несмотря на южный ветер, температура упала, и вновь началось быстрое образование молодого льда. Новое «лето» оказалось, к сожалению, очень кратковременным. В то же время нас сильно бросило на север. 17 сентября мы были на  $83^{\circ}29',5$  северной широты, а 22 сентября оказались уже на  $83^{\circ}56',5$  северной широты.

В районе «И. Сталина» и «Литке» вначале таких перемен не ощущали. Оттуда шли бодрые телеграммы—корабли шли на север разреженным четырех-

балльным льдом среди небольших обломков полей. Но 22 сентября и там наступило резкое ухудшение обстановки. Добравшись до 81-й параллели, ледоколы попали в такие тяжелые льды, которые были не под силу даже лидерам. Капитан «И. Сталина» радировал мне в полночь 22-го:

«Лед 10 баллов. Торосистые поля. Снег. Идем со скоростью два узла...».

В этот день мы возобновили работы по подготовке аварийного запаса. Хотя ледоколы находились очень близко от нас, почти - что рядом, но теперь уже трудно было надеяться на встречу с ними.

23 сентября Андрей Георгиевич Ефремов, Буторин, Шарыпов и Гетман отправились в пешую разведку,—я предложил им подыскать подходящую посадочную площадку на случай, если с ледокола «И. Сталин» полетит самолет. Разведчики бродили по ледяным полям свыше четырех часов, но ничего отрадного не заметили. Только в одном месте им удалось обнаружить относительно ровную площадку длиной в 400 и шириной в 200 метров.

Повсюду они видели трещины, но разводья не появлялись. Только на юго-западе, на расстоянии около 2 миль от корабля, была обнаружена полынья, занятая молодым льдом.

В этот день я радировал капитану ледокола «И. Сталин»:

«Заметных улучшений в районе «Седова» нет. Лед сплочен, разводий почти нет. Непрерывные подвижки...».

«И. Сталин» и «Литке» к этому времени пробивались на север до 83-й параллели. Второй раз за какой-нибудь месяц советские ледоколы побивали мировой рекорд высокоширотного плавания! Они находились в 60 милях от нас, считая на юго-восток. Но эти мили были совершенно непроходимы, и ледоколы повернули на юг. В 9 часов 40 минут 24 сентября капитан флагманского ледокола сообщил мне по радио:

«Крупно-битый лед, 7 баллов. Туман. Имею распоряжение возвратиться. Иду к мысу Челюскина...».

Как назло, в этот час в районе «Седова» вновь стала улучшаться обстановка. Лед развело. Судно оказалось на чистой воде: справа мелкие льдины отошли в сторону и даже слева наше могучее поле, облюбванное мною в качестве аварийной базы, дало трещину. Сквозь тонкие слоистые облака просвечивало солнце. На одной с ним высоте сияла необычная небесная иллюминация — ложное солнце.

Было очень досадно, что ледоколы уходят на юг. Но благоразумие брало верх над минутным порывом. Мы понимали, что в такое позднее время нельзя рисковать и задерживать ледоколы в рекордных широтах. Руководство Главного управления Северного Морского пути поступило справедливо, отзывая их 23 сентября.

Впоследствии мы узнали, что оно действовало в полном соответствии с прямыми указаниями товарища Сталина, который на всем протяжении дрейфа «Седова» внимательно следил за нами и непосредственно руководил всеми операциями по выводу корабля из льдов. Вот что писал по этому поводу И. Д. Папанин:

«В 1938 году я снова встретился с товарищем Сталиным. Решался вопрос о посылке ледокола «Иосиф Сталин» за седовцами. Была поздняя осень. Седовцы находились в высоких широтах. И мы еще раз увидели мудрую и глубокую предусмотрительность товарища Сталина. Давая указание об отправке ледокола, Иосиф Виссарионович добавил, что капитан при первой же угрозе тяжелых льдов должен немедленно вернуться обратно. Так оно и было: ледокол дошел до тяжелых льдов и вернулся. Не будь сталинского указания, корабль пошел бы дальше и наверняка зазимовал бы во льдах...».

Получив телеграмму о том, что ледоколы возвращаются на юг, мы передали по радио их экипажам пожелание благополучного плавания, хорошего отдыха и в третий раз начали подготовку к зимовке.

В этот день «Седов» находился на широте  $83^{\circ}55'$  и долготе  $140^{\circ}28'$ . С каждым днем ветры уносили нас все дальше в неизведанные широты.

## ЕДИНОБОРСТВО СО ЛЬДАМИ

День 26 сентября 1938 года ничем не выделялся из остальных. Ничто не предвещало каких-либо экстраординарных событий: погода стояла тихая, безветренная; льды были относительно спокойны. Лишь изредка ближние обломки полей лениво передвигались с места на место, царапая борт корабля. К таким небольшим подвижкам мы давно уже привыкли, и они нас несколько не тревожили. Судовые работы шли своим чередом. После ухода ледоколов «И. Сталин» и «Литке» на юг жизнь быстро перестраивалась на зимовочный лад. Закончив вахту в 8 часов вечера, я записал в судовом журнале:

«16 часов. Наблюдается сжатие льда вблизи судна. 18 часов. Лед разводит. Закончена постановка машины на консервацию. Пар прекращен, вспомогательный котел продут...».

Теперь можно было зайти в каюткомпанию и побаловаться чайком. Что может сравниться с таким удовольствием после долгого пребывания на холоде и в сырости? Объемистый чайник круглые сутки кипит на горячем камельке. Ваза всегда полна вкусными конфетами «Сибирь», на бумажной обертке которых изображена белка с пушистым хвостом. Клеенка на столе чисто вымыта дневальным. Им же аккуратно заправлена керосиновая лампа. Ниоткуда не дует. Ноги не мерзнут. Понятно, что по вечерам у камелька в кают-компании всегда священнодействует несколько любителей ароматного китайского напитка.

И на этот раз у меня быстро составила компанию. Ко мне подсели доктор и Андрей Георгиевич. Чайник обошел первый круг, зазвенели ложечки в стаканах, и полилась долгая, неторопливая беседа о разных разностях.

В этот вечер говорили о романтике моря. Я и Андрей Георгиевич начали карьеру мореплавателей в одном порту и на одном корабле, — это был дряхлый пароход «Индибирка», приписанный к Владивостоку. Не мы одни, — десятки капитанов и штурманов с любовью вспоминают славную, старую

«Индигирку», послужившую для них первой школой.

Андрей Георгиевич ушел в первое плавание в 1924 году, а я пять лет спустя. Много воды утекло с тех пор, на многих кораблях пришлось поработать за эти годы, много морей и стран повидал. Давно уже не плавает «Индигирка», получившая отставку за выслугой лет. Но первые юношеские впечатления навсегда сохраняют свою остроту, и мы с одинаковым восторгом вспоминали и тесный кубрик, в котором приходилось жить тогда, и первые рейсы в Хакодате и на Камчатку, и сердитого боцмана, презиравшего шумливую молодежь, и тайфуны, которые трепали несчастную «Индигирку», словно щепку, и лазурные тропические моря.

И Андрей Георгиевич, и я с детства мечтали о такой жизни, полной тревог, борьбы и новых впечатлений. Нам пришлось, конечно, внести кое-какие существенные поправки в свои представления о мореплавании, полученные из романов о приключениях. Вовсе не так сладко было драить палубу или крепить грузы на палубе во время шторма. И совсем было неловко, когда строгое начальство убеждалось в том, что новичок, в первый раз ушедший в рейс матросом 2-го класса, не так уж силен на деле.

Но зато сколько было радости, когда этот безусый новичок после пятимесячного практического стажа получал на руки новенькую мореходную книжку, в которой черным по белому было напечатано на нескольких языках, что предъявитель ее — настоящий моряк советского торгового флота!

Уже поистрепались наши мореходки, десятки советских и иностранных штемпелей покрыли их страницы, бывшие матросы 2-го класса стали водителями кораблей, а эта романтическая пора первого знакомства с морем все еще свежа в памяти, и никогда не устанешь о ней вспоминать.

Доктор внимательно слушал и соглашался с нами: кто однажды глотнул крепкого соленого воздуха моря, тот навсегда становится его пленником.

Доктор испытал это на себе: человек, сугубо сухопутный, студент Ленинградского медицинского института, он впервые попал на палубу корабля, отправившись на «Седове» в плавание на время каникул. И как ни тяжело ему пришлось из-за неожиданной зимовки, у него не было никакой охоты расставаться с морем...

Горячий чайник завершал восьмой или десятый круг, когда я почувствовал неожиданный и резкий толчок. Судно, стоявшее с креном на левый борт в 6 градусов, внезапно выпрямилось, дрогнуло и повалилось вправо. Меня отбросило на спинку кресла. Зазвенела посуда. Стокан поехал по столу и едва не свалился ко мне на колени. Послышался знакомый жесткий шорох — движущиеся льдины скреблись о борт корабля.

— Начинается, — кисло сказал Андрей Георгиевич, — когда, наконец, эта чортова чашка отстанет от нас?

Я встал из-за стола и отправился в рубку, чтобы взглянуть на кренометр. Итти было трудновато, — пол вздыбился, словно косогор. Меня, как и Андрея Георгиевича, очень беспокоило поведение гигантской ледовой чаши, которую нам никак не удавалось высвободить из-под корпуса судна. Лед, как известно, легче воды. Поэтому огромная глыба, на которой сидел «Седов» с прошлой зимы, все время норовила всплыть. Так как она крепко примерзла к корпусу парохода, то подняться ей не удавалось. Зато при малейшем изменении крена она действовала, словно хороший домкрат, и выворачивала из воды то один, то другой борт судна.

Так произошло и на этот раз. Незначительного сжатия было достаточно, чтобы нас резко перевалило с левого на правый борт.

Добравшись до рубки, я чиркнул спичкой и осветил кренометр. Указатель остановился на цифре 18°.

Я вышел на палубу, огляделся во круг, прислушался. Все было спокойно, даже слишком спокойно. Говорят, что громкий звук может убить человека. Могу заверить, что так же убийственно

действует на человека абсолютная тишина. В соединении с мраком полярной ночи она вдвойне страшна: тшггено напрягается слух, пытаюсь уловить малейшее звучание, легчайший шорох или скрип, — все мертво вокруг. Хочется нарушить покой, поднять стук, грохот, крик. Но что означает слабый голос человека на этом гигантском кладбище звуков? Льды поглощают его, как море глотает песчинку, и снова воцаряется безмолвие.

Густые сумерки окутывали ледовую пустыню. Над затерянным среди торогов «Седовым» висело холодное небо, такое же величественное, грозное и чужое, как сами льды. Темноглубое сверху, зеленоватое у краев, лилово-фиолетовое в самом низу, оно казалось призрачным и неправдоподобным. И только на юге, где небо прощалось с потухающим днем, розовела узенькая полоска — робкое подобие зари.

Я пробыл на палубе недолго, всего несколько минут. Но гнетущее ощущение одиночества, навеванное безмолвием и мраком в эти минуты, остро врезалось в память, — вероятно, потому, что вслед за ними на корабле разыгрались драматические события.

События эти развернулись в необыкновенно быстром темпе, значительно быстрее, чем о них можно рассказать.

Возвращаясь в кают-компанию, я заметил третьего механика Всеволода Алферова, быстро прошмыгнувшего в каюту, где жил Недзвецкий. Через полминуты оба пробежали по коридору, направляясь в машинное отделение. Я знал, что наши механики люди солидные и что зря они бегать не будут. Поэтому я тотчас же отправился вслед за ними.

В обширном и холодном машинном отделении царил кромешная тьма. Лишь в глубине его, на правой стороне, мерцали слабенькие огни свечей и раскачивался керосиновый фонарь «летучая мышь». Оттуда доносились крики, звяканье гаечных ключей и... журчание проникающей в корпус судна воды, — самый неприятный и страшный звук из всех, какие только известны морякам.

Вся машинная команда была уже в сборе.

Я подозвал старшего механика. Трофимов быстро взбежал по железному трапу. Я не мог в темноте увидеть его лицо, но с первых же слов по его интонации понял, что в машинном отделении произошло нечто серьезное, хотя старший механик старался говорить возможно спокойнее. Он докладывал:

— Из-за крена отливное отверстие запасного холодильника оказалось под водой. Невозвратный клапан не работает. Прокладку у крышки пробило. Сейчас потуже завернем ключом гайки у крышки и остановим течь...

Опять запасный холодильник дал течь! Невольно вспомнился разговор с Николаем Розовым, — тогда, перед самым уходом «Ермака» и «Садко», дело обстояло точно так же: «Седов» накренился на 20 градусов, и из-под крышки холодильника просочилась вода...

Я спросил:

— Нужен ли общий аврал? Что сделать вам в помощь?

Трофимов ответил:

— Нет, нет, мы справимся сами...

Пожалуй, Трофимов был прав: в прошлый раз механикам удалось самим довольно быстро устранить течь. Но лишняя предосторожность никогда не вредит, и я распорядился приготовить к переноске в машинное отделение брандспойт, — дело в том, что всякий раз при перетаскивании этой нехитрой машины ее приходилось разбирать, так как она не проходила в узкие двери и проходы.

Через 15 минут меня разыскал Трофимов. Бледный, перепачканный маслом и сажей, он быстро проговорил:

— Константин Сергеевич, ключами не закрыть... Вода прибывает...

Я приказал:

— Немедленно пустить дизель-динамо — осветить машинное отделение. Будем ставить на крышку холодильника цементный ящик, а до этого — откачивать воду бранспойтом. Общий аврал!..

Передав Андрею Георгиевичу необходимые распоряжения, я поспешил в



машинное отделение. Журчание воды стало громче, Крен явно увеличивался, а с ним возрастал напор льда. Добравшись до запасного холодильника, я увидел при свете тусклого фонаря, с какой яростью хлещут через разрывы в прокладке ледяные струи, озаренные колеблющимся, неровным огнем. Они били веером во все стороны, поливая людей. Мокрые, грязные механики все еще пытались остановить приток, но усилия их оставались напрасными. На-глаз можно было определить, что океан вгоняет в образовавшееся отверстие 25—30 тонн воды в час. У правого борта она уже выступала из-под плит и неприятно хлюпала под ногами.

Через несколько минут весь экипаж, за исключением радистов, был в машинном отделении. Люди понимали, что речь идет о жизни или смерти корабля, и каждый работал с огромным рвением. Буторин и Гаманков, спотыкаясь в темноте, таскали доски и мешки с цементом. Андрей Георгиевич начал ладить опалубку вокруг злосчастной крышки холодильника. Соболевский, Буйницкий, Гетман и Мегер в несколько минут собрали притащенный общими силами брандспойт, протянули шланг за борт и начали с бешеной энергией откачивать воду, быстро скоплявшуюся на полу. К ним вскоре присоединился Бекасов. На ходу он крикнул мне:

— В радиорубке сдвинулись было аккумуляторы, нарушились контакты. Но сейчас уже все в порядке...

Я выбрался наверх, чтобы проверить крен и послать донесение о случившемся в Москву.

Стрелка кренометра двигалась все дальше. Над льдами царила все та же гнетущая тишина. Ее нарушал лишь тоскливый собачий вой, — Джерри и Лыдинка, сошедшие на лед порезвиться, оказались отрезанными, так как трап внезапно оторвался от льдины и поднялся. Несчастные щенки не могли понять, что произошло, и выли во весь голос, задрав морды кверху и глядя на недоступный трап.

— Слово по покойнику, — сердито сказал знакомый голос.

Я обернулся и увидел Полянского,

который осматривал ящики аварийного запаса.

— У вас все в порядке? — спросил я.

— Готово. Могу передавать...

— А как с аварийной рацией?

— Да вот они, эти ящики. Тяжело больно. Неровен час, сходить придется, пожалуй, и не успеешь снять...

Я пошевелил ящики. Они, действительно, были очень тяжелы. В голове мелькнуло: может быть, начать перегрузку аварийного запаса на лед? Для этого надо снять людей с работы в машинном отделении. Но это значит: бросить корабль, — тогда он наверняка будет обречен на гибель.

Нет, покидать судно еще рано. Вреднее всего в таком положении была бы паника. А она может возникнуть, если прекратить борьбу с водой и начать отступление. Надо использовать все средства для спасения судна.

Вдвоем с Полянским я прошел в радиорубку. Пока он включал передатчик и звал станцию мыса Челюскин, я при свете керосиновой мигалки торопливо набросал донесение в Главсевморпуть:

«23 часа местного результате сжатия судно получило крен правый борт 18 градусов тчк Отливной заборный клапан вспомогательного холодильника стал пропускать воду также крышка вспомогательного холодильника тчк Вода стала поступать судно 23 часа 15 минут лед развело крен начал значительно увеличиваться также большего давления увеличилось поступление воды тчк Приступил откачке брандспойтом, ставлю цементный ящик...».

Я подал листок радисту. Он без-устали стучал ключом. Его лицо было серье-зно, губы плотно сжаты.

— Что случилось?

— Мыс Челюскин не отвечает, — отрывисто сказал он, — даю общий вызов...

Положение осложнялось. В голове мелькнуло: если не успеем сообщить на Большую Землю об аварии, нас ждут неважные последствия. Ведь с каждой минутой крен увеличивался: разошедшиеся льдины деликатно освободили корабль, предоставив ему переворачиваться, как угодно. Лишенное опоры, судно теперь целиком зависело от поступающей в машинное отделение воды: чем больше ее прибывало, тем сильнее был

крен, а чем круче был крен, тем энергичнее становился напор воды.

Спасательные работы затруднялись тем, что никак не удавалось дать электрический свет. Обычно дизель-динамо запускалась очень быстро. Теперь же, словно назло, двигатель капризничал.

Этот аварийный агрегат стоял на палубе, укрытый в дощатой будке. Повесив на гвоздь тусклый фонарь, Сергей Токарев возился с помпой,—из-за крена она отказывалась подавать воду для охлаждения цилиндра. Чтобы помочь ему, я схватил ведро и начал таскать воду из цистерны, находившейся на ботдеке. Ходить по палубе, неудержимо кренившейся на правый борт, становилось все труднее. Приходилось одной рукой держаться за поручни, чтобы не свалиться.

Притащив Токареву несколько ведер воды, я снова помчался в машинное отделение.

Из мрака попрежнему доносились тревожные, отрывистые голоса, лязг металла, чавканье брандспойта, журчание воды.

Брандспойт явно не справлялся с откачкой. При всем напряжении он выбрасывал за борт не более 10 тонн воды в час. Между тем установка цементного ящика должна была занять еще немало времени. Я приказал Трофимову поднять пар во вспомогательном котле, чтобы пустить в ход мощные паровые водоотливные средства.

— Для этого нужно двадцать часов, капитан, — сказал старший механик.

— А вы поднимите в три...

— Могут выйти из строя трубки...

Бережливый и заботливый стармех, кажется, готов был оберегать свое хозяйство даже на дне морском. Но обстановка заставляла нас идти на риск, и через несколько минут Алферов принял на себя обязанности кочегара и сам взялся за разводку огня под вспомогательным котлом. Шланг от брандспойта был заведен в горловину котла, — надо было накачать в него минимум 12 тонн воды.

А света все еще не было...

Казалось, что прошла уже целая веч-

ность. Между тем аврал начался всего сорок минут назад. События развертывались все быстрее, и только педантичный Андрей Георгиевич успевал регистрировать их с точностью до одной минуты, чтобы потом подробно описать аварию в вахтенном журнале...

В 24 часа крен достиг 30 градусов. Это была критическая точка. Еще немного — и все грузы, какие только находились на корабле, должны были с грохотом и треском сорваться с места и обрушиться на правый борт, а это послужило бы началом конца.

Я вскарабкался по трапу наверх и помчался в радиорубку. Полянский все так же сосредоточенно стучал ключом, держась одной рукой за краешек вздыбившегося стола, чтобы не упасть. В зубах у него дымилась трубка.

— Отозвался Рудольф, — спокойно сказал он, — сейчас передаю донесение.

Я набросал на клочке продолжение рапорта:

«24.00. Крен достиг 30 градусов тик  
Качаю воду вспомогательный котел одновременно разведены огни так как откачать брандспойтом невозможно...».

Полянский придвинул этот клочок к себе, одобрительно кивнул головой и продолжал передачу.

— Вызывайте Челюскин, — сказал я, — пусть связываются с нами каждые 10 минут...

На мгновение я выскочил на палубу. Никогда еще «Седов» не был в таком трудном положении. Его мачты низко наклонились. Палуба перекосилась. Собаки, оставшиеся за бортом, выли все жалобнее и заунывнее. Их вой далеко разносился по безмолвной пустыне. Холодные, безразличные звезды скупо озарили сумеречным сиянием наш накренившийся корабль и бескрайние льды. Что если нам придется оставить его? Что сулит нам тогда дрейф на этом вечно движущемся, изменчивом льду без корабля, без запасов продовольствия, без связи с берегом?..

И вдруг в эту тяжелую минуту у меня за спиной послышался знакомый вздох дизеля. Он вздыхал сначала слабо, потом все громче и громче, и вот

уже все судно огласилось размеренным шумом этой работающей машины, самое дыхание которой действует успокоительно. Токареву, наконец, удалось исправить помпу и привести аварийный агрегат в действие.

Я спустился в машинное отделение, чтобы еще раз проверить, как идет работа. Открыв дверь, я остановился и невольно зажмурился от неожиданности: в глаза ударил резкий, ослепительный свет электрических ламп, от которого мы уже отвыкли.

Теперь можно было как следует осмотреться. Как измотались люди за этот час! Трофимов и Алферов, запорошенные угольной пылью и измазанные машинным маслом, возлились у топки вспомогательного котла. Люди, работавшие у брандспойта, который был поставлен у самого водопада, низвергавшего из-под крышки холодильника, насквозь промокли. От них шел пар. Но никто не чувствовал мороза, и рукоятки брандспойта мелькали вверх и вниз с потрясающей скоростью.

Вокруг крышки холодильника быстро выростала деревянная опалубка. Андрей Георгиевич, Буторин и Гаманков красными от холода руками зажимали отверстия, из которых хлестали струи, гордили доски, сколачивали их. Выдержит ли цемент? Не вышибет ли его вода, как песок?

Я решил к тому времени, когда опалубка будет закончена, опустить за борт деревянный щит и прижать его так, чтобы он хоть на несколько минут преградил путь воде. Тогда бы мы быстро закутали крышку тряпками, паклей, простынями, одеялами и сверху обмуровали бы цементом.

Но тут ко мне подошел Токарев и внес новое предложение. Взволнованный и бледный, он быстро проговорил:

— Разрешите мне и Шарыпову спуститься за борт. Попытаемся заткнуть отливное отверстие снаружи...

Я взглянул на залитое маслом, потное и усталое лицо второго механика. В его глазах была видна твердая решимость настоять на своем.

Риск был огромный. Отливное отверстие к этому времени ушло на полтора

метра под воду. Льды были беспокойны. В любую минуту они могли подступить к самому борту и раздавить смельчака. Я уже не говорю о том, что такая ледяная ванна сама по себе страшна: температура воды не превышала минус полтора градуса.

Но этот рискованный и благородный поступок мог спасти корабль и жизнь экипажа. И я одобрил его.

Втроем мы поднялись на вздыбленную палубу и спустились к накренившемуся над водой правому борту. С собой механики захватили резиновую шлюпку, деревянный штормтрап, водолазный костюм и солидный ворох пакли, обмазанной тавотом.

После яркого электрического света, которым было освещено машинное отделение, густые сумерки сентябрьской ночи казались еще непрогляднее. Но Токарев и Шарыпов действовали быстро и деловито. Они надули шлюпку, бережно спустили ее в зияющую щель между бортом корабля и соседней льдиной и ловко скользнули в шлюпку по штормтрапу.

Держась за веревку, они, поочередно надевая водолазный костюм, ныряли в воду и силились подставить паклю под струю, врывающуюся в отливное отверстие. Токарев рассчитывал, что эта струя подхватит паклю и сама втянет ее внутрь.

Вначале дело не шло на лад. Токарев и Шарыпов быстро ооченели, руки и ноги их перестали слушаться. Но на исходе двадцатой минуты из машинного отделения донеслись торжествующие крики: струя, наконец, подхватила солидный клок пакли и с силой втянула его в отверстие. Приток воды мгновенно уменьшился. Теперь можно было немного перевести дух: пожалуй, «Седов» мог продержаться до того, пока будут подняты пары во вспомогательном котле. Мокрые, обледеневающие механики с трудом поднялись на борт. От них валил пар. Но лица их сияли: они выполнили свое обещание...

Я посмотрел на часы. Они показывали 2 часа 20 минут. К счастью, льды пока что не тревожили корабля, и он оставался в прежнем положении с кри-

тическим креном в 30 градусов. Бригада, работавшая у брандспойта, уже наполнила вспомогательный котел водой. Механики моментально задраили горловину и начали шуровать в топке, поднимая пар. Чтобы несколько восстановить равновесие, мы начали перекачивать брандспойтом накопившуюся в машинном отделении воду из-под правого борта в левый котел.

Желая уменьшить тревогу в Москве за нашу судьбу, я радировал:

«Удалось снаружи заделать частично временно отверстие зпт поступление воды уменьшилось тчк Откачиваю брандспойтом в левый котел поднимаю пары вспомогательном тчк Угрожающее состояние ликвидировано...».

Все же положение оставалось крайне напряженным. Достаточно было одного хорошего удара льдины слева, чтобы примерзшая к корпусу судна ледяная чаша потянулась кверху и произвела свое губительное действие. Поэтому я распорядился приготовить к выносу на лед аварийную радиостанцию и первоочередные запасы снаряжения, подобранные нами еще в начале сентября.

Шел четвертый час утра 27 сентября, когда стрелка манометра на вспомогательном котле дрогнула и поползла по циферблату. Нам казалось, что она ползет чрезвычайно медленно. Хотелось подогнать ее. Но на самом деле пар поднимался очень быстро: в шесть раз быстрее нормы. В 4 часа 30 минут Трофимов открыл клапан, послышалось шипение, и через мгновение четко заработала мощная паровая донка. Я с облегчением вздохнул, когда слышались ее тягучие, хлюпающие звуки.

Пары были разведены как нельзя более своевременно: уже через полчаса началось очередное сжатие льдов. Но к этому времени нам уже удалось уменьшить крен до 18 градусов, и теперь оно было менее страшно для корабля, нежели раньше.

С пуском паровой донки сразу освободилась большая половина экипажа, занятая у брандспойта. Можно было браться за выгрузку аварийной радиостанции. К 7 часам утра ящики с радиоаппаратурой были опущены на лед и

перенесены на сто метров от судна. Мы раскинули над ними палатку, и только после этого я мог отпустить людей хоть немного отдохнуть. Полянский сообщил радистам мыса Челюскин:

— Все в порядке. Можете снять наблюдение...

Иззябшие, промокшие люди валились с ног. Поэтому я разрешил всем лечь спать. Через несколько минут из всех кают уже доносился богатырский храп. Люди заснули где попало. Буторин приткнулся на диванчике. Гетман растянулся прямо на полу. Несколько человек задремали у камелька, где они хотели обсушиться. Ни у кого нехватило сил переодеться и умыться, — вся энергия была отнята непомерно трудным ночным авралом.

Мне тоже дьявольски хотелось вот также повалиться, где придется, и заснуть. Но должен же кто-то бодрствовать на корабле! И я, стараясь ни на минуту не присаживаться, чтобы не задремать, тихо бродил по судну, словно домовый.

На всем лежал отпечаток отшумевших бурных событий. В машинном отделении стояли лужи воды, уже подернувшиеся ледяными иглами. Недоделанный цементный ящик у крышки запасного холодильника белел в сумерках, словно вежа, напоминающая об опасности. Всюду валялись жгуты пакли, мешки с цементом, инструменты.

В кают-компани на остывшем камельке стоял холодный чайник. Забытая посуда скатилась на пол, а недопитый нами чай залил клеенку.

Я заглянул в радиорубку. Александр Александрович спал, склонившись на стол, с наушниками, одетыми на голову. И ему как следует досталось в эту ночь!

Позднее сентябрьское солнце наконец поднялось над горизонтом. Я взял секстан и определил координаты: 84°12' северной широты, 139° восточной долготы. Так вот чем порадовала нас 84-я параллель! А что сулила нам 85-я?

Напрасно было бы искать ответа у ледяной пустыни. В этих широтах надо в любой час и в любую минуту быть готовым к повторению таких эффектных

спектаклей. Кажущееся спокойствие льдов обманчиво. Мы только-что наглядно убедились в этом...

В 12 часов я разбудил Андрея Георгиевича, чтобы передать ему вахту. Мый старший помощник выглядел очень неважно: такие ночи не для его сердца. Под глазами у него набрякли мешки, весь он как-то осунулся. Но привычка к четкости и исполнительность взяли свое. Сполоснув лицо холодной водой, Андрей Георгиевич уселся на стул и приготовился внимательно слушать.

Мы договорились немедленно произвести выгрузку всех аварийных запасов на лед, пока во вспомогательном котле еще есть пар. Пустив в ход лебедки, мы могли проделать эту работу быстро и легко. Кроме того, следовало немедленно заглушить отливное отверстие, чтобы впредь такая история не повторялась, окончательно выровнять крен и привести корабль в порядок.

Через полчаса вся команда была на ногах, и мы взялись за работу. Хотя люди почти не отдохнули, но работали все с большим подъемом. Говоря откровенно, в этот день каждый чувствовал себя немножко героем: как-никак, а нам все же удалось выйти победителями из довольно трудной схватки со стихией. Сознание достигнутого успеха окрыляло людей и помогало им работать еще лучше.

К двум часам дня крен удалось уменьшить до 14 градусов, а к вечеру он сократился до 8 градусов. Как только отливное отверстие вышло из воды, механики с яростью обрушились на эту ненавистную деталь. Они заделали ее с таким прилежанием, что в другой раз скорее треснул бы борт, чем вода прорвалась сквозь холодильник. Во фланец клапана механики вставили резиновую прокладку и медную заглушку. Снаружи отверстие было забито доотказа паклей с тавотом, а сверху того в него вогнали толстую деревянную пробку.

Тем временем наверху шумели лебедки и слышались успокаивающие своей привычностью крики: «майна», «вира», словно мы выгружались не за 84-й параллелью, а где-нибудь в Архангельске или в Тикси.

Под руководством Андрея Георгиевича палубная команда спустила на лед несколько тонн грузов. Здесь были и бочки с горючим, и банки с аммоналом и окорока, заботливо упакованные Буторинным, и водонепроницаемые ящики, и тюки с меховой одеждой, и многое другое. Выгрузка аварийных запасов заняла у нас два дня. Одновременно мы опускали из твиндеков в трюм все грузы, чтобы хоть немного увеличить остойчивость судна.

Только к вечеру 28 сентября все было закончено, и я приказал тушить огонь под вспомогательным котлом. Жизнь снова входила в будничную колею, и утром 29 сентября Буйницкий, освобожденный мною от участия в аврале, попытался даже провести очередные наблюдения над элементами земного магнетизма. Ему удалось зафиксировать сильную магнитную бурю.

События, развернувшиеся 26—28 сентября, вызвали тревогу за наши судьбы в Москве. В Главсевморпути никак не могли найти объяснения причин неожиданного и стремительного крена корабля. Специалисты отказывались верить, что под кораблем могла сохраниться с прошлой зимы гигантская ледяная чаша, парализующая остойчивость судна.

Но это было именно так. И, получив телеграмму о недоумениях специалистов, я составил подробное донесение, в котором проанализировал причины неожиданной аварии. Вот этот документ, представляющий известный интерес для практики и теории остойчивости корабля в дрейфующих льдах:

«Во-первых, в прошлом году перед постановкой на зимовку не была откачана вода из первой, второй и пятой балластных цистерн, наполненных на 80 процентов. Вода в этих цистернах замерзла при крене на левый борт в восемь градусов. За лето лед не растаял, и привести судно в нормальное среднее положение не удалось.

Во-вторых, — и это главное, — к корпусу судна во время зимних сжатий прошлого года примерзли снизу огромные нагромождения льда, резко уменьшившие остойчивость судна. При осмотре руля летом водолазы обнаружили, что «Седов» находится в сплошной ледяной чаше, причем толщина ледяной прослойки под кораблем, по их свидетельству, достигала 8—10 метров.

Этот лед примерз к корпусу настолько крепко, что при попытке «Ермака» буксировать «Седова» большая льдина, оставшаяся после околки, держалась, несмотря на удары о встречный лед, около часа. После того, как она оторвалась, «Седов», имевший три котла под парами, а также наполненные балластные цистерны № 3 и № 4, накренился на 25° на левый борт; на палубе у «Седова» при этом грузы отсутствовали. Следовательно, ничто не ухудшало хорошую остойчивость судна. Поэтому и внезапный, резкий крен можно было объяснить только тем, что под корпусом оставалось большое количество примерзшего льда, нарушающее остойчивость.

После оставления «Седова» в дрейфе были видны две большие льдины, примерзшие к корпусу и выступающие на полтора-два метра от правого борта, одна против машинного отделения, вторая против трюма № 3, — обе на 2—3 метра под водой.

17 сентября мы пытались уничтожить эти льдины взрывами, однако от них отваливались лишь незначительные куски. 21 сентября после сжатия у кормовой части левого борта всплыла льдина объемом около 50 кубических метров с явными отпечатками стыков листов и заклепок корпуса.

Все это заставляет предполагать, что под корпусом находится значительное количество примерзшего льда. О размерах его трудно судить. Однако я предполагаю, что лед уходит под корпусом на глубину не менее 4—5 метров, так как зимние сжатия происходили при низкой температуре и ледяные поля, уходившие под корпус, быстро смерзались друг с другом.

До сжатия 26 сентября судно имело крен на левый борт в шесть градусов. Во время этого сжатия, когда возник крен на правый борт в 18 градусов, — уменьшение метацентрической высоты и кренящийся момент плавуности льда, примерзшего к корпусу и вследствие этого державшегося на большой глубине под водой, не дали судну выпрямиться и усугубили увеличение крена в дальнейшем.

Принимая во внимание непрерывные подвижки льда, считаю с возможностью повторения большого крена, последствия которого предусмотреть невозможно. В связи с этим сегодня выгрузил на лед аварийную радиостанцию, пятимесячный запас продовольствия, снаряжение, меховую одежду. Второй комплект аварийных запасов, включая радиостанцию, уложен в полной готовности на палубе.

В настоящее время судно находится в нормальном состоянии. Отверстие вспомогательного холодильника заделано. Вода откачана полностью с помощью паровой донки.

Льды не оставляли нас в покое. В вахтенном журнале изо дня в день появлялись однообразные записи:

«30 сентября. 84°13' северной широты и 138°00' восточной долготы. В 11 часов на норд-ост, в расстоянии около 0,3 мили, появилось разводье, идущее с северо-запада на юго-восток. В 17 часов разводье сошлось.

3 октября. 84°22',5 северной широты и 135°34' восточной долготы. С 7 до 8 часов подвижки льда под кормой. В 23 часа развело молодой лед. По правому борту отходит кромка льда. Справа по носу появилась трещина.

4 октября. 84°23' северной широты, 133°26' восточной долготы. 0 часов. Дует порывистый норд-ост, силой 5 баллов. 2 часа 50 минут. Лед у правого борта немного разошелся. Справа по носу трещина раздвинулась на 10 сантиметров. С востока слышны звуки торошения. Ветер стихает, отходя к северу. Ощущаются легкие толчки. 3 часа 15 минут. Начало жать на правый борт. 3 часа 50 минут. Ветер, затихший было совсем, резко задул от востоко-юго-востока с силой 4—5 баллов. Началась пурга. 4 часа. Ветер перешел к востоку и усилился до 7 баллов. 10 часов. Справа по носу лед разводит. 11 часов. Разводья сошлись. Образовались новые трещины, идущие от носа судна вправо. 12 часов. Сильное сжатие. Лед напирает на правую скулу судна. Льды частично уходят под корпус. Отмечено давление на корпус в районе машинного отделения. 12 часов 10 минут. Осмотрели трюмы № 1 и № 2. Повреждений не обнаружено. Сжатие прекратилось...».

И так — изо дня в день, из ночи в ночь. Естественно, что обстановка вынуждала нас торопиться с организацией аварийных баз.

Могучее ледяное поле, облубованное мною 31 августа, пока-что держалось крепко. Хотя непрерывные сжатия изрядно обмяли тупой выступ, за которым нашел приют «Седов», все же он защищал корабль от прямых ударов. Поэтому аварийные базы я решил организовать именно на этом ледяном поле.

После того, как все ящики и тюки были выгружены на лед, надо было выбрать наиболее надежное место, где они могли бы находиться в относительной сохранности. Такое место мы нашли в

100 метрах от корабля, считая на север: при попытке измерить здесь толщину поля бур ушел в лед на два метра, но до воды так и не достал.

Гаманков и Буторин под руководством Андрея Георгиевича взялись за установку палатки для аварийного запаса. Они выдолбили во льду углубления, вставили колья и залили водой. 19-градусный мороз моментально сковал эту воду, и теперь колья держались не хуже, чем в бетоне. На них натянули брезент. Буторин быстро и умело закрепил оттяжки, и палатка аварийного склада была готова.

Неподалеку мы раскинули большую жилую палатку. По нашим масштабам это был настоящий парусиновый дворец, в котором мог в случае нужды поселиться весь наш экипаж. Внутри жилой палатки мы в два настила уложили доски, а сверху поставили... двупальные матрацы на пружинах, оставленные нам в наследство. На льду пружинные матрацы выглядели довольно экзотически.

Чтобы довершить комфортабельное оборудование жилой палатки, механики установили в ней маленький чугунный камелек.

Теперь мы могли жить несколько спокойнее, — у нас была создана, так сказать, «вторая линия обороны», на которую мы могли отойти в случае катастрофы. В аварийном поселке у нас было подготовлено все необходимое для жизни, и при сильном сжатии нам уже не надо было думать о спасении запасов продовольствия и снаряжения, как 26 сентября, — мы могли со спокойным сердцем до последней минуты отстаивать судно.

Что и в каком количестве мы выгрузили на лед? Думаю, что этот список будет небезполезен для тех, которые интересуются не только нашими переживаниями, но и практическим опытом:

1. Компас судовой, 5-дюймовый «ГУ».
2. Компас шлюпочный.
3. Секстан «ГУ».
4. Хронометр средний.
5. Карта навигационная № 1565 (изд. 1936 г.).
6. Часы карманные — 2 шт.
7. Бинокли — 2 шт.

8. Транспортир навигационный.
9. Готовальня средняя.
10. Параллельная линейка.
11. Морской ежегодник на 1938 г.
12. Мореходные таблицы изд. «ГУ» 1933 г.
13. Мореходная астрономия Хлюстина.
14. Навигация Сакеллари.
15. Aneroid-высотометр.
16. Психрометр Асмана, малый.
17. Минимальный термометр.
18. Термометр с пеналом для измерения температуры воды.
19. Почвенный термометр.
20. Бумага газетная.
21. Бумага-миллиметровка для чертежей.
22. Тетради ученические — 6 шт.
23. Карандаши простые — 2 шт.
24. Тушь черная — 2 палочки.
25. Ручка, перья.
26. Резинки.
27. Навигационный журнал.
28. Магнитометр-комбайн.
29. Топографический теодолит.
30. Резиновая шайка с насосом — 1 шт.
31. Байдарка — 1 шт.
32. Топоры — 2 шт.
33. Коробка — 1 шт.
34. Патроны — 400 шт.
35. Аммонал — 480 кг.
36. Детонаторы — 425 шт.
37. Шнур бикфордов — 40 кругов.
38. Лесоматериалы.
39. Уголь — 21 мешок.
40. Бензин — 2,8 тонны.
41. Керосин — 1 тонна.
42. Авиамасло — 1 бочка.
43. Трос (плетеный льня) — 1 бухта.
44. Палатки большие — 2 шт.
45. Палатка малая — 1 шт.
46. Нитки парусные — 1 моток.
47. Камелек — 1 шт.
48. Ключ гаечный — 1 шт.
49. Напильник — 1 шт.
50. Ручник — 1 шт.
51. Примусы с набором иголок — 2 шт.
52. Керосинка — 1 шт.
53. Фонари «Летучая мышь» — 3 шт.
54. Фонарь масляный от компаса — 1 шт.
55. Свечи — 130 шт.
56. Матрацы пружинные — 3 шт.
57. Матрацы соломенные — 20 шт.
58. Подушки — 19 шт.
59. Толь — 3 рулона.
60. Спальные мешки — 15 шт.
61. Пимы — 15 пар.
62. Брюк меховых — 15 пар.
63. Рубах меховых — 15 шт.
64. Малиц — 15 шт.
65. Ракет — 5 шт.
66. Тавот — 3 кг. (1 банка).
67. Кожа подошвенная — 2 листа.
68. Миски — 15 шт.
69. Ложки — 15 шт.
70. Вилки — 15 шт.
71. Ножи — 15 шт.
72. Чайники — 2 шт.
73. Кастрюли — 2 шт.

- 74. Сквороды — 2 шт.
- 75. Чумички — 1 шт.
- 76. Термосы — 2 шт.
- 77. Умывальник — 1 шт.

Второй точно такой же комплект аварийного снаряжения мы уложили в закупоренных ящиках на палубе над трюмом № 2 — на случай, если основная наша база почему-либо погибнет.

Наконец, каждому зимовщику в отдельности был выдан личный аварийный запас, в который входили: меховой костюм, шапка, пара пимов, пара валенок, метр двойного шерстяного портяночного материала, перчатки, меховые рукавицы, две пары теплого белья и пара летнего белья. Все это было упаковано в брезентовые вещевые мешки, сшитые на манер туристских рюкзаков. Кроме одежды, в вещевой мешок полагалось уложить по 20 патронов, по 2 плитки шоколада, спички и другие необходимые вещи, а также личные документы.

Не успели мы закончить оборудования аварийных баз, как на нашу долю выпало новое и кропотливое дело.

Серьезную роль в нашей жизни и работе играл скромный агрегат, состоявший из дизеля и динамомашин. В часы авралов он давал нам электрическое освещение. Этот же агрегат заряжал аккумуляторы Полянского, обеспечивавшие связь по радио с Большой Землей. В особо торжественных случаях энергией дизеля и динамо мы пользовались для демонстрации кино.

Целый год дизель работал безотказно. И вдруг совершенно неожиданно утром 3 октября, едва началась очередная зарядка аккумуляторов, он затарахтел и остановился. Когда механики его вскрыли, они увидели неприглядную картину, — в результате усталости металла лопнул стяжной болт и произвел огромные разрушения, последствия которых исправить было невозможно.

Я зашел в радиорубку, чтобы выяснить, сколько дней Полянский сможет продержаться, пока механики будут устанавливать новый двигатель. Полянский подумал, посмотрел на приборы, стрелки которых стояли около нуля, еще подумал и уверенно сказал:

— Как-нибудь проживем. Сроков ставить не буду. Механиков не надо агитировать...

И в самом деле, механики прекрасно понимали, что от их работы теперь целиком зависела связь с берегом.

Пока механики трудились в машинном отделении, остальная часть команды выполняла другую, не менее сложную работу: чтобы отразить неизбежные атаки будущих сжатий, надо было установить в трюме мощный айс-бимс.

Под этим звучным наименованием скрывается довольно прозаическое устройство, — огромный и неуклюжий на вид составной деревянный брус, квадратной формы, толщиной около метра. Своими концами этот брус опирается в оба борта и противостоит натиску льдов.

Айс-бимс был установлен в трюме, поперек кочегарки, еще в прошлую зимовку. Но в связи с подготовкой корабля к навигации мы были вынуждены разобрать его, так как он мешал подступу к котлам. Теперь же нам предстояло вновь собрать это громоздкое, но зато прочное и надежное сооружение.

Сборку айс-бимса проводила наша палубная команда под руководством Андрея Георгиевича. Буторин и Гаманков соорудили в кочегарке надежные деревянные козлы. Затем из бункера были вытащены общими усилиями спрятанные там брусья. Их подняли на козлы и стянули друг с другом гигантскими скобами и винтами, пропущенными насквозь через весь айс-бимс.

Для того, чтобы закончить последние приготовления к зимовке, нам оставалось укрепить деревянными распорками изогнутый прошлогодним сжатием металлический коробчатый айс-бимс в машинном отделении, поставить на консервацию некоторые механизмы, оставшиеся пока в боевой готовности, и закончить утепление помещений.

Вскоре и эти работы мы завершили. Теперь корабль и его экипаж были полностью готовы к единоборству со льдами.



9 октября я записал в дневнике:

«Итак, началась полярная ночь. Сегодня солнце в последний раз показалось над горизонтом. К сожалению, мы его не увидели: оно спряталось в густом тумане. Снова, как год назад, почти сутки царит темнота. Только в середине дня на юге небо немного светлеет. Но в прошлом году в это время наши корабли еще двигались, у нас еще была надежда пробиться на восток. Теперь все ясно и определено, нет никаких иллюзий, — мы зимуем.

Оттепель, наступившая в последние дни, вызвала густые туманы, затрудняющие ориентировку. Но 8 октября удалось определиться. Мы оказались на  $84^{\circ} 21',8$  северной широты,  $133^{\circ} 40'$  восточной долготы. За месяц мы продвинулись примерно на один градус к северу и более чем на четыре градуса к западу. Это означает, что мы следуем дорогой «Фрама», хотя наш дрейф протекает значительно севернее. Не сегодня — завтра мы пересечем 85-ю параллель и очутимся в окрестностях полюса.

За эти 44 года Арктика очень сильно изменилась. Нас несет в полтора раза быстрее, чем «Фрам». Однако скорость дрейфа крайне неравномерна, а направление изменчиво.

В феврале мы дрейфовали почти рядом с островом Генриэтты. Свой пяти-месячный «юбилей» — 23 марта — мы встретили на  $78^{\circ} 47'$  северной широты и  $152^{\circ} 28',1$  восточной долготы. За эти пять месяцев корабли продрейфовали 1 600 километров, причем скорость дрейфа иногда превышала 15 километров в сутки.

2 марта «Седов» достиг  $153^{\circ} 26'$  восточной долготы и  $78^{\circ} 23',7$  северной широты. Отсюда нас очень быстро понесло на северо-запад, и в конце июня мы пересекли 140-й меридиан. Начиная с июля мы упорно двигались на север, примерно вдоль 138-го меридиана, и к моменту прихода «Ермака» оказались за 83-й параллелью. Сейчас продвижение на север замедлилось, но зато нас более энергично несет к западу.

Все это говорит о том, что за по-

следние годы произошла разгрузка Полярного бассейна, иными словами, ледовитость его уменьшилась, — действие ветров, движущих льды, ощущается сильнее, так как эти льды стали разреженнее.

Это мы и сами наблюдаем воочию. Сейчас, в начале полярной зимы, в сердце Центрального Полярного бассейна, — вокруг нас такая ледовая обстановка, что впору начинать навигацию. Три дня тому назад в ста метрах к востоку от судна появились новые разводья, идущие с севера. С северо-востока до юго-юго-запада по всему горизонту появились темные пятна — знак чистой воды. Вчера открылось новое большое разводье на северо-востоке, в расстоянии мили от судна. Теперь уже по всему горизонту, начиная от одной-двух миль от судна и кончая пределами видимости, — сплошное водяное небо. Почти на всех румбах видны разводья. Особенно много их на востоко-северо-востоке, где чистая вода тянется узкими, длинными полосами.

Морозы, наступившие во второй половине сентября, сменились потеплением. Температура воздуха  $+0,2$  градуса.

Матросы шутят: скоро выйдем на чистую воду и доберемся до полюса; а там, наверное, уже апельсины растут...

Впрочем, каждый из нас прекрасно отдаст себе отчет в трудностях, которые предстоит одолеть. Рано или поздно, это потепление кончится, и начнется настоящая полярная зима, посерьезнее той, которую мы испытали в море Лаптевых.

Тяжелее всего ощущение оторванности от семей, от родных и близких. Сегодня я получил встревоженную телеграмму из дому, — туда дошли вести о нашем большом аврале 26 — 27 сентября. Долго читал и перечитывал эти строки, написанные рукой близкого человека за много тысяч километров отсюда.

Потом написал в ответ:

«Родная! Понимаю твое состояние. Ты еще выше будешь в моих глазах, если выдержишь с честью это первое испытание, которое одинаково тяжело нам обоим. Не волнуйся, — льды теперь

ведут себя совершенно спокойно. Сейчас мы заканчиваем приготовления к полярной ночи. Сегодня оттепель, а недавно мороз достигал 20 градусов. Широта  $84^{\circ}21'$ , долгота  $134^{\circ}$ . Советую прочесть книгу Нансена о дрейфе «Фрама». Это до некоторой степени дает представление о нашей жизни. Обязательно купи себе теплые боты на зиму...»

Вспомнил о «Фраме» и подумал: как тяжело было Нансену и его спутникам без радио! Мы все-таки имеем возможность каждый день общаться с родными, узнавать новости, получать указания и советы. Они же в течение долгих трех лет были отрезаны от всего мира и могли рассчитывать только на свои силы. Каким мужеством надо было обладать, чтобы не рехнуть от тоски за эти годы!

Пора ложиться спать. Завтра предстоит много работы: начну составлять план научных исследований на эту зиму. Сейчас, когда все первоочередные дела по подготовке к зимовке завершены, можно и нужно весь экипаж превратить в коллектив исследователей.

### ПЯТНАДЦАТЬ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Большинство выдающихся арктических экспедиций прошлого, а в особенности советских, располагало хорошо подготовленными кадрами научных работников и было прекрасно снаряжено. На «Седове» дело обстояло иначе: к тому времени, когда наступил наиболее интересный, с точки зрения науки, этап дрейфа, — мы не имели ни подготовленных кадров исследователей, ни специального оборудования для производства научных наблюдений. Поэтому вначале, когда мы расстались с «Ермаком» и «Садко», предполагалось, что наш коллектив ограничится минимумом исследований.

В самом деле, из 15 членов экипажа «Седова», как известно, один лишь Буйницкий был более или менее близок к научной работе: студент 5-го кур-

са Гидрографического института, он прошел неплохую школу в дни первой зимовки у профессора Жонголовича. Этот опытный полярный исследователь научил Буйницкого делать астрономические определения с большой точностью, проводить магнитные наблюдения, работать с прибором Венинга Мейнеца.

В период совместного дрейфа трех кораблей, когда на «Садко», «Малыгине» и «Седове» оставалось 33 человека, Буйницкий работал вдвоем со вторым научным работником Чернявским, по специальности гидрологом. Но и тогда объем выполнявшейся ими работы не был особенно широк, поскольку командование «Садко», служившего базой исследований, не считало себя вправе вмешиваться в нее, и двое научных сотрудников были предоставлены самим себе.

Теперь же Буйницкий остался один. После того как он перешел на «Седов», мы, как могли, содействовали ему. В частности я освобождал молодого научного работника от всех авралов, за исключением тех, которые решали судьбу корабля. Работал он много, охотно и усердно. В сентябре он успел провести 32 астрономических, 2 магнитных и 3 гравитационных определения. И все-таки целый ряд научных проблем — среди них такие, как глубоководные и гидрологические исследования, — естественно, выпадали из поля его деятельности.

Меня тяготила мысль о том, что наш дрейф по неизведанным просторам Центрального Полярного бассейна не сможет дать науке всего, что она от него ждет. Надо было что-то придумать. В конце-концов, не только ученые обогащают науку. Мне вспомнились имена простых русских моряков — братьев Лаштевых, Челюскина, Прончищева, Пахтусова. Разве они готовили себя к исследовательской карьере? Но обстоятельства сложились так, что им пришлось взяться за новое, не знакомое им дело, и вот их имена увековечены на географической карте.

Правда, в те далекие времена исследовательская работа была много проще, чем теперь. От моряков, бравшихся за

нее, наука требовала одного — наблюдательности и правдивости. Это требование было с исчерпывающей ясностью изложено в старинном морском правиле: «Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем».

В наши дни наука предъявляет к исследователю Арктики более серьезные требования. Она ждет прежде всего точности и строжайшей проверки всех данных. Она требует умения обращаться со сложнейшими приборами. Наконец, она предполагает наличие этих приборов у исследователя.

Приборов у нас нехватало. Людей, умеющих обращаться с ними, было маловато. И все-таки я решил попытаться организовать исследование Центрального Полярного бассейна так широко, как это было возможно. Я считал, что успех их будет обеспечен, если за дело возьмемся мы все, не считаясь с чинами и званиями, — от капитана до кока. И действительность впоследствии подтвердила правильность этого решения.

Как только мы покончили с первоочередными заботами о безопасности корабля, я пригласил к себе Андрея Георгиевича и Буйницкого и предложил составить план-максимум вместо плана-минимума, которым до сих пор были ограничены наши научные наблюдения. Вначале мои собеседники отнеслись к этой идее несколько скептически, но потом увлеклись ею и активно взялись за дело.

Свой план мы строили из расчета, что все пятнадцать зимовщиков будут участвовать в проведении исследований. Буйницкий составил обширную программу астрономических, магнитных и гравитационных наблюдений. Андрей Георгиевич разработал план гидрологических работ. Мною был подготовлен обстоятельный список глубоководных измерений, наблюдений за жизнью льда и метеорологических наблюдений. В частности я решил ввести двухчасовую метеовахту. Это было серьезным новшеством: на «Садко» метеонаблюдения производились лишь четыре раза в сутки. Но так как теперь мы дрейфовали в совершенно неизведанных районах, где

до нас не бывал ни один человек, я считал обязанностью экипажа — дать науке исчерпывающие сведения о состоянии погоды в Центральном Полярном бассейне, хотя производить наблюдения через каждые два часа в условиях полярной ночи было нелегко.

Когда мы всесторонне изучили возможности нашего коллектива, то оказалось, что сил у нас для организации наблюдений хватит. За Буйницким я решил оставить те же наблюдения, какие он вел на «Садко». Метеорологическая вахта была распределена между мною, Ефремовым, Соболевским и Буйницким. Гидрологические наблюдения взял на себя Андрей Георгиевич. Глубоководные промеры и наблюдения за жизнью льда я оставил за собой.

К участию во вспомогательных работах, не требовавших специальной подготовки, я решил привлечь наших механиков, радистов и матросов. Разве трудно было при желании, например, подготовить Бекасова на пост запасного метеонаблюдателя? Ведь он окончил мореходный техникум. Шарыпову можно было смело доверить такое дело, как измерение осадков. Буторин и Гаманков, бесспорно, не отказались бы от такого поручения, как сверление льда для измерения его толщины. Одним словом, работа находилась для каждого.

Сложнее было найти необходимое оборудование. К счастью, на борту «Седова» случайно оказалось несколько ящиков с грузами, принадлежавшими различным экспедициям. Мы вскрыли эти ящики и начали искать — нет ли в них нужных нам инструментов и приборов. Поиски эти дали кое-какие результаты. Но, к сожалению, нам удалось найти далеко не все, что требовалось.

После подсчета всех ресурсов мы убедились, что богатства наши крайне неравномерны. Лучше всего были обеспечены астрономические и магнитные исследования. У нас был точнейший механизированный и электрифицированный теодолит Гильдебрандта, с помощью которого можно было определять координаты с точностью до двух секунд. Кроме того, мы располагали 15-секундным универсалом Гильдебрандта и 10-се-

кундным универсалом Керна. Секстанов у нас было столько, что мы могли вооружить ими почти каждого члена экипажа: 10 штук образца «ГУ» (Гидрографического управления) и 2 английских. Теодолитов набралось около десятка.

Свои вычисления мы могли проверять по семи хронометрам большой точности, — пять из них находились в каюте у Буйницкого, один — у меня и один хранился в аварийном запасе. Навигационных карт у нас было около пятисот, биноклей — до двух десятков, компасы имелись также в значительном количестве.

Для магнитных наблюдений мы могли пользоваться двумя первоклассными универсальными магнитометрами типа «Комбайн». Наконец, гравиметрические определения были обеспечены замечательным прибором Венинга Мейнеца.

Что же касается гидрологических и глубоководных исследований, то здесь дело обстояло значительно хуже. Когда «Садко» уходил на юг, мы не успели снять с него хотя бы самые необходимые приборы. Правда, среди грузов, принадлежавших экспедициям, Андрею Георгиевичу удалось разыскать около 15 более или менее пригодных батометров<sup>1</sup>. Но даже эти батометры не имели необходимых термометров для измерения температуры воды на заданных горизонтах.

Для людей, не знакомых с глубоководными гидрологическими наблюдениями, следует пояснить, что эти «опрокидывающиеся» термометры отнюдь не похожи на те, с которыми приходится иметь дело в общежитии. Их в особой раме прикрепляют к батометру и опускают на тонком тросике на желаемую глубину. Здесь ртуть в капилляре подымается или опускается по общему закону. По прошествии 8—10 минут, когда термометр воспримет температуру окружающей воды, по тросику посылается особый грузик-почтальон, переворачивающий батометр вместе с прикрепленными к нему термометрами. Батометр при

этом закрывается, а в термометре у специально устроенного сужения ртуть обрывается и стекает в нижнюю часть капилляра. Этот оторвавшийся столбик ртути, понятно, пропорционален температуре, наблюдавшейся на данной глубине. Термометры эти очень хрупки и нежны и дают возможность определять температуру с точностью до одной сотой градуса. И хотя Андрею Георгиевичу удалось найти в ящиках около 50 таких приборов, только четыре из них оказались исправными.

Конечно, можно было бы начать работу и с четырьмя батометрами. Но у нас не было ни лебедок, ни тросов, с помощью которых можно было бы опустить батометры на большую глубину. Все же мы внесли в свой план и эти измерения, учитывая их научное значение. И я, и мои помощники уже достаточно хорошо знали нашу машинную команду: если о тульских кузнецах говорили, что они способны блоху подковать, то наши мастера были способны и на более трудную работу. После кропотливых расчетов, в которых самое деятельное участие принимал Андрей Георгиевич, мы решили, что многое из недостающего нам оборудования удастся, хотя и с трудом, сделать своими силами.

Когда я свел воедино все наши проекты, получился весьма солидный план, подставить серьезной научной экспедиции. Я привожу его здесь полностью, чтобы показать во всем объеме, какие трудные задачи наш коллектив добровольно поставил перед собой.

#### План научных работ в дрейфе на л/п «Седов» в 1938 г.

##### Метеорологические наблюдения

1. Через каждые два часа ведутся наблюдения за:

а) температурой воздуха в срок наблюдения,

б) максимальной температурой между сроками,

в) минимальной температурой между сроками,

г) барометрическим давлением в срок по 2-м anerондам,

д) направлением и силой ветра (анемометром Фуса),

е) облачностью,

ж) горизонтальной видимостью.

<sup>1</sup> Батометр — прибор для взятия пробы воды с определенной глубины.

2. Метеорологическую вахту несут: Бадигин, Ефремов, Соболевский, Буйницкий.

3. Наблюдения производятся в нечетные часы по поясному времени.

4. Раз в сутки в 0 час. по поясному времени производится измерение количества выпавших осадков. Измерение осадков производят Бадигин, Шарыпов.

5. Непрерывно работают самописцы давления, температуры, влажности.

6. В сроки 1 ч., 7 ч., 13 ч., 19 ч. на самописцах производятся отметки.

7. Общее наблюдение и уход за самописцами (смена лент, завод) ведет Буйницкий.

8. Во время метеовахты ведутся наблюдения за полярными сияниями.

#### Астрономические наблюдения

1. Астрономические наблюдения для определения места корабля производятся так часто, как позволяет наличие светил (не чаще 2 раз в сутки).

2. Для определения широты и долготы производится не менее трех наблюдений.

3. Необходимо иметь в виду, что даже одна линия положения является весьма ценной.

4. Наблюдения производятся универсальным 10-секундным прибором Керна.

5. Наблюдения ведет Буйницкий.

#### Магнитные наблюдения

1. Через 12—15 миль пути дрейфа производятся магнитные наблюдения для определения склонения, горизонтальной составляющей силы земного магнетизма и наклонения.

2. Примерно через 30 миль производятся суточные серии наблюдения склонения. Магнитные наблюдения производятся универсальным магнитометром «Комбайн» № 17.

3. Не реже чем через 2—3 дня (в зависимости от наличия светил) производятся определения поправки главного компаса.

4. Магнитные наблюдения ведет Буйницкий.

5. Одновременно с наблюдениями склонения ведутся определения поправки главного компаса 5-дюймового «ГУ», свободного от действия судового железа. Наблюдения ведет Ефремов.

#### Гравитационные наблюдения

1. Через 15—20 миль дрейфа производятся гравитационные наблюдения маятниковым прибором Венинга Мейнеца.

2. Гравитационные наблюдения приурочиваются к измерению глубин. Наблюдения ведет Буйницкий.

#### Гидрологические работы

1. Через каждые 10 миль дрейфа производится взятие поверхностных проб.

2. Через 20—25 миль производятся глубоководные наблюдения. Наблюдения ведутся Ефремовым.

#### Наблюдения за жизнью льда

1. Через каждые 10 дней, а именно 10, 20 и 30 числа каждого месяца производится сверление льда происхождения 1937 и 1936 годов.

2. Через каждые три дня производится сверление льда происхождения 1938 года. После достижения льдом образования 1938 года толщины 1 метра сверление его производится также через 10 суток.

3. Наблюдения за льдом ведет Бадигин.

4. Наблюдения за подвижками, торошением льда и т. д. ведут вахтенные начальники.

При производстве всех вышеуказанных работ каждому ответственному за ту или иную работу помогают прикрепленные к нему вахтенные:

Бадигин — Шарыпов.

Ефремов — Гетман.

Соболевский — Буторин.

Буйницкий — Гаманков.

Что должны были дать науке все эти исследования?

Метеорологические наблюдения, иными словами, наблюдения над состоянием погоды, проводятся во многих тысячах пунктов земного шара. Четыре раза в сутки сведения о давлении и температуре воздуха, направлении и силе ветра, облачности, видимости и осадках передаются всеми наблюдательными постами по радио в центральные институты погоды. На основании этих данных составляются синоптические карты, показывающие перемещение воздушных масс, возникновение циклонов и антициклонов и т. д. Они позволяют предсказывать погоду, предупреждать о наступлении засушливых и дождливых периодов, делать выводы, имеющие крупное народнохозяйственное значение.

Однако Центральный Полярный бассейн, площадью свыше 5 000 000 квадратных километров, лишен таких наблюдательных постов. Самая северная в мире метеостанция устроена на острове Рудольфа (81°48' северной широты и 57°57' восточной долготы) и принадлежит СССР. Естественно, что от нас, проникших в более высокие широты, ждали метеосводок с особенным интересом: они должны были многое объяснить и рассказать ученым.

Но этого мало. Метеонаблюдения, производившиеся нами, имели не только утилитарное, практическое значение. Проводя их не четыре раза в сутки, как обычно, а втрое чаще, мы обеспечивали для науки богатый фактический материал для проверки созданных ею гипотез и теорий о метеорологических явлениях в центре Арктики. Ведь со времени экспедиции Нансена почти никаких сведений о погоде в Центральном бассейне Арктики не получали. Мы же, вслед за станцией «Северный полюс», имели возможность вести такие наблюдения на протяжении очень длительно-го периода.

Астрономические наблюдения, которые мы могли производить с очень большой точностью нашими усовершенствованными приборами, должны были обеспечить абсолютно верное отражение движения корабля, уносимого льдами. Кстати сказать, за время нашего дрейфа нам удалось провести свыше 400 астрономических определений — вдвое больше того, что было сделано на «Фраме», причем определение долготы у нас было более точным, так как мы имели возможность регулярно сверять свои хронометры по радио с Москвой и иностранными станциями, а у Нансена этой возможности не было. Эти определения имели большое значение для вывода законов движения льдов в Центральном Полярном бассейне. Кроме того, они придавали особую ценность всем научным работам, которые мы вели: ведь всякое наблюдение только тогда интересно для науки, когда точно известны координаты места, где оно производилось.

Что представляли собой магнитные наблюдения и для чего они были необходимы? Как известно, магнитные полюсы не совпадают с географическими. Кроме того, магнитные силы земли не только имеют разную величину и направление в различных частях земного шара, но и распределены на его поверхности неравномерно. Казалось бы, стрелка компаса должна указывать на южный магнитный полюс, находящийся на крайнем северо-востоке Канады (на полуострове Боотия —  $70^{\circ}30'$  северной

широты и  $264^{\circ}30'$  восточной долготы). Однако она направлена по магнитным меридианам, изображающимся на земной поверхности искривленными линиями.

Угол между географическим и магнитным меридианами называется склонением магнитной стрелки, и, чтобы пользоваться магнитным компасом, необходимо знать это склонение в каждом данном районе. При этом следует иметь в виду, что склонение магнитной стрелки подвержено изменениям во времени — суточным, годовым и вековым, — которые также требуют изучения.

Особенно непостоянно поведение магнитной стрелки в Арктике и Антарктике. В науке существует теория, согласно которой, кроме основных магнитных (внутренних) полюсов, есть добавочные (внешние), также расположенные в высоких широтах, причем как основные, так и добавочные полюсы, не стоят на месте, а слегка перемещаются.

Если учесть, что до сих пор более 4 миллионов квадратных километров Арктики никто и никогда не посещал, то станет ясно, какое большое значение приобретали наши наблюдения над поведением компаса, — мы производили их в этих широтах впервые. При помощи усовершенствованных приборов мы могли с исчерпывающей точностью определить в каждом избранном нами пункте склонение магнитной стрелки, ее наклонение, т. е. угол между магнитной стрелкой и горизонтальной поверхностью, и, наконец, суточные изменения склонения и наклонения.

Значительный интерес представляли и магнитные наблюдения во время магнитных бурь, вызывающих быстрые и неправильные колебания стрелки.

Гравитационные измерения, определяющие ускорение силы тяжести в различных точках земной поверхности, также должны были дать много нового для науки. Дело в том, что сила тяжести в разных местах земного шара не одинакова. Во-первых, земля, вопреки обычным представлениям, не является шаром, а представляет собой геод, напоминающий эллипсоид вращения; поперечник земли у экватора примерно на

43 километра больше, чем между южным и северным полюсами. Поэтому чем ближе к полюсу, тем ближе к центру земли.

Во-вторых, земная кора весьма неоднородна по плотности: в одном месте — океан, в другом — материк. Сами материки сложены из разных по плотности пород. Эта неравномерность также отражается на ускорении силы тяжести.

Конечно, отклонения силы тяжести ничтожны по своим размерам. Однако для науки они имеют большое значение: на основании измерений силы тяжести в различных пунктах можно вычислить точную форму земли и определить устройство земной коры. Эти данные необходимы для геодезических расчетов.

Экспедиция Нансена произвела всего лишь несколько гравиметрических наблюдений, причем сама техника в те времена была крайне несовершенной. Станция «Северный полюс» провела целую серию таких исследований. Нам предстояло продолжить их и, таким образом, дать науке точную картину распределения силы тяжести на огромном протяжении — от берегов Сибири до Гренландского моря.

Особенно важны были гидрологические наблюдения. Как известно, между Арктикой и Атлантическим океаном существует интенсивный водообмен. По образному определению знаменитого океанографа Мори, в Атлантике «есть особенное течение. Оно не иссякает, хотя бы все около него иссякло, не выходит из берегов, хотя бы поднимали его огромные волны. Края его, дно его состоят из холодной воды, но сам ток теплый. Исток его — Мексиканский залив; устье — в Арктическом море. Это — Гольфстрим. В море нет другого тока воды, который бы превосходил его величественную массу. Бег его быстрее Миссисипи и Амазонки, объем его в тысячу раз больше каждой из них».

Подсчитано, что Гольфстрим ежегодно посылает в Арктику около 150 000 кубических километров теплой воды. В то же время холодная вода из Арктики устремляется в Атлантику, унося с собою льды и разгружая Центральный

Полярный бассейн от них. Благодаря такому интенсивному водообмену одна пятая часть поверхности Ледовитого океана ежегодно освобождается от ледового покрова.

Для науки очень важно уточнить процессы этого водообмена, исследовать распределение теплых вод в Арктике, установить зависимость между ним и ледовитостью Центрального Полярного бассейна. Особый интерес эти вопросы приобретают в связи с так называемым «потеплением» Арктики, признаки которого наблюдаются с 1920 года. Станции «Северный полюс» удалось проследить распространение теплых атлантических вод, приносимых Гольфстримом, в районе Северного полюса. Собирая пробы воды с различных глубин от поверхности, определяя их температуру и соленость, мы могли продолжить эти интереснейшие исследования, имеющие исключительное значение в деле освоения Арктики.

Наконец, наблюдения над жизнью льда должны были установить связь между потеплением Арктики и состоянием ледового покрова: его толщиной, процессами становления и намерзания и т. д.

Таким образом, намеченная нами программа исследований была обширна и интересна. Но она требовала существенного напряжения всех сил экипажа. Тут-то и сказались счастливые особенности социалистической системы, воспитывающей людей в духе коллективизма и готовности отдать все силы на общее дело, не для одиночки-исследователя, а для всего народа.

15 октября в моей каюте собрались на производственное совещание все зимовщики. На повестке дня стоял лишь один вопрос: организация научных работ. Я рассказал о том, какие огромные надежды возлагают на нас ученые всего мира, как велика наша ответственность перед родиной за проведение исследований, подробно изложил наш план. Люди слушали меня с огромным вниманием, словно речь шла о чем-то самом близком и важном для каждого из них.

Когда Буйницкий упомянул, что ему трудно выполнять дневальство из-за

большой загрузки научной работой, я предложил разделить астрономические и магнитные наблюдения между ним и Андреем Георгиевичем. Надо было видеть, с какой энергией запротестовал против такой «скидки» Буйницкий! Он ни за что не хотел ни с кем делить порученные ему исследования. И такое отношение к научной работе, как к родному, кровному делу было характерно для каждого. Ни один человек не заикнулся о том, что научные наблюдения представляют собой добавочную и трудную нагрузку, которую члены экипажа по морскому уставу вовсе не обязаны нести. Зато меня засыпали вопросами—о том, что и как необходимо сделать для того, чтобы поскорее приступить к осуществлению плана.

Нам предстояло вести научные наблюдения в течение длительного, быть может, даже очень длительного периода. Поэтому следовало организовать их основательно и солидно. Здесь-то и представляется самый широкий простор для творческой деятельности и изобретательности членов нашего экипажа.

Можно было бы привести десятки примеров поистине трогательной заботливости моряков «Седова» об успешной подготовке к научным работам. Уже на производственном совещании люди начали вполголоса переговариваться друг с другом, улавливая о том, какую работу взять на себя. Положили почин этой творческой самодеятельности Буторин и Гаманков. Когда совещание шло уже к концу, Буторин неожиданно попросил слова и коротко сказал:

— Мы вот тут с Гаманковым обговорили,—он сделал рукой широкий округлый жест.—Сделаем, стало быть, трос для гусководной лебедки. У нас там есть подходящие концы. Вот и расплетем...

Потом Алферов заявил, что он сумеет смастерить металлический стакан для измерения осадков. Машинная команда взялась коллективно оборудовать лебедку.

Вследствии в организацию научных работ включился также повар, он вызвался сделать трал для вылавлива-

ния бентоса—придонных морских организмов. Для приготовления такого трала требовалась тонкая сетка. Ее на корабле не было. Тогда наши моряки порылись в сундучках и принесли мне свои летние нательные сетки:

— Берите, капитан. Мы без них не замерзнем. А для дела пригодятся...

Из этих рубашек Мегер сплел прочную сеть. Она прекрасно сослужила бы свою службу, но мы не рискнули отягощать свой слабенький трос и потому использовать ее не удалось.

Так в дружной коллективной работе развевывалась подготовка к серьезнейшим научным исследованиям, которыми мы хотели ознаменовать дрейф своего корабля. Для того чтобы дать более полное представление об этом интереснейшем периоде нашей работы, я приведу несколько страничек из своего дневника, относящихся к описываемым здесь событиям.

«16 октября, 84°02' северной широты и 133°22' восточной долготы. Отмечаю выдающееся событие: сегодня в Центральном Полярном бассейне взята гидрологическая станция № 1. Первые три сосуда, наполненных водой, которая взята с глубин 50, 100 и 150 метров, запечатаны, зарегистрированы и спрятаны. Соответствующие температуры отмечены в специальном журнале научных наблюдений. Одним словом, все—как в приличной ученой экспедиции, за исключением того, что... в проведении гидрологической станции не участвовал ни один ученый.

Теперь расскажу все по порядку. Вчера прорубили во льду майну и притащили к ней с корабля вьюшку от лота Томсона. С великими предосторожностями (не утопить бы!) прицепили к тросу наши драгоценные батометры и начали брать пробы. Опускали трос с таким расчетом, чтобы взять воду с трех горизонтов, как полагается. Когда достигли нужной глубины, послали по тросу «почтальона»—грузик, который должен перевернуть батометры, чтобы они наполнились водой. Все прошло прекрасно: батометры сработали как надо, термометры зафиксировали температуру. Плохо только, что «почтальон» капризни-



чает: трос обмерзает, и поэтому грузик застревает.

Пробным измерением командовал Андрей Георгиевич, а ассистентами у него были Буторин и Шарыпов. Надо было видеть их физиономии в тот момент, когда из воды появились перевернутые и закрытые, как следует, батометры! Я думал, что они задохнутся от гордости.

Сегодня над майной раскинули палатку и внутри ее установили столик. Получился целый гидрологический кабинет. В 15 часов тот же самый научно-исследовательский коллектив повторил взятие станции, и на этот раз уже, так сказать, «набело». Станция отмечена в судовом журнале. С нее мы начинаем счет научных наблюдений по программе-максимум, одобренной нашим производственным совещанием.

Вечером для поднятия духа устроил маленький торжественный ужин в честь наших пионеров гидрологии—Ефремова, Буторина и Шарыпова.

17 октября.  $83^{\circ}57,5$  северной широты и  $133^{\circ}20'$  восточной долготы. Победа за победой: сегодня закончили строительство метеорологической будки, которую соорудили по всем правилам искусства Буторин и Гаманков.

До сих пор нам удавалось определять температуру воздуха только с помощью психрометра Асмана. Мы не имели возможности определять минимальную и максимальную температуру за время метеовахты, не наблюдали за влажностью воздуха. Между тем, эти определения крайне необходимы.

Дней десять назад я разыскал в книге «Руководство для метеонаблюдений» эскиз метеобудки, устанавливаемой на всех станциях, ведущих исследования погоды. В такой будке с четырех сторон устроены деревянные жалюзи—для того, чтобы внутри ее воздух не застаивался и сохранял ту же температуру и влажность, что и снаружи. В будке размещаются все необходимые для наблюдений приборы.

Сделать ее своими силами не так легко,—для этого нужно иметь не только чертежи, но и квалифицированных столяров. Все же, я пригласил к себе в

каюту Буторина и Гаманкова, показал им рисунок, объяснил, зачем нам такая будка нужна, и спросил:

— Сумеете сделать?

Наши мастера повертели книжку в руках, подумали и ответили:

— Надо попробовать...

Назавтра я нашел свежеепеченных столяров в холодном твиндеке. Пристроив в одном из углов нечто вроде верстака, они прилежно строгаали дощечки от ящиков, приготавливая тонкие планочки для жалюзи.

Несмотря на все их усердие, дело двигалось вперед довольно медленно. Тогда я посоветовал Буторину заменить деревянные планки обрезками фанеры. Распиливать фанеру было легче, чем превращать доски в тончайшие планочки.

И вот сегодня на палубе торжественно водружена новая будка. Она окрашена серой краской, старательно отделана, и ее трудно отличить от фабричной. Буйницкий внутри этой будки разместил целую лабораторию: два больших ртутных термометра, показывающих температуру с точностью до  $0,1$  градуса, спиртовой минимальный термометр, фиксирующий минимальную температуру за время вахты, и максимальный термометр, указывающий максимальную температуру за это же время. Кроме того, в будке устанавливаются термограф и гигрограф — самопишущие приборы, непрерывно отмечающие изменения температуры и влажности воздуха.

Я решил провести в будку электрическое освещение от аккумуляторов. Одним словом, сооружается целый дворец метеорологии! И все это делается прямо-таки — из ничего. Мы превращаемся в настоящих Робинзонов от науки.

18 октября. Сегодня, наконец, устроили выходной день. Буйницкий все же проводит очередные магнитные наблюдения. Теперь ему стало немного легче работать: закончен снежный домик, который укрывает его, если не от холода, то хотя бы от ветра...

19 октября.  $83^{\circ}57,2$  северной широты и  $133^{\circ}08'$  восточной долготы. Неутомимые Буторин и Гаманков честно

выполняют свое обязательство — плетут лить для глубоководных промеров. Они выбрали наиболее прочные швартовные концы, перетащили их в твиндек, растянули и начали разматывать. Две пряди сматывают в бухты, а остальные спускают в трюм. Потом дойдет и до них очередь.

Если учесть, что сегодня температура упала до 23 градусов мороза, что твиндек не отапливается и что работать приходится в темноте, — то нетрудно представить, насколько мало удовольствия получают Буторин и Гаманков от этой работы. Все же, они почти не вылазят из твиндека и упрямо трудятся.

Шарыпов и Гетман под руководством Андрея Георгиевича вморозили в лед колья, расстояние между которыми будет служить эталоном длины для измерения будущего лinya. Для начала разматывали трос с барабана швартовной лебедки, которая служила на «Садко» для подсобных гидрологических наблюдений. На нем оказалось 1500 метров троса толщиной 2 миллиметра и 900 метров толщиной 3 миллиметра. Маловато! Нам нужен лить, по крайней мере, в 5000 метров длины. К тому же трос, смотанный с барабана, очень истрепан и, того и гляди, оборвется.

Пока Ефремов, Шарыпов и Гетман возились на льду, они превратились в настоящих зимних духов, — их меховые костюмы, шапки, воротнички покрылись пушистым инеем. Толстый слой инея покрыл весь корабль, — воздух очень влажен, и мороз сушит его.

20 октября. Трофимов, Токарев, Алферов и Недзвецкий заканчивают оборудование механической мастерской. Для этого они разобрали переборку между каютами поваров и буфетчика. В будущей мастерской устанавливается мотор «Червоный двигун». Здесь же будут производиться механические работы, — все-таки в каютах намного теплее, чем в железном трюме.

Андрей Георгиевич поглощен конструкторскими расчетами, — мы вдвоем с ним готовим проект глубоководной лебедки, которую с завтрашнего дня начнут сооружать наши механики. Пока что у нас есть старая, швартовная вьюш-

ка, и нам остается то, о чем портные говорят — пришить к пуговице костюм: т.-е. рассчитать нужную крепость лебедки и соответственно укрепить взятую в основу швартовную вьюшку, рассчитать необходимую мощность, подобрать электродвигатель, соорудить фундамент, рассчитать и подогнать шестеренную передачу от мотора к лебедке, сконструировать специальное приспособление, которое даст нам знать о том моменте, когда груз коснется дна океана, наконец соединить это все вместе и привести в действие.

Наш коллектив единодушно решил приурочить начало глубоководных измерений к 20-летию Ленинско-Сталинского комсомола. Это будет наш общий подарок родине.

Андрей Георгиевич очень увлечен техникой подсчетов, — он любит эту работу. В прошлую зимовку, используя свободные часы, он ухитрился рассчитать даже... подшипники для земной оси: с совершенно серьезным видом он определил нагрузку на эти подшипники, их размеры, материал, из которого их следует сделать и т. д.

По сравнению с таким агрегатом наша лебедка выглядит значительно скромнее, и я начинаю верить, что час, когда мы начнем глубоководные измерения, уже близок...

21 октября. Сегодня я созвал производственное совещание для обсуждения устройства глубоководной лебедки и огласил результаты наших расчетов. Трос длиной в 4 километра будет весить вместе с батометрами и грузом около 170 килограммов.

В качестве электромотора можно приспособить аварийную динамо, ту самую, которая работала от дизеля. Шестерни снимем со швартовной кормовой вьюшки, а также с токарного станка. Таким образом, выходит, что нам удастся кое-что скомбинировать.

Некоторые механики сомневались в успехе нашей затеи. Но Дмитрий Григорьевич Трофимов поддержал проект силой своего двойного авторитета — старшего механика и парторга, и сейчас машинная команда уже взялась за работу.

Буторин и Гаманков подготовили место для установки лебедки на кормовых рострах. Отсюда трос мы протянем через блок, укрепленный на шлюп-балке. После обеда мы втроем уходили на лед— сверлить ледяные поля для измерения их толщины и определения температуры поверхностного слоя воды под ними.

Работали четыре часа. Просверлили четыре отверстия в двухлетнем и годовалом льду, а также во льду зимнего образования и молодом. Труднее всего сверлить двухлетнее поле,—его толщина сейчас около 150 сантиметров.

Все данные измерений занес в особый журнал наблюдений над жизнью льда.

22 октября. Что ни день, то Буторин изобретает что-нибудь новое. Из него мог бы выйти прекрасный конструктор.

Сегодня возник вопрос о том, как защитить от завихрений стакан, служащий для сбора осадков. Если его попросту установить на столбе, то ветер либо выдует из него снег, либо, наоборот, набросает снегу туда больше, чем в среднем выпадает на единицу площади льда.

Для защиты этого прибора от завихрений обычно служит так называемая «защита Нифера» — полый жестяной конус, охватывающий стакан и суживающийся книзу. Мы перерыли все свои запасы, но жести не нашли.

Как же быть? Не отказываться же от наблюдений над осадками? И Буторин предложил приготовить «защиту Нифера» из... брезента. Он склепал два обруча: один—шире, другой—уже, соединил их распорками и натянул вокруг них брезентовый конус. Получилось то, что надо.

Гаманков сегодня занимался «живописью»: он старательно раскрасил рейки для измерения льда, точно обозначив деления.

Машинная команда продолжает оборудование глубоководной лебедки.

К счастью, льды пока-что ведут себя смиренно и не отвлекают нас от подготовки к научным работам. Только сегодня с утра было замечено несколько трещин, но корабль они не беспокоили...».

...К концу октября возле «Седова» вы-

рос целый городок. Кочевавшее вместе с нами ледовое поле было освоено нами полностью. Мы знали на нем каждый бугорок и каждую ямку. Даже наши щенки Джерри и Лыдинка теперь отваживались уходить в дальние экспедиции к окраинам нашего ледяного «двора».

Эта широкая площадка неправильной угловатой формы имела около 700 метров в длину и 550 метров в ширину. За лето солнце, ветер и вода выровняли ее, и только в одном месте уцелел приметный старый торос высотой около четырех метров,—я всегда глядел на него с большим уважением, мысленно прикидывая, каким гигантом он был год назад, если даже после летнего таяния ему удалось сохранить столь почтенные размеры. По краям нашего поля тянулась невысокая торосистая гряда — свежий след последних подвижек.

Красноватый свет луны озарял возведенные нами сооружения. Центром ледового городка, без сомнения, можно было считать большую жилую палатку, раскинутую в ста метрах от левого борта «Седова». Ее силуэт, темневший на льду, напоминал настоящий дом. Рядом с нею, метрах в 20—25 вправо, виднелась палатка поменьше, в которой теперь была размещена аварийная радиостанция.

Налево от жилой палатки высилась аккуратно сложенная пирамида из бочек с бензином и керосином — наш аварийный склад горючего. Бочки эти мы уложили на доски. Тут же, поблизости, лежали мешки с углем и груды леса, предназначенного на дрова.

Под крутым откосом большого тороса, который отстоял на 75 метров от носа корабля, высилась вторая пирамида, сложенная из коробок, наполненных аммоном. Противоположный скат служил «лыжной станцией», — любители этого вида спорта карабкались на самый верх тороса и оттуда во весь дух катились на лыжах вниз.

Немного ближе к судну, метрах в сорока, стояла палатка, раскинутая над майной, которая была прорублена для взятия гидрологических станций.

В самом дальнем углу ледового поля, почти у самой его границы, терялся во

мраке маленький снежный домик Виктора Буйницкого — наш «магнитный хутор»: для производства магнитных наблюдений, как известно, необходимо удалиться возможно дальше от корабля, чтобы влияние судового железа не подействовало на показания приборов.

В антарктической экспедиции Бэрда магнитологи даже украсили свой снежный домик предохраняющим плакатом: «Оставь железо, всяк сюда входящий!». Буйницкий обходился без плаката, но и ему перед началом наблюдений приходилось выкладывать на снег подалеже от домика все железные предметы, в том числе и карабин, который он брал на случай встречи с медведем.

Эти предосторожности могли дорого обойтись нашему магнитологу, если бы какой-нибудь любопытный зверь навдался к нему «на огонек». Поэтому, как только в районе нашего дрейфа были обнаружены медвежьи следы, я выделил из числа моряков несколько караульных, и они поочередно дежурили с карабином наготове у домика, пока Буйницкий делал наблюдения.

В 100 метрах от судна мы вморозили в лед столб высотой 3,5 метра, на вершине которого был укреплен стакан для измерения осадков. Чтобы удобнее было доставать его, к столбу приделали лесенку. Наконец повсюду торчали снегомерные рейки, вежи, отмечавшие места, где был просверлен лед для измерения его толщины и т. д. Дорожки, протоптанные на снегу, многочисленные лыжни довершали сходство нашего ледяного «двора» с обычным зимовочным пейзажем.

Но стоило отойти метров на пятьдесят подалеже, и картина резко менялась: за грядой торосов, окаймлявшей наше поле, лежала мертвая безвестная пустыня, окутанная мраком и погруженная в безмолвие. Мы остерегались пока-что переступить ее рубежи.

В самом разгаре больших трудовых дел нас застала торжественная и значительная дата — годовщина дрейфа корабля. Эта дата заслуживает того, чтобы о ней рассказать более подробно...

## ГОЛОС РОДИНЫ

Как ни был наш коллектив занят текущей будничной работой, подготовку к празднованию годовщины дрейфа мы начали заблаговременно и вели очень обстоятельно. Каждый из нас понимал, что эта дата является каким-то значительным рубежом в нашей жизни, днем больших итогов.

Хотелось подсчитать сделанное за год, найти упущенное, спросить самих себя: все ли вы сделали, что могли сделать? Как вы прожили этот год? Что дал он вам? Выросли ли вы хоть немного или остались такими же, как были?

Хотя и раньше я не мог пожаловаться на недостаток рвения у команды к творческой работе, в эти дни оно сказывалось с особой силой: люди как бы спешили перед годовщиной дрейфа сделать еще больше, чем было сделано до этого.

Я, Буйницкий, Андрей Георгиевич углубились в подсчеты. Мы решили подвести некоторые, хотя бы самые общие, итоги за год. Получались довольно внушительные цифры. С того времени, как «Седов» совместно с «Садко» и «Малыгиным» вступил в неизведанный район, обозначившийся на картах Арктики белым пятном, наш коллектив успел произвести сотни ценных наблюдений.

Во-первых, нам удалось с помощью 107 астрономических определений точно нанести на карту линию самого дрейфа. За этот год мы продвинулись к северу более, чем на 1 000 километров. Если же учитывать все сложные изгибы и петли, которые корабль проделал вместе с дрейфующими льдами, то общая длина пройденного пути достигала 3 000 километров. Начиная с апреля, «Седов» дрейфовал за 80-й параллелью, постепенно продвигаясь все дальше на северо-запад. К годовщине дрейфа он достиг  $84^{\circ}18,5$  северной широты и  $133^{\circ}58'$  восточной долготы.

Во-вторых, за этот год участниками дрейфующей зимовки было проведено примерно около 100 измерений глубин до 3 000 метров, 8 измерений глубин свыше 3 000 метров, 31 магнитное наблюдение, снято 34 гравиметрических

записи, проведено 365 дневных наблюдений за жизнью и состоянием льда, свыше тысячи метеорологических наблюдений. Кроме того, каждые 10 дней определялась толщина льда, проводились регулярные наблюдения над поведением магнитного компаса и гидрологические работы. Часть этих исследований была проведена на «Садко», теперь же весь комплекс научных работ перешел на долю седовцев.

Год назад нас было 217; теперь из этой армии зимовщиков осталось всего девять человек. Зато к нам прибыло прекрасное пополнение — шестеро моряков «Ермака», добровольно разделившие с нами трудности дрейфа и на деле показавшие выдержку и умение бороться с трудностями. Лучшей проверкой спаянности и сплоченности нашего обновленного коллектива был памятный аврал 26—28 сентября, когда мы стояли на грани тяжелой катастрофы. Теперь, готовясь к празднованию годовщины дрейфа, мы с удовлетворением отмечаем, что все пятнадцать членов экипажа блестяще выдержали эту проверку: ни у кого не сдали нервы. Выдержка, хладнокровие и самоотверженная работа всего коллектива дали прекрасные результаты: судно удалось отстоять от гибели.

Незадолго перед годовщиной дрейфа я прочел Бэрда «Снова в Антарктике». В этой книге многое меня изумило: насколько разобщены и узко эгоистичны были участники экспедиции этого выдающегося исследователя!

Сотрудник радиоотдела экспедиции К. Мэрфи, написавший несколько глав для этого труда, так характеризовал душевное состояние участников зимовки:

«Стужа, казалось, способствовала окаменелости духа... Если даже внутреннему, подсознательному человеку, будто бы обитающему внутри нас, и удавалось выбраться наружу, он был слишком изнурен, чтобы бурно проявиться. «Игра не стоит свеч»—говорил Джим Стеррет.

Собственно говоря, Маленькая Америка<sup>1</sup> достигала своего эмоционального

апогея ежедневно после 6 часов утра, когда сонный и продрогший дежурный по кухне, приступая к исполнению своих обязанностей, находил печку погасшей, снеготаялку замерзшей, котел для воды пустым и полки уставленными до потолка грязной посудой, беспечно оставленной полуношными едоками. Начиная с заместителя начальника, мы все поочередно дежурили, поэтому каждое утро из кухни раздавались свежие выкрики возмущения и гнева, не дававшие, увы, никаких положительных результатов, ибо, как и следовало ожидать, все оставалось по-старому.

Чрезвычайно трудно было вывести Маленькую Америку из состояния беспечного равновесия. Хотя благодаря радио мы находились в курсе всех мировых событий, ничто как будто не производило на нас особенно сильного впечатления. Обычно все, что выходило за пределы наших личных интересов, нас мало трогало и не казалось нам особенно существенным.

Однажды в кухне начался пожар. Дежурные Раусон и Пейн продолжали невозмутимо мыть посуду, не выказывая ни малейшего интереса к усилиям повара затушить огонь, хотя они сами уже наполовину задохнулись в дыму. Носясь по комнате и совершенно безуспешно действуя огнетушителем, Карбонэ в большом волнении набросился на дежурных и осведомился, собираются ли они, черт побери, что-нибудь предпринять.

— Это не наше дело,—хладнокровно промолвил Раусон.

— Что не ваше дело?—вскричал повар.

— Тушить пожары,—объяснил Раусон.

— Разумеется,—подтвердил Пейн,—дежурные по кухне обязаны лишь мыть посуду и накрывать на стол. Все остальное должен делать повар. Приказ № 5, параграф первый...

К этому времени языки пламени лизали пол, и Карбонэ помчался через дорожку во «Дворец науки» с призывом о помощи...

Эти строки меня так поразили, что я выписал их и, собрав весь экипаж, прочи-

<sup>1</sup> Так Бэрд назвал базу своей экспедиции, устроенную на побережье Антарктики на 78°30' южной широты и 163° западной долготы.

тал вслух. Люди внимательно выслушали и с изумлением осведомились: неужели это взято из рассказа об экспедиции, а не из фельетона? Тогда я продемонстрировал им солидный труд Бэрда, и сомнений больше не осталось.

Действительно, людям нашего общества трудно понять психологию деятелей капиталистической науки, где единственной движущей силой являются личные интересы. Что было бы с нами, если бы наша жизнь основывалась на тех же принципах поведения, которыми руководствовались спутники Бэрда? Нетрудно понять, что автору этих строк не довелось бы трудиться над книгой, — он вместе со всеми седовцами при первом же сжатии льдов нашел бы вечное успокоение под водой.

Отправляясь в свою первую антарктическую экспедицию, Ричард Бэрд среди других грузов предусмотрительно захватил дюжину прочных смиренных рубах, а также два нарядных гроба, обитых шелком и снабженных серебряными дощечками, на которых оставалось выгравировать фамилии их будущих владельцев.

Советские экспедиции не нуждаются в подобном снаряжении. Оптимизм, вера в победу и сплоченность, — эти качества наших людей служат наилучшей гарантией от тоски и полярного безумия. И как ни различны были характеры и темпераменты, собранные в нашем коллективе, нам удалось наладить в труднейшей обстановке ледового дрейфа дружную и осмысленную жизнь, полную значительных событий.

Этот год многое дал каждому из нас. Мы окрепли физически и морально. Расширился круг наших знаний и опыта. Почти каждый выдвинулся на более ответственный пост: я был вторым штурманом на «Садко» — стал капитаном «Седова». Дмитрий Григорьевич Трофимов был четвертым механиком «Ермака» — стал старшим механиком и парторгом «Седова». Андрей Георгиевич Ефремов был руководителем практики студентов на «Малыгине» — стал моим старпомом. Сергей Дмитриевич Токарев был старшим машинистом «Садко» — стал вторым механиком «Седова». Всеволод Степано-

вич Алферов был машинистом — стал третьим механиком. Николай Сергеевич Шарыпов был кочегаром — стал машинистом. Дмитрий Прокофьевич Буторин был матросом — стал боцманом. Остальные члены экипажа также значительно повысили свою квалификацию за этот год и вооружились опытом.

Американский исследователь Перкинс так определял характер духовной жизни зимовщиков в полярных странах:

«Немного пены на поверхности и почти-что стоячая вода — без больших глубин и сильных течений...».

Нужно ли доказывать, что на борту «Седова» жизнь не могла ограничиться узким мирком пятнадцати человек? Наоборот, интерес наших людей ко всему, что происходило за пределами корабля, на далеком материке возрастал. Каждое событие в международной политике, каждый новый успех в советском строительстве, каждый новый рекорд стахановцев, вызывали у нас оживленный обмен мнений и находили живой отклик на корабле.

Благородная потребность в творческой деятельности ширилась на «Седове» с той же закономерностью, что и на большой советской земле.

Я уже не говорю об опромной творческой работе, которая велась, так сказать, «на производстве» — изобретательские идеи возникали и в каютах, и в кубрике, и даже на камбузе в таком количестве, словно у нас работало мощное конструкторское бюро. Но и в быту у нас непрерывно появлялись новшества.

Вдруг наш радист Николай Бекасов решает изучать английский язык. Он раздобывает у Шарыпова, который по совместительству выполняет функции заведующего библиотекой, учебники, пособия и все свободное время зубрит глаголы, приставки и склонения, — он хочет к концу дрейфа научиться читать и говорить по-английски.

Повар Павел Мегер увлекается рисованием. Его альбом испещрен зарисовками из жизни в ледяной пустыне. Механик Всеволод Алферов мечтает написать книгу и с этой целью ведет солидный дневник.

Почти все мы стали страстными фо-

толюбителями. Кроме того, в часы досуга, когда это позволяла погода,—устраивали лыжные вылазки, катались на коньках. Истинный сын солнечной Одессы, Павел Мегер до прихода на «Седов» ни разу не становился на лыжи и поэтому всегда отставал от нас. Я взял над ним шефство, обучил его несколькими нехитрым приемам лыжного бега и теперь он не хуже других скатывался с большого троса.

Такому ровному бодрому состоянию духа немало способствовало то, что нам с первых же дней второй зимовки удалось установить относительно сносные бытовые условия.

Эти условия не имели ничего общего с той трудной и гнетущей обстановкой, в которой мы провели первую зиму. Тогда на кораблях жило 217 человек. Поэтому неизбежно нехватало топлива, теплой одежды, керосина для освещения кают. Теперь наши жилые помещения не уступали иной полярной станции. Даже в каютах доктора, Алферова и Недзвецкого, которые считались наименее теплыми, температура не опускалась ниже 14—15 градусов тепла.

Раз в пять дней проводилась генеральная уборка: мы все чистили, мыли, матрацы и одеяла выносили на лед для проветривания. Раз в десять дней топились баня—благо мылом мы были обеспечены, по крайней мере, на восемь лет дрейфа.

Одним словом, к годовщине своего ледового рейса мы подходили с неплохими итогами, и у нас было о чем поговорить на предстоящем торжественном вечере. Было о чем написать и в газеты, которые за два-три дня до годовщины буквально бомбардировали нас «молниями», требуя статей, очерков и корреспонденций. Мимоходом замечу, что авторы этих запросов, видимо, не совсем точно представляли себе обстановку нашего дрейфа, предполагая, что мы можем отдавать литературному творчеству целые дни: каждой газете требовалась обязательно «подробная и обстоятельная» статья и обязательно «немедленно». Если же мы не успевали присылать немедленно, то нас беспощадно подгоняли новыми «молниями». Одна почтен-

ная столичная газета ухитрилась оказать давление на автора этих строк не только через руководство Главсевморпути, но даже.. через семью.

Я получил от жены телеграмму:

«Вышли, пожалуйста, статью поскорее. Очень настаивают...».

Уже за декаду до годовщины мы узнали, что этот день не пройдет незамеченным и на Большой Земле. Узкие рамки скромного праздника пятнадцати моряков, затерянных в ледяной пустыне, расширились: нам неожиданно присылали приветствия из самых дальних углов СССР.

Вдруг прибывала такая телеграмма:

«Пионеры школы № 152 города Ташкента хотят стать такими как вы. Телеграфьте эпизоды дрейфа оглашения сборе».

Потом радисты принимали сообщение из Владивостока:

«Краснофлотцы энской части салютуют флагу СССР, который вы с честью пронесли самые северные широты мира».

Были и такие телеграммы:

«Молнируйте куда обратиться, чтобы сменить вас полярной вахте...».

Дальше шло десять-пятнадцать подписей.

Из Всесоюзного радиокomiteта сообщили, что 23 октября специально для нас устраивается радиопередача. У микрофона готовится выступить Иван Дмитриевич Папанин, прославленный герой памятного дрейфа, невольными продолжателями которого явились мы.

О Папанине и его славных спутниках мы уже знали очень много, но голосов самих героев нам пока-что слышать не удавалось: в тот момент, когда папанинцев снимали со льдины, «Седов» дрейфовал в «мертвой зоне», куда почти не проникали радиоволны. Даже телеграммы, передававшиеся азбукой Морзе с ближайшей к нам станции Тикси, радисты принимали в те дни с трудом. Поэтому выступлений папанинцев, передававшихся тогда по радио, мы не слышали.

Большинство из нас никогда не встречалось ни с Папаниным, ни с Ширшо-

вым, ни с Кренкелем, ни с Федоровым. Но Дмитрию Григорьевичу Трофимову, который работал на «Ермаке»,—выпала честь участвовать в знаменитом рейсе из Ленинграда в Гренландское море — навстречу героям. И теперь молодежь беспощадно эксплуатировала нашего парторга, заставляя его снова и снова рассказывать обо всех деталях встречи «Ермака» с «Таймыром» и «Мурманом», когда четверо зимовщиков станции «Северный полюс» перешли на борт ледокола.

Известие о том, что теперь Папанин будет говорить по радиотелефону с нами, ободряюще действовало на людей: выходит, что и наша работа чего-нибудь стоит, если нам оказан такой почет.

Очень тронуло нас и сообщение о том, что после выступления И. Д. Папанина будет устроен опять-таки специально для нас грандиозный концерт. Больше того,—нам предложили дать заявки, что именно хотел бы слышать каждый из нас.

Тут уж поднялся целый переполох. Это предложение было настолько неожиданно, что культработник нашего месткома,—все тот же неутомимый Николай Шарыпов, — даже немного растерялся.

В кубрике начались разговоры и совещания. Коллективно вспоминали фамилии композиторов, названия музыкальных произведений,—не так уж часто нашим механикам и матросам удавалось бывать в опере и в консерватории, хотя музыку любили все,—любили так страстно, что все сто пластинок нашего патефона были известны наизусть.

В конце-концов, заявка была написана. Хотя она выглядела довольно просто, зато ее составляли от всей души.

Я просил, чтобы у микрофона были исполнены баллада Рубинштейна «Перед воеводой молча он стоит» и вальс из оперетты «Корневильские колокола». Доктор хотел прослушать свою любимую арию Ленского из «Евгения Онегина» и «Музыкальный момент» Шуберта. Андрей Георгиевич представил заявку на арию Томского из «Пиковой дамы» и «Балладу о блохе». Токарев просил об исполнении арии князя из «Ру-

салки» и «Жаворонка» Глинки. Буторину хотелось услышать жалобную русскую песню «Алые цветочки» и «Саратовские частушки». Алферов предъявил спрос на цыганские песни в исполнении Ляли Черной, а Мегер захотел во что бы то ни стало послушать грузинскую народную песню «Сулико» в исполнении джаза, которым руководил его земляк Л. О. Утесов. Наконец, Трофимов просил организовать выступление Краснознаменного ансамбля песни и пляски под управлением профессора-орденоносца Александрова.

Когда все заявки были отосланы, все статьи написаны и отправлены, все итоги подведены,—нам осталось выполнить наименее сложную часть предъязыльных приготовлений,—выработать распорядок праздника.

Так как работы по подготовке глубоководных измерений у нас все еще оставалось очень много, а поставленный нами срок—XX-летие ВЛКСМ—уже приближался,—я решил не терять попусту целый день, тем более, что 23 октября приходилось на канун выходного. Поэтому празднование годовщины было отложено на вечер, после окончания работы: в 20 часов было назначено торжественное собрание, к которому я готовил небольшой доклад об итогах нашей работы за год. Вслед за этим в программе значились парадный ужин, выступления самодеятельности, а в 1 час ночи по местному времени (оно сильно разнилось от московского) радистам было поручено включить репродукторы, родные и близкие голоса родины должны были донестись к нам в самом разгаре праздника.

Следует сказать здесь несколько слов о приготовлениях к нашему парадному ужину. У меня сохранилось праздничное меню, тщательно вписанное рукой доктора в нарядную рамку, разрисованную цветными карандашами. Глядя на него, я вспоминаю, с каким старанием мы втроем,—я, доктор и Андрей Георгиевич,—подыскивали среди не отличавшихся разнообразием и богатством продовольственных запасов что-нибудь такое, что могло бы потрести воображение наших людей. Эти старания в кон-



це-концов увенчались успехом. Вот как выглядело наше праздничное меню:

### Ужин

1. Пирожки мясные.
2. Холодец свиной.
3. Селедка с гарниром.
4. Кильки.
5. Шпроты.
6. Колбаса брауншвейгская.
7. Сыр голландский.
8. Сыр швейцарский.
9. Сыр американский.
10. Севрюга в томате.
11. Сардинки.
12. Корнишоны.

### Десерт

1. Пирожное «Наполеон».
2. Печенье «Попурри».
3. Варенье «Чернослив», «Абрикос», «Черешня».
4. Шоколадные конфеты «Дерби», «Лебедь», «Теннис».
5. Какао.
6. Кофе.
7. Чай со свежим лимоном.
8. Шоколад «Миньон» и «Стандарт».

Правда, продукты, из которых готовился наш парадный ужин, были не первой свежести, — большинство из них уже полтора года путешествовало вместе с «Седовым». Но мы не привыкли считаться с такими мелочами, а солидная карта изысканных напитков, прилагавшаяся к меню, ошеломила бы даже завзятого гастронома, заставив его примириться с изъянами нашей кухни: в великой тайне от всех наши доморощенные алхимики готовили по своим рецептам новейшие произведения синтетического искусства. В их ретортах кипятились ароматные сиропы, полученные из засахаренных лимонов, черники, кофе и даже... витаминного гороха. Все это комбинировалось с разными дозами хмельного, и в конце-концов получались такие удивительные напитки, как ликер «84-я параллель», «Витаминная горькая» или «Ликер ААП», название которого довольно прозрачно замаскировало инициалы изобретателя...

И вот, наступило долгожданное 23 октября. Этот день начался, как обычно: вахтенный разбудил людей, мы позав-

тракали и разошлись по судовым работам. Машинная команда продолжала готовить лебедку для глубоководных измерений. Буторин и Гаманков возились на льду, устанавливая прибор для измерения осадков. Радисты заряжали аккумуляторы от аварийной динамомашинны. И только праздничные флаги, развевавшиеся над кораблем, напоминали о том, что этот день — не такой, как все.

В 17 часов 30 минут судовые работы были закончены. Люди разошлись по своим каютам, чтобы немного отдохнуть и привести себя в порядок. Возник большой спрос на горячую воду, мыльный порошок для бритвы, нитки, утюги. Из рук в руки переходил утюг — драгоценный в наших условиях предмет, торжественно преподнесенный мне перед отлетом последнего самолета хозяйственным буфетчиком «Седова» Иваном Васильевичем Екимовым, который проработал на нашем судне 23 года и очень неохотно расставался с ним, — только настоячивые предписания врачей заставили старика покинуть зимовку.

Из кают-компании доносился звон посуды, — там священнодействовал наш кок, которому помогал дневальный.

Я перелистал дневник научных наблюдений, выписал на отдельный листок несколько цифр для доклада, отправил очередные служебные телеграммы и вышел на палубу, чтобы посмотреть, не готовят ли нам льды какой-нибудь сюрприз в праздничную ночь.

Наступила уже ночная темнота. Звезды прятались в облаках. Поэтому почти ничего не было видно даже в двух шагах от корабля. Под ногами похрустывал снег. Свежий южный ветер пел свою заунывную песню, путаясь в снастях.

Ветер не менял своего направления уже трое суток, и теперь мы снова довольно быстрым темпом двигались прямо к северу. Но ледяные поля пока-что вели себя спокойно, и звуков торожения не было слышно...

В кают-компании уже собрались аккуратно одетые, чисто выбритые и причесанные гости. Дмитрий Григорьевич Трофимов пришел в кителе, на котором поблескивал золотом и эмалью орден Трудового Красного Знамени, получен-

ный им за сквозной поход с востока на запад по Северному морскому пути на ледорезе «Литке». Буторин ради торжественного дня достал из сундучка старательно сберегаемый им синий костюм. В новом костюме явился на вечер и доктор. Верный своей традиции, он надел даже белый воротничок и галстук. Остальные люди также оделись возможно параднее, — кто как мог.

У всех чувствовалось какое-то приподнятое, праздничное настроение. Вряд ли можно было предполагать в сумрачный вечер 23 октября 1937 года, когда наши корабли бессильно остановились в дрейфующих льдах далекого теперь от нас моря Лаптевых, что годовщина этого безрадного вечера станет праздником для нас. Сколько тяжелых и удручающих мыслей приходило тогда в голову! Как трудно складывалась обстановка! Но ведь всякая победа только тогда по-настоящему радостна, если она досталась недаром. И теперь после долгого и трудного пути мы могли смело сказать себе: да, и на нашей льдине — праздник...

Стрелка часов подошла к 20. Я занял председательское место за столом и произнес речь о долге советского патриота. Напомнив о пройденном нами пути, я сказал, что мы вправе гордиться сделанным. Но ведь совершенно очевидно, что каждый честный гражданин СССР работал бы на нашем месте точно так же, как мы. Мы лишь выполнили свой долг, как выполняет его пограничник, который, не щадя своей жизни, бдительно охраняет границу, стахановец, который, не щадя своих сил, трудится над усовершенствованием производства, или деятель науки, который, не считаясь со временем, просиживает ночи напролет над смелым проектом, сулящим славу и могущество родины.

— Наша работа кое в чем напоминает и то, и другое, и третье, — говорил я: нам приходится и вести оборону корабля от наступающих льдов, связанную с риском для жизни, и трудиться над техническими усовершенствованиями производства, и вести серьезную научную работу. Поэтому нам подчас приходит-

ся немного труднее, нежели тем, кто работает на Большой Земле. Но ведь зато родина щедро вознаграждает нас своей признательностью и заботой, и эта забота согревает и окрыляет нас. Пожелаем же друг другу во втором году дрейфа работать еще дружнее, еще сплоченнее и плодотворнее!..

Я налил вина в свой бокал и поднял тост за счастливую страну, где каждому дано право творить и созидать и где обеспечены все возможности для этой творческой работы, за советских патриотов, которые самоотверженно крепят могущество родины, и за самого большого и славного патриота — Иосифа Сталина, — у которого сотни миллионов людей учатся бороться с трудностями и побеждать их...

Грянули аплодисменты, раздались приветственные крики, — весь наш экипаж бурно приветствовал того, чье имя стало символом несокрушимой воли.

За столом разгоралась непринужденная дружеская беседа. Мы перебирали наиболее выдающиеся события минувшего года, гадали о будущем, говорили о родных и близких, которые в эти часы вспоминали о нас теплым словом. Когда подходил очередной срок радиосвязи, дядя Саша отправлялся в свою рубку и, некоторое время спустя, возвращался оттуда с ворохом приветственных телеграмм.

В самом разгаре вечера дядя Саша, с трудом сдерживая улыбку, заявил:

— Капитан, пожалуйста в рубку. Корреспондент новгородской газеты желает получить у вас интервью...

У меня вытянулась физиономия, — все окружающие захохотали: даже во время праздничного вечера представители печати не оставляют нас в покое. И при чем здесь новгородская газета?

Все объяснилось очень просто. Предприимчивые работники редакции новгородской газеты завербовали в качестве специального корреспондента одного из радистов мыса Челюскин, своего земляка. Исполнительный полярник передал нам привет от своей редакции и потребовал от меня подробного отчета о том, как мы встретили юбилей. Пришлось ответить по всем пунктам, — оператив-

ность периферийной газеты делала честь любой столичной редакции...

Когда мы с Полянским вернулись в кают-компанию, веселье было в полном разгаре. Алферов и Шарыпов плясали «русскую», потом наши механики пели хором любимую песню Полянского «Раскинулось море широко», потом кто-то опять плясал...

Но к часу ночи все утихло, и мы прильнули к репродукторам,—сейчас должна была начаться радиопередача из Москвы, посвященная дрейфу «Седова». И вот, наконец, хорошо знакомый голос диктора произнес:

— У микрофона заместитель начальника Главсевморпути Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин. Внимание, слушайте выступление товарища Папанина...

Слышимость была прекрасной. Можно было даже безошибочно определить, что оратор немного волнуется,—до нас донеслось его учащенное дыхание. Через мгновение из репродуктора послышалось теплое, дружеское обращение:

— Дорогие браточки седовцы! Как вы живете среди льдов, как вы себя чувствуете?..

Это простое, непосредственное обращение к нам по радио невольно трогало, брало за душу; хорошее, искреннее волнение героя передавалось и каждому из нас. Мы чувствовали себя в эту минуту так, словно нас поставили на высокий, высокий пьедестал, и сотни миллионов взоров обращены к нам,—ведь эту радиоперекличку слушал весь мир. И в то же время Папанин беседовал так задушевно и интимно, словно сидел рядом с нами за праздничным столом.

— Знаю, братки, что вам придется нелегко, — сам дрейфовал, сам все испытывал на своей спине,—говорил он со своим легким южным акцентом. — И нам было трудно, особенно подконец. Но родина нас не оставила. Она послала за нами «Таймыр», послала «Мурман», послала самолеты, потом послала «Ермак».

Товарищ Сталин заботился о нас лучше, чем иной отец о своих детях заботится. И о вас, браточки, он также заботится. Работайте же, дорогие, тру-

дитесь для нашей науки, — вы ведь продолжаете то, что мы начали. А родина, правительство, партия, товарищ Сталин вас не оставят...

Когда Папанин кончил свою речь, все дружно зааплодировали. И хотя сразу же вслед за нею начинался долгожданный концерт, составленный по нашим заявкам, — молодежь упросила Трофимова еще раз рассказать о том, как он встретился с Папаниным на «Ермаке», как Иван Дмитриевич обошел все помещения ледокола и благодарил команду за хорошую работу, как он угощал машинистов и кочегаров апельсинами, делился с ними воспоминаниями о зимовке на дрейфующей льдине.

Мы уже слышали, что Папанин выдвигается к руководству Главсевморпути, и нам было особенно приятно знать, что это не только храбрый, мужественный и решительный полярник, но и чуткий товарищ.

Несколько часов продолжался праздничный концерт. Были выполнены решительно все наши заявки за исключением одной: Краснознаменный ансамбль песни и пляски был далеко от Москвы, и устроители концерта извинились перед Трофимовым за то, что не могут выполнить его просьбу. Зато программа концерта была значительно расширена за счет дополнительных номеров, и мы просидели у репродукторов до половины четвертого утра.

Мы расходились по своим каютам довольные и счастливые, полные радостного сознания тесной близости с родиной, дружеские голоса которой доносились к нам за тысячи километров. Что могло быть сильнее и ярче этого ощущения?

Но заботливая родина готовила нам еще один драгоценный подарок, который через несколько часов должен был еще глубже и значительнее взволновать нас...

Заместитель начальника Главсевморпути Герой Советского Союза М. Шевелев так описывает историю этого незабываемого акта внимания и заботы о нашем маленьком коллективе со стороны руководителей партии и правительства:

«По возвращении в конце 1938 года из похода на «Ермаке» мы с тов. Алексеевым были приняты товарищем Молотовым, которому доложили об итогах операции по выводу кораблей из ледового плена, о том, как после попыток буксировать ледокол «Седов» пришлось оставить его на зимовку. Товарищ Молотов подробно расспрашивал о людях «Седова».

Ночью мне позвонили по телефону:

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Молотов.

Вячеслав Михайлович еще раз внимательно расспросил о седовцах.

— Как их адрес? Ледокол «Седов», капитану Бадигину, партгору Трофимову. Так правильно будет? — спросил В. М. Молотов. — Мы посоветовались с товарищами и решили послать им телеграмму, — добавил он.

Утром, развернув газету, я увидел, что на первой странице напечатана телеграмма седовцам от И. В. Сталина и В. М. Молотова...

Мы жили по местному времени, значительно опережающему московское. Поэтому телеграмма, отправленная из Москвы в ночь с 23 на 24 октября, могла дойти к нам лишь к полудню следующего дня, и мы, расходясь с концерта, даже не подозревали о том, какая радость нас ожидает.

В 9 часов утра 24 октября радиодержурство А. А. Полянского закончилось, и его сменил Николай Бекасов. Александр Александрович заснул. Через некоторое время он почувствовал, что его кто-то тормозит. Это был Бекасов. Молодой радист был чем-то взволнован.

Полянский вскочил:

— Ты чего? Сжатие началось?

— Нет, — ответил Бекасов. — Челюскин зовет к аппарату старшего радиста. Там есть для передачи важная радиограмма...

Сон у Полянского мгновенно рассеялся. Таких случаев еще не было. Что могло произойти? Он подошел к аппарату. Стараясь замаскировать свое волнение, простучал ключом старшему радисту мыса Челюскин Ворожцову шутовское приветствие:

— Что ты хочешь сообщить мне,

Вася? Я всегда рад беседе с таким приятным человеком.

Но Ворожцов не ответил на шутку. Он сообщил:

— Принимай важную радиограмму...

Полянский стал записывать.

А через несколько минут он, обычно спокойный и уравновешенный человек, словно юноша вихрем ворвался в кают-компанию, где в это время завтракали я, Трофимов, Соболевский и Токарев, подбежал ко мне и протянул телеграфный бланк. Слова у него от волнения не шли с языка, и он вымолвил прерывающимся голосом:

— Вот... Нам... Из Кремля...

Я схватил листок и прочел:

«Из Москвы 33 27 — 63 — 24 — 02.00

Ледокол «Седов»

Капитану Бадигину,  
партгору Трофимову

В годовщину дрейфа шлем вам и всему экипажу «Седова» горячий привет. Уверены, что с большевистской твердостью советских людей вы преодолеете все трудности на вашем пути и вернетесь на родину победителями.

Жмем ваши руки, товарищи.

По поручению ЦК ВКП(б) и СНК  
Союза ССР

И. Сталин, В. Молотов».

Вскочив с кресла, я громко перечел телеграмму. Когда я кончил читать, минута прошла в молчании, — мы все смотрели друг на друга, словно не веря своему счастью. Потом раздались громкие аплодисменты. Я скомандовал:

— Будить всех! Немедленно всех до одного сюда!..

Целая буря переживаний охватила нас. Мы обнимались, целовались друг с другом, кричали «ура», требовали еще и еще раз прочесть радиограмму.

Разбуженные вахтенным люди, не догадываясь, что произошло, ждали кого-нибудь срочного аврала и с изумлением оглядывали кают-компанию, в которой царило такое удивительное веселье. Но как только опоздавшие узнавали, в чем дело, они немедленно присоединялись к нам и не менее бурно выражали свой восторг.

Наконец, я кое-как успокоил народ и открыл летучий митинг. Хотелось сказать очень много, но, как и у Полянского, у меня в первую минуту пропал дар красноречия: все слова, какие я знал, казались бледными и недостойными по сравнению с чувствами, которыми была полна душа. И речь получилась очень короткой:

— Отныне 24 октября — самый великий и незабываемый праздник нашего экипажа... Будем же работать так, чтобы оправдать доверие нашего вожда и его ближайших соратников!

Трофимов предложил послать ответную телеграмму. До конца радиосрока связи с мысом Челюскин оставалось всего 10 минут. Нам же не хотелось откладывать составление ответа до следующей передачи. Поэтому Полянский помчался в рубку, — предупредить Ворожцова, что будем передавать ответ, а мы с Трофимовым сели составлять телеграмму.

Я оторвал кусок навигационной карты, вооружился карандашом и торопливо вывел адрес:

— Москва, Кремль, товарищам Сталину и Молотову...

Писать было легче, чем говорить, — слова сами лились из глубины души. Но нам хотелось получше отредактировать каждую фразу. Поэтому десять минут, отпущенные нам Полянским на составление ответной телеграммы, пролетели мгновенно, и мы не успели даже переписать ее текст набело. Впрочем, быть может, так получилось даже лучше, — невзирая на некоторые стилистические погрешности, телеграмма со всей искренностью, непосредственностью восприя-

тия отразила переживания, которыми мы были полны в эти минуты.

В 13 часов 12 минут наш старший радист уже связался со станцией мыса Челюскин и передал:

«Москва, Кремль

Товарищам Сталину и Молотову

Дорогие Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович.

Сегодня получили вашу телеграмму с приветствием Центрального Комитета нашей любимой Партии.

День годовщины нашего дрейфа превратился в великий праздник. Сердца наши наполнились гордостью за оказанные нам внимание и доверие. Мы, 15 советских патриотов нашей великой, любимой Родины, воспитанные Коммунистической партией. Вами, любимый товарищ Сталин, превратим наш дрейф в образец большевистской настойчивости, выполнения больших задач, стоящих перед нами.

Никакие невзгоды, опасности, лишения нам не страшны. Чуткое отношение к нам Партии и Правительства и всего великого народа придает нам твердость, непобедимость.

Просим передать Центральному Комитету и Правительству нашу величайшую благодарность за заботу, нашу уверенность в том, что алое знамя нашей Родины не дрогнет в наших руках до победного конца.

По поручению коллектива «Седова»

К. Бадигин, Д. Трофимов.

Борт «Седова», 24/Х—38 г.».

Через десять минут эта телеграмма была передана с мыса Челюскин на остров Диксон, а еще через десять минут радиоволны перенесли ее в Москву.

...Так закончился наш праздник, самый большой и значительный из всех праздников, какие мы отмечали за целый год.

(Продолжение следует).

# Современная артиллерия

Полковник В. ВУКОВ

★

Значение машин, издали поражающих противника и разрушающих его укрепления своими снарядами, люди поняли очень давно.

Трудно даже сказать, где и когда появились впервые предки современных артиллерийских орудий — метательные и стенобитные машины древности. Во всяком случае, более чем за три сотни лет до нашей эры греки уже применяли в сражениях камнеметные машины — баллисты и катапульты, прототипы наших пушек и гаубиц. Греческий полководец Александр Македонский не раз одерживал победы с помощью этих машин, разрушавших неприступные до того стены городов.

Римляне переняли от греков искусство изготовления метательных машин и развили его. Юлий Цезарь придавал им такое большое значение, что, несмотря на громадные трудности, постоянно возил за своим войском десятки тяжелых баллист и катапульт. И он никогда не жалел об этом: при помощи метательных машин он одерживал блистательные победы.

Источником энергии в метательных машинах древности сначала была сила упругости волос, кишек и жил, затем еще и сила тяжести. Машины эти существовали до XVI века.

А между тем уже с X века в Китае, а с XIII века и в Европе люди узнали новый мощный источник энергии для метания снарядов — порох. В XV веке огнестрельная, или порохострельная, ар-

тиллерия приобрела уже все права гражданства, и с тех пор началось непрерывное ее развитие.

Значение артиллерии на войне наглядно показывает относительный рост потерь от артиллерийского огня.

В франко-прусскую войну 1870—71 гг. французы от огня немецкой артиллерии понесли 25 проц. потерь от всего количества людей, выбывших из строя в боях, а в маневренный период первой империалистической войны 1914 г. французы теряли от огня артиллерии немцев уже 75 проц.

В то же время непрерывно растет и количество артиллерийских снарядов, израсходованных на одного выведенного из строя бойца.

В 1870 г. французы израсходовали на каждого выведенного из строя немца 90 кг снарядов, в 1904 г. японцы — 160 кг, в 1914 г. французы — 200 — 250 кг, в 1917 г. они же — 970 кг, а в 1918 г. — даже 2 000 — 5 000 кг. Иначе говоря, за 50 лет расход артиллерийских снарядов на одного выведенного из строя бойца увеличился примерно в 50 раз.

Объясняется это многими причинами, из которых главная — быстрое совершенствование средств защиты и, в частности, маскировки, вызвавшей стрельбу по площадям вместо стрельбы по отдельным целям.

Естественно, что рост значения артиллерийского огня на войне и расхода артиллерийских снарядов сопровождался

ростом и количества артиллерии в армиях. Вот что говорят цифры.

В 1870 г. у немцев и французов на 1 000 пехотинцев приходилось 3—4 орудия. В 1914 г. у французов тоже было лишь 4 орудия на 1 000 штыков, но у немцев — 6,4, а в 1918 г. число орудий на 1 000 пехотинцев дошло уже во всех воюющих армиях до 13 — 15. Во всех воевавших армиях в 1914 г. было примерно 25 000 орудий, а в 1918 г. — почти 85 000. За 4 года войны число орудий увеличилось в 3,4 раза, причем резко изменилось и их качество: в 1914 г. тяжелых орудий было около 4 тысяч (примерно 15 проц.), а в 1918 г. — уже 33 000 (почти 39 проц.).

Еще нагляднее рост количества и качества артиллерии показывает вес снарядов, выбрасываемых в 1 минуту артиллерией армейского корпуса в различные годы. Например, в Германии вес снарядов, выбрасываемых в 1 мин. армейским корпусом, возрастал в такой последовательности: в 1870 г. он равнялся 1 100 кг, в 1914 г. — 10 500 кг, а в 1939 г. — 48 769 кг. За 70 лет этот наиболее характерный показатель могущества артиллерии армий возрос в 44 раза!

Все последние войны и сражения — в Испании, в Китае, сражения Красной Армии у озера Хасан, у реки Халхин-Гол, бои в Финляндии и война на Западе — полностью подтвердили, что появление новых мощных родов войск, авиации и танков, нисколько не снизило значения артиллерии, наоборот, роль ее продолжает расти.

В чем же сила артиллерии и почему значение ее непрерывно растет?

Во всех армиях на первый вопрос дается четкий ответ: сила артиллерии — в ее огне. А роль огня в современном бою становится все более и более решающей. Огонь всех видов является в наши дни основой боевых действий войск на суше, на море и в воздухе.

Исключительна роль артиллерии при осаде крепостей. Вавер, форт одной из лучших бельгийских крепостей Антверпена, продержался в начале мировой войны 1914 — 1918 гг. всего лишь 3 часа — до первого удачного попада-

ния 42-сантиметрового снаряда. Этот снаряд, весом в 800 килограммов, пробил бетонное покрытие толщиной в 2 метра, углубился на метр в пол убежища и, разорвавшись, настолько разрушил подземные сооружения, что защищать форт не было уже смысла.

Ложен, также форт одной из бельгийских крепостей Льежа, почти целиком взлетел на воздух после одного удачного попадания 42-сантиметрового снаряда в его склад боеприпасов.

Французский форт-застава Манонвиллер выдержал лишь 54 часа бомбардировки, сначала тяжелыми орудиями 15 — 28-сантиметрового калибра, а в последний день и 42-сантиметровыми гаубицами. Артиллерийским огнем были разрушены выходы у всех башен и нарушена вентиляция подземных сооружений. Моральное действие бомбардировки было подавляющим. В результате форт сдался до начала атаки его противником, несмотря на небольшие потери в живой силе (всего 150 человек).

Не многим лучше оказалась участь и другой французской крепости-заставы Мобеж. С начала бомбардировки она продержалась 11 дней (из них 6 дней обстрел вели и 42-сантиметровые гаубицы). 7 сентября 1914 г. в крепости была разрушена сеть управления, многие батареи уничтожены или захвачены. 8 сентября крепость с гарнизоном в 40 тысяч человек сдалась немцам.

Надо оговориться, однако, что действия артиллерии при осаде крепостей не всегда были так удачны. Например, известная французская крепость Верден, несмотря на более чем трехмесячные бои за нее, так и не была захвачена германцами, хотя часть фортов и перешла в их руки. При этом большинство разрушений, причиненных огнем артиллерии, удавалось исправлять в сравнительно непродолжительный срок.

Но Верден оборонялся уже не как самостоятельная крепость, а как укрепленный район, входивший в общую линию обороны армии.

Именно такими укрепленными районами опоясывают теперь свои сухопутные границы все государства. «Линия Мажино», «позиция Зигфрида» — это

укрепленные районы, построенные по последнему слову оборонительной техники.

Возникает естественный вопрос: может ли обеспечить прорыв этих линий современная артиллерия?

Опыт первой империалистической войны и блестящие действия нашей Красной армии, прорвавшей «линию Маннергейма», доказывают, что артиллерия, несомненно, может справиться и с такими укреплениями, если применяют ее умело и в тесном взаимодействии с авиацией, танками и пехотой.

Нельзя и не нужно требовать от артиллерии полного разрушения всех укреплений, включая и глубокие подземные сооружения. Но артиллерийский огонь может и должен разрушить важнейшие железобетонные огневые точки и подавить всю систему обороны противника. Это позволит уже пехоте совместно с танками осуществить прорыв укрепленной линии, а затем и захват всех отдельных ее оборонительных сооружений.

После прорыва приграничных укрепленных линий войскам приходится вести бои уже в условиях обычной местности, подготавливаемой к обороне в ходе войны. Однако огонь артиллерии и здесь не менее нужен.

Средства современной техники позволяют очень быстро строить прочные полевые оборонительные сооружения из земли, брони и бетона, приспособлять к обороне любые постройки, особенно каменные дома, заборы, сараи и т. п.

Без мощного огня артиллерии захватить такие оборонительные сооружения чрезвычайно трудно, а иногда и невозможно. Наличие у противника значительного количества противотанковых орудий и широкое применение различных противотанковых препятствий парализуют действия танков и не позволяют им добиться успеха без больших потерь.

Артиллерия же вполне способна разрушить любые полевые оборонительные сооружения и противотанковые препятствия, уничтожить или подавить противотанковые орудия и тем самым расчистить путь своим танкам и пехоте.

Ничуть не меньшее значение имеет огонь артиллерии в обороне. Трех ми-

нут меткого флангового огня всего лишь двух русских батарей (16 орудий) было достаточно 2 августа 1914 г., чтобы почти полностью уничтожить полк австрийцев, пытавшихся прорвать фронт под городом Томашевым.

Целая германская дивизия, атаковавшая 7 августа 1914 г. вдвое меньшие силы русских на позиции у деревни Матишкемен (Восточная Пруссия), была отброшена и разгромлена огнем одного дивизиона (24 орудия) русской артиллерии, израсходовавшей в этом бою за 7 часов около 10 тысяч снарядов.

Во много раз превосходившие по численности войска белых, атаковавшие красный Царицын в октябре 1918 г., были отброшены и разгромлены в основном мощным сосредоточенным огнем артиллерии Красной армии, действовавшей по плану товарища Сталина.

Подобных примеров можно привести буквально сотни.

Таким образом, и в наступлении, и в обороне действие артиллерийского огня часто бывает решающим для успеха боя.

Артиллерия, как известно, наносит поражение своими снарядами.

Современные крупнейшие артиллерийские орудия способны бросать снаряды весом до 1500 кг со скоростью до 400 м/сек. Энергия такого снаряда равна 12000 тонно-метров. Действие подобного снаряда при ударе его в преграду можно сравнить с действием, которое произвел бы поезд из 8 тяжелых 50-тонных вагонов, на полном ходу при скорости 90 км/час врезающийся в ту же преграду. Но этого мало. Снаряд несет в себе заряд сильнеешего взрывчатого вещества и, углубившись в преграду, взрывом своим разрушает ее. Крупнейшие снаряды содержат до 300 кг взрывчатого вещества, т.-е. обладают энергией примерно в 100000 тонно-метров. Один такой снаряд при разрыве дает до 15000 осколков весом по 50 граммов. Крупные осколки летят иногда на 1—2 километра.

Орудия средних калибров стреляют, конечно, значительно менее мощными снарядами, но зато они могут выбросить большее их количество в тот же срок. Скорострельность орудий среднего ка-



либра равна ныне 20 — 25 выстрелам в минуту (при непродолжительной стрельбе). Это позволяет артиллерии обрушивать на голову противника десятки и сотни тонн металла и взрывчатых веществ при стрельбе даже немногих орудий в течение нескольких минут. А при массированном применении артиллерии, которое является обычным для современных сражений, и сосредоточении огня массы орудий на небольшом участке местности можно буквально засыпать снарядами этот участок, уничтожив на нем все живое, сделав его непроходимым.

Еще большей скорострельностью обладают малокалиберные орудия, предначиненные главным образом для борьбы с быстродвижущимися целями — самолетами и танками. Такие орудия способны выбрасывать до 3 — 4 снарядов в секунду и при удачной стрельбе могут в течение нескольких секунд вывести из строя низко летящий самолет (на высотах до 3 км) или легкий танк.

Дальнобойность орудий современной артиллерии очень значительна и продолжает расти. Любопытно отметить, что со времени появления огнестрельной артиллерии до наших дней, т.е. примерно за 6 веков, предельная дальнобойность артиллерии возросла в 500 — 600 раз! В середине прошлого столетия не было орудий, стрелявших далее, чем на 4 км, а большинство орудий имело дальнобойность 1,0 — 1,3 км. В 1918 г. была уже достигнута дальность стрельбы 120 км (обстрел Парижа германцами). Только за годы первой империалистической войны дальнобойность основной массы артиллерии (не считая уникальных орудий) возросла на 50—100 проц.

Непрерывно растет и меткость, и гибкость огня артиллерии, т.е. способность ее быстро перебрасывать свой огонь с одной цели на другую, хотя бы и весьма удаленную от первой. Так называемый горизонтальный обстрел орудий в 1914 г. не превышал, как правило, 6 — 7°, теперь же он достигает часто 50 — 60°, а у всех зенитных орудий равен 360°.

Несравненно более совершенными стали теперь методы подготовки огня ар-

тиллерии и способы ее стрельбы. Со всем недавно первые выстрелы свои артиллерия направляла на-глаз, пользуясь лишь элементарными расчетами, вела довольно продолжительную пристрелку и лишь после этого переходила к поражению цели. Теперь же, с помощью топографии и аэрофотосъемки, проделав быстро сложные расчеты, артиллеристы совершенно внезапно могут обрушить свой огонь не только на видимую, но и на невидимую цель.

Эта внезапность наносимого поражения — одно из отличительных и важных свойств артиллерии. О налете авиации, как правило, войска предупреждаются хотя бы за несколько десятков секунд или за 1 — 3 минуты. Еще реже вполне внезапным может быть нападение танков или конницы. Войска же, находящиеся в зоне огня артиллерии противника, никогда не могут знать, в какой момент они окажутся под этим огнем. Участники первой империалистической войны с ужасом вспоминают не только часы, в которые им приходилось отсиживаться в глубоких убежищах и окопах, засыпаемых лавиной снарядов, но и минуты перерывов в бомбардировке, когда ожидание внезапного возобновления ее действовало на нервы, подобно ожиданию приговоренного к смерти.

Если прибавить сюда возможность для артиллерии длительного воздействия на противника, то еще более ясным становится значение ее огня по сравнению с бомбардировкой авиации, всегда непродолжительной и менее внезапной.

Современная артиллерия способна успешно поражать и разрушать самые различные цели: живую силу (открытую и укрытую), все виды оружия (пулеметы, минометы, орудия), любые танки и самолеты, всевозможные оборонительные сооружения и искусственные препятствия, короче говоря, — любые цели, появляющиеся в современном бою. Она может наносить поражение осколками снарядов, пулями шрапнели, отравляющими веществами, может пробивать и разрушать силой удара снаряда и газами, образующимися при взрыве, мо-

жет поджечь или осветить цель и, наконец, может принять участие в пропаганде, перебрасывая к противнику агитационную литературу (листовки).

И при всем том артиллерия обладает сравнительно очень большой живучестью в бою: ее очень трудно не только уничтожить, но даже временно подавить, заставить замолчать. Прежде всего, это вызывается трудностью установить точно место расположения артиллерийских орудий. Современные средства маскировки, создание ложных позиций, позволяют так искусно обманывать противника, что все его старания нередко оказываются бесплодными, а та или иная батарея — неподавленной.

Яркие примеры этого дает мировая война 1914 — 1918 гг. Нетрудно представить себе, с каким усердием искали французы знаменитые сверхдальнобойные пушки немцев, как только они открыли огонь по Парижу. Первую позицию этих пушек, в лесу у Лаон, французам удалось установить довольно быстро и точно (совпали показания пленных, данные авиаразведки, звукоразведки и др.). Немедленно, конечно, позиция эта была засыпана снарядами различных калибров, включая и 305-миллиметровые. Обстрел этот продолжался целый месяц. В иные дни в лесу, где стояли орудия, разрывалось до 700 снарядов. За две первые недели всего на позицию упало более 5 000 снарядов. Но все пушки были целы, потери в людях составляли лишь 7 человек убитыми и 13 ранеными и огонь по Парижу велся непрерывно.

Когда же сверхдальнобойные пушки были перемещены на вторую позицию, вблизи которой тщательно подготовили ложную позицию, французы вовсе не смогли разбить орудий и тысячи снарядов потратили впустую, обстреливая ложные сооружения.

Наконец, история знает немало примеров, когда на батарее после длительного ее обстрела оставалось лишь несколько боеспособных человек, и этого было достаточно, чтобы батарея или отдельные уцелевшие орудия ее продолжали вести губительный огонь.

Все это отнюдь не значит, конечно, что с артиллерией невозможно или нет смысла вести борьбу. Та же артиллерия с помощью авиации, умело направив сосредоточенный мощный и внезапный огонь на артиллерийские позиции противника, может если не уничтожить, то подавить его более слабую артиллерию на наиболее решительный период боя. Это требует лишь значительного превосходства в силах над противником. Принято считать, что для успешного подавления артиллерии противника нужно иметь в группах, специально предназначенных для этого, по меньшей мере полуторное или двойное количество орудий и притом более мощных.

В заключение, для полноты характеристики основных боевых свойств современной артиллерии надо остановиться на ее подвижности и проходимости.

До первой империалистической войны принято было считать, что произведение показателей мощности и подвижности орудий есть величина почти постоянная. Иначе говоря: чем больше мощность орудия, тем меньше его подвижность. Вытекало это из неизбежного увеличения веса орудия с увеличением его мощности; вес же определял подвижность, поскольку тяга артиллерийских орудий была конная. А так как от подвижности артиллерии зависит возможность боевого ее использования в маневренной войне, естественно, что мощные орудия были малочисленны, не входили в состав войсковых соединений, а привлекались лишь эпизодически при осаде крепостей, при стабилизации фронта и т. п.

Применение механической тяги в артиллерии резко изменило указанную выше формулу. Мощные скороходные тягачи и тракторы позволили сделать весьма подвижными даже очень тяжелые дальнобойные орудия и орудия крупного калибра. Такие орудия включают ныне в состав войсковых соединений, они могут принимать участие в боях всех видов, нестрывно следуя за своей пехотой и танками. Наиболее же мощные орудия ставят на специальные железнодорожные платформы, с которых они и ведут огонь. Кроме того, нередко целые артиллерийские подразделе-

ния перебрасывают на автомобилях, а иногда даже и на самолетах<sup>1</sup>.

Таким образом, подвижность современной артиллерии возросла во много раз и позволяет принимать участие во всех боях не только легкой, но и тяжелой артиллерии.

В годы первой империалистической войны развитие успеха прорыва укрепленного фронта обычно тормозилось малой проходимость артиллерии, т.-е. ее слабой способностью передвигаться без дорог, по полю боя, изрытому окопами и воронками снарядов той же артиллерии. В силу этого артиллерия не поспевала за своей продвинувшейся вперед пехотой, отрывалась от нее и оставляла ее без своей поддержки, и пехота неизбежно останавливалась. Тем временем противник успевал оправиться и подготовиться к обороне на новых тыловых своих позициях, прорыв которых снова требовал гигантских усилий от наступающего.

Вот, например, как продвигались наступавшие французы в сражении на Сомме в 1916 году:

с 13 по 24 июля	500 метров
» 25 июля по 4 августа	500 »
» 5 по 8 августа	400 »
» 9 по 19 августа	1 000 »
» 20 августа по 3 сентября	2 600 »

Всего за 50 дней 5 000 метров

Между тем для этого наступления на фронте в 15 км французы сосредоточили 1 449 орудий, т.-е. около 100 орудий на каждый километр фронта, и израсходовали за первые 15 дней сражения более 2,5 миллиона снарядов, что составило около 3 тонн снарядов на каждый погонный метр фронта.

Не лучше результат был и в сражении на реке Эн в апреле 1917 г. Здесь французы на фронте в 40 км сосредоточили 5 597 орудий, т.-е. почти 140 орудий на 1 км фронта, и за 10 дней артиллерийской подготовки израсходовали около 6 миллионов снарядов, т.-е. в среднем по 150 снарядов на каждый по-

гонный метр фронта. А в результате этой атаки было продвижение пехоты на несколько километров.

Конечно, не следует думать, что все дело сводилось здесь к недостаточной проходимость артиллерии. Сама длительность многодневной артиллерийской подготовки атаки лишала ее всякой внезапности и позволяла противнику принять все необходимые меры обороны (подвести резервы из глубины с других участков фронта, подготовить тыловые оборонительные полосы и т. п.). Но немалую роль играла и слабая проходимость артиллерии, не позволявшая пехоте сразу на плечах отступающего противника двигаться вперед, преследовать его до полного разгрома.

Появление нового рода войск — танков — и увеличение проходимость части артиллерии, необходимой для поддержки этих танков в бою, позволило в корне изменить принципы применения артиллерии при прорыве фронта. В конце первой империалистической войны и теперь всюду отказались от многодневной артиллерийской подготовки атаки и ограничивают ее обычно несколькими часами<sup>1</sup>, что позволяет полностью соблюсти принцип внезапности прорыва. А вслед за танками и пехотой, вклинившимися в оборонительную полосу противника, немедленно движется и артиллерия, поставленная на гусеницы, позволяющие ей преодолевать рвы и воронки, и снабженные мощными тракторами, которые иногда не только тянут за собой орудия, но и служат их лафетом. Самоходная артиллерия является теперь непременной составной частью танковых соединений, тракторную тягу имеет вся тяжелая артиллерия и значительная часть легкой артиллерии, а наиболее тяжелые орудия имеют лафеты на гусеничном ходу. Все это намного повысило проходимость артиллерии и обеспечило ей возможность не отрываться в бою от танков и пехоты, надежно поддерживая их в глубине оборонительной полосы противника.

<sup>1</sup> Исключение составляет лишь период разрушения при подготовке прорыва долговременной укрепленной полосы, который будет продолжаться, очевидно, несколько дней.

<sup>1</sup> Опыты таких перебросок производились в США. См. Гау. «Моторизация и механизация армий». Военизгиз. 1934 г.

Таковы, в целом, замечательные основные боевые свойства современной артиллерии, ставящие ее в ряд основных родов войск.

Современная артиллерия делится на пехотную (батальонная и полковая), дивизионную, корпусную и так называемый артиллерийский резерв главного командования (АРГК); кроме того, во всех армиях почетное место занимает специальная зенитная артиллерия.

По данным зарубежной печати, на вооружении имеются следующие образцы всех видов артиллерии<sup>1</sup>:

### 1. Пехотная артиллерия

#### а) Батальонная

25-мм ПТ пушка с дальностью стрельбы	— 4 700 м	(Швеция)
37-мм » » » » »	— 7 100 м	(Швеция)
60-мм ротный миномет	— 1 700 м	(Франция)
70-мм пехотная мортира » »	— 2 800 м	(Япония)
81-мм пехотный миномет » »	— 4 400 м	(Германия)

#### б) Полковая

50-мм полковая пушка с дальностью стрельбы	— 6 200 м	(Германия)
75-мм » » » » »	— 9 000 м	(Германия)

### 2. Дивизионная артиллерия

75-мм горная пушка с дальностью стрельбы	9—10 км	(Англия, Франция)
75-мм легкая пушка » » » » »	11—13½—14½ км	(Англия, Германия, Франция)
105-мм горная гаубица » » » » »	6 км	(Германия)
105-мм легкая гаубица » » » » »	13,2 км	(Англия)

### 3. Корпусная артиллерия<sup>2</sup>

105-мм тяжелая пушка с дальностью стрельбы	— 17—18—20 км	(Швеция, Япония, Франция)
150-мм тяжелая гаубица » » » » »	— 19,5 км	(Германия)

### 4. АРГК (орудия большой мощности)

150-мм пушка с дальностью стрельбы	— 22 км	(Швеция)
185-мм тяжелая пушка » » » » »	— 26 км	(Франция)
210-мм тяжелая гаубица » » » » »	— 17 км	(США)
240-мм тяжелая пушка » » » » »	— 52 км	(Франция)
400-мм тяжелая гаубица » » » » »	— 27 км	(США)

### 5. Зенитная артиллерия (пушки)

20—25-мм—	досягаемость по высоте	— 2 000 м	досягаемость по дальности	— 5 000 м.
37—40-мм	» » » » »	— 4 500 м	» » » » »	— 7 000 м
75—80-мм	» » » » »	— 9 500 м	» » » » »	— 15 000 м
90-мм	» » » » »	— 12 000 м	» » » » »	— 16 500 м
150-мм	» » » » »	— 15—17 км	» » » » »	— 19—22 км.

Наша Красная армия вооружена лучшими образцами артиллерийских орудий. У нас есть артиллерия и легкая, и средняя, и тяжелая, зенитная, танковая, противотанковая и пехотная. Качество нашей артиллерии хорошо известно некоторым неумным нашим соседям, а количество орудий и боеприпасов в доста-

точной мере обеспечивает нам наша социалистическая промышленность.

<sup>1</sup> Журнал «Военная мысль», № 3—4, 1937 г. стр. 43 и 60.

<sup>2</sup> По последним данным, калибры дивизионных и корпусных гаубиц в иностранных армиях увеличены.

# Поездка А. М. Горького в Америку

Н. БУРЕНИН

★

I

Вопрос о поездке Горького в Америку возник в 1906 году, когда Горький был вынужден эмигрировать из России. Владимир Ильич Ленин придавал этой поездке большое значение. Цель ее заключалась в том, чтобы помешать царскому правительству получить заем и вместе с тем попытаться собрать средства на революционную подпольную работу.

Было одобрено участие в поездке Марии Федоровны Андреевой, жены Горького. Ее знали: уже несколько лет она работала в партии, оказывая всяческое содействие как денежными средствами, так и многочисленными своими знакомствами, а с лета 1905 года была самым тесным образом связана с боевой технической группой при ЦК РСДРП(б).

Мое личное знакомство с М. Ф. произошло на даче в Куоккала, на так называемой мызе Линтуля, где она проводила лето со своей семьей. Я приехал к Горькому с поручением, касающимся боевой технической группы при ЦК РСДРП(б).

Обстановка, в которой я застал Горького и М. Ф., была самая домашняя. Меня пригласили к обеду, и, помню, меня поразило множество людей за обеденным столом. Сидели какие-то военные и штатские, изысканно одетые, и люди в косоворотках, студенты и рабочие. Тут же были дети разных возра-

стов и с ними их воспитатели, говорившие на разных языках.

М. Ф. возглавляла стол, и надо было удивляться ее умению объединить всех, разговаривая с одними серьезно, с другими полушутя, подбадривая робеющих, успокаивая расшалившихся ребят, всегда зорко следя за тем, чтобы Горькому ничто не мешало и, когда он начинал говорить, никто бы зря в разговор не вмешивался.

Она все время чутко следила за ним, за его словами и не забывала ни на минутку смотреть за тем, как он ел, что брал на свою тарелку, так как ел он мало и неохотно.

Здоровье его в то время, после недавнего сидения в Петропавловке, было из рук вон плохо.

После обеда дети убежали в сад, часть взрослых пошла играть в городки, а человека три-четыре, в том числе и я, поднялись к Горькому, в его комнату во втором этаже.

Когда деловые разговоры наши закончились и мы уже собирались уходить, М. Ф. ни за что не позволила нам уехать, не попив чая. Самовар уже кипел на столе, и терраса вновь зашумела. Появились молодые писатели, только входящие в славу, о которых мы — публика, в особенности студенческая, — знали только понаслышке. Оказывается, все они были завсегдатаями на мызе Линтуля.

Уехал я с таким чувством, будто давно-давно знаком с М. Ф. Снова встре-

титься нам пришлось осенью и уже в другой обстановке — в московской квартире на Воздвиженке.

Не прошло и нескольких минут после моего прихода, как М. Ф. предложила мне:

— Хотите птиц алешиных посмотреть?—И она показала мне рядом с кабинетом Горького небольшую комнатку; во всю ширину окна в ней была устроена большая клетка, в которой летали разные пичуги: синички, красношейки и т. п.

— Алексей их очень любит, он сам о них заботится.

Впоследствии, во время декабрьского вооруженного восстания, в этой именно комнатке один из наших химиков обучал боевиков делать македонские бомбы, и М. Ф. потому выбрала эту комнату, что она была наиболее изолирована во всей квартире.

Переговорив о наших конспиративных делах, мы пошли в небольшую столовую.

Там опять было полно всякого народа. М. Ф. следила за тем, чтобы лишние и неинтересные для Горького люди не проникали к нему, не мешали ему работать. Она очень умело их отстраняла, беря всю тяжесть бесед с ними на себя.

При вторичном моем посещении М. Ф. и Горького я окончательно почувствовал себя «своим». В этот раз они подарили мне свои фотографии с чудесными надписями, причем Горький, вспоминая свою недавнюю поездку в Финляндию под видом охотника по делам, связанным с получением оружия, надписал мне на фотографии:

«От охотника за всякой дичью».

С этих пор с М. Ф. и Горьким у меня установилась прочная связь, особенно укрепившаяся, когда они в 1906 году поехали в Финляндию.

Когда началась подготовка к поездке в Америку, стало понятно, что ни Горький, ни М. Ф., имея перед собой очень ответственное партийное задание, не смогут входить во все мелочи. Нужен был человек, который мог бы их окружить заботами, оберегать от непредвиденных случайностей, обеспечить Горькому возможность спокойной работы.

На эту роль Красин, согласно выраженной Горьким и М. Ф. желанию, выбрал меня.

## II

И действительно, весьма скоро после приезда в Америку пришлось принять меры к тому, чтобы оберечь Горького и М. Ф. от американской желтой прессы. Не прошло и недели после их приезда в Нью-Йорк, как при благосклонном участии царского правительства и эсеров разыгрался огромный скандал. Чтобы помешать миссии Горького, его обвиняли в отсутствии морали, а про М. Ф. выдумывали всякие грязные небывальщицы.

М. Ф. Андреева не была обвенчана с Горьким. Хотя она нигде официально не выступала в качестве его жены и как на пароходе, по пути в Америку, так и в самом Нью-Йорке, в гостинице, занимала отдельное помещение, но, само собою разумеется, их близость была очевидной, да они и не скрывали ее, конечно; кроме того, Мария Федоровна, хорошо знавшая языки, была переводчицей во время бесед Горького с иностранцами и репортерами газет, которые немедленно стали называть ее «мадам» или «миссис Горки».

Это использовал посол императорской России в Америке, испугавшийся возмущенного приема, оказанного Горькому в Америке, и того, что тогдашний президент Теодор Рузвельт высказывал желание принять Горького у себя, в Вашингтоне.

Эсеры в Америке каким-то образом узнали о готовящейся против Горького газетной кампании по поводу «отсутствия у него моральных устоев». Когда эсеры пришли к Горькому, я среди них сразу узнал высокого, представительного седого человека, оказавшегося Николаем Чайковским. За несколько месяцев перед этим я его встретил в Лондоне, куда ездил, по поручению Владимира Ильича Ленина, для переговоров о транспорте оружия, закупленного Гапонем для отправки в Россию на пароходе «Джон Графтон». Эсеры не сумели организовать приемку оружия, и в наши

задачи входило взять это дело в свои руки. В Лондоне Чайковский не называл себя, и я очень был удивлен, встретив его в Нью-Йорке, где он своего имени не скрывал.

Эсеры обратились к Горькому с вопросом, будет ли он делиться с их партией собранными им в Америке средствами.

Горький ответил им, что он член партии большевиков—и все собранные средства будут им переданы в эту партию. Чайковский и его товарищи ушли, не предупредив Горького о готовящейся против него интриге.

На другой день началась газетная гонимая.

После этого администрация той гостиницы, в которой жили М. Ф. и Горький, предложила М. Ф. немедленно покинуть отель. Ни в какую другую гостиницу ее тоже не пустили. Конечно, Горький также немедленно уехал из гостиницы и вынужден был на время принять предложение молодых американских писателей провести несколько дней в их общежитии, в самом центре Нью-Йорка. Они при этом поставили непременным условием, чтобы об его и М. Ф. пребывании у них не знал никто, кроме меня и русского эмигранта Николая Заволжского, одного из многочисленных, опекаемых Горьким юношей, случайно в это время находившегося в Нью-Йорке.

Вся эта история произошла таким образом.

Мы вернулись с одного из многочисленных собраний, где выступал Горький, ночью, в третьем часу, и только вошли в вестибюль гостиницы, как навстречу нам с лестницы спустилась хозяйка отеля, сухопарая матрона, лицо которой так и пылало «благородным негодованием».

С протянутыми вперед руками, как будто она что-то отталкивала, она гневно шептала: «No come in! No come in!» («Не входите! Не входите!»).

При этом она смотрела на Марию Федоровну и всей фигурой, всеми движениями старалась показать свое к ней презрение и возмущение.

Она была до того карикатурна, что

вначале, не поняв всего происходящего, мы не могли не рассмеяться. Но когда она, позеленев от злобы, показала нам на выброшенные в вестибюль наши вещи, мы поняли, что произошло нечто весьма неприличное и возмутительное.

Наши незапертые сундуки и чемоданы были разбросаны по всему вестибюлю, словно после воровского налета. В них, как попало, побросали наше платье, белье, дорожные вещи. Из-под крышки сундука М. Ф. высывалось ее концертное платье, раньше висевшее в шкафу и теперь втиснутое в сундук вместе с другими вещами, что-то сапоги валялись между чемоданами. Впоследствии открылась пропажа эмалевых, с бриллиантом, часов М. Ф.

Горький стоял, покручивая усы, недоуменно смотрел то на расходившуюся фурию-хозяйку, то на меня. У него был такой вид, что мне вдруг стало стыдно, точно я был во всем виноват, не сумев предупредить этих позорных событий. Вспомнив о клубе писателей, находившемся на той же улице, где мы накануне обедали в компании молодых американцев, во главе с маститым Марком Твенном, я предложил немедленно пойти туда. Хозяйке я сказал, что через пять минут вернусь и с ней поговорю.

На улице никого не было, и решительно никто не видел, как мы подошли к клубу. Дверь открыл заспанный слуга-понец и немедленно, по нашей просьбе, разбудил писателя Лерои Скотта и его жену, живших в общежитии клуба. Сдав на руки мистрисс Скотт М. Ф. и Горького, Николай Заволжский и я вместе с мистером Скоттом вернулись в отель и, несмотря на то, что Лерои Скотт ругал хозяйку на чем свет стоит, стучал кулаком по всем попадавшим под руку предметам и, кажется, готов был и ее здорово отколотить, — хозяйка нас осилила и настояла на своем: чтобы мы немедленно уехали и чтобы духу нашего не было в отеле.

Лерои Скотт грозил ей муками ада, но она была непреклонна, и все пылкие угрозы Лерои Скотта от нее отскакивали, словно она была бронированная.

Дальнейшие события показали, что у нее была весьма крепкая позиция, а

Лерои Скотт, как и все прочие наши защитники, оставшись в меньшинстве, что называется, сдрейфил и только конфузливо оправдывался в своем бессилии перед распоясавшейся желтой прессой. Даже сам Марк Твэн, в ответ на наши телефонные звонки к нему, вдруг занемог и скрылся из виду, а ведь только накануне он обнимал Горького и уверял его в своей необычайной к нему любви.

Кое-как приведя в порядок наши чемоданы, простясь с Лерои Скоттом, ушедшим домой, мы вызвали по телефону кэб и очутились в три часа ночи в центре Нью-Йорка, на панели, вдвоем с Николаем Заволжским, перед закрытыми дверями отеля.

Полицейские издали поглядывали на нас, и я по старой привычке конспиратора обращать внимание на все, что происходит вокруг, заметил, что недалеко остановился другой кэб из него выскочил какой-то субъект, что-то записал в свою книжечку и опять уселся в экипаж.

Тогда мне пришла в голову блестящая мысль: отвезти вещи на какой-нибудь самый дальний вокзал, сдать их там на хранение и по дороге обдумать, что предпринять дальше.

Так мы и решили. Нагрузив кэб вещами так, что сами еле-еле уместились в нем, мы тронулись в путь. Выглянув в окошечко, я увидел, что подозрительный кэб едет на приличном расстоянии за нами, и куда бы мы ни свернули, — он, как тень, следует по пятам. Подъехав к Пенсильванскому вокзалу, мы с трудом добились носильщика. Заволжский, говоривший по-английски, взялся устроить вещи, а я стал наблюдать за нашей «тенью».

Субъект опять выскочил из кэба, опять что-то записал в книжечку. Тогда я решил от него отделаться. Когда Заволжский вышел, мы с быстротой молнии буквально провалились сквозь землю. Рядом был собвэй — метро. Мы пробежали сложными подземными ходами и вскочили в поезд «экспресс». На первой же станции, убедившись, что мы «чисты», что субъект нас потерял, мы вышли из собвэя и отправились

в первый попавшийся отель. Было часов пять утра, но нас впустили и почему-то отвели огромный номер. Сначала нас это удивило, но когда на звонок вошел толстый слуга-китаец, в своем национальном костюме, с длинной косой, и чуть не в пояс мне поклонился, я понял, что меня приняли за какую-то важную персону, вероятно, потому, что у меня было расстегнуто пальто и был я во фраке и лакированных ботинках.

Китайцу трудно было понять, что мы за люди: быть может, артисты, быть может, миссионеры, во всяком случае, — люди, не совсем обычные.

Когда китаец вышел, мы посмотрели друг на друга и невольно расхохотались, и только тогда поняли всю трагикомичность нашего положения.

Наутро, купив газеты, мы узнали, что Горький со своей «подругой» уехал в Пенсильванию. Значит, план удался — все следы заметены! Преследовавший нас субъект, очевидно, был репортер, которого мы ловко надули. Я стремился как можно скорей увидеть М. Ф. и постараться смягчить то, что на нее навалилось, — газеты были полны всякими нелепыми сообщениями, касавшимися личной жизни Горького, а на М. Ф. выливались ушаты грязи.

Мы застали их на положении арестованных. В доме писателей говорили шопотом, шторы на окнах, выходящих на улицу, были спущены, и Горькому не позволяли подходить к окнам. Сначала мы пытались скрыть от М. Ф. то, что о ней писалось в газетах, но она видела нас насквозь и, казалось, приготовилась к самому худшему.

Меня беспокоила мысль, что порученное нам дело лопнуло, — значит, надо уезжать или что-то предпринимать.

Снова явились эсеры, предлагая Горькому свою помощь, при том условии, если он поделится с ними собранными им деньгами, но Горький категорически отказался иметь с ними какое-либо дело.

Горький получил ряд писем от рабочих-социалистов из разных штатов Америки, особенно из штата Мэн, с предложениями приехать в их скромное жилище, но он решил во что бы то ни стало противостоять поднявшейся против него



буре, победить ее и ни в коем случае не уезжать из Нью-Йорка.

Среди писем, полученных М. Ф. Андреевой, было письмо от некоей Престоинии Мартин, сравнительно богатой американки, дочери известного в свое время нью-йоркского врача и жены английского школьного учителя.

Она писала: «Я не могу и не хочу позволить, чтобы целая страна обрушилась на одинокую, слабую молодую женщину, и потому предлагаю вам свое гостеприимство».

И Горький, и М. Ф. попросили меня поехать к этой мистрисс Мартин и попытаться уговорить ее принять их в качестве платных гостей. Мне удалось это устроить, и приблизительно после недельного пребывания в общежитии молодых американских писателей М. Ф. и Горький переехали на виллу Мартин.

### III

Таким образом, необходимое пристанище, где бы Горький мог жить и работать, мы нашли у супругов Мартин, вначале на их вилле, а затем, в течение лета, — в их имении, в горах Адирондакс, в штате Нью-Йорк, куда от ближайшего города Элизабеттоун надо было ехать на лошадях верст двадцать пять.

Имение Мартин состояло из двух крупных участков. Один — в низине, окруженной со всех сторон горами, другой — на склонах горы Хоррикен, описанной Майн-Ридом. Первый участок носил название «Соммер брук», по-русски — «Летний ручей», второй — «Ариспонетт».

Горький называл «Соммер брук» — «Сорви брюки»; для американского уха это, повидимому, звучало похоже на американское название, но сместило нас, русских.

Первую половину лета мы прожили в Соммер бруке вместе с хозяевами, но затем к ним приехали их приятели из партии фабианцев, к которой принадлежала Престоиния Мартин, и мы переехали в Ариспонетт.

В Соммер бруке мы помещались в отдельном домике, но каждый вечер собирались в гостиной, занимавшей больше

половины дома, с огромным камином, в который входили буквально полусаженные бревна. Камин был так устроен, что от пола комнаты спускалась к нему большая ступенька, на ней разбросаны были подушки, на которых удобно было сидеть и смотреть на огонь.

Против камина, на противоположной стене комнаты, через огромное, сажени в полторы, окно видно было ночное небо с яркими звездами и темные силуэты гор, закрывающие горизонт. Во всю длину окна тянулся диван.

Большой концертный рояль казался маленьким в этой огромной комнате; играть приходилось при десяти свечах, вставленных в железные подсвечники-шандалы, превышавшие рост человека. Потолка в комнате не было, свет от камина и свечей терялся в вышине, слабо освещая стропила, поддерживавшие крышу, и не доходил до стен.

Где-то в темном углу жутко поблескивали глаза большой рогатой головы буйвола, висевшей на одной из стен.

В углах комнаты и между мебелью в больших фаянсовых ведрах и вазах стояли срубленные молодые деревья, преимущественно клены.

Вся эта исполинская гостиная, неясный, борющийся с темнотой свет, окно, которого, казалось, и не было вовсе, ночь, своими звездами глядевшая в комнату, — создавали необычайное настроение. Горький не пропускал ни одного вечера, чтобы после упорной каждодневной работы не притти посидеть с нами. Он любил ворочать огромные поленья в камине и слушал своего любимого Грига.

Он писал в это время повесть «Мать». Не случайно в ней Софья играет Грига.

В течение трех месяцев Горький неизменно слушал его и неоднократно просил повторять одно и то же произведение.

У Горького написано:

«Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишам левой рукой. Сочно и густо запели струны. Вздохнув глубоко, к ним прилилась еще одна нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки, светло звеня, тревожной стаей полетели странно прозрачные крики струн

и закачались, забились, как испуганные птицы, на темном фоне низких нот».

И еще:

«Она сильно ударила по клавишам, и раздался громкий крик, точно кто-то услышал ужасную для себя весть—она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда-то торопливо, растерянно, снова закричал громкий, гневный голос, все заглушая. Должно быть, случилось несчастье, но вызвало к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый, сильный и запел простую красивую песню, уговаривая, призывая за собой».

Так мог написать только человек, глубоко воспринимающий музыку. Она будит в нем воспоминания, рисует образы, вызывает новые чувства, согласные с чувством композитора, отвечающие ему. Горький слушал внимательно, затаенно и, бывало, просидев с нами целый вечер, молча уходил к себе.

Вначале это меня очень смущало, казалось, моя игра ему неприятна, раздражает его, но, когда в следующий вечер он просил играть то же самое, я понял, что он боялся забыть свое впечатление от музыки и уносил его с собой, никому не раскрывая.

Чаще бывало так: когда я кончал играть или даже еще во время игры, Горький начинал рассказывать что-нибудь из своей жизни, о том, что он видел, с кем встречался.

В комнате по вечерам сидели, кроме Марии Федоровны и Николая Заволжского, наши хозяева: Престония Мартин и ее муж Джон Мартин. Они глубококомысленно играли в шахматы, очень смешно называя друг друга русскими именами: «Престона Ифановна» и «Ифан Ифанович». Иногда Престония Ивановна, совершенно чисто уговаривая русские слова, вскрикивала: «Чорт возьми!».

Иван Иванович, с резким английским акцентом, на это отвечал: «Спасибо, до сфиданья» — и брал у нее шахматную фигуру.

Кроме нас, у них гостили: учитель-

ница из Чикаго и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке — мисс Гариэт Брукс, уже прославившая себя важным открытием в области радиологии, ассистентка Содди и Резерфорда — радиологов.

Все они ни слова не понимали порусски, но сидели, как завороченные. Казалось, они воспринимали рассказы Горького, как музыку, не понимая слов, но угадывая их значительность.

Когда Горький умолкал, Престония Ивановна с горячностью восклицала:

«Je ne comprends pas un seul mot, mais c'est magnifique!»<sup>1</sup>.

И все просили М. Ф. перевести, что рассказывал Горький. М. Ф. переводила с большим искусством, захватывая слушателей, так как передавала почти дословно то, что говорил Горький.

Мы засиживались до глубокой ночи, свечи в шандалах выгорали, и только огонь в камине то вспыхивал, когда шевелили поленья, то угасал и, догорая, освещал комнату причудливым красным светом. Люди сливались с темнотой, и голос Горького звучал, как легенда о пережитом прошлом, то рисуя природу и красивых душою людей, то леденя наши души тем тяжелым и безотрадным, что ему пришлось пережить в его богатой приключениями жизни.

#### IV

Из произведений Грига Горький особенно любил «Сон Брунгильды» из симфонического произведения «Сигурд Йорсальфар», «Пер Гюнта», «Лирические пьесы», «Одинокого путешественника», «Эротическую поэму», «Колыбельнук», «Ноктюрн», сюиту, посвященную Гольдбергу, норвежские танцы и мелодии и, наконец, «Траурный марш», который Горький предпочитал шопеновскому.

Слушая Шопена, он говорил:

«Когда этот марш слушаю, всегда думаю о похоронах какого-нибудь ге-

<sup>1</sup> «Я не понимаю ни одного слова, но это великолепно!».

нерала, а триговский возбуждает во мне большие чувства, рисует большие образы».

Марш Шопена в те годы действительно часто исполнялся в России духовыми оркестрами при торжественных похоронных процессиях, должно быть, поэтому он и потерял для Горького свою остроту и в его представлении был тесно с ними связан.

Очень любя Шопена, я сердечно горевал, что не мог так его сыграть, чтобы заставить Горького полюбить его так же, как он любит Грига. Играла Шопена и наша хозяйка Престония Ивановна, играла изящно, со вкусом, но вкладывала в свою игру слишком много сентиментальности, ее Шопен был чересчур салонным, и Горький это чувствовал. Он слушал ее игру с удовольствием, но чаще просил Престонию Ивановну потанцевать. Это она делала замечательно! Ее муж приставлял к пианино фонолу... звучала негритянская музыка. Престония Ивановна снимала туфли, ставила их аккуратно в сторонку и в одних чулках начинала танцевать.

Она импровизировала свой танец. Не красивая, довольно полная, уже молодая, она танцевала с необыкновенной грацией и поразительной ритмичностью. Мне кажется, что это чувство ритма и восхищало Горького. Я, вообще, неоднократно замечал, что ритмические движения вызывали в нем музыкальные эмоции.

Иногда к нам приезжал американский миссионер со своей женой — мистер и миссис Нойз, вернувшиеся из Японии. Он человек лет шестидесяти, необычайно высокого роста, худой до невероятности, плешивый, большерукий. Казалось, кости вот-вот проткнут его серый костюм. Жена была немного помоложе, маленькая, шупленькая, быстрая в движениях. По вечерам, развеселившись, они устраивали своего рода варьете, как будто и не совсем подходящее для миссионера.

Миссис Нойз протягивала веревочку по полу и говорила, что это проволока, натянутая в воздухе, потом подтыкала юбки наподобие шаровар, брала раскры-

тый зонтик и веер и изображала танцовщицу на проволоке. Я садился за рояль, играл вальс, а она балансировала. Зрители были убеждены, что перед ними самый настоящий эквилибрист на проволоке. Миссионер же изображал человека-скелета, он начинал танцевать, и, по мере ускорившегося музыкального темпа, кости его как бы отрывались от сочленений, болтались у него в рукавах, в брюках, вы ясно видели, что целого скелета больше нет, а есть что-то вроде мешка с костями. Темп замедлялся, и миссионер как бы разваливался на куски. Все это он проделывал в абсолютном ритме.

Горький был в восторге от этого номера.

— Учись, музыкант, — говорил мне Алексей Максимович, — ритм — душа музыки.

Нас, русских, американцы просили что-нибудь исполнить, просили спеть русские песни или протанцевать.

Выручала М. Ф. У нее был совершенно замечательный «номер»: «Песня про комара». Она ее пела бесподобно.

Рассказывая очень просто про комара, про его встречу с мухой, она незаметно меняла интонацию, когда комар оставался один и садился, свесив ножки, на дубовый листок. Налетал ветер, в голосе слышно было волнение. А когда происходила катастрофа, — комарик сваливался с дуба, ломал себе ребра и кости, — голос снова менялся, появлялись трагические нотки, вещавшие о комариной смерти. Самый большой успех имели слова, в которых спрашивалось: какой это лежит покойник? И лукаво-иронический ответ: «То не царь, не генерал, не полковник, то старой мухи полубовник».

Американцы аплодировали и заставляли М. Ф. бисировать. Во время пения Престония Ивановна подергивала плечами и, казалось, сейчас пустится в пляс.

У Горького была странная особенность: он, вообще, не любил женского пения. Я знаю только два исключения — это негритянская певица Кореттия Арлэ-Тиц, которая ему нравилась не только, когда она пела негритян-

ские или индейские песни, но и русские романсы, и А. И. Загорская с ее народными песнями.

Но «Песня про комара» в исполнении М. Ф. ему нравилась. Он ухмылялся себе в усы, и ему даже как будто импонировал успех, которым сопровождалась эта песня. Когда появлялся какой-нибудь новый посетитель и американцы уж очень нас забывали своими трюками, Горький говорил:

— Ну-ка, Маруся, спой про комара.

И мы не уступали американцам пальмы первенства.

## V

Слушая суждения Горького о музыке и наблюдая его отношение ко всякого рода музыкальным явлениям, я убедился, насколько он ценил связь музыки с народным творчеством, считая его источником музыкального искусства. Фольклор всегда интересовал Горького, и он всюду его умел найти.

Были мы как-то на Куни-Айленде — этом своего рода «увеселительном острове» Нью-Йорка, где американцы развлекаются разными дешевыми способами.

Все аттракционы залиты светом бесчисленных ламп. Попадая в водоворот толпы, вы испытываете ощущение, будто вас подхватило могучее течение и вы не в силах выбиться из него.

Со всех сторон одновременно, на разные мотивы, тремит музыка, по большей части самая вульгарная, шумят трещотки, хлопают хлопущки, свистят и гудят дудки, над головой летят лодки воздушных каруселей, сбоку несутся какие-то нелепые лошади, и не знаешь — они ли ржут или едущие на них американцы; вдруг вас обрызгивает водой скатившаяся откуда-то с вышины лодка, падающая в бассейн, а через минуту вы уже рискуете быть раздавленными нелепым великаном, между ног которого проходит толпа.

Все движется, шумит и, что неприятней всего, вся публика везде и всюду жует без-устали свои резиновые, конфетные и табачные жвачки.

В одном из очерков, написанных в Америке, — «Царство скуки», — Горький красочно описывает Куни-Айленд.

Днем из сада виллы Мартин на Статен-Айленде, где жил Горький, видны были на другой стороне залива затянутые дымкой прозрачные, казавшиеся воздушными здания. Когда же пришла ночь:

«На океане вдруг поднимается к небу призрачный город, весь из огней.

...Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и звезд большая колыбель — в ней ночью отдыхает солнце».

Но, когда вечером попадаешь на остров:

«Призрачный издали, сказочный город встает теперь, как нелепая путаница прямых линий дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей, расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо разнообразны, и ни в одном из них нет даже тени красоты. Они построены из дерева, намазаны облупившейся белой краской и все точно страдают однообразной болезнью кожи. Высокие башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно-ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Все раздето, ограблено бесстрастным блеском огня: он — всюду, и нигде нет теней. Каждое здание стоит, точно удивленный дурак, широко раскрыв рот, а внутри него облако дыма, резкие вопли медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди едят, пьют, курят».

Неудивительно, что, побывав на этом острове пошлости и «скупного уродства», залитого «бесстрашным блеском огня», Горький разгневанно пишет:

«Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза... Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать, кричать и петь в буйной

игре разноцветных языков живого пламени на сладострастном пире уничтожения мертвого великолепия духовной нищеты...».

Неожиданным отрадным явлением и кратковременным отдыхом от жутких впечатлений этого вечера явилась индейская деревня, целиком перенесенная откуда-то из глубины Америки в кошмарный хаос Куни-Айлэнда. Она выросла, словно тихий оазис. Проход в нее охранялся краснокожим красавцем с такой гордой осанкой, что невольно, глядя на него, все замолкали.

Мы обошли их жилища — вигвамы, знакомились с бытом индейцев, видели их жен, детей. В укладе их жизни чувствовались вековые традиции, какая-то поразительная уверенность в себе.

На все наши вопросы они отвечали упорным молчанием, только один из них неожиданно подошел к Горькому, красивым, гордым жестом коснулся его груди и что-то сказал ему, очевидно, выражая ему свою симпатию.

В одной из палаток, довольно больших размеров, мы уселись на скамьях, и началось представление — танцы под звуки флажолетных флейт и барабанов. Танцевали индейцы в своих красивых головных уборах, с надетыми на плечи развернутыми орлиными крыльями.

Танец обращал на себя внимание своим необычайно сложным, но четким ритмом, богато украшенным синкопами (ударение на слабом времени). Танцующий подчеркивал их своими жестами, и внезапные остановки его не только не мешали непрерывности движения, но обогащали его своей неожиданностью.

В особенности это чувствовалось в танце, начинавшемся с тяжелых, медленных движений, с постоянным нарастанием звучности и быстроты. Танец захватывал своей эмоциональностью.

Впечатление усиливалось наличием огромных, длинных змей, которые извивались в руках индейцев; танцоры брали их в зубы, а змеи обвивали танцоров своими кольцами.

Горький следил за каждым движе-

нием танца и, видимо, сильно увлекался его стихийностью, сложным ритмом, не меняющимся с самого начала и до конца.

После этого вечера в наши домашние концерты вошли некоторые индейские песни, причем излюбленной стала «Покахонтас» — песня про индейскую девушку, напоминавшая музыку танца индейцев на Куни-Айлэнде.

Горький, вообще, охотно слушал музыку для танцев. Не могу забыть, какое впечатление на него произвел «Матчиш», только-что тогда появившийся в Америке. Вторая часть этой веселой пьесы, идущая на басах, почему-то в представлении Горького связывалась с католическими монахами, и он так образно, с таким юмором рассказывал об их образе жизни, об их выпивках, упитанных фигурах, что слушатели покатывались от смеха.

Как-то в воскресенье — день, когда хозяева сами себе прислуживают, а прислуга гуляет, — мы сидели всей компанией в любимой нашей гостиной. Почта принесла радостные известия от Л. Б. Красина о том, что выиграно крупное денежное партийное дело. Чуткая Престония Ивановна сразу заметила, что у нас случилось что-то радостное, стала поздравлять своих «русских детей» — «mes enfants russes», как она нас называла, — и готова была затанцевать от радости за нас. Я сел к роялю и заиграл веселый кэк-уок. Заволжский очень талантливо начал подражать негритянским танцам, к нему присоединились мисс Грэвс и Гарриэт Брукс, и, начав свой танец в доме, они под общий смех выбежали в залитый ярким солнцем сад. В саду к нам присоединился молодой паренек-садовник, он же кучер и «на все руки мастер». Танцуя вокруг дома, они подхватили горничную, негритянку-кухарку, те потащили за собой Престонию Ивановну, захватили самого Горького и Марию Федоровну, которая увлекла за собой Ивана Ивановича, и так, целым хором, плясали какой-то неизвестный танец: мы — на русский лад, американцы — по-своему.

Когда все утомились и сели за чай, Иван Иванович, с которого пот катился градом, неожиданно изрек:

— Спасибо, до свиданья!

★

Однажды шли мы втроем не то по Бостону, не то по Филадельфии — Горький, Николай Заволжский и я.

Улицы — тоскливо однообразные, дома похожи один на другой. Не на чем остановиться глазу. Вдруг откуда-то раздались непонятные звуки: не то свирели, не то флейты, с аккомпанементом каких-то странных инструментов и барабана. Из-за поворота улицы сперва выбежали, как и полагается, мальчишки — целая ватага, — а затем взрослые.

Посреди улицы выступал необычайно высокого роста детина в костюме шотландца, в куцой кофточке до пояса, в короткой клетчатой юбке, не доходящей до колен, с таким же клетчатым пледом через плечо, скрепленным с левой стороны огромной пряжкой.

На манер хорошего мажордома он размахивал в такт грандиозным жезлом, работая им с остервенением.

За ним шел оркестр дудочников, барабанщиков и волынщиков в таких же костюмах. Барабаны неистово выбивали дробь.

Это были здоровенные деревенские парни, веселые шотландцы: видно было, что вскормлены они на хорошей пище и выпить не дураки.

Веселый, задорный ритм марша задел Горького, да и нас тоже. Мы влились в толпу, поймали шаг и, любуясь молодцами — шотландцами, забыли свою недавнюю тоскливость.

Не помню, долго ли мы ходили за этим оркестром, но не могу забыть, как нам здорово досталось от Марии Федоровны, оберегавшей Горького от всякого утомления, строго запрещенного ему докторами.

Горький долго помнил этот маскарадный оркестр, часто и живо рассказывал о том, как мы ходили за ним

по улицам и не могли от него оторваться.

## VI

Музыка так тесно вошла в наш обиход, что даже в поездках мы без нее не обходились. Где бы мы ни были, куда бы ни приехали, если только были пианино или рояль, Горький обязательно меня за него засаживал.

На океанском пароходе, когда мы возвращались из Америки, ехал молодой патер, итальянец, очень хорошо говоривший по-французски. Мы с ним познакомились, и я скоро узнал, что он скрипач, хорошо играет и что у него имеются с собою ноты и даже есть скрипичная соната Грига.

Сказал я об этом Горькому, и, конечно, не прошло и часа, — патер уже играл.

Качка невероятная, у меня кружилась голова, тошнило так, что вот-вот случится беда, но на патера качка не действовала. Играя на скрипке, он бежал как-то боком, заплетаясь ногами, от рояля к стене и обратно.

Уж не помню, присутствовала ли М. Ф. на наших морских концертах, — кажется, она лежала в своей каюте, — но обедали мы всегда вместе, под звуки паровозного оркестра немецких музыкантов, виду не подавая, как тяжело переносим морскую качку. Горький, конечно, видел нас насквозь, но пощады нам не давал и весело с нами беседовал.

Однако угнетенное состояние у нас скоро сменилось бодрим; мы все необычайно радовались возвращению в Европу.

Нас тяготило то, что мы так далеко от России, переживавшей 1906 год; ведь даже газеты приходили к нам на пятый-шестой день.

Не легко далась нам Америка, но порученная нам миссия была выполнена, хотя поездка и не дала полностью ожидаемых результатов. А. М. Горький в течение нескольких месяцев, проведенных в Америке, не считая целого ряда мелких произведений, написал свою незабываемую повесть — «Мать».

# Ясная поляна

*Из воспоминаний*

Н. СЕРЕБРОВ (А. ТИХОНОВ)

★

I

В Туле на вокзале к нам подошел ямщик в длиннополом бараньем тулупе. Мы спросили его, как нам попасть в Ясную Поляну. Ямщик хлопнул кнутовищем по тулупу и радостно вскричал:

— Как-раз угадали! Потому как я и есть главный толстовец! К тому же попутный, задешево свезу!

И тотчас же, чтобы не перехватили другие ямщики, он увлек нас на площадь, где у палисадника была привязана, в числе прочих, его мухортая лошаденка, запряженная в розвальни с плетеным кузовом.

Синий столбик в большом градуснике, висевшем у дверей вокзала, показывал двадцать три градуса ниже нуля. В воздухе висела голубая изморозь, какая бывает в сильные морозы поутру, когда еще нет солнца. Лошаденка нашего ямщика стояла вся в белых кудряшках, только раздутый живот оставался еще темным и дымился на морозе.

Пока мы втроем вмещались в тесный коробок, ямщик горестно оглядывал наши студенческие шинели и резиновые галоши:

— Эхма! Одежа-то на вас господская, — на таком морозе не выдюжить!

Не хотелось ему, но все же он снял с себя тулуп и услужливо покрыл им наши колени.

— Вот и хорошо! Вот и отлично! Теперь, как в карете! — приговаривал он, подтыкая нам под бока полы тулупа.

Без тулупа, который придавал ему монументальность, ямщик оказался тщедушным, бородатым мужичонком, неопределенного возраста, таким, которого не отличишь от миллиона других мужиков.

Подобрав вожжи, он лихо щелкнул языком, и сани быстро покатались, постукивая по ступенькам выбитой копытами дороги.

Слева, над сугробами, багровым пятном обозначалось солнце, но вместо тепла от него потянуло пронизывающим ветерком. Небо прояснилось. Снег заблестел, как сахарный.

Ямщик, в легком полушубке, колотил себя крест-накрест рукавицами, стараясь согреться. В овраге, за ветром, лошадь остановилась — справить нужду. Ямщик вытащил из-за пазухи бутылку и, запрокинув голову, заправил себе под усы прозрачное горлышко. Он не пил, а просто переливал жидкость из одного сосуда в другой.

Один из моих спутников, рассудительный блондин, по прозвищу «Немец», не преминул тотчас же выяснить возникшее у нас недоумение.

— Как же это ты, дяденька, только-что заявил себя толстоцем, а между тем пьешь водку?

— А хотя бы и толстовец, что в этом такого? — охотно отозвался ямщик, трогая лошадь вожжами. — Одно до другого, милый человек, не относится. Водка — водкой, а Лёв Николаевич, дай ему бог доброго здоровья, — дело особое. Он, человек образованный, пони-

мает, к кому чего можно, чего кому нельзя. Мне, вот, сам изволил сказать: «Пей, грит, Семен, твоя воля!».

— Не может быть, чтоб он так сказал! — усомнился «Немец».

Ямщик обиделся.

— А какая мне корысть вам врать? Мне вам врать — корысти нету. Прогонов за это не прибавите! — Он немного помолчал, пока уляжется обида, и продолжал с прежней готовностью:

— Зашел я как-то к нему на усадьбу, по правде говоря, деньжонками хотел от него позаимствоваться, ну, а он на этот счет, не при нем будь сказано, он у нас того... туговат! Ох, туговат! «Зачем, грит, тебе, Семен, деньги? Все равно пропьешь!». А потом засмеялся мне и говорит: «Впрочем, тебе можно, ты пьяница веселый!». Так и сказал! А врать вам мне корысти нету!

— И много вас, таких «толстовцев»? — спросил второй мой спутник, длинноволосый студент, с остренькой бородой и в пенсне.

— А, почитай, вся деревня, — ответил простодушно Семен. — Как отцы наши при графах крепостными состояли, так и мы от них кормимся, хотя бы теперь и вольные.

— А ты знаешь, в чем состоит учение Толстого? Читал его книги? — допытывался «Немец».

— Где уж нам книги читать, мы люди темные, поглядеть на них — и то не всякому доводится. А я вот видел! — сказал Семен, бахвалясь. — Мне барышня Александра Львовна показывала... За стеклом, как иконы в кивоте, стоят: глядеть можно, а руками трогать — нельзя. За печатями!

— Почему же их запечатали?

— Стало быть, есть причина! Опасаются! — Семен оглянулся и понизил голос: — Сказывают так, что ежели эти книги да обнародовать, то все на свете может крахом пойти. Вот какая в них сила содержится, — сказал он с удивлением и гордостью. — Уж на что, скажем, царь — какая персона, а и тот из-за этих книг, глядя, как нашего графа побаивается! Письма ему пишет, в гости звет. А наш-то ему в ответ: «Пока, грит, ты хрестянам землю не дашь,

я, грит, с тобой, таким-сяким величеством, и разговаривать-то не хочу!». Вот какой старик! Никого не боится.

Увлеченный рассказом, ямщик бросил вожжи и сидел теперь, повернувшись к нам лицом, весь обросший мохнатым инеем.

— А кто его знает, может, он и впрямь вроде антихриста? Мало ли он народу на своем веку совратил. Есть такие, что, его ради, всего своего капитала лишились: которые в странники пошли, которые мужиками прикинулись. Видал я таких, частенько такие сюда наезжают... Неинтересный народ! На водку ни в жизнь не дадут... Секта! — Он презрительно сплюнул. — А вы сами-то из каких будете? А-а, студенты! — протянул он, разочарованный. — А я полагал, — по пуговицам, — что акцизные!

Он быстро пьянел и, чем больше пьянел, тем становился развязнее.

— Про вино старик так, сдуру, болтает, а вот насчет табаку, — это правильно. От этих, от табакуров, — подь они к лешему, — того и жди, что пожара. Пойдут с куревом на сеновал, долго ли заронить? Летось у меня этак-то чуть было избу не спалили...

Дорога шла под гору. Лошадь бежала прытко. На одном из поворотов розвальни раскатились, ударились отводом о телеграфный столб, и всех нас, как пружинкой, выбросило головой вперед, в канаву.

Мы везли с собой для передачи Толстому приветственный адрес, в «роскошном» альбоме. Ради сохранности мы держали эту драгоценность на руках. Пакет с альбомом попал в общую свалку. Когда мы развернули упаковку, крышка альбома оказалась измятой, угол висел, как тряпка. Это была катастрофа! Как с таким подарком явиться к Толстому?!

Мы набросились на ямщика: кто с упреком, кто с руганью. Больше всех горячился длинноволосый студент, у которого, в довершение всех бед, затерялось в сугробе пенсне.

Семен молчал, злобно отдирая от усов красные сосульки. Он тоже побывал в канаве и рассек там губу.



Лошадь оглядывалась из-за дуги, не понимая, почему мы остановились. От нее валил пар, как будто ее обдали кипятком.

Семен со всего плеча хватил ее кнутом по морде.

— У, туды-т, твою...

— Не смей бить животных! Идиот! Болван! — завизжал длинноволосый студент, теряя самообладание.

У Семена глаза налились крутым бешенством, но он сдержал себя и опять промолчал. И только, когда он увидел, как мы, укутывая ноги, стали мять и растягивать его тулуп, только тогда его, наконец, взорвало:

— Ладно! Погрелись задарма и будя! — заорал он, сдергивая с нас тулуп. — Тоже... вопрошатели!.. тоже... ездют... тоже!..

Ему нехватало слов, он задыхался. Из него хлынула матерщина.

Этим случаем наши отношения с Семеном были бесповоротно испорчены. Разговор не возобновлялся. Обессиленный руганью, ямщик впал в пьяную сонливость. Нам тоже было не до разговоров: без теплого тулупа мы до такой степени заоченели, что не в силах были ворочать языком.

## II

Надо было перейти по плотине через пруд, миновать каменные столбы и подняться по длинной снежной аллее, чтобы попасть в двухэтажный белый дом, где жили Толстые.

В полутемной прихожей, с крохотной каморкой для привратника, нас встретил чрезвычайно учтивый человек: средних лет, плосколицый, бритый, с черными усиками. Узенький, короткий в рукавах пиджачок и брюки навывпуск. Он провел нас темным коридорчиком, через проходную комнату, в «приемную» и вежливо попросил подождать.

Никак я не предполагал, что в доме Толстого могут быть такие комнаты! Это был какой-то подвал с низкими каменными сводами и окошками в железных решетках. Из потолка торчали толстые железные крюки и кольца, напоминающая о средневековых пытках. Скрашива-

ло этот каземат только то, что он был чисто выбелен и жарко натоплен. По углам стояла мягкая мебель в чехлах из парусины, у окошка — небольшой шкаф с книгами.

Ждать пришлось оскорбительно долго. От голода и после мороза в тепле клонило ко сну. Я успел уже сладко задремать, как вдруг почувствовал, еще не открывая глаз, что на меня кто-то пристально смотрит.

У порога, в раме дверей, стоял неизвестно откуда взявшийся небольшого роста лобастый старик с большими ушами и лохматой седой бородой. Черная блуза с ременным поясом и разношенные валенки делали его похожим на деревенского плотника. Его лицо выражало стремительность и жадное любопытство. Особенно жадны были его светлые глядевшие исподлобья глаза. Они хватали каждого из нас и как будто даже приподнимали слегка на воздух, чтобы определить, сколько мы весим. Взвесив одного, они сейчас же хватались за следующего. И по мере того, как происходило это странное взвешивание, глаза у старика темнели и гасли, лицо становилось неприветливым.

По всей видимости, мы ему не понравились.

Кивнув нам головой, старик быстро прошел на середину комнаты, к круглому столику, покрытому вязаной с дырочками скатертью, и остановился там, ожидая, что мы скажем. Он стоял, выпрямившись, откинув назад плечи, обе руки за поясом.

Мне надо было говорить первому, но спросонок я никак не мог притти в себя, да и напугал меня своим внезапным появлением этот суровый старик. Вместо заготовленной речи я глупо, по-мальчишески, сунул ему наш адрес. Папка, кое-как склеенная жеваным мякишем, попал ему в руки, сейчас же разломилась, и угол опять повис, как тряпка.

— Извините... в дороге... нечаянно!.. — пробормотал я, сторя от стыда.

Старик, даже не взглянув на адрес, сердито бросил его на стол и, уже не скрывая раздражения, спросил высоким неприятным голосом:

— Неужели только за этим и приехали?

Вопрос прозвучал, как пощечина, недоставало только слова «дураки».

Я вспылал и уж готов был ответить дерзостью, но на мое счастье «Немец» выступил вперед и спокойным, как всегда, голосом стал обстоятельно объяснять старику, что, конечно, адрес это только предлог для поездки, что, в сущности говоря, мы осмелились беспокоить великого писателя только потому, что нас послало делегатами студенчество, собравшееся такого-то числа на вечеринку, где под председательством Владимира Галактионовича Короленко был выслушан ряд докладов и решено было выразить вам, Лев Николаевич, чувство глубочайшей любви и уважения и, кроме того, поручено нам, пользуясь встречей с вами, выяснить ряд проблем, интересующих студенчество: во-первых, детальное содержание вашей аграрной программы; во-вторых, ваше отношение к студенческому движению; в-третьих..

Спокойствие «Немца» действовало на Толстого отрезвляюще. Ему как будто стало стыдно за свою резкую выходку. Не прерывая оратора, Толстой пробежал глазами текст адреса и сказал сухо и нравоучительно:

— Вы, как и полагается, хвалите меня в вашем письме за какие-то мои революционные заслуги. И хвалите совершенно напрасно. Я вовсе не революционер в том смысле, как вы это слово понимаете. Мои политические убеждения — не что иное, как следствие и часть моих религиозных убеждений, которых вы, вероятно, как следует, не знаете, а если и знаете, то, конечно, их не разделяете. Ведь не разделяете?

— Нет! — крикнул я с отчаянием.

Толстой отметил взглядом мое присутствие в комнате и продолжал тем же нравоучительным тоном, не делая в продолжение всей речи ни единого жеста.

— Без сомнения, вам, в вашем теперешнем положении, трудно меня понять: вы еще слишком молоды и слишком мало думали о том, что составляет истинную сущность и назначение жизни. Взамен того вы предпочитаете довольство-

ваться дешевыми брошюрами, где поверхностно излагается в корне неправильное учение некоторых немецких социалистов о рабочем движении и революции. Между тем дело вовсе не в революции, а в том, чтобы перестать делать все то дурное, что люди делают, — и тогда не нужны будут никакие революции. Чтобы затопить печку, надо сперва высушить дрова, а пока дрова сырые, то, как вы их ни перекалывайте, печка все равно не разгорится..

Его манера говорить уже сама по себе вызывала желание противоречить, а ссыла на «сырые дрова» была мне хорошо известна по литературе.

«И этот забыл о растопке, а еще — Толстой!».

Злость и обида терзали меня. Я чувствовал себя свалившимся с неба. «Неужели, — думал я, — вот этот злой старик, с большими ушами, читающий скучную проповедь, — неужели это и есть Лев Толстой? Стоило из-за этого мерзнуть!».

У меня пропала охота его слушать, хотя он еще долго говорил о необходимости самоусовершенствования, о воспитании народа в духе истинного христианства и о том, в чем состоит это истинное христианство.

Тон его речи постепенно менялся: из надменного и поучительного он делался вялым и скучным, точно говорившему самому уже надоело слушать то, что он говорит.

— В том, что вы слышите, нет ничего нового, — продолжал Толстой, как бы читая по-писанному. — Лучшим умам человечества давно уже были известны эти простые и непреложные истины, но большинство людей о них теперь забыло, и вот, чтобы ежедневно напоминать людям об этих простых истинах, я составил календарь, где на каждый день помещено одно из этих мудрых правил. Посмотрим, что там сказано на сегодняшний день?

Он достал из книжного шкафа небольшую желтенькую книжку и, подойдя к окну, стал ее перелистывать, близорук глядясь в текст.

Я переглянулся с товарищами, и у нас у всех мелькнула одна и та же мысль:

«Больше тут делать нечего... Надо уходить!».

Мы смотрели на сгорбленную, с торчавшими из-под блузы лопатками спину Толстого и ждали, когда он повернется, чтобы с ним проститься.

И вдруг в этой спине что-то дрогнуло, книжка в руках Толстого затряслась, он повернулся к нам лицом.

Я его не узнал. Толстой смеялся. Но как смеялся! Недавняя суровость отражалась внешне только на лице и в глазах Толстого, смех же захватывал его целиком. Смех хранился у него где-то внутри и оттуда мгновенно распространялся по всему телу: у него прыгали плечи, тряслись руки, поджимался живот, глаза были полны веселых слез. Смеялась каждая морщинка на лице, каждый волосок в бороде. Смеялся он беззвучно. Легкое старческое покашливание свидетельствовало только о том, что и внутри у него тоже все смеется.

— Ах, как это хорошо! Как это прекрасно сказано! — восклицал он, размазывая по-детски, кулаком, крупные слезы. — И, главное, как-раз для меня! «Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять». Как это метко! Я каждый день читаю эту книгу и всегда нахожу что-нибудь для себя полезное. Очень вам рекомендую! Очень!.. А на земле надо стоять — вот как!..

Он широко расставил валенки и, все еще смеясь, слегка присел, как бы готовясь прыгнуть. Потом сгреб нас всех троих в кучу и стал подталкивать в спины, весело приговаривая:

— Пойдемте обедать!.. После поговорим!.. Поди, проголодались с дороги?

В дверях, вежливо пропуская нас вперед, он смешно оттопырил усы и построил мне гримасу.

— У-у, какой сердитый! Обиделся на старика!

### III

По широкой, с белыми перилами лестнице мы поднялись в столовую.

На пороге я зажмурился и наткнулся на рояль, — так много света было в этой большой белой комнате, и таким ярким он показался мне после полутемного подвала, откуда мы пришли.

Солнце било прямо в окна. Все небо за окнами искрилось от бесчисленных снежинок.

Посреди комнаты, за длинным, накрытым к обеду столом сидело по обеим сторонам семь или восемь человек. Женщина, во главе стола, поднялась и направила нам встречу. Я узнал в ней Софью Андреевну. Пожилая дородная помещица в просторной домашней кофте. Лицо отечное, но с приветливым выражением. Живые карие глаза. Опрятная старческая прическа, с прямым пробором и кулачком из волос на макушке. Вялый рот, с припухшей нижней губой.

Подле Софьи Андреевны за столом — ее сестра Т. А. Кузьминская. Стройная дама, в модном черном платье. На шею — боа из перьев. Брови и волосы как будто подкрашены. От Наташи Ростовской у нее остались только порывистость жестов да горячие, цыганские глаза, уже опутанные сетью морщинок, которые она то сжимает, то распускает, поминутно прищуриваясь.

Илья Львович — квадратный, лысый, бородатый, в черной блузе, похожий одновременно на отца и на лихача-извозчика. Пьет из большой кружки квас. Выпил, крикнул. Пена от кваса долго шипит в его рыжеватых, моржовых усах.

Еще один из сыновей Толстого — плотный, франтоватый, с французской бородкой и широким шнурком от пеньки. Скривив лицо, неприятно ковыряет зубочисткой в желтых зубах.

Остальных сидящих за столом я не запомнил.

Поговорили о погоде в Петербурге, о дороге, о московских знакомых, о постановке «Юлия Цезаря» в Художественном театре.

Разговор был общий, но всякий раз, когда он обращался к Толстому, Софья Андреевна ловким маневром перехватывала нить разговора и обращала его на себя. Видимо, она не хотела, чтобы Льву Николаевичу мешали, когда он ест.

Лев Николаевич сидел, как отверженный, на конце стола, в отдалении от остальных обедающих. Только ему одному подавали вегетарианское. Он сидел бском к столу, заслонившись от всех плечом. Низко пригнувшись к тарелке,

он сердито и со стуком тыкал в нее вилок, словно то была не вилка, а горбатый клюв хищной птицы. Жевал по-стариковски быстро и беззубо, не разжимая губ, отчего кончик его носа подергивался вверх и вниз. Быть может, именно поэтому он и сидел, отвернувшись.

Кушанья разносил тот самый учтивый человек, который встретил нас утром в прихожей, только теперь под его узеньким пиджачком был надет передник, а на руках — белые нитяные перчатки.

— Кушайте, пожалуйста! Не стесняйтесь! — сказал он вежливым полушопотом и ловко подсунил мне сбоку блюдо с бифштексами.

— Илья Васильевич, вы не знаете, где Саша? Почему ее нет за столом? — обратилась к нему Софья Андреевна.

— Александра Львовна на кухне русскую пляшут. Сейчас придут! — ответил негромко Илья Васильевич, сдерживая улыбку.

Софья Андреевна возмущенно пожалала плечами.

Через несколько минут в столовую вошла по-мужски, в развалку, полная румяная девушка толстовской породы.

— Александра! — отрекомендовалась она коротко и решительно. Взяв мою руку, она дернула ее вниз с такой силой, что у меня хрустнули суставы.

Такое обращение показалось мне обидным.

— Александр! — ответил я столь же решительно и с такой же силой рванул ее за руку.

Она слегка охнула от боли, поглядела на меня с изумлением и, ничего не сказав, села напротив.

Лев Николаевич, только один и заметивший эту сцену, еще ниже нагнулся над тарелкой. Когда он поднял на меня глаза, в них блестели слезинки сдавленного смеха.

После обеда Лев Николаевич ушел спать, а затем гулять, а мы поступили в распоряжение Софьи Андреевны.

#### IV

В «Дневнике» С. А. Толстой на 8 января 1904 года записано: «Приезжали

три студента из Петербургского горного института с адресом. Много с ними беседовала; умные люди, но, как и все современные молодые люди, не знают, куда приложить свои силы».

Эту лестную характеристику мне приходится полностью принять на себя, так как с моими спутниками Софья Андреевна не сказала за нас наше пребывание почти ни одного слова. Она считала их, вероятно, за «темных», меня же, ввиду моих «светских» знакомств, — за человека своего круга.

Первым делом Софья Андреевна повела нас осматривать дом.

До этого дня Ясная Поляна представлялась мне либо барским дворцом с белыми колоннами и хрустальными люстрами, либо, по меньшей мере, уютной тургеневской усадьбой, где каждая вещь — драгоценная реликвия.

То, что я увидел, оказалось, просто-напросто, квартирой людей среднего достатка, и притом людей, совершенно не заботившихся об уютности своего жилища. В доме не было ни одной по-настоящему ценной, красивой вещи. Несколько хороших полотен в столовой висело там только потому, что то были портреты членов семьи. Личные же комнаты Льва Николаевича были просто убоги. В спальне — рыночная железная кровать, с пикейным застиранным покрывалом: таз и кувшин для умывания такие, каких не встретишь даже в провинциальных «номерах». Навешалке поношенные брюки, рядом с полотенцем. В кабинете из-за полки с энциклопедическим словарем выглядывали ангелочки Сикстинской мадонны, которых так и не удосужились снять со стены, когда прибывали полку.

Единственное уютное место во всем доме — угол в столовой с дворянской мебелью красного дерева.

Осматривать, в сущности, было нечего; тем не менее Софья Андреевна держала себя, как профессиональный гид.

— ... Вот, обратите внимание, портрет князя Волконского. Дед Льва Николаевича. Описан им в «Войне и мире».

— ... Рабочий стол Льва Николаевича! Обратите внимание — какой низкий!

стул. Это, — чтобы Лев Николаевич не напибался. Он очень близорук.

— ...Диван, на котором родилось несколько поколений Толстых. Я тоже на нем рожала.

— ...Спальня Льва Николаевича. Видите, как все просто. Лев Николаевич не любит роскоши.

— ...Умывальник Льва Николаевича. Лев Николаевич сам выносит за собой грязное ведро.

— ...Портрет сестры Льва Николаевича. Монахиня. Имеет на него большое нравственное влияние...

Через четверть часа осмотр дома был закончен.

Софья Андреевна послала в приемную за нашим адресом, который так и остался там на столе. Она очень огорчилась, увидев изодранную папку. Нам пришлось взять адрес обратно и обещать, что мы пришлем его в новом переплете.

Мои спутники, чтобы убить время, уселись в столовой играть в шахматы с Ильей Львовичем. Двое против одного.

Илье Львовичу в семье принадлежала, повидимому, роль весельчака, но остроты его были весьма незамысловаты. Если кто-нибудь произносил при нем, например, слово «герой», он сейчас же добавлял: «нашего времени». За словом «елки» неизменно следовало: «палки». Иногда он нарочно икал: «Ап!», чтобы немедленно закончить: «Ап-тека». Каждый свой шахматный ход он сопровождал одной и той же фразой:

— Я хожу туда, куда мне велит мое благородное сердце!.. Я хожу туда, куда мне велит мое благородное сердце!..

Софья Андреевна, следившая за их игрой, подконец не выдержала:

— Перестань, Илья! Глупо!

И обратилась ко мне:

— Оставим их! Пойдемте лучше побеседуем.

## V

Про Софью Андреевну я слышал только плохое. Я считал ее «злым гением» Толстого — женщиной вздорной, неумной, отравлявшей его жизнь исте-

рикой и денежными дрязгами. Разговор наедине мало меня радовал. «О чем мне с ней говорить?» — думал я, следуя неохотно, как на привязи, на ее половину, которую она при осмотре дома нам почему-то не показала.

— А вот и моя келья!

Софья Андреевна жестом театральной королевы обвела комнату.

В комнате не было ничего королевского: супружеская кровать с шишечками и пирамидой подушек и подушечек в наволочках с прошивками. На стенах множество фотографий и картинок в дешевых рыночных рамочках. Туалет красного дерева с витыми колонками и помутневшим зеркалом, заставленный вазочками, гипсовыми статуэтками и корбочками из ракушек. Резной письменный стол, на нем пресс-бювар, бумаги, квитанции, придавленные большими дубовыми счетами. В углу огромная икона в серебряном окладе.

— Как вам у нас нравится? Не правда ли, какой Левочка замечательный?

Таким же тоном можно было спросить — как мне нравится погода или вид из окна? Я демонстративно промолчал.

— Вам, вероятно, наговорили обо мне разных сплетен? — сейчас же догадалась Софья Андреевна. — Воображаю, какие ужасы про меня рассказывают! У меня так много врагов. Мне многие завидуют: еще бы — жена Льва Толстого!

Я продолжал отмалчиваться.

Софья Андреевна внимательно посмотрела на меня, уселась в кресло и задумалась. И вдруг заговорила совсем просто, как бы сама с собой.

— Да, жена Толстого. А если бы кто-нибудь знал, — как это трудно... Я люблю Левочку и готова отдать за него свою жизнь. Да уже и отдала! — Она горько усмехнулась. — Видите, я уже совсем старуха: седые волосы, глаза плохо видят, руки трясутся. Это оттого, что я вот этими пальцами одну только «Войну и мир» семь раз переписала.

Она протянула пухлую, как у игрушки, руку, отечные пальцы которой действительно тряслись, точно у паралитика.

— У меня восемь человек детей, куча внуков, два дома, именье... Кто-нибудь должен за всем этим следить? Я одна. Дом без хозяина, семья без отца. Вот сейчас из Москвы пишут, что рукописи Льва Николаевича выбрасывают из Румянцевского музея! А кто об этом позаботится, кроме меня?

Ее пальцы забегали по столу, переставляя, с пристукиванием, с места на место письменные принадлежности.

— И, подумайте, я же во всем виновата! Материалистка! Мужики лес воруют, яблони, которые он сам же и посадил, с корнем выворачивают... Что же мне самой, что ли, по ночам с ружьем воров караулить? Я сообщила уряднику, а «он» рассердился (на слове «он» она чуть не взвизгнула). «Он» — против насилия... А то, что мужики делают,—это не насилие?... «Он», видите ли, душу свою спасает. А я воров должна ловить и уговаривать, чтобы не воровали! Ну разве это не эгоизм?

Все это было сказано с таким раздражением, что я сразу понял, что это говорится не для меня, а просто так,— человек вслух думает.

— Не удивляйтесь, голубчик, — продолжала Софья Андреевна, — я немного волнуюсь... Из-за этого мы с Левочкой всю жизнь воюем. У него своя правда, у меня — своя. Бог нас рассудит... Вот он против церкви, а у меня, как видите, икона висит... Конечно, издеваться над церковью нетрудно: и попы бывают пьяницы, и вместо крови христовой — вином поят, но разве не безжалостно из-за этого лишать людей их последнего утешения? Да если бы у меня не было религии, я бы, кажется, давно лишила себя жизни, хотите чаю?

Переход от самоубийства к чаю был столь неожиданным, что я вздрогнул и ответил невежливо: «Хочу».

Вскоре учтивый Илья Васильевич, уже без перчаток и без передника, принес нам чаю с домашними сухариками.

Софья Андреевна вернулась в комнату веселая.

— А что, студенты любят искусство? Я так ужасно люблю музыку. Когда бываю в Москве, не пропускаю ни одного концерта. Немножко рисую... Вот

мои наброски. Не правда ли, милые? Репину нравятся...

Она немного хвасталась и кокетничала.

— Сочиняю! Недавно сочинила маленькую поэму в прозе, в духе Тургенева. Когда будет напечатано, прочтите. Называется «Стоны», псевдоним «Усталая». А это, это — мой дневник!..

Ее рука торжественно опустилась на тетрадь, лежавшую на письменном столе.

Когда-нибудь, когда я умру, люди прочтут и узнают, что я тоже была в своем роде «львицей»!

Спохватившись, что все время она только одна и говорит, Софья Андреевна стала спрашивать меня о моих родителях, о планах на будущее, о моем отношении к религии и о том, в кого я влюблен.

В дедовском кресле, с вязаньем в руках, сидела добрая, милая старушка, с которой так приятно было поговорить и о своей жизни, и о своих горестях, и даже о той, в кого влюблен.

Вдруг Софью Андреевну точно осенило:

— Вам надо жениться! — воскликнула она, обрывая мою исповедь. — Да. Да. Жениться! Нет ничего хуже всех этих горничных, проституток, всей этой мерзости и грязи! Да и заразиться недолго! Непременно женитесь! Я всем молодым людям об этом проповедую. Недавно из-за этого с Левочкой даже повздорила. Разбирала его корреспонденцию—его не было дома—и прочла письмо одного студента... кажется, из Одессы. Студент полюбил девушку, но, будучи толстовцем, не признавал церковного брака. И даже девушку к этому склонил... чтобы все без церкви. Родители, конечно, в ужасе. Вот студент в письме и спрашивает — как быть? Имеют ли они нравственное право поступить по убеждению, хотя знают, что это принесет большое горе родителям? Я сейчас же села и написала им, что я, как жена Толстого, считаю, что убеждения только те настоящие, которые приносят радость не только нам самим, но и нашим ближним... В общем, не помню хорошенько, что именно написала... Од-

ним словом, чтобы венчались... Когда Левочка об этом узнал, он ужасно рассердился. «Не суйся, говорит, не в свое дело!». Поссорились. Но зато как студент меня потом благодарил... Недавно опять письмо прислал. В мою честь дочку назвал Софьей и просит разрешения записать меня крестной матерью! — закончила она с гордостью.

— Да... дети!.. — вздохнула Софья Андреевна, засовывая за ухо костяную спицу. — Пока они маленькие, кормишь их, моешь, растишь, — такая прелесть, а вырастут, становятся такими чужими, грубыми... Одни неприятности... Сегодня, вдруг, новость—Андрей расходится с женой. А чем она ему не жена? Милая, скромная. Вот опять забота—надо ехать их мирить.

Спицы в ее руках замелькали быстрее.

— Был у меня любимый сыночек, утешенье мое, и того у меня отняли. Царство ему небесное!

Она положила вязанье и набожно перекрестилась.

— Вы знали моего Ванечку? Вот его карточка.

На стене висел в широкой раме красного дерева портрет бледного большого мальчика.

— Это был ангел... настоящий ангел! Такие на земле не живут, такие богу нужны... Все считают Левочку гениальным, а мой мальчик в семь лет был гениальнее своего отца... Да, да, гениальнее!

Ее возбуждение возрастало:

— Когда он скончался, я двое суток, не отходя, над ним плакала, не верила, что он умер, а на третьи вдруг почувствовала, что от него пахнет... этим... трупным... Я потеряла сознание... По ночам, когда мне бывает тоскливо... я все еще чувствую этот запах... трупа... Боже мой! Как это ужасно! Боже мой!

Лицо ее, и в самом деле, выражало ужас: брови перекосились, нижняя губа отвисла. Из глаз хлынули слезы так внезапно и в таком изобилии, точно они давно были приготовлены.

Я бросился искать воду и, не найдя ничего, схватил трясущиеся руки Софьи Андреевны, умоляя успокоиться.

Припадок окончился так же неожиданно, как и начался. Софья Андреевна отряхнулась, как наседка, выпрямила шею и стала пить чай, который я не догадался ей предложить, когда искал воду.

— Не осудите старуху,—заговорила она, все еще всхлипывая, — до сих пор не могу вспомнить об этом... без слез... А тут еще сегодня... с самого утра... неприятности...

Она снова взялась за вязанье, это ее успокаивало.

— Вы — хороший мальчик, но многого еще не понимаете... Иногда так хочется кому-нибудь все рассказать. А Левочка не слушает, ему это скучно.

При воспоминании о муже она снова заволновалась.

— Смотрите, уже стемнело, а его нет! Неужели еще не вернулся?

Вскочила с кресла и начала суетливо зашивать клубок шерсти в плетеную корзиночку.

— О господи, сколько раз я его просила не уходить далеко одному!.. Забудется в лесу... замерзнет!.. Ведь он, как дитя малое... Один он у меня... на всю жизнь единственный!..

В глазах у нее опять стояли слезы, на этот раз тихие, материнские.

В прошлом году я встретил в Кисловодске доктора Александра, который мне рассказал о последних минутах жизни Софьи Андреевны.

Умирая, она сказала:

— Вот и хорошо... Значит, скоро увижусь с Левочкой!

## VI

Мы застали Льва Николаевича в полутемной столовой. С ним был князь Д. Оболенский, который только-что вернулся из Крыма и рассказывал Льву Николаевичу о том, как в Севастополе восстанавливают укрепления, бывшие там во время Крымской войны.

Я застал только конец их разговора. Дородный, крупный, в великолепных княжеских усах, с пышными подусниками, Оболенский стоял, как монумент, посреди комнаты, а Лев Николаевич,

маленький, седой, сгорбленный, бегал около него, шаркая валенками и взмахивая правой рукой, как будто в ней была нагайка, визгливым голосом кричал:

— Да если бы не этот дур-рак Горчаков, да мы бы никогда не проиграли под Черной!.. Надо было атаковать не Федюхины высоты, а Гасфортову гору... Подготовить артиллерией!.. Пятую дивизию в атаку!.. Кавалерию в оборот!.. Да мы бы их там всех... в кашку... в кашку изрубили!

В эту минуту в нем было что-то суровое.

## VII

После обеда Лев Николаевич встал из-за стола, потер кулаки и, улыбаясь, пригласил нас:

— Давайте поговорим по-настоящему.

Вечером он был веселый и как будто чем-то приятно взволнован.

Мы уселись тут же в столовой, за круглым столом, на котором горела лампа с огромным абажуром, похожим на полураскрытый зонтик.

— Значит, вы социал-демократы?— спросил Лев Николаевич, прямо приступая к делу.

— Да! — подтвердили мы не без гордости.

Он налег на стол, засунул узловатые пальцы в бороду под самое ухо, прицелился к нам взглядом и выпалил:

— Ну, а к девкам, в бардак, ходите?

Удар был неожиданный, мы замялись.

Налюбовавшись нашим замешательством, Толстой рассмеялся.

— Чего там, знаю, что ходите! Я сам, молодой, ходил. И к девкам ходил, и шампанское пил, и «Казак» на биллиарде проиграл! Не скрываю, дурно поступал! Но мы, по крайней мере, как настоящие жеребды, этого не скрывали, и даже, наоборот, хвастались этим. А вы, что за люди,—не понимаю? Какие-то ненастоящие, точно вас всех ваш любимый Максим Горький выдумал!

Он перестал шутить и заговорил серьезно, с твердыми интонациями.

— Считаете себя социалистами, а пользуетесь проституцией. Нехорошо!..

Бунтуете против правительства, а сами готовитесь в чиновники! Сидите на родительской шее, читаете книжки, эмансипируете курносых курсисток и думаете, что вы лучше всех и что вы вправе руководить не только людьми, но и целым государством. А работал ли кто-нибудь из вас с мужиками в поле или с рабочими на фабрике? Знаете ли вы, что думает и что хочет крестьянин, не вычитанный из книжки, а настоящий— в лаптях и в г...е? Уверен, что не знаете! Так как же вы решаетесь говорить и писать от их имени? Подстрекать их к забастовкам и к убийствам? А сидел ли кто-нибудь из вас в тюрьме?.. Так какие же вы революционеры? Человек, которого не ели тюремные вши, не знает, что такое государство. Вошь — убедительнее ваших брошюр!

Он сердито сквозь усы фыркнул носом.

— Дело не в том, чтобы прогнать шайку разбойников, которые правят Россией, и заменить их парламентом и адвокатами. Современное общество так далеко зашло, что никакие конституции и восьмичасовой рабочий день ему уже не помогут. Надо изменить весь строй, понимаете ли, весь снизу доверху,—от мужицкого надела до философии! Тут никакие полумеры не годятся! Я понимаю мужиков, которые грабят помещичьи земли, понимаю анархистов, которые бросают бомбы... Это дурно, очень дурно, но понятно... Я даже сказал об этом Короленко, когда убили Сипягина, потом одумался и послал ему сказать, что сгупил, а потом опять передумал по-старому...

— А при чем же тут христианство?— уязвил его длинноволосый студент.

У Толстого вспыхнули глаза.

— Христианство? Христос стал христианином только на кресте! — крикнул он запальчиво и сейчас же осекся.— Впрочем, об этом надо еще подумать...

Он подозрительно оглядел нас, быстро, толчками, как ястреб, поворачивая голову от одного к другому, и заговорил еще строже, еще напористей:

— В России гадкое и дурное правительство! Оно само ведет народ к революции. С этим уже ничего нельзя сде-



лать... Революция будет ужасная, истребительная... Это самое большое преступление, и виноваты в этом обе стороны.

И сейчас же вслед за этим:

— Революция пробудит в народе сознание. Цивилизация зиждется на рабстве. Без рабов невозможны ни пароходы, ни телеграфы, ни университеты. Рабство надо уничтожить... Цивилизация — это не прогресс, это только возраст. В молодости мы меньше знаем и умеем, чем в старости, но где, когда, кем было доказано, что старый человек лучше, счастливее юноши?

... Пока существует государство, человек не может быть добрым и счастливым. Государство нельзя уничтожить насильем. Но не надо ждать, пока оно будет кем-то разрушено, надо сейчас же, ничего не дожидаясь, поступать во всем так, как будто никакого государства уже нет, и тогда его не будет!.. Надо поступать так, как поступают духоборы, которые живут вне государства, по законам любви и бога!.. Пока существуют пьяницы, нужен кабак, перестаньте пить — и не будет кабаков!

... Мне сообщили, будто духоборы в Канаде, чтобы не насиловать животных, отпустили их на волю и начали сами руками обрабатывать землю. Это уже излишнее увлечение, от избытка энергии, как бывает в паровозе избыток пара, который надо выпустить...

Начиная фразу, Лев Николаевич ставил на стол локоть, наклонял к собеседнику кулак и постепенно раскрывал его, как бы показывая на ладони свою мысль. Закончив фразу, прятал кулак за пазуху, вынимал оттуда следующую мысль и опять подавал ее на ладони. Руки у него были жилистые и узловатые, как корневища.

— Ну, допустим, вы произвели революцию, учредили новый порядок, а дальше что? — гремел он из седого облака бороды. — Формы новые, а содержание старое? Люди остались прежними? Так это уже было: французская революция свергнула и короля, и богачей, и духовенство. А чем она кончилась? Наполеоном, конкордатом, фабриками!.. Я не за правительство и не за революционеров, я — за народ!

Хотелось многое ему возразить, хотелось сказать, что вместе с революцией придут и новые люди, что если он за народ, то, значит, и за революцию, ибо революции делаются народом, — но ничего этого сказать было нельзя. От этого человека исходила какая-то подавляющая сила. В самой противоречивости его суждений была своя особая убедительность. Он нависал над нами, как огромная глыба. Спротивляться, возражать — бесполезно, одно только ощущение: — вот, вот, сейчас задавит!

— Находятся такие умники, которые пишут, будто я отрицаю общее благо и приглашаю подчиняться не только царю, но даже становому приставу. Это, конечно, от большого ума... Я говорю не об этом, а о том, что, чем меньше люди будут хлопотать о так называемом «общем благе» и чем больше думать о себе и о своей душе, тем легче будет достигнута цель, тем меньше будет убийств, насилий и казней. Ради самого себя вы не решитесь убить другого человека, ради близких — это уже легче, а ради «общего блага» — убивают тысячами.

... Не помню, не то я читал, не то слышал такую притчу: люди осаждают крепость, стены толстые, вековые, разрушить их трудно... Осада длится долго... жертв миллионы. Осаждающие пришли уже в неистовство... Бросаются на стены с голыми руками, разбивают о стены головы... А в стороне сидит человек и что-то думает. «Ты-почему не лезешь на стену? Трус! Дезертир!» — кричат ему люди. А это был тот самый человек, который выдумал динамит!

— Все-таки динамит. А христианство проповедует любовь к врагам! — снова вмешался длинноволосый студент. Толстой на мгновение остановился, как лошадь перед барьером на скачках.

— Любовь, это — в будущем!

Он перемахнул через препятствие и понесся дальше:

— Современное общество построено на насилии: сильный насилует слабого, богатый бедного. Первое, что надо сделать, — не участвовать в драке, не быть участником грабежа, устранившись, отойти в сторону.

Он уже не показывал своих мыслей на ладони, он стискивал их в кулак и швырял в нас афоризмами, как булыжниками:

— Мир создан нашим сознанием и им же будет разрушен! Взрывают не бомбы, а идеи!.. И самая разрушительная из них христианская идея непритвения злу! Только глупцы могут говорить, что это идея слабости. Откуда же такое количество мучеников и подвижников?.. Слабость не может родить силу! И почему властители всех времен боялись этой идеи больше всяких революций и преследовали ее сторонников как опаснейших врагов?.. Революционеры обрубают у дерева ветви, христианство рубит дерево под корень!..

... А вы бегали когда-нибудь на гигантских шагах? — спросил он неожиданно. — Помните, как это делается? Надо бежать не вокруг столба, а прочь от него, в сторону. Так же и с государством, и с обществом; надо бежать прочь от того, что задерживает, и чем с большей силой вы побегите прочь, — тем выше подыметесь!

Он откинулся на спинку кресла, как бы желая этим показать, что все главное им уже сказано.

Мы начали задавать ему вопросы, и разговор пошел в разбивку.

Лев Николаевич подобрел и поглядывал на нас с насмешливым добродушием, как великан на лилипутов. Мы все еще целиком были в его власти.

— Случай с сестрой, которую на ваших глазах насилует разбойник, вы читали у Владимира Соловьева... Холодный человек с жирными волосами... Мне всегда приводят этот случай, когда говорят со мною о непротивлении злу насилем. А я вот прожил на свете семьдесят пять лет и ни разу о таком случае даже и не слышал, между тем как обычное насилие встречаю на каждом шагу. Так не проще ли признать такой случай исключением, хотя бы потому, чтобы ради него не оправдывать все остальное насилие? А если Соловьеву так уж хочется убить разбойника, пусть убивает... я не возражаю!..

... Бог есть все то, частью чего я се-

бя чувствую... Впрочем, об этом вы прочитайте лучше в моих сочинениях...

... А может быть, я и пишу роман? Откуда вы знаете? — он хитро усмехнулся. — Грех-то ведь, как говорится, сладок! Литература — большая сила, но пока еще в плохих руках... Она заменяет деторождение... Вероятно, поэтому женщины так мало и так плохо пишут.

... Максима Горького — люблю. Пишет он ненатурально, а чувствует и видит хорошо... С виду он такой простой, хорошо рассказывает, часто плачет, а на самом деле — соглядатай. И не любит всех нас, наверно? Настоящий пролетарий!.. Рассказывал он как-то мне, как он на Волге, когда грузчиком был, фортепьяно на спине таскал... Так вот, кажется мне, что культуру он тоже у себя на спине таскает. Тяжело, а тащит. А зачем? Без культуры-то он лучше! Книжек много начитался, и не тех, что нужно!.. Нет, вы лучше Чехова читайте! Какой это скромный, милый человек и как тонко пишет! У него, как у Пушкина, каждый найдет что-нибудь себе по душе... Мало только, что атеист!.. Хотя я с ним часто о боге разговариваю. О боге по-настоящему можно говорить ведь только с атеистами!

— А вы бонтесь смерти? — спросил я.

На этот раз Лев Николаевич сам немного опешил. Он потемнел, брови нависли над глазами.

— А вам зачем это понадобилось знать? — спросил он резко. Но постепенно его лицо просветлело.

— Хорошо, я вам отвечу... Человеческая жизнь — это сознание. Пока у меня будет сознание, я не умру, а когда у меня сознания не будет, мне будет тогда все равно.

Этот туманный ответ показался мне откровением, но позже я узнал, что он заимствовал его у Эпикура.

Мой вопрос вывел его из равновесия, он долго хмурился, ворочался в кресле, потирал живот и, наконец, как бы продолжая все ту же мысль о смерти, произнес загадочно:

— Как вы думаете, если сломать рояль, музыка останется? Вот то-то же!

После этой стычки в беседе произошел перелом. Стороны внутренне разъ-

сдвинулись. Ответы Толстого стали короткими:

— ... Студенческое движение — это семейное дело! Народ его не понимает! Да и я — тоже!

— А зачем же вы подписали протест против избияния студентов на Казанской площади? — спросил длинноволосый студент.

— ... Просили, я и подписал... Я не ради студентов, я — против насилия...

— ... Забастовка — хорошая мера, если она с общего согласия и без принуждения. Но ведь вы-то бастуете не против науки?

— ... Науку я не отрицаю, но обойтись без нее могу.

— ... Народ нужно любить. Трудно это, а надо. Человек, который сторвался от своего народа, уже не человек, а пыль на его дороге. Куда ветер подует, туда ее и несет... Такса наша интеллигенция!..

Он, видимо, устал, говорил рассеянно, то-и-дело потягиваясь и почесывая то затылок, то бороду.

— ... Нищие сумасшедший, а те, кто его читает, — дураки!

— ... Если в каждом человеке есть частица бога, то во сколько же раз его больше в целом народе? Именно поэтому иной раз простая баба знает больше, чем все ваши Дарвины и Мечниковы!

— ... Мечников хочет достигнуть бессмертия, копаясь в заднице.

— ... Да, русский народ — самый талантливый, потому что самый несчастный... А сколько среди него самородков? Вот не дальше, как сегодня... Впрочем, об этом надо всем рассказать...

Пользуясь предложением, чтобы прервать уже надоевший ему разговор, Толстой встал и подошел к обеденному столу, где за самоваром сидела вся семья, во главе с Софьей Андреевной, которая с корзиночкой на коленях опять что-то вязала на спицах.

— Соня, послушай, какой со мною интересный случай сегодня, — начал Лев Николаевич, заранее улыбаясь тому, что он расскажет. — Гулял я после обеда. Устал немного. Зашел в Кочки — отдохнуть. Трактирщик меня зна-

ет, спрашивает, не нужна ли лошадь — меня подвезти. А против меня за столом сидит какой-то мужичонка... Плюгавенький такой, наверно, пьяница... Полушубок по швам лопнул, белая шерсть торчит... Незнакомый... Подмигнул мне и говорит вот так, нараспев: «Не-ет, ему лошадь не нада! Он сам дойдет!.. Видать, он старичок обоюдн-а-й!».

Лев Николаевич весь так и просиял.

— Нет, ты только подумай, Соня, слово-то какое? А? Ал-маз!

От удовольствия он даже прищелкнул пальцами.

Софья Андреевна вытянула из корзинки длинную шерстяную нитку и равнодушно ответила:

— Не понимаю, что значит «обоюдный».

Нос у Льва Николаевича сделался от гнева лиловым.

— Да не «ый», а «ай»! Обоюдн-ай! — закричал он на всю комнату. — До старости лет дожила, русского языка не знаешь!

Он круто повернулся и, шаркая валенками, ушел к себе в кабинет.

Всем стало неловко.

Софья Андреевна уронила на колени вязанье и недоуменно развела руками, ища себе сочувствия.

— Чудит старик! — успокоила ее Кузьминская, нацеливаясь ниткой в игольное ушко.

## VIII

Мы пошли погулять и кстати проведать, не готова ли лошадь, чтобы ехать на станцию.

Когда вернулись, лампы над обеденным столом и в углу были уже погашены, посуда со стола убрана.

Лев Николаевич с партнерами сидел за ломберным столиком и при свечах играл в карты.

Кроме играющих, никого в комнате не было.

Илья Львович тасовал колоду. Лев Николаевич, пригнувшись, записывал мелком игру и сердито ворчал:

— Я тебе показываю три пики, а ты — с червей! Лапоть!

Мы сказали, что пришли попрощаться.

— Уже уезжаете? Счастливого пути! А вам дали что-нибудь теплое прикрыться? Ну, то-то. А то замерзнете... Вы поезжайте на Козлову Засеку,—тут ближе... Подождите, я вам посвечу, на лестнице темно!

Он взял со стола одну из свечей и пошел нас провожать.

Незнакомые ступени спускались в темноту, как в подземелье.

Внизу мы обернулись, чтобы последний раз взглянуть на Толстого.

Он стоял на верхней площадке лестницы со свечой в руке. Пламя горбилось и вытягивалось длинным острием. Тени двигались, углубляя складки и морщины. Его голова приобрела не-

обыкновенную выразительность: могучий, бугроватый лоб, грозные брови, под ними пристальный, звериный взгляд; с широких скул каскадом — серебряная борода.

Нам, стоящим внизу, он казался далеким и величавым, как памятник.

И тем неожиданней прозвучали из его бронзовых уст простые, ласковые слова:

— Спасибо, что навестили... Не забывайте старика. Мы с вами, кажется, хорошо поговорили? Поблагодарите ваших товарищей и Короленко за адрес... Только в газетах ничего не пишете. Хорошо?.. А если кто будет спрашивать, скажите: ничего, мол, жив еще Толстой!.. Меня нескоро возьмешь... Я старичок обоуди-ай!

# Произведения Сергея Диковского

С. ГЕХТ

★

I

В романе «Время, вперед!» Валентин Катаев представил нам тип советского писателя, несколько растерявшегося перед большим, нестабильным материалом тридцатых годов. Началась первая пятилетка, и сразу, мгновенно стал изменяться облик страны. Все передовые люди смотрели на карту Госплана с обозначениями Бобриков, Магнитогорска, Кузбасса, Макеевки, с кружками новых заводов, городов, верфей, машинно-тракторных станций, шахт и так далее. Глядя на карту, передовые люди понимали, что в стране начинается сейчас создаваться новое время. Конечно, среди этих людей были и писатели. Нестрашным было увлечение путешествиями, неслучайно многие литераторы спешно паковали чемоданы и выезжали в дальние районы страны. Валентин Катаев, который также заразился общей лихорадкой и также упаковал свой чемодан, решил показать нам растерявшегося в шуме стройки писателя, не знающего что к чему и мучительно силящегося объять необъятное, поймать главное.

И в самом деле, были в ту пору такие фигуры, и — да простит меня Валентин Катаев — есть в его персонаже что-то автобиографическое, так как Катаев тоже несколько растерялся. Сам-то он тогда думал, что ему удалось поймать главное. А главным, то-есть наиболее характерной чертой для изображаемого

времени был в его представлении тот азарт, который он и описал в своем интересном, но беглом и — теперь это особенно понятно — не раскрывшем глубины времени романе. Слишком близко к объекту был поставлен аппарат Катаева, слишком поспешны были художественные обобщения, и то, что казалось ему главным, было только частностью, да и частность эта совсем не была тем веселым спортом, какой показан в романе писателя.

Да, многие из нас чувствовали себя неловко. То казалось, что все дело в технике, и наши произведения, посвященные этому периоду, превращались в какие-то неудобоваримые производственные бюллетени, или же мы воображали, что все дело в жертвенности, и в наши книги незаконно проникли ложные образы советских святых, бросивших свою юность на пожирающий огонь государственной необходимости, — и потому многие литераторы всячески трактовали тему удушения личного во имя торжества долга, притом понятие долга абстрагировалось, оно попахивало чем-то христианским и вообще религиозным. Мы часто ходили вокруг да около, будучи не в силах разобраться в общей картине и проникнуть в психологию нового поколения, в психологию человека тридцатых годов.

В те времена я нередко встречался на стройках с С. Диковским. Бывало, жили на одной строительной площадке или в одной гостинице, и я всегда на-

блюдал за ним с завистью. Дело не в биографии, никто из нас не был ни бывшим, ни посторонним, и, вообще, наш прошлое можно было с успехом свалить в один общий котел. Но в то время, когда я нервически ходил вокруг материала, хватаясь то за одно, то за другое, Диковский спокойно находил путь к центру. Он легко, умело знакомился с людьми, ему удавалось самое трудное, именно то, что казалось почти невозможным: сразу же выгравить из взаимоотношений писателя с героем официальность. Мы бывали нередко в стороне от мира страстей, а Диковский оказывался внутри, в самом этом мире, он растворялся в нем и добывал самое ценное, то-есть «изобилие ощущений и опытности» (Гоголь) по предмету описания. Читая многие очерки, я видел в них тот же изъян, что и в своих. Я видел, что литератор не знает о предмете больше того, что описал. За очерком была пустота. А в очерках Диковского чувствовалось, что он купается в материале и что рассказанное им — выжимки из большого запаса наблюдений, знаний. За очерками его угадывался большой мир. Другие авторы в то время смотрели на своего героя либо сверху вниз, то-есть покровительственно, либо снизу вверх, то-есть заискивающе, раболепно, с неуместным для художника удивлением и поклонением, либо издалека, то-есть близоруко, еле ощущивая глазами изображаемый предмет. А герой Диковского не был ни внизу, ни наверху, ни в стороне, он жил с ним рядом.

Сколько читали мы, например, дурных очерков из жизни пограничников! Было — и есть до сих пор — два неискоренимых стандарта. По одному рецепту жизнь пограничников описывалась, как цепь веселых авантюрных приключений. Все легко, все достигается с одного маху, все препятствия немедленно падают, одним словом, нам все нипочем. Картины эти не вызывали и не вызывают сочувствия, потому что трудная, напряженная военная жизнь изображена в них, как именины, в припрыгивающем, танцовальном стиле, и это ложно. По другому рецепту жизнь пограничников рисовалась, как цепь

сплошных трудностей, и читатель не чувствовал ничего, кроме тяжелой заботы. Хотелось читать о людях, которые живут трудно и интересно (ведь так оно в жизни и есть), а перед нами были люди, которые жили трудно и неинтересно. Многие журналисты и литераторы не могли, как не могут и сейчас, уловить поэзию жизни. Диковский эту поэзию чувствовал, и, читая его очерки о пограничниках, собранные потом в книгу «Застава N...», мы видели мир, в котором живут трудно и интересно. А мир, в котором жить трудно и интересно, мир этот и привлекал в те годы лучшую нашу молодежь. За этой трудной и интересной жизнью и отправлялись из столичных, областных и районных городов комсомольцы и комсомолки, бросавшие обжитые места и более или менее уютный быт, чтобы поселиться на пустынных еще берегах Амура или на невыкорчеванном еще участке тайги, предназначенном для стройки. Впереди были годы кочевой жизни, личных неустойчивостей, напряженной, более трудной, чем дома, работы — и вот именно эти трудности их и пленяли. В увлечении трудностями, овеванными поэзией социалистического созидания, заключается главная черта характера молодого человека тридцатых годов. Поэзия была во всем — и в том, что каждый чувствовал себя Робинзоном, вернее, пионером, основателем новой земли, и в том, что каждый следующий день не был похож на предыдущий, любой юноша мог почувствовать себя человеком, делающим историю. И в том была поэзия, что молодые люди, бегавшие под стол или ходившие в школу в те годы, когда старшее поколение завоевывало Октябрь, теперь поняли, что пришла пора, когда снова закаляется сталь, и, если по причине возраста им не довелось участвовать в революционных боях в исторические октябрьские дни, им удастся это сейчас на фронтах социалистического строительства.

Как и гражданская война, эпоха индустриализации и коллективизации рождала героев, и наши «кочевники» были в том числе и искателями героического. Диковский ездил по стране и ходил

по стройкам, волнуемый этой поэзией жизни, трудной и интересной. Не знаю, были ли ему известны слова Белинского о том, что «уловить игранье жизни значит уловить невидимый и благоуханный эфир идеи», — во всяком случае он именно так мыслил и поступал. Он находил сюжеты, не думая о том, чтобы они могли быть наиболее удобно подогнаны под заранее готовый тезис. И вообще, подгонка сюжета к тезису вызывается всегда бедностью наблюдений и знаний. Диковский же был богат наблюдениями, и главной особенностью его было то, что он неустанно искал новые сюжеты, понимая, что они скажут сами за себя, что «нет поэзии вне жизни, и уловить игранье жизни значит уловить невидимый и благоуханный эфир идеи». Диковский в ряду наших современных авторов — один из наиболее богатых новыми сюжетами писателей. Тем самым он становился и одним из наиболее богатых новыми идеями художников.

## II

В 1937 году С. Диковский опубликовал в «Новом мире» повесть «Патриоты». Каюсь, до той поры я знал его только как журналиста, а между тем у меня на столе лежит сейчас взятая из библиотеки книга его «Железная утка», вышедшая в 1936 году. Приятно смотреть на библиотечный листок, весь испещренный числами, говорящими о том, что книга эта не знает отдыха и ни на один день не задерживается на полках. Библиотечный листок, много раз перемаранный и исписанный сверху донизу, — свидетель читательской любви к Диковскому. В «Железной утке» есть отличные рассказы, и, глотая их один за другим, я с удивлением думаю: «Как же это я не читал их раньше?».

Высказываясь в печати о «Патриотах», я не знал, что у Диковского есть уже в прошлом такие замечательные рассказы, как «Госпожа Слива». На сорока небольших страничках автор развернул самый настоящий, захваты-

вающий роман. Я убежден, что уж никогда не забуду эту возвышенно-печальную историю жизни прислуги Умэ-ко. Она познакомилась у колеса гадалщика с учителем каллиграфии Ямадзаки, и тот предложил ей поступить к нему временной женой. Она согласилась, и тут началась ее робкая, грустная жизнь с обыкновенно плохим и ограниченным человеком. «Из временной наложницы Умэ-ко превратилась в законную супругу...». Может быть, ее жизнь с нелюбимым человеком выглядела бы даже относительно счастливо, если бы не тайна, мучившая Умэ-ко. «Вступая с ним в брак, она рассказала о себе все, утаив, однако, главное, что могло, по ее мнению, служить препятствием к браку. Она родилась в 1905 году, отмеченном в японском календаре знаком лошади». Мы узнаем позже, что девушки, родившиеся в этом году, обречены на безбрачие.

Я хочу напомнить читателям о предисловии Льва Толстого к роману Пеленца «Крестьянин». Лев Толстой говорит, что «роман этот весь проникнут любовью к тем людям, которых автор заставляет действовать. В одной из глав описывается, например, как после проведенной в пьянстве с товарищами ночи муж уже утром возвращается домой и стучится в дверь». Толстой пересказывает ужасную сцену семейной драки. «Но автор любит своих героев и прибавляет одну маленькую подробность, которая вдруг освещает все таким ярким лучом света, что заставляет читателя не только пожалеть, но и полюбить этих людей, несмотря на всю их огрубелость и жестокость. Избитая жена опоминается, поднимается с полу, вытирает подолом окровавленную голову, ощупывает члены и, отворив дверь к кричащим детям, успокаивает их, потом ищет глазами мужа. Он, как повалился, так и лежит на кровати, но голова его свесилась с изголовья и наливается кровью. Жена подходит к нему и бережно поднимает голову, кладет на подушку и потом уже оправляет одежду и отделяет горсть выдернутых волос». Лев Толстой заключает: «Десятки страниц рассужде-

ний не скажут того, что сказала эта подробность. Тут сразу открывается для читателя и сознание, воспитанное преданием, супружеского долга и торжество выдержанного решения — не отдавать нужные не ей, а семье деньги; тут и обида и прощение за побои, тут и жалость, и если не любовь, то воспоминание любви к мужу, отцу своих детей. Но этого мало. Такая подробность, освещая внутреннюю жизнь этой жены и этого мужа, освещает для читателя внутреннюю жизнь миллионов таких же мужей и жен, и прежде живших и теперь живущих, внушает не только уважение и любовь к этим завидным трудом людям, но и заставляет задуматься о том, почему и за что эти сильные и телом и душою люди, с такими возможностями хорошей любовной жизни, так заброшены, забиты и невежественны».

Есть такая отличная подробность и у Диковского. Господин Ямадзаки вернулся с осенних маневров, где он участвовал в качестве младшего командира запаса. Он заболел. «Доктор нашел воспаление бронхов, порекомендовал теплое молоко, пилюли собственной аптеки и удалился, оставив Умэ-ко страшно напуганной». И вот Умэ-ко чувствует себя виноватой перед человеком, которого она не любит и который сделал невеселой ее жизнь. Она сообщает ему о тайне, то-есть о том, что родилась в год лошади и, следовательно, она — возможный виновник его болезни, так как год лошади, вообще, год злополучный. Да, десятки страниц рассуждений о японской женщине не скажут того, что сказала эта подробность. Освещая внутреннюю жизнь этой жены и этого мужа, она освещает для читателя внутреннюю жизнь японской семьи, забитость сотен тысяч женщин, их невежество и невежество их мужей, и, наконец, такая подробность еще более возвышает в наших глазах Умэ-ко. Автор сумел заставить нас ее полюбить.

Как все верно угадано Диковским! И думаешь, между прочим, что очень редко умеют у нас так правдиво живописать чужую, незнакому жизнь.

Например, такая подробность: учитель выздоровел, затем пошел в армию и погиб в Манчжурии. Диковский рассказывает:

«...Весть о смерти испугала, но не удивила госпожу Сливу (Умэ-ко). С тех пор как за островами скрылись мачты парохода, она со дня на день ожидала несчастья. Прочное крестьянское суеверие не позволяло Умэ-ко хоть раз утешить себя счастливой надеждой. Боясь признаться самой себе, она верила в обреченность учителя, связавшего свою жизнь с хиноэ-ума (то-есть с женщиной, родившейся в год лошади)». Как хорошо освещено Диковским это «сознание, воспитанное преданием»! В то время как многие другие, живописуя чужую, иностранную, что ли, жизнь, любовались перечнем экзотических обычаев, Диковский показывает трагедию женщины и народа, запутанных обычаями. Это не преискурант жизни, а сама жизнь, ее внутренняя сущность.

Госпожа Слива стала угольщицей и скоро превратилась в старуху. Она умерла так же безропотно, как и жила, и нельзя без чувства социального гнева вспомнить о ее тридцатилетней жизни, в которой не нашли места ни материнство, ни любовь.

Уже в первой книге рассказов С. Диковский показал нам, как он умело находит глубокие сюжеты и хорошо, плавно ведет повествование. В «Патриотах» он выступил как незаурядный пейзажист и мастер сложной композиции. Два года назад я написал об этой повести статью. Моя статья не была единственной, так как повесть заметили и даже, на мой взгляд, перехвалили. Критика была права, когда рассматривала повесть, как мужественное и патриотическое в подлинном смысле этого слова произведение, написанное мужественным патриотом-литератором о мужественных патриотом-красноармейцах. Но в повести были погрешности, попадались слабые места, о них не говорилось критиками ни слова, и я выступил против этой неверной тенденции представить «Пат-



ристов», как произведение совершенное.

Хороша была композиция — в повести два плана, два места действия, и каждый план развивается особо. Возникавшее сперва желание придраться к условности, нарочитости композиции вскоре исчезало, так как обе линии удачно скрещивались, условное переставало быть условным, и два плана соединялись в один общий план, в одно целое, помогавшее автору противопоставить два совершенно различных мира.

То, что казалось раньше условностью, выглядело потом, как размах романиста, спокойно начинающего свое повествование издали, когда Сато еще был в глубине Японии, а Корж — в глубине Советского Союза. За первым героем был виден мир обмана, мир военной лихорадки, за вторым — мир правды, мир спокойной и уверенной в себе обороны. Линии еще шли врозь, но мы уже чувствовали возрастающее напряжение, неизбежность столкновения этих двух противопоставленных друг другу миров.

Оба — и Сато, и Корж — очутились на границе, вернее, на разных границах, друг против друга. Я писал тогда, что Диковский дает краткое описание советской заставы, которое показывает, что он хорошо знает и чувствует силу лаконичной и энергичной прозы. В самом деле, как много дает мне и теперь вот такая, например, подробность:

«Здесь лошади не ржали, собаки не лаяли, сапоги не скрипели. Многие из красноармейцев, отправляясь в дозор, заматывали копыта коней тряпками, а пешие надевали ичиги».

«День и ночь на заставе не имели границ — люди жили здесь в нескольких сутках сразу. Просыпаясь, бойцы видели в окнах вечернее солнце и засыпали с петухами, чистили сапоги ночью и умывались в полдень».

Но иногда Диковский заболел болезнью «общего» и тратил лишние слова, либо — чего с ним потом совсем не бывало — выражался высоко-

парно. И потому я позволил себе не только отметить его прекрасные военные сцены, его мастерской пейзаж, но и указать ему на то, что законченных характеров, по-моему, в повести еще нет. Есть черты характеров, но представить себе эти характеры трудно. Иногда Диковский неясно видел своих героев, их внешность. Я позволил себе предостеречь его от упоения неумеренными похвалами, наивно полагая, что он так всему и поверит и захочет слушать о себе только приятное.

### III

Вскоре я понял, до чего я был неправ, когда так неверно думал о Диковском. И убедили меня два факта: первый факт был как бы программой, обещанием и обязательством писателя, а второй — блестящим выполнением программы, обещания и обязательства.

Неутомимый Диковский — опять на Дальнем Востоке. Я получил из Читы письмо.

«У меня были свои трезвые мысли, — писал Диковский, — насчет повести... Многое казалось литературным, фальшивым, раздражало голый утилитарностью и скудостью мыслей... Меня несколько не утешает, что повесть встречена хорошо. Будь я моложе и простодушней — непременно стал бы (имя рек)... потолстел, стал добрым и спокойным литературным мерином, но, к счастью, я очень люблю Гоголя. Всегда, когда хочется взять аванс или согласиться на что-нибудь бездумное, легкое, вспоминается страшный гоголевский «Портрет». Как это у него?».

И Диковский процитировал по памяти несколько строк из второй редакции «Портрета», касающихся упадка Чертова, когда он «...уж не затруднялся нисколько... Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все... Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти».

«Вот повесть, — писал далее Диковский, — которую нужно глотать, как хину, после хвалебной рецензии».

Согласившись с моим замечанием, что он не совсем ясно представляет себе Коржа, Диковский приступает затем сам к суровому критическому разбору. «А в самом деле, — пишет он, — наружность Коржа выписана вплоть до веснушек, а, попадись он в толпе, я его не узнаю. По совести говоря, он немного не доношен, а, как ни отогревай дитё в лисьей шубе, как ни румянь ему щеки, природу не обманешь. Этому парню нужно ведро крови. Вот тогда-то он зашевелится по-настоящему, станет творить подвиги и глупости по собственной охоте, а не авторской указке. Чем смелее, умнее автор, тем большую самостоятельность предоставляет он своему герою. Я промахнулся, уложив заранее рельсы и пустив по ним Коржа. Лучше бы он пошел стороной, по земле, выбирая путь по собственному разумению. А я бы помог парню издать добрым советом. Если действия оправданы жизнью, о паспортных приметах можно не беспокоиться. Читатель заметит и запомнит облик героя. Не правда ли, странно, что трезвые мысли приходят в голову, когда книга уже написана. Но это пригодится в будущем...».

Каждое слово в письме Диковского говорило о высокой требовательности художника, не считающегося с удачей, с шумным успехом, не способного убаюкать себя. Это был прекрасный лозунг: «Ведро крови герою!». Я бы повесил его во многих редакциях и издательствах, где так охотно мирятся с героями анемичными, совершенно бескровными. Диковский был неправ по отношению к себе, когда говорил, что заранее уложил рельсы для своего героя. Нет, его герой только иногда чуть стеснен автором в своих движениях, а вообще, он шагает по дороге жизни довольно свободно, и впоследствии мне не раз приходилось противопоставлять «Патриотов» некоторым другим произведениям из жизни Красной армии, где рельсы, действительно, уложены заранее и герои не совершают ничего такого, что могло бы нарушить нудный график езды по колеям схемы.

Казалось со стороны, что Диковский навсегда сыт наблюдениями, однако нет, жажда исследователя советского быта и советских характеров гнала его вновь и вновь по стране. Он делится своими мечтаниями, сообщая, что хочет написать «книгу с характерами, такую, чтобы вырвалась из-под пера, прыгнула со стола и сама пошла по улице».

«Не смейтесь над моей самонадеянностью, но такую книгу я сделать обязан». Он встретил на своем пути необыкновенных людей и говорит, что будет «шить им книги по росту... Но об этом, — обрывает он, — молчок...».

Молчание его длилось недолго. И сейчас я скажу о том втором факте (ясно, что первым было письмо), который убедил меня, что программа: «Ведро крови герою!» — уже выполняется Диковским. Второй факт — его новые рассказы, появившиеся вскоре после «Патриотов» и собранные теперь в отдельную книгу «Егор Цыганков».

Какой хороший и быстрый рост художника! Как окреп голос, обогатился язык, как заострился глаз! Чуть прошелся по первым страницам Егор Цыганков (герой первого в книге рассказа), и уже ясен его характер, — все тонко, оправдано, рельефно. «В семьдесят лет потянуло Егора на север». Когда-то, много лет назад, он первый начал добывать на одном прииске золото, и на всех картах это место было отмечено, как «Егоркин ключ». «Егоркин ключ! Навек! Навсегда! Он часто с тревогой и болью вспоминал о столбе (возле первого шурфа). Если что и осталось от легкой егоркиной славы, так только бревно: смолено дерево переживает людей». Через много лет, когда он был уже сторожем на молочной ферме, захотелось ему поехать туда, к Егоркину ключу, и посмотреть прииск, который он заложил. Сыновья помогли ему деньгами. Три подробности, — вообще, подробностей в этом рассказе много и все они хороши, — итак, три подробности сразу показывают нам, с каким особенным человеком мы имеем дело. Первая по-

дробность: младший сын, «говорун и насмешник, неожиданно отвалил восемьсот. «Дурак, легко кидаться» — подумал Егор с неприязнью, но деньги взял и даже поцеловал сына в щеку». Вторая подробность: старик решил полететь, так ему посоветовали. «Триста целковых! Ну и что ж! Разве нельзя пошуметь немного под старость?».—И только на аэродроме, получив талон с голубой полосой, Егор понял, что сделал глупость. Летчик — мальчишка в волчьей куртке и в фетровых сапогах — не понравился старику: тонкорук, жидок, вертляв. Да и машина была ненадежная. Слишком легкая, обшитая крашеной парусиной». И третья подробность: самолет дославил испуганного Егора на место: пилот заметил его состояние и спросил: «Да вы что? Укачались?». «Ступай, ступай, — строго ответил Егор. — Хочу — сплю, хочу — песни пою, мое место плацкартное».

Многое становится ясным: и ревность к молодому поколению, и неверие в новое, смешанное с тем, что жизнь заставляет верить, а верить не хочется, потому что свое, прошлое, дороже и по привычке кажется единственно верным. Старик хочет признания, но все на прииске новое: вместо жалкого кустарного участка он видит с удивленным раздражением большой культурный город Удачный. Появление основателя прииска воспринимается молодежью, как казус. К нему приставляют репортера, и тот возит его по городу, показывая все достижения науки, техники, культуры. Все вокруг диковинно, сложно, все опутано наукой, химией. Егору обидно, что он — основатель! — ничего в этом удивительно разросшемся прииске не понимает, и потому все время притворяется, что ему все понятно; он вставляет замечания, но невпопад, и еще больше раздражается.

Его привезли в клуб, где продемонстрировали как живую историю и попросили рассказать про царскую каторгу. Ему хлопают, он доволен. Рассказ его ужасен, Егор с удовольствием вспоминает идиотскую, скандальную жизнь старателей, которые, смеха ра-

ди, напоили свинью коньяком и сожгли вместе с китайской харчевкой.

«Крику было! — сказал, жмурясь, Егор. — Мамама китайская в одних сподниках выскочила. Хозяин сначала за ведро, но потом плюнул... Сам хвост подкладывал, крыша горит, он громче всех хохочет. Знал, как старатели забаву оплачивают... Вот так и жили. Весело жили!».

В зале переглядываются и смеются — мы чувствуем подлинную победу нового поколения. Прошлое, олицетворенное в Егоре, так далеко, кажется до того невозможным и навсегда утонувшим, что не вызывает даже злости и раздражения — только недоуменные улыбки и смех. Все охотно прощают Егору его неловкость, кроме старичка-истопника, который, когда закрыли занавес, неласково сказал: «Лучше бы ты, дед, не срамился».

Образ этого могучего и упрямого старика Егора, растерянно бредущего по новому городу, прекрасно освещает нам тот путь, который прошли в нашей стране люди. Анекдот, остроумно выуженный Диковским из житейских наблюдений, постепенно превращается в настоящую современную эпопею.

#### IV

Диковский сумел остро разглядеть и тонко услышать людей из народа. В «Рыбьей карте» он познакомил нас с типом керченского рыбака, который всегда «у мори». «...Море дышало туманом, и тысячи байд, похожих друг на друга, как овцы в степи, паслись между Азовом и Керчью». Ждут возвращения Гончаренко, знаменитого рыбака, о котором говорят, что он знает рыбью карту, то-есть пути следования рыбы. Из дальнего колхоза прислал посланец с тем, чтобы переманить к себе Гончаренко. Мы заинтересованы и ждем, размышляя: как же появится этот рыбак? Появляется он отлично. Спокойным и ласковым тоном, удивительно соответствующим месту описания и населяющим его людям, Диковский рассказывает:

«— Товарищ Гончаренко вернулись?»

— А бачите чоботы?

И точно: огромные, будто отлитые из чугуна, сапоги висели возле двери гончаренковой хаты. Так же неправдоподобно велик был брезентовый плащ, еще сохранивший отпечатки тела хозяина.

Но больше, чем великанская одежда, удивил нас сам Гончаренко. Вместо богатыря-рыбака мы увидели плешивого босого старичка, сидевшего на скамье возле печи. Голые пухлые ноги его были погружены до колен в лохань с горячей водой.

Увидев нас, Гончаренко смутился.

— Ревматизм — наша болезнь, — сказал он, заулыбавшись. — Лечусь вот.

Никак не походил на прославленного бригадира босой и ласковый старичок, скакавший перед нами, точно мальчишка, на одной ноге, чтобы не замочить половиц».

Диковский научился сразу приближать к нам своих героев. Едва они появились, мы уже чувствуем их. К тому же он мастерски владеет народной, вернее говоря, современно-народной речью. Посланец из дальнего колхоза не в силах переманить Гончаренко, и нам уже понятно, что его не переманишь, — он любит свою суровую жизнь, потому что, будучи трудной, она в то же время интересна. И тогда посланец упрашивает Гончаренко хотя бы продать секрет, то-есть карту.

«— Карта не карта, а тезис могу одолжить.

— Нехай буде тезис, — сказал «сват» покорно, — абы рыба пошла.

— Ну так слушайте. — Он откашлялся и, точно диктуя, важно сказал: — Моя куртка не от моря, от по-та соленая. Шукать рыбу треба. Рыба красный флачок не выкидывает.

— Ну?

— Ну и все.

— Жадный вы человек, — сказал мариуполец с искренней грустью».

Нет, Гончаренко не жадный. Он — талантливый и умный работник и презирает бездарных и неумелых, стремящихся думать чужой головой, то-есть нелюбопытных и ленивых. В каждом ум-

ном и умелом рабочем есть что-то от Максима Горького. Душу Максима Горького мы узнаем и в Гончаренко, в нем есть то, чем богат русский народ, русский национальный гений.

Сюжеты, подсказанные Диковскому жизнью, помогают ему увидеть талантливого русского человека из народа в самых сложных положениях. Когда читаешь «Коменданта Птичьего острова», то вспоминаешь сказку Салтыкова-Щедрина о генерале и мужике, очутившихся на пустынном острове. Генерал ничего не умел и пропал бы, если бы не вечная способность к изобретательному труду, заложенная в человеке из народа. Наша жизнь как бы подказала Диковскому: посмотрим, что же станет делать простой русский человек, дальневосточный пограничник, по фамилии Косицын, которого судьба загнала с семьей плененными им японцами на пустынный остров. У него нет помощников, а японцев-шпионов надо задержать: у него нет ни пищи, ни спичек, чтобы разжечь костер. А остров дикий, «без ручьев, без деревьев, без тени, заросший жесткой курчавой травой. И жили здесь только птицы. Черные жирные топорки отрывались от воды и, с трудом пролетая сотню метров, ныряли прямо в дыры, пробитые в склоне горы...».

Положение Косицына посложнее Робинзоновского. У Робинзона был, во-первых, помощник и, во-вторых, за его спиной не было семи хитрых врагов, угрожавших каждую минуту его жизни. Чего только ни делают враги, чтобы схватить Косицына! Им нужно, чтобы он заснул, и они «ложились на цыновки, вкусно зевая. Стоило одному из них открыть рот, как зевота, обежав всю команду, поражала Косицына. Вскоре это было замечено, и японцы принялись откровенно поддразнивать коменданта. То один, то другой кривил спазмой рот, изображая крайнюю степень усталости. Со всех сторон неслись глубокие, блаженные вздохи, похрустывание расправляемых связок, чмокание, крихтение, сонное бормотание — темная музыка сна, способная свалить даже свежего человека».

Косицын подвергается дьявольским искушениям, и они посильней искушений святого Антония. Его коварно убаюкивают песнями, ему угрожают, его подкупают, на его глазах едят, когда он голоден. Он оставляет на месте своего мнимого ночлега чучело из водорослей, он прибегает к разным способам, чтоб отогнать от себя сон, — и вообще, невозможно пересказать вкратце всю сумму изобретательных приемов Косицына. На наших глазах действует великий простой человек из народа, обыкновенный рядовой пограничник по фамилии Косицын, в ком чудесно воплотился неугасимый дух и талант непобедимой Красной армии, ум и душа революционного народа. Молодец Диковский, что он сумел так близко разглядеть таких людей и так вдохновенно рассказать о них. Снова закаляется сталь! — хочется воскликнуть.

Автор выступает как настоящий воспитатель. Не нудных, примерных советских пай-мальчиков и пай-юношей воспитывает он, как это делается сплошь и рядом в книгах для детей и взрослых, в кино и в театре. Он воспитывает характеры, — почетнейшая роль художника! В его рассказах мы видим и то, что есть, и то, что должно быть. Его герою хочется подражать, и я уверен, что многие юноши, да и не только юноши, захотели бы увидеть себя на месте Косицына и поступать так, как поступает он.

Мы вернемся, впрочем, к героям вроде Косицына в конце этой статьи. Сейчас этот пример мы привели для того, чтобы показать, каких героев любит Диковский. А любит он героев, в которых отражается лучшее, что есть в нашем народе, то-есть беззаветное служение революции. Он обратился к людям действия, в то время как некоторые молодые литераторы, напуганные нашествием штампа и незаконным процветанием барабанщиков и сладкопечевцев, стали живописать не людей, а людишек, обескровленных, вялых, попросту говоря, ничтожных. Против штампов стали у нас выступать иногда с актиштампами, которые так же неестественны и омерзительны,

как и штампы. Чутьем художника Диковский понял, что против штампов надо выступить с подлинными картинами жизни, а не новым и столь же порочным рецептом. Он понял, что, «чем более автор умеет отделиться от самого себя и скрыться сам за лицами, им введенными, тем больше успевает он, и становится сильней и живей в этой поэзии; чем меньше умеет скрыться и воздержаться от вмешивания своей собственности, тем более недостатков в его творении, тем он бессильнее и вялее в своих представлениях» (Гоголь).

Прочитаем снова «Сказку о партизане Савушке» — и мы убедимся, как чутко вслушался в музыку народной речи Диковский. Если бывают формы более или менее трудные, то форма сказа, конечно, самая трудная. Во всяком случае, фальшь здесь с особой резкостью бьет в глаза. Диковский хорошо овладел формой сказа. Что-то есть в этой сказке и от традиционных сказок вообще, и это понятно, так как народное искусство не знает Иванов Непомнящих. Но вместе с тем мы читаем сказку новую, вышитую на канве недавней были. Диковский перевоплотился в занимательного сказочника у костра, повествующего о годах японской интервенции на Дальнем Востоке и партизане Савушке, который в одно и то же время виден нам, и как живой партизан недавних времен, и как старорусский былинный герой. Как в настоящей сказке, вся природа и все, кроме россомахи, звери стали за правду, чтобы помочь Савушке и не дать интервентам добраться до золотой сопки. Сказка — яркая, пестрая, говорливая, насмешливая, и прелестно в ней звучат разговоры животных. Вслед за народом потянулся Диковский к тому, чтобы претворить чудесное реальное в чудесное фантастическое.

## У

Всегда его тянет в люди. Он понимает, что время наше особое, полно изменений, и не знать этих изменений — значит не знать полноты жизни, то-есть

иметь о ней приблизительное представление. Изучая постоянные превращения, он разглядел в селе Грушевке («Случай в селе Грушевке») новую породу попов. Мы вслушались в первые слова беседы двух священников и сразу заинтересовались. Один упрекает другого в семинаризме и жалуется, что семинаризм есть старомодное, без поправки на новое время, отношение к своим обязанностям, и оно губит дело. Он советует поучиться у американского духовенства и у католиков, которые поставили в соборах пианолы и радиоприемники и показывают фильмы из жизни равноапостолов. «А у нас пустосвятые, пещерники... язычество с византийской подливой». Это новый священник, он носит «щегольские легкие сапоги, пиджачную пару с галстуком цвета фисташки», он «тщательно выскабливал смуглые щеки... в поездах его постоянно принимали за бухгалтера или снабженца...». Диковский подглядел, как «новые священники» старались извлекать выгоды из конституции, и хорошо показал антинародность духовенства, его обреченность.

Но, отправляясь опять и опять в люди, Диковский искал тех, кого хотел найти, чьи образы волновали больше других его воображение. Особо значительным в его творчестве является цикл рассказов из жизни Красной армии. Сюда относятся «Конец «Саго-мару», «Бери-бери», «Комендант Птичьего острова» и др. Было бы преувеличением сказать, что художнику удалось все образы. Вернее, надо отметить, что все образы удалось ему только отчасти. Диковский еще только был на пути к тому, чтобы создать образы законченные, единственные и неповторимые. И все же эти рассказы — поэтические произведения. Мы дышим невидимым и благоуханным эфиром идеи, когда видим, какие люди защищают наши границы и как они защищают. Художник показал в этих рассказах, что у нас есть кому защищать, и в силе этих людей мы крепко ощутили, что они таковы потому, что у них есть что защищать.

Противодействуя модным лубкам из военной жизни, Диковский показал вра-

га таким, каков он есть: хитрым, сильным, изворотливым, гибким. Косицын, Сачков и другие вызывают в нас сочувствие, потому что они сумели одолеть такого врага, который то маскирует паромход контрабандистов под чумный карантин, то в нужный момент выдвигает знаменитую голубовато-белую «Кайри-мару», приходящую на помощь хищным шхунам и забывающую «длинный разговор, полный намеков и прозрачных угроз», то терроризирует маленькие пограничные катера эскадренными миноносцами, готовящими, по выражению Сачкова, недавно прочитавшего мемуары Пуанкаре, новое Сараво.

Героям Диковского часто не у кого бывает спросить, как поступать, остается лишь самого себя превратить в олицетворение всего мужества, всей решимости и тактичности советской власти. Впрочем, не надо превращать, надо только умело собрать воедино заложенные в тебе силы. В еще несовершеннолетних, с точки зрения образовательных средств, героях Диковского чувствуется безусловно сталинское, то-есть то, что отличает новое поколение, которое уже успело показать, что оно так же закалено, так же революционно, так же героично, как и поколение отцов. Молодые люди обрели то, что искали и хотели найти.

Два года назад я писал о повести Диковского, между прочим, следующее: Диковский сделал замечательно полезное дело, рассказав в повести один эпизод той малой войны, которая часто происходит на Дальнем Востоке... Отряды, а иногда и полки не раз переходили границу. А что было потом? Оказался ли передвинутым в глубь нашей территории хотя бы один пограничный столб? Нет, столбы стоят на месте, мы не отдали врагу ни одного вершка. Только дипломаты приезжали за гробами и пленными.

Я писал эти строки до Хасана, — потом были и Хасан, и Халхин-Гол, отряды стали дивизиями, и у сопки Приморья да в степях Монголии вместе с товарищами Андрея Коржа воевали, я уверен, и читатели повести Диковского,

в которой так живо было ощущение грядущих больших боев. И для них, для читателей повести, события, рассказанные в «Патриотах», были уже прошлым, и люди, вероятно, неплохо оценили прозорливость и чувство времени, обнаруженные автором. Крупные события завершились точно так же, как завершились события малые, — столбы стоят на месте, дипломаты приехали за гробами и пленными.

Я говорил уже раньше, что Диковский — незаурядный пейзажист. Но дело здесь не только в отвлеченном, что ли, умении. Он заставил нас полюбить тот край, за который воевали его герои, тот край, где море, хотя и «невеселое, мутное, но урожайное, как нигде в мире. Были здесь киты-полосатки, метровые крабы, кашалоты с рыбьими хвостами и мордами бегемота, камбалы величиной с колесо, тающая на солнце жирная сельдь, пятнистый минтай, пузатая треска, корюшка, пахнущая на воздухе огурцами, морские ежи, рыба-чорт, каракатицы, осьминоги, морские львы, ревущие на скалах у мыса Шимпунского, — словом, все, что

дышит, ныряет, плавает, ползает в соленой воде... По ночам на берегу и в море горят огни. Рыба рвет сети, топтит кунгасы. Вода в реках кипит...». В каждой строке мы видим эту передающуюся нам любовь Диковского к родному краю. Описывая, как «высоко над водой стоял шеломайник с резными тяжелыми листьями», как желтели ирисы и цвел шиповник, как «всюду виднелись могучие красноватые стволы «медвежьей дудки» и белые зонтики, развернутые на двухметровой высоте», — описывая весь этот блеск камчатской природы, он прекрасно заключает: «Я пожалел, что на Камчатке не водятся пчелы».

Когда я читаю старого превосходного мастера прозы М. Пришвина, меня тянет на север, в его Берендееву чащу. Край, не ясный мне, становится ясным, любимым и удивительно родным. Когда я читаю молодого мастера Диковского, меня тянет на Дальний Восток, описанный им с таким проникновением, с такой чудной любовью, с любовью человека, который любит не все, но то, что в самом деле значительно и прекрасно.

# Охота за счастьем

(Заметки о детских рассказах М. Пришвина)

Н. ЗАМОШКИН

★

Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал:

— Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.

Вышел я и послушал, — правда, очень хорошо, и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.

Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догоняя и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась... Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.

Петя всмотрелся в редяющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул:

— Смотри, земля показалась!

Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул:

— Лева, иди скорее посмотреть, земля показалась!

Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:

— Где земля показалась?

Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:

— Земля, земля!».

Вот и весь рассказ. Читатель уже узнал автора, — Пришвин. Это открытие земли, эту свою песнь возрождения Пришвин почему-то не включил в сборник своих рассказов для детей. Он, вообще, очень скуп в отборе произведений для детей «поменьше» и для детей «постарше».

В маленьком рассказе «Земля показалась», как в капле воды, отражено солнце детской поэзии Пришвина: неиссякаемая способность человека открывать мир и вечно радоваться своему открытию. Трудно представить себе более высокую воспитательную цель, нежели эту пришвинскую колумбову страсть к открытиям, к творчеству, к нахождению красоты и смысла в самых обыкновенных явлениях жизни.

Пришвин редко впускает на страницы своих детских рассказов детей как участников действия. Чаще он сам, егерь Михал Михалыч, заглядывает в дупла деревьев, в питомники зверей, в болотные камыши и разворачивает перед взором читателя чудесные лесные, болотные, воздушные происшествия. Но, устраняя ребят, он приближает их к себе, ибо он не поучает их, а просто разворачивает перед ними свиток замечательнейших происшествий. И юный читатель легко ставит себя рядом с егерем, как бы самостоятельно продельгая под его наблюдением многие опыты познания живого мира. Радость охватывает юного читателя, когда он вдруг сам узнает, что одуванчики, действительно, на ночь закрывают свои лепестки, а потом, под солнцем, опять раскрывают их, что они, как и ребята, засыпают и пробуждаются вместе с солнцем («Золотой луг»). Радость эта ни с чем не сравнима, потому что добыта собственным наблюдением.

И «Золотой луг», и «Земля показалась», и все другие детские рассказы



Пришвина написаны так, будто они взяты из биографии каждого любознательного юнца, независимо от того, копал ли он червей в огороде, или только слышал о том, как копают их. Пришвин пробуждает в ребенке его охотничью мечту. Посмотри на оленя, волка, чибиса, — говорит он своему читателю, — и ты увидишь в них тайну, которая остается, однако, тайной только до тех пор, пока ты не испытаешь и, разгадав, не покоришь ее.

Ниже мы расскажем, в какие неожиданные формы выливается у Пришвина эта его большая, здоровая идея о человеке — сыне и хозяине природы, — но прежде предоставим слово для «критика».

Земля показала из-под снега! Одуванчики закрывают свои чашечки на ночь! Что в этом нового? Нужно ли вновь открывать давно открытые Америки?

Пришвин ответит критику так: в природе существует какой-то неприкосновенный запас явлений для вечного непосредственного узнавания. Человек теряет в себе творческий дар, если обо всем будет узнавать только из чужих рук. Каждый ведь заново открывает в себе потребность любить, строить, познавать. Делом непосредственного узнавания занимаются прежде всего дети. Все они хотят быть Колумбами земель, окружающих их. В этом желании заключен источник вечного возрождения человеческих поколений. Красоту явлений природы надо самому пережить, чтобы надолго загореться желанием покорить природу.

В этом и заключается смысл пришвинского глубоко воспитательного художественного «переживания детства».

★

Задача почти неразрешимая: отделить Пришвина — детского писателя — от Пришвина — писателя для всех. Да и что такое особая литература для грамотных, не дошкольных, детей? Белинский писал: «Книги для детей можно и должно писать, но хорошо и полезно только то сочинение для детей, которое

может занимать взрослых людей» (Сочинения. Изд. Павленкова, том IV, стр. 866). Этим все проверяется. Во вступлении к своему детскому циклу «Лисичкин хлеб» Пришвин пишет, что его рассказы «одинаково интересны для всех поколений», и в этом он видит оправдание своим поискам «идеального рассказа для детей».

Не подделываясь под детский «мирок», питая отвращение к сочинению разного рода комнатных небывлиц, не потворствуя фантазии, и без того чрезвычайно деятельной у детей, он, взрослый, многоопытный, как бы играет в природе и с природой. Элемент игры как-раз и делает из него писателя, близкого, нужного детям. Это дает ему возможность плотно, по-человечески прикоснуться к чудесам, совершающимся на родной планете — Земле. Об игре он пишет так: «Взрослые играют гораздо более детей». И в самом деле: когда мы учим собаку стойке, гону, когда тетерев у нас токует на чердаке, — разве тут мы не играем? Если уж и мы играем, то «почему нам надо рассказывать детям непреложно о полезном и поучительном...»? Я так понимаю эту декларацию писателя: пусть поучительное будет, но как игра, как что-то нечаянное. Так оно и есть у Пришвина — иногда даже, как в басне, например, о бойкой собачонке под кличкой «Лимон»: «Все забияки такие. И наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу, — и весь дух вон: визгу много, шерсти мало!». Вся соль тут — посадить забияку в шляпу!

Игра у Пришвина не переходит в самозабвение; тогда теряется цель ее и путаются карты, а если это и случается с его ребятами, то они наглядно убеждаются в плачевных результатах: тогда-то они и не видят «Москвы», в которую играют (в рассказе «Матрешка в картошке»). Свое «уграченное детство» Пришвин воссоздает в играх-разговорах с детьми. В рассказе о детях — «Весна света» — писатель «и сам такой», т.е., как те дети, которых он встретил на Малой Бронной и которых он «не обманывает» своей сказкой о некоей лес-

ной стране Дриандии, ибо, играя с детьми, он сам перевоплощается в ее жителя. Вот эта сократовская искренность, этот реалистический театр на одной из московских улиц и делает Дриандию страной существующей, своей, — там все так же по-братски делается, как и в социалистической Москве.

Конечно, Пришвин, играя с детьми, не может скрыть от них своего превосходства, старшинства, добродушного лукавства, но ведь лукавство только усиливает интригу игры. Кроме того, именно лукавство является матерью фантазии художника. Так Пришвин в плотную, вещественную, реалистическую ткань своих рассказов вводит желанную гостью — фантазию. Но она у него обращена не в «сферы», а служит для дорисовки конкретно ощутимого мира, для преодоления наивно-реалистических представлений, обращена к догадке и опыту, которые, может быть, и являются главной поэтической стихией всего детского творчества Пришвина.

Пришвин потому еще нужен детям, что главная страсть его — охота — «неразрывно связана с детством, старый охотник — это человек, до гроба сохраняющий очарование первых встреч ребенка с природой». Об этом писал еще замечательный русский писатель С. Т. Аксаков, ныне непонятно почему забытый. Богатое, крепкое, содержательное слово «охота» наиболее полно и точно выражает писательскую индивидуальность Пришвина. Охота — это желание, хотенье (ср. старинное: «охотствовать», у Тургенева: «Вы, кажется, не охотствуете...»). Русский народ много вложил в это сильное, упругое слово.

Охота выводит человека из комнаты на просторы мира. Здесь он начинает по-настоящему любить природу, а не любоваться ею. Любить природу, а не ее ландшафты и декорации, любить полной грудью можно научиться, только став с ней с-глазу-на-глаз, в состязании с ней. Пытая природу, человек вырабатывает в себе бесстрашие, выносливость, споровку, наблюдательность, закалку. Можно ли спорить, что любовь к охоте передается воспитанием, возбуждается

примером окружающих, произведениями искусства. Подобно спорту, охоту можно ввести во всеобщий быт — она по силам здоровой советской молодежи, она имеет, несомненно, большое оборонное значение. Что охота не пустая забава, а дело жизни, — этому посвящен известный рассказ Пришвина «Охота за счастьем». Характерно тут уже сочетание самих слов: «охота» и «счастье».

Существующему еще до сих пор предубеждению, что «охотничья» литература далека от жизни, от общественных вопросов и пр., Пришвин дает своими рассказами решительный, достойный художника отпор. Вульгаризаторы не смеют при этом опереться и на Аксакова, для которого «уженье рыбы» вовсе не было уходом от суеты земной. В своем «созерцании» природы Аксаков был очень зорек и к социальным явлениям жизни. (Например, в рассказе «Необыкновенный случай».) Подлинный художник и через охоту, через животных, видит мир, современность. Таков и Пришвин. И дело тут не только в образцовых советских питомниках для собак, которые изображает Пришвин, а в общей идейной направленности его произведений, а иногда и в социальной тематике его детских рассказов. В «Мише» рассказывается о наших колхозных детях, воодушевленных идеей должного, прекрасного, разумного, социалистического в поведении людей. В этом неохотничьем, по сюжету, рассказе центральный мотив все же взят из мира животных (караси и щуки), и это очень примечательно для Пришвина.

Охота для Пришвина — опытное поле, плацдарм для познания людей, их характеров, склонностей, способности бороться. В соответствии с этим у Пришвина нельзя встретить людей беспомощных, сентиментальных. Его охота — общественная функция и, как всякая общественная функция, огромна по охвату объектов. Художнику порой достаточно какой-нибудь кочки в болоте, дупла в дереве, дробного стука дятла, похлопыванья хвоста собаки, чтобы увидеть через это нечто существенное в мире. Иным это может показаться странным, но Пришвин обра-

щается не к слепым кротам, а к зрячим людям Советской страны.

Заговорив об охоте, следует сказать и о пресловутом пристрастии охотников к красному словцу, к излишне цветистой окраске происшествий, участниками, а иногда и сочинителями которых они часто выступают. Пришвин занимает тут особую позицию. Он не против преувеличений, фантазии, не видит в этом ничего зазорного, но самый характер выдумки должен быть умный, помогающий понять и полюбить природу и человека, действующего в ней. Пусть охотничий «анекдот» будет, как живой художественный вымысел, тогда отпадет охота подтрунивать над «сочинителем». Читатель скорее заставит себя поверить в то, что хорошая собака скорее целый год простоят в стойке и превратится в скелет, чем ляжет перед дичью. В первом случае гипербола основана на замечательной способности лягавой замирать перед птицей, а второе предположение просто противоречит самой природе собаки. Дело, значит, в характере анекдота. Пришвин не терпит плоского, неумного, недогадливого вранья, как бы подчас оно ни было занимательно.

Пришвин в природе свой, домашний человек. Это видно из каждого эпизода его сочинений. Ни фальши, ни закатыванья глаз от восторга перед «природой» мы не найдем у него. Активно, без всякой позы, наблюдая за ней, любя ее не по-туристски, он работает в ней и как писатель, заготовщик материала. Этот рабочий момент в его природолюбии особенно знаменателен. На охоте ему «очень захотелось использовать время ожидания белки и написать себе что-нибудь в книжечку о муравейнике» (который был под деревом): о том, что вот существовало муравьиное государство, но пришел какой-то глупый, жестокий человек и поджег его, — «государство сгорело, и остался пепел». Записи Пришвина было бы очень полезно прочесть некоему книжнику из его же рассказа «Басни Крылова», который идет в природу впервые, а рассуждает о ней тоном опытного натуралиста. Учись по живой книге жизни, и если у

Крылова сказано, что свинья не смотрит вверх, то помни, что ведь это в басне, а на самом деле свинья прекрасно умеет смотреть на небо! И не баснописца тут попрекает Пришвин, а кабинетных любителей природы. Такие люди смешны в своем мнимом величии, и писатель не без основания ловит одного из них на слове. Вот новый аргумент в защиту пришвинской идеи открывать в природе давно известное, не пренебрегая даже такой домашностью, как свинья.

И другое характерно для детского рассказа Пришвина: чтобы ребята-читатели чувствовали себя с писателем «равноправными гражданами», хотя он и дает им иногда почувствовать свое превосходство. Он помнит: для детей, как и для художника, всё полно новизны, свежести, у них преобладают непосредственные реакции на внешний мир, души их постоянно раскрыты, чтобы наполниться содержанием. Отсюда в рассказах Пришвина постоянно звучит нота удивления перед происшествиями совсем не «экзотическими»: подумаешь, утенок взлетел или вот собака поддалась на колбасу! Однако Пришвин, в стремлении видеть в ребятах «равноправных граждан», склонен иногда преувеличить у них жизненный и интеллектуальный опыт (трудноват «Старухин рай», как рассказ для детей «поменьше») или бывает так краток, афористичен, что остается в рассказе доля недосказанности (например, «Муравьиный большак»). Если самый маленький читатель видел однажды птичку, — ему можно рассказать о любых птицах, и они будут для него продолжением той первой крылатой, но он еще не имеет навыка в обобщении явлений, ему трудно отвлекаться в сторону от конкретности, например, в «рай», — и тут даже юмора недостаточно, чтобы содержание дошло до маленького читателя. Но все же недосказанное — это не то, что пересказанное, разжеванное. Лучше, если книга будет чуть выше понятий читателя, чем ниже их.

Реальный детский рассказ Пришвина складывается, таким образом, из следующих элементов: волевого, охотничьего

ощущения мира, игры, как средства общения, как практической школы воображения, и из чувства равноправия с детьми. Все это венчается у него мужеством, неистребимой в советских детях силой духа, которую Пришвин в своих кавказских рассказах называет кабардинским словом *дермант*.

Много героев — четвероногих и крылатых — у него, но над всеми ними — человек, победитель, испытатель. И это тоже одна из главнейших особенностей всего творчества Пришвина. Старое изречение: «Где кончается царство животных, там начинается царство человека» — ни к кому так не относится, как к автору поэмы «Корень жизни» — Пришвину. В рассказе «Копыто» Пришвин наглядно показывает, что если бы у собаки был «бог», то «бог» — «это я», а из другого рассказа мы узнаем, что приучить собаку есть горох может один «бог», т.е. человек! Очень все просто.

Один старый критик назвал Пришвина... бесчеловечным писателем. Человек у него будто бы пасует перед прочей материальностью мира и стоит где-то позади животных. Это звучит почти как поклеп. В «Моем очерке» писатель ответил, что критик «не представляет себе равноценности воссоздания той самой материи, в которой зарождается эта личность», т.е. человек. И действительно, чувствуя себя хозяином в природе, следуя своему принципу «родственного внимания», Пришвин никогда не забывает о том, что сам он от земли и потому равноценен «материи».

Горький любил произведения Пришвина, любил их за прекрасный русский язык и за то, что нашел в них волевое, хозяйское отношение к природе. Земля более наша, чем мы привыкли об этом думать. «Обычно люди говорят земле: мы — твои, вы говорите ей: ты — моя» — писал Горький М. Пришвину. Не создавая лирических песнопений природе, потому что те, кто поет ей коленопреклоненные гимны, тот бесознательно загаваривает зубы страшному и глупому зверю — стихийной силе, враждебной для человека, — Пришвин сам создает красоту природы, ибо,

писал Горький, «нет красоты в пустыне, красота ее — в душе араба».

В своей «подмосковной» и дальневосточной тайге егерь Михал Михалыч создает красоту русской природы, постоянно находя в ней все новые и новые колеры. В его любви к русской природе заключен настоящий патриотический пафос, который всегда дойдет до советских детей. Как же он творит эту красоту? Уот Уитмен писал о себе: «Все поэты из сил выбиваются, чтобы сделать свои книги ароматнее, вкуснее, пикантнее, но у природы, которая одна мне была образцом, такого стремления нет» (из книги К. Чуковского об Уот Уитмене). Не о том ли самом говорил и Горький в письме к Пришвину? В этом смысле Пришвин, как и Уитмен, «не поэт», ибо он пишет под шум леса, под пенье вешних вод; за переплеск ручья, за умный, преданный взгляд Ярика он отдаст с радостью все сладкозвучные описания природы, а заодно и все те слащавые сентенции по поводу нее, которые приводили Белинского в ужас. Великий критик таких описателей природы «для детей» называл «врагами детей».

Мы нигде не найдем у Пришвина настроения подавленности и сознания ничтожества человека перед таинственным могуществом равнодушной к человеку «вечной Изиды» — природы. Известно, что образ Изиды иногда посещал Тургенева, тоже охотника, тоже добытчика.

★

У Пришвина имеется два цикла детских рассказов: «Зверь-бурундук» и «Лисичкин хлеб». И в обоих оригинально развернута живая школа наслаждения миром, познания зверей и птиц, школа открытий, догадок, быстрая панорама интереснейших происшествий. Нет ничего труднее, однако, доказать, убедить, что такое-то произведение прекрасно. Вспомним, как Белинский поступил, когда писал свой восторженный разбор «Героя нашего времени». Он цитировал произведение целыми кусками, делал анализ и достигал успеха, — убеждал. Как, например, докажешь, да

еще от лица детей, что пришвинская «Луговка» прекрасна? Надо бы ее и другие его миниатюры привести здесь полностью. Но на это нет места. Поэтому придется поступить так, как поступил сам Пришвин в рассказе про барса: отыскать маленькую «шерстинку», оставленную зверем на земле, и по ней выследить прекрасного обитателя уссурийской тайги — барса. Я думаю, что писатель не посетует за такое неожиданное сопоставление, тем более, что критикам тоже не заказано пользоваться метафорой.

Пришвин всегда просто, иногда по-деловому, начинает свои рассказы, например: «Понадобилась мне однажды на кадушку черемуха, пошел я в лес», или: «Мне попала соринка в глаз». Обычно такое вступление не обещает ничего неожиданного и уж во всяком случае никакого отгадывания, а между тем в нем, в отгадывании, все дело. Оно наступает после того, как будет показано то или иное происшествие, и тогда Пришвин вдруг разрубает узел, изящным поворотом возвращая ход рассказа к его внутренней теме: «Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ». И оказывается: то, что он долго не мог понять, почему у оленя возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки, означает лишь, что салфетками пугливые животные сигнализируют друг другу во время панического бегства от врагов! Салфетка и борьба за существование, — можно ли рассказать об этом более впечатлительно, более доступно для ребят? Рассказ «Зверь-бурундук» и посвящен этому процессу отгадывания.

Сколько человеческой симпатии проявляет Пришвин к лесному, водяному и прочему молодняку даже тогда, когда дело идет как будто только об изучении и зарисовке животных. Вот хлопнуקותенок делает первый самостоятельный полет. Бесконечно дорого то счастливое мгновение, когда утенок набирается смелости или улепетывает от грозящей ему опасности: он сразу отрывается от воды, чтобы тотчас же чебурахнуться, наткнувшись на тростник. Не «так ли было и со мной, — признается писа-

тель, — когда я прыгал, прыгал на велосипед, падал, падал и вдруг сел и помчался прямо... на корову!». Один трогательно-комический штрих — и все оживает. Юмор в детских рассказах Пришвина всегда новый, то добродушный, то лукавый, но непременно необходимый, даже полезный при изображении «бесстрастного» лика природы. Вот Домна Ивановна, домашняя хозяйка, она по-матерински тепло любит откликаться на жалостливый крик пленника-тетеревенка, живущего в подвале. На его «фиу-фиу» она неизменно отвечает: «Милый ты мой». А нельзя ли чуть-чуть подшутить над добрейшей Домной Ивановной? И вот Пришвин, отлично умеющий подражать голосу птицы, однажды просвистал тетеревиное, и женщина тотчас же откликнулась: «Милый ты мой!». Комизм, однако, нужен и тогда, когда событие вовсе не комическое: например, сказ о том, как старушка, собираясь помирать, готовится перейти в «рай». Воробышек, капнувший в рот старушке, сразу же пробудил ее от суеверия! Юмористически разоблачается суеверие и в «Стремительном русаке», где «чорт» на поверку оказывается простым зайцем. Юмор служит и для другого: он вылечивает человека от излишнего раздражения, от неудачи («Сметливый беляк»).

Юмор у Пришвина от «родственного внимания» к зверю. Если животное не вредит человеку, он к нему нежен, заботлив. Сердце писателя загорается отзывчивостью к печальному крику чиби-са: «Чи вы, чи вы!». Чибису охотник друг, «свойский», и рассказ о нем («Луговка») — поэтический, тонкий, чуткий. Нужно щадить беззащитных птишек, ради этого можно даже обойти плугом то место на пашне, где лежат чибисовые яйца. Пришвин очень редко употребляет слово «жалость» к животным, но всегда впопад, он не поклонник глуповатой, слезливой жалости, но, когда нужно, душа раскрывается. «Луговка» воспитывает в детях благородную потребность охраны слабого существа. Жалко убивать даже зайца, когда он ловек, бесспорно догадалив. Чтобы убивать, для этого хватит глупых зайцев! А умный

только хвостиком помахал и утек. Чтобы убивать, для этого найдутся ценные, к тому же и вредные звери, например, куницы. Пришвин не стесняется говорить о «подлости» куницы: представьте себе, заняла теплое беличье гнездо и завела в чужом доме свое семейство! Ее обязательно надо убить и нечего такого зверя жалеть, но (зачем кривить душой!) убить ее, главным образом, надо потому, что у ней хорош мех! И Пришвин тут откровенен до конца: когда мех куницы «дешев» (летом), то «мне она не надобна», хотя и прогнала она бедную белку! Пришвину нет нужды скрывать от детей и утилитарной цели охоты. В отношении к кунице «жалеть» и прочее — было бы, конечно, лицемерием. Так занимательно и откровенно писать может только настоящий, убежденный в своей правоте человек. В рассказах Пришвина содержится сложная гамма самых разнообразных чувств: тут и жалость, и юмор, и здоровый практицизм.

Отдельное место занимают рассказы, в которых наблюдение, догадка незаметно переходят в эксперимент, и тут можно говорить о силе и своеобразии воображения у Пришвина. В этих рассказах охотник создает как бы естественную обстановку для плененных животных, чтобы они легко жили вместе с ним, позабыв неволю. В «Еже» Пришвин раскрывает живую, остроумную механику этого приспособления, создавая для зверька подобие природы, естественной среды. И здесь безраздельно, по-детски, играет его фантазия. Он зажигает лампу — это луна вошла для ежика, и зверек побежал по комнате, как по родной лесной полянке при луне. Для ежика это та самая луна, которая, как в этом уверен гоголевский герой, «делается в Гамбурге». «Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко», потом ежик брошенную на пол газету надел себе на колючки, получилась сухая листва. Далее идет ряд других манипуляций, игровых, театральных, создающих иллюзию действительности. Искусно экспериментируя над зверьком, Пришвин играет не столько с ежиком, сколько с детьми. И бу-

дет очень хорошо, если ребенок поверит в то, что ежику, действительно, уютно и весело живется в человеческом жилье. Интересно при этом, что ежик в рассказе похож на малыша, любящего строить для себя фантастические картины: он — мальчик с пальчик, уходит в траву, где каждая травинка для него — огромное дерево, подобно тому, как для ежика ноги хозяина тоже кажутся деревьями. Но и взрослый писатель тут тоже не в стороне, — обращаясь к ежику, предмету своей игры, он одновременно обращается к малышу: «Ну, иди, иди, видишь, я для тебя все устроил». Разобрав этот замечательный рассказ, я нашел в нем второй, детский план и думаю, что не зря сделал, — хотя конкретно в рассказе имеется только первый план: ежик и сам писатель.

Давнишний и спорный вопрос о том, в какой пропорции и в какой интонации вводить в художественное произведение элементы естественных наук, Пришвин разрешает виртуозно. И не будет преувеличением сказать, что он тут является новатором. Известно, что волк-самец подкармливает волчат своей отрыжкой, содержащей соляную кислоту. Как же сделать так, чтобы такая «проза», как соляная кислота, вошла поэтической темой в рассказ? На этот раз самец оказался большим эгоистом, пожалел давать волчатам отрыжку — самому, дескать, нехватает! Суровая волчица здорово по заслугам оттрепала за это волка, клочья шерсти летели во все стороны. «Такой выпал памятный день — всем волкам по серьгам: старому взбучка, маленьким — соляная кислота!» — это в концовке рассказа. Вводя в рассказ кусочки биологической химии, Пришвин не пожертвовал ради нее художественной стороной. Наоборот, действие от этого еще более заиграло, и кажется, что теперь-то уж волки навсегда поняли, что значит для их волчат соляная кислота! Им стыдно теперь будет услышать от Пришвина упрек: «Нечего сказать, отцы! Вот так отцы!». О чем бы Пришвин ни повествовал, он никогда не покидает позиции художника: будь ли то научный эксперимент, научное понятие, или практический, полезный совет.

★

В художественном произведении о животных невозможно обойтись без того, чтобы животные не разговаривали. Если совсем не передавать языка бессловесных, неизбежно пооблекнет образность, пропадет увлекательность. Детям будет скучно в немом мире природы. Естественно, что у Пришвина животные разговаривают. Но вся задача в том, как избежать при этом очеловечения, как сделать так, чтобы звери оставались зверями, даже тогда, когда они разговаривают словами.

Сэтон-Томпсон в своем известном всему миру рассказе «Рваное ушко» не скрывает, что «все разговоры с кроличьего языка переводит на человеческий». И у него получается следующее: «Что такое силки? — спросил Рваное ушко, почесывая правое ухо левой задней ногой. — Силки похожи на ползучее растение, но они не растение» и т. д. — отвечает крольчиха Молли. Урок в школе! Сэтон-Томпсон уверяет читателя, что он «ничего не говорит такого, что не было бы сказано кроликами!» О, если бы разговоры кроликов в этом рассказе, действительно, были языком звуков, запахов, прикосновений усиков, если бы была соблюдена мера в «сознательности» животных!.. В «Рваном ушке» не видно, где кончается царство животных и начинается царство человека. «Дословный» перевод с языка на язык уместен только в сказке. Томпсон же не сказочник, а художник-натуралист. Язык у кролика может быть человеческим, но «мысли» не могут быть человеческими. И американский писатель, и Пришвин, оба прекрасно знают «лесную науку, древнейшую из всех наук на земле», но у Томпсона кролик с каждой новой страницей делается все более «разумным», а у Пришвина мы читаем: «Не требуй от птицы того, что ей не дано», — разума, чувства благодарности к человеку...

У Пришвина очень гибкая форма обращения к животному, и всегда разная, взаимоотношения у него со своими четвероногими и крылатыми друзьями

очень сложные. Часто он сам говорит за зверей (в «Пчеле»), а еще чаще обращается к ним. Аксаков заметил, что собаки, например, прекрасно понимают русский язык! (В России прежде охотники коверкали для этого немецкие и французские слова.) К нагловатой кунице Пришвин обращается с осудительной интонацией: «Ну, барыня, стало быть, ты тут живешь с семейством»; иначе он говорит чибису, собаке: тут и ласка, и гнев, и строгость.

Но, чтобы внутренний мир животных раскрыть, по возможности, глубже, писатель предоставляет слово самим животным. Потребность детей в сказке должна быть удовлетворена. Но, заметьте, как осторожен, деликатен и экономен тут Пришвин. При передаче разговора животных он постоянно делает оговорку такого типа: «как я догадался», «фиу-фиу» — это, по видимому: «мама, это ты?» или: «я спросил бабушку, как это она понимает, почему дергач кричит: «тпрусь» и т. д. Только один раз, в «Говорящем граче», Пришвин неосторожен в передаче языка, хотя, впрочем, всем известно, что грача можно выучить человеческому языку!

Но самый натуральный и богатый разговор получается, когда животные обходятся средствами своего языка, обходятся без слов, при помощи носа, чутья, уха — языка запахов, слуха. «Салфетка» у оленей тоже ведь говорящая. О таком разговоре есть у Пришвина особый рассказ «Разговор птиц и зверей». Старый егерь досадует, что ныне даже молодые, неопытные лисицы уходят под флаги при облаве. Оказывается, это оттого, что у них есть свой особый разговор.

«— Бывает, ставишь капкан, зверь старый, умный, побывает возле, не понравится ему и отойдет. А другие потом и далеко не подойдут. Ну, вот, скажи, как же они узнают?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, — ответил егерь, — звери читают.

— Читают?

— Ну, да, носом читают. Это можно и по собакам заметить. Известно, как

они везде — на столбиках, на кучках, на кустиках — оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц, я считаю, голос. Летит ворон и кричит — нам хоть бы что, а лисичка навострела ушки в кустах, спешит в поле. Ворона летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица! А разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?».

То же и в рассказе «Гаечки», где одна птичка замерла, а другая предупреждает ее об опасности. Большой многословный переключ раздается на страницах пришевских рассказов. И «читающие» животные, и ребята-читатели понимают этот переключ, потому что в нем слышен неподдельный голос природы.

Разговоры животных у Пришвина — это другая сторона явления, которое называется умом животных. В «Птицах под снегом», путем сопоставления разных реакций у рябчика, тетерева и куропатки на грозящую им опасность со стороны ястреба, Пришвин ясно, наглядно, увлекательно показывает, кто из этих четырех пернатых «умнее», и кто «дурашливее». Но Пришвин, как будто все разгадав, не перестает дивиться увиденному: «Я много всего в лесу рассмотрелся, мне все это просто, но все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался дураком». Каждая птица умна по-своему, в пределах отпущенного ей природой. Эта мысль проходит красной нитью у Пришвина. Какое же тут очеловечивание! Вполне можно обойтись без копания в «душе» животного.

Представляет несомненный интерес сравнить рассказы Пришвина об уме животных с детскими рассказами на ту же тему М. Зощенко. Возьмем зощенковскую «Умную куру», защищающую цыплят и выклевывающую глаз у собаки (у Пришвина в «Пиковой даме» есть такой же эпизод). Зощенко делает нажим на то, что у курицы большой ум; в чем же? В инстинкте рода. Пришвин никогда не скажет в этом случае об уме.

О материнстве он так скажет: оленуха, чтобы спасти своего теленка от собаки, громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать, чтобы отвлечь внимание собаки от родного дитя. Здесь к слепому инстинкту рода прибавлена сообразительность, возникающая только в чрезвычайных условиях. Если даже тут «ум», то он у оленухи быстро пропадает, опять-таки при изменении обстановки: при появлении человека оленуха бросает свою тактику и озабочена только одним — спасти себя. Правильно говорит пословица: когда свинью палят, ей не до поросят! Порой кажется, что М. Зощенко в своей маленькой серии рассказов об умных животных (изд. «Советский писатель», 1938 г., стр. 112—119) пародирует некий детский жанр. Тогда все на месте, но если писатель всерьез написал рассказы «для детей», то они получились какие-то странные: в них выставлен тезис об уме, далее идут краткие доказательства, череда силлогизмов. Но что ребенку в том, что лошадь только умная? — он любит ее всю, у ней глаза большие, живые, ноги стройные, шерсть гладкая. Это верно, что гусь не больно умная птица, но в том-то и дело, что ему хватает своего ума. Когда же Зощенко забывает свой тезис об уме, тогда получается прекрасный, естественный рассказ о «сравнительно умной кошке», точно так же, когда он начинает жалеть о том, что «собаки не умеют говорить» (хотя они умеют говорить!). Но опять срыв: дети должны кушать невкусную муку геркулес, а у Пришвина избалованную Зиночку кушать черный хлеб агитирует сама жизнь, — и успех обеспечен, потому что тут замесались лисичка и зайчик! «Лисичкин хлеб» всегда вкусен, и наставления родителей тут совершенно ни при чем.

Не подлежит также сомнению, что наблюдения и догадки Пришвина в изображении мира животных в его рассказах для детей очень удачно, просто, без вульгаризаторства пропагандируют основы дарвинизма. И в этом их большая художественно-познавательная ценность и воспитательное значение.



★

Художественное дарование Пришвина особенно отчетливо проявилось в рассказах о собаках — наиболее ярких представителях «культурного слоя» природы. Собаки ему ближе других животных, он любит их и за «разговор», и за «ум», и за «службу», и за «дружбу». И нигде человек так не чувствует своего превосходства в природе, как среди собак — умнейших из четвероногих. Но и тут еще остается поле для узнавания, для «сказки догадок». Собака — душа ружейной охоты, и особенно собака хороша выученная. Поиск собаки так выразителен, точно она говорит с охотником, а в ее мертвой стойке столько пластичности, что только равнодушный к красоте может оставаться при этом спокойным. Человек в рассказах Пришвина о собаках выступает властителем, учителем. Наука выучки собаки интересна для всех, а детей способна очаровать, увлечь. На первых порах охотник больше думает не об охоте, а о том, как приласкать собаку, умно, без запальчивости, наказать ее, как развить в ней ее природные качества — чутье, слух, чтобы собака «на отлично» служила человеку. Это как при стрельбе по дичи: смотри вначале на птицу, а не на ружье — на собаку, а не на охоту. Собака понята, подготовлена. Как приятно быть обязанным самому себе.

Пришвинские Ярик, Ромка, Лада, Трубач западают в память, как давние наши знакомые. Пришвин и они понимают друг друга без слов, они сжились, сдружились.

Вот Ярик за тетеревом, на вырубке,— тут вся сложная наука охоты, кто кого перехитрит: птица или человек с собакой; сколько ловкости и ухищрений надо проявить, чтобы в конце-концов покровительственно сказать тетеревам от имени человека и собаки: «Вот как мы вас одурачили, праждае!». И Пришвин честно признается: без собаки он не перехитрил бы! Глядя на поиск своего пса, он — царь природы — испытывает благородную зависть к непостижимому чутью собаки, ее

влажному трепетному носу, и смиренно говорит себе: «Вот если бы мне такой аппарат... и ловил бы, ловил бы интересные мне запахи...».

Пришвин превращается весь во внимание, когда следит за недостижимой для человека способностью животных инстинктивно замирать — в минуту ли опасности, или в минуту выслеживания («Гаечка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла; я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не шевелится»). Предел окаменения—это стойка собаки. Первая стойка в жизни охотничьей собаки — это экзамен на право существования, на дружбу с человеком. Этому и посвящен замечательный рассказ «Первая стойка»; он весь в диалоге, в сверканье совершенно реальной фантазии, очаровательный и глубокий по смыслу. Милый, глупый Ромка вдруг оцепенел при виде катящегося по ступенькам кирпича, его охватили ужас, удивление, столбняк. Как взрослый к ребенку, снисходительно-любовно, заранее прощая ему глупость, обращается охотник к щенку, наталкивая его на понимание: не считай галок, а то получишь фонаря. Кирпич для Ромки — живой персонаж, смутный образ дичи, которую ему еще только предстоит увидеть и выследить. Но у кирпича, конечно, больше выдержки, чем у Ромки; «ему можно хоть сто лет лежать, а живому щенку трудно: устал и дрожит...». Песик пришел в себя только тогда, когда опытная Кэт заставила его понюхать врага — мертвого, безопасного, неинтересного. Ребенок тоже ведь познает жизнь через свой «кирпич», садится на велосипед—и прямо на корову! Ромка положительно трогателен в своей поистине детской изысканной неловкости. И в рассказе «Ежовые рукавицы» занимательная наука первого знакомства с миром тоже как на ладони, но в этом рассказе, кроме стойки, есть прямой, сделанный, вероятно, по педагогическим соображениям перенос смысла рассказа с собаки на человека, построенный на метафорической игре слов: «Некультурность надо ежом изгнать».

★

Пришвин пишет хорошим русским языком. Словарь языка его народен, нет в нем ничего трафаретно-литературного. Особенно самобытен в языке детских рассказов Пришвина синтаксис: гибкий, свежий, интонирующий, выразительный и немножко... растрепанный, потому что непосредственный. Чтобы убедиться в силе его речевой интонации, не обязательно читать рассказы Пришвина вслух. Такое испытание выдерживают немногие произведения литературы. Слог Пришвина, не засоренный невыразительным, даровым говорением, сохраняет всю непосредственность народной речи и обладает в то же время своим стилевым совершенством. У Пришвина есть какой-то особый ключ к мастерству очень на вид простого сочетания слов: «С этой Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко...»; про новорожденного олененка: «И вот только-что черненькие глазки блестят и только-что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: до того притворяются каменными»; «То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды...». Нет сомнения, — это синтаксис народной певучей речи, естественный. Образец живого «детского» синтаксиса, естественно, яркого: «Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам...». Пользуется Пришвин и сказовым слогом, избегая при этом балагурства и декламации. В такой манере написана игровая реалистическая сказка о старой крестьянской нужде — «Матрешка в картошке».

Слово у Пришвина не оторвано от предмета, не абстрактно, оно у него материально. Смысловая выразительность чаще всего падает у него на предмет. Образ у него не статичный, в нем содержится концентрат действия, движения. В речи не всякий глагол выражает нужное, именно необходимое действие. Пришвин знает это и предпочитает делать упор

на сильный и упругий, как сжатая пружина, предмет. Отсюда краткость его речи, сжатость его рассказов. О чрезвычайной плотности, собранности своих образов он сам писал так: «Нам предстоит эпоха коротких, сильных слов, подобных редким крикам летящих на юг журавлей». Читаешь Пришвина, и не сомневаешься в его праве на категорическую, требовательную интонацию: «Так говорит Пришвин». Детей эта строгость может вначале испугать, но потом они заметят скрытое в этой интонации дружелюбие. Разве не строгая интонация у Маяковского?

Избранный Пришвиным путь к детским интересам — верный, проверенный путь. Недавно в Архангельске вышел сборник детского творчества «Детвора Заполярья». Там немало помещено рассказов и набросков о зверях и охотниках. Когда мы читаем у Вани Вокуева: «Чтобы теленок не погиб от голода, мы поднимали его к важенке (оленухе-матери) и насильно заставляли ее покормить. Ну, думали мы, может быть, сейчас она вспомнит, что она мать». «Хорошая мать с любовью оближет теленка, заставит поесть молока. Да и потом все время смотрит и как будто спрашивает — как ты себя чувствуешь?».

Когда мы это читаем, вспоминаем Пришвина, язык которого можно было бы назвать детским, если бы он не был просто художественным. У заполярных ребятишек есть хорошее чутье к языку, к «запаху природы» и — никакого усилия к «картинности»; такой разговор, как будто важенки — они сами. Самое необыкновенное передается ими в интонации обыкновенности, которая тем не менее удивляет, трогает. Это — как если нападешь на грибное место или зацепишь рыбу на крючок, до чего обычно, а вот всякий раз необыкновенно и ново. Каждую весну земля обнажается из-под снега, но Петя кричит: «Земля, земля!».

Пришвин не потакает любому детскому интересу, требует к себе внимания и вкуса — вот о чем надо говорить. Известно, что художественный вкус воспи-

тывается, и на это требуется время. Стало трюизмом говорить, что для восприятия серьезной живописи и музыки требуется культура, но почему-то, когда говорят о восприятии литературы, об этом умалчивают. При неодинаковой врожденной одаренности к восприятию и оценке художественных явлений на долю воспитания остается выработка вкуса на лучших образцах литературы. Пришвин такой именно писатель — с запросом не на минутное впечатление. Пришвин дает направление детскому влечению к изобретательству, требуя от своих читателей встречного внимания.

Следует также сказать, что мало кто у нас воспитывает ребят на любви к обыкновенной русской природе. В детской художественной литературе, не в пример грандиозной работе, проводимой советскими учеными, русская природа в некотором роде еще полуизвестная область, не многим более известная, чем, скажем, экваториальная Африка, пампасы, путь Магеллана. Из своего детства я помню книжки натуралистов-рассказчиков — Богданова, Чглока. И как же они мне нравились! Как же могут не увлечь наших ребят рассказы Пришвина, более яркие, художественные.

«Может быть, для наших дней Пришвин недостаточно широко и полно изобразил познанное им» (Горький). По охвату и объему раскрытый Пришвиным мир природы, действительно, далек от полноты. Писатель знает, понимает, чувствует значительно больше. Это относится и к детским рассказам. Но то, что он успел рассказать детям наших дней, бесспорно ценно по своему содержанию и форме.

Он рассказал, что каждый зверек в мире имеет свою статью, что серыми все кошки кажутся только нелюбопытному человеку. Птицелову Петру Петровичу, оторвавшему всем щеглам хвосты за то, что они не поют, он выговаривает:

«Ну, брат, не понимаю я тебя... Я о каждой птице отдельно думаю». Наблюдай, жди, подмечай, и ты дождешься прекрасного момента, когда непоющая птица запоет, да как запоет! «Дух у меня захватило, стою, как истукан, он и турлуканит, и трещит, и циперекает, и как турлукана пустит! Тут у меня коленки затряслись...». Такого счастья может дождаться каждый человек, тогда он и пропоет свой гимн природе. Но даром такое счастье не дается.

# Об азербайджанской прозе

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

Когда говорят об азербайджанской литературе, нередко приходится слышать об отставании ее прозы от поэзии.

Что означает это «отставание», и если оно есть, то откуда оно? Решить этот вопрос или хотя бы только поставить его и подойти к нему — одна из важнейших сейчас задач не только для азербайджанских писателей, но и для литературы всех наших восточных республик, поскольку утверждение о слабости прозы сравнительно с поэзией одинаково применяют и к ней. Вот почему, заранее прося извинения в недостаточности материала и возможной неточности выводов, я решаюсь поставить этот вопрос в нашей печати. Судить могу лишь на основании немногих переведенных книг. Но надо сказать, что избранные вещи трех азербайджанских классиков — Мирзы Фатали Ахундова (1812—1878), Джалила Мамед-Кули-Заде (1869—1932) и Абдурагима Ахвердова (1869—1933) — уже переведены на русский язык и опубликованы бакинским издательством «Азернешр», и это во многом облегчает дело.

Пусть читатель прежде всего обратит внимание на даты жизни упомянутых классиков: расцвет Ахундова захватывает середину XIX века, Ахвердов и Мамед-Кули-Заде литературно определились во вторую половину того же века. Иначе сказать, классицизм азербайджанской прозы совпадает по времени с классицизмом русской. Но на самом де-

ле сравнивать историю азербайджанской прозы с историей русской никак нельзя, потому что у той и у другой совершенно разные наследства.

Мы датируем нашу современную литературу с явления Пушкина, создавшего теперешний русский язык и заложившего современные основы нашей поэзии и прозы. К своему наследству Пушкин стал в отношении собирательное, стянув к себе и выразив, как в главном фокусе, и то, что подготовлялось до него книжным периодом русской литературы, и то, что копилось устной народной словесностью. Можно поэтому сказать, что труднейший вид искусства — проза — возник у нас почти одновременно с поэзией. Но совсем по-другому обстоит дело в Азербайджане. Его девятнадцатый век получил в наследство полтысячелетия азербайджанской поэзии, получил язык с многовековыми инерциями ритмов, с многовековым поэтическим словарем, где тропы, метафоры, эпитеты, образы до такой степени уже вошли в самую природу речи, что стали как бы неотделимыми от разговорной ее формы.

На азербайджанском языке говорить «непоэтично», выразиться необразно почти невозможно. Далее: если русский метр пришлось создавать и устанавливать в новое время, если в русской поэзии выбор между силлабизмом и тонизмом мог обсуждаться и решаться теоретически, то азербайджанцы получили в готовое наследство и ритмы, и метры,

освященные древнейшей культурой и еще настолько живые, что в них продолжают и будут продолжать слагать стихи. Поэтому азербайджанской прозе пришлось с самого начала выдерживать невероятное сопротивление самого материала своего производства, то-есть языка. В этой борьбе с языком, по инерции складывающимся в поэтическую, ритмическую, рифмованную форму, языком, как бы уже заранее «расфасованным» для поэзии, и была основная трудность азербайджанской прозы (как, вероятно, и прозы других наших восточных республик), трудность, меняющая всякую «хронологию», потому что при сравнении с ее многовековым поэтическим наследством мы не можем не считать азербайджанскую прозу более ранней, чем русская. А раз так, мы имеем дело вовсе не со слабостью и отставанием этой прозы, а с таким периодом ее развития, который соответствует по времени, — да и то не без оговорок — начальному периоду европейской прозы, например: итальянской новеллистике эпохи Возрождения, английским рассказам Чосера. При хронологическом сопоставлении не с XIX, а с более ранними веками мы видим, что азербайджанская проза не только не слаба, но чрезвычайно сильна. В борьбе с инерцией языка, в поисках прозаического построения фразы азербайджанские классики сумели — почти сразу — достичь современной легкости и простоты синтаксиса и в то же время уберечь и перенести в прозу все то ценное и конкретное из поэтических оборотов речи, что может быть употреблено и как средство характеристики, и как ключ к эмоциональному, и как шифр (понятный и привычный!) для обозначения психологических состояний.

Этим самым, то-есть умением поставить на службу современной прозы многовековые поэтические комплексы речи, создававшиеся для стихотворных форм, азербайджанские прозаики сразу избавились от очень многих традиций прозы, подчас «заедающих» своим листажом некоторые наши книги, — например, от бесконечных анализов душевных движений героев там, где

это вовсе не требуется, анализом подражательных и ослабляющих (а не укрепляющих) типовые образы книги; от чересчур длинных описаний природы, быта, деталей, словом, от всех тех длинот, которые в натуралистических романах отдаляют читателя от природы, мельчат эту натуру и делают ее контуры расплывчатыми.

Возьмем классическое наследство такого большого писателя, как Ахундов, этого Мольера Востока. Несмотря на обилие жанров (пьесы, повести, дидактические, философские этюды, стихи); несмотря на большой объем сказанного, широчайший охват тем, целый мир мыслей, вызванных к жизни, — с точки зрения листажа, то-есть печатных страниц, — это наследство не велико и укладывается в два тома. Про Мамед-Кули-Заде можно было бы сказать, что десять его коротеньких новелл стоят десяти томов какого-нибудь западного Боборыкина и превышают их по своей содержательности куда больше, чем в десять раз. Почему? Потому, что вся область характеристики, психологизирования, описательства, детализации, занимающая у европейских натуралистов-бытописателей тысячи лишних страниц, у Мамед-Кули-Заде укладывается в строгую линию чисто сюжетного, очищенного от всяких лесов рисунок. Но лаконизм этого рисунка не обедняет прозы, не лишает «инженерию человеческих душ» ее главной стихии — психологии. Наоборот, он дает всю полноту характеров, все перипетии душевных движений, но дает так, как, скажем, египтяне давали портрет: двумя, тремя основными линиями и точками, до последнего предела сжато и в то же время незабываемо-выразительно. Чтобы читатель сам мог судить об этой скупости и выразительности, я разберу тут один из шедевров азербайджанской новеллистики, рассказ Кули-Заде «Почтовый ящик». Но сперва несколько слов о самом писателе.

★

Классиков азербайджанской прозы, и в их числе Джалила Мамед-Кули-Заде, роднит с величайшими русскими пи-

сателями их огромная общественная роль борцов за свой народ, их участие пером как оружием в историческом процессе, их функция передовых, революционных строителей культуры. За что бы ни взялись мы в современном советском быту Азербайджана, какие бы передовые его элементы ни вспомнили, они восходят своими первыми истоками — хотя бы в форме неясной мечты — к этим большим народным писателям.

Поэтому, когда критики пытаются сейчас разобраться в творческом наследстве этих писателей, они говорят, обычно, о том, как глубоко и правдиво нарисовали эти писатели многообразный типаж своего времени, как трогательно рассказали про тяжелую долю крестьянина, как революционно раскрыли современные им общественные язвы. Создается впечатление, что в вещах этих писателей должна присутствовать непреходящая тенденция в том виде, в каком мы обычно привыкли ее видеть, то-есть в словах и репликах от автора, в соответствующем диалоге, в описательстве, наконец в подводящей итоги оценке, которою заканчивает сам автор создаваемую им картину. Особенно ждешь такого дидактизма от Мамед-Кули-Заде, почти всю свою жизнь работавшего сперва для газеты, а потом для боевого юмористического еженедельника «Молла Насреддин».

Но вот перед нами его рассказ «Почтовый ящик». Написал его Мамед-Кули-Заде еще в начале своей литературной работы, лет тридцати четырех. Прочитав этот рассказ, мы видим, что автор не сделал в нем буквально ни одной ремарки, не употребил ни единого слова не только для того, чтобы усилить тенденцию, но хотя бы для того, чтоб как-нибудь дать оценочную характеристику действующих лиц. Ни намек ни на мораль, ни на оценку, ни единого слова в осуждение или в одобрение. Весь мировоззрительный, тенденциозный, дидактический багаж рассказа целиком превращен в сюжет и в действие персонажей, описанные самыми скупыми и даже как будто бесстрастными словами. Но вряд ли можно назвать во всей ми-

ровой литературе много новелл, которые могли бы стоять в одном ряду с этой — по ее глубокой художественной силе и социальной действенности.

Вот содержание рассказа: к хану, в город, приехал из его поместья крестьянин по имени Новрузали и привез, как всегда привозил, «пешкеш», — не налог или обязательное обложение, а именно подарок от плодов своих рук. Он вводит ослика к нему во двор и уже хочет его разгрузить, как вдруг хан (слуга которого занят) вздумал дать Новрузали поручение: сбежать к почтовому ящику и опустить письмо. Крестьянину невдомек, что за письмо и что за ящик. Хан подробно объясняет и наказывает не потерять. Крестьянин бежит и пропадает. Хан ждет час, другой, третий. Наконец его вызывают в полицейское управление, чтоб он «поручился» за арестованного Новрузали. Оказывается, крестьянин положил письмо в ящик, но в это время пришел почтальон для выемки писем. Новрузали попытался его усосветить: «Ты куда, голубчик, тащишь письма? Люди оставили их здесь не для того, чтоб ты уносил...». Но когда почтальон не послушал, «от гнева потемнело в глазах» у крестьянина. Произошла драка, потом Новрузали избили и забрали.

Как видит читатель, сюжет рассказа юмористический и как бы рассчитан на смех читателя. Но глубина содержания вызывает не рефлекс смеха, как это следовало бы ожидать по ходу действия, а более глубокую реакцию — возмущение, сострадание, обобщение (как иногда в рассказах нашего Зошенко). Дело в том, что крестьянин приехал со своей простой задачей: ему надо разгрузить осла и накормить его, надо внести в дом яйца и муку, чтоб их не затоптали во дворе, надо развязать и накормить привезенных кур. А хану в это время не терпится поскорее отправить письмо. Возникают два параллельных психологических состояния, из которых одно — крестьянина — чрезвычайно типично именно для крестьянской психологии, привыкшей в работе всегда считаться с объектом (с природой, с погодой, с непосредственными требованиями рабочего процесса, с его логикой), а другое — ханское —

очень типично именно для господской психологии, считающейся прежде всего с субъектом, — с собственными желаниями, капризами, властолюбием и т. д. Но автор не пускается в описание и объяснение этих двух взаимопротиворечивых и удивительно характерных состояний, а дает их в действии и в диалоге. Когда хан выходит с поручением к Новрузали, тот, слушая порученье, из всех сил пытается сделать свое дело. Между ними происходит такой разговор:

«—...позволь только повесить на голову ослу мешок с овсом. Ведь какой путь прошел он, устал, проголодался!

— После, после, а то опоздаешь. Успеешь еще покормить осла.

— Тогда позволь хоть привязать его за ногу, а то он обгрызет кору на деревьях.

— Нет, нет, после. Сейчас же беги!

Новрузали бережно положил письмо за пазуху.

— Хан, — начал он, — куры связаны. Позволь развязать их и покормить. Корм я прихватил с собой.

И он полез в карман, но хан остановил его:

— Брось, брось все это, скорей отнеси письмо...

Новрузали взял палку... но вдруг, что-то вспомнив, остановился:

— Ой, хан, милый! Там в платке яйца, следи за ослом, чтоб не лег на них и не раздавил.

Хан начал терять терпение:

— Будет тебе болтать! Беги, не то опоздаешь!».

История с письмом отнимает у крестьянина четыре с лишним часа. Когда Новрузали вернулся, он «первым делом нацепил на голову осла мешок с саманом», — и нам ясно, что эти четыре с лишним часа в ханском дворе стоит некормленный крестьянский ослик, с неотнесенными в дом мешками муки. «Пешкеш» крестьянина, собранный по яичку, аккуратное добро, аккуратный режим его доставки, — пусть очень примитивная, но своя, усвоенная из поколения в поколение культура и взаимоотношений с хозяином, и несложных рабочих дейст-

вий, — все это тут попросту невидимым, унижено, прервано на середине. Победив, помещик заставляет Новрузали подробно, под ханский веселый хохот, рассказать, что с ним случилось, — куда, наконец, Новрузали, «голодный, не кинул пустые мешки на голодного осла и, погоняя его кизиловой палкой, не поплелся обратно домой».

Закрыв глаза, мы можем себе представить и характеристику людей рассказа, и его глубокую тему, и его эмоцию, — все это не в словах и фразах, не в описаниях, а исключительно в прямых действиях, как характеризует нам иногда людей и чувства экран.

Этот скупой лаконизм встречает нас и в рассказах Ахвердова, где, правда, больше авторских «лирических отступлений». Есть в русской литературе гениальное произведение «Нравы Растеряевой улицы» Глеба Успенского. Там выведена галерея людей, теряющих человеческий облик под влиянием страшного общественного строя. Они заняты самострелением, дикими «штуками», продаваемыми друг над другом. У Ахвердова есть короткие рассказы («На горе высокой», «Очки»), где по тому же принципу лаконизма, указанному мною выше, без вмешательства авторских рассуждений, показано, как в диком провинциальном захолустье люди потешаются бессмысленной издевкой друг над другом, забавой над сумасшедшими, травлей и приставанием, длящимися годы и десятки лет. И эти маленькие скупые картины действуют с силой, невольно заставляющей вспомнить Глеба Успенского.

Вот содержание рассказа «Очки». В городе живут два приятеля — веселый адвокат Махмуд-бек и его друг Ахмед-бек.

«Однажды», — рассказывает Ахвердов, — этот Ахмед-бек сидел у адвоката «и, надев очки хозяина, читал газеты. Почитав немного, он попрощался и ушел».

Вот и вся завязка рассказа. Махмуд-бек, не найдя сразу своих очков, решил, что приятель захватил их нечаянно с собой, и послал за ними слугу. Но, покуда слуга ходил, он нашел очки под га-

зетами. И тут ему «взбрело в голову подшутить над приятелем». Одного за другим, он посылает всех встречающих к Ахмед-беку все с тем же вопросом об очках. Тот понимает, что это шутка и сперва тоже «отшучивается». Он даже подтрунивает над адвокатом, что вот — уезжает из города, и «кончилась твоя забава...».

Но Махмуд-бек тотчас пишет письма всем знакомым «по пути следования приятеля» и рассылает их с извозчиками. На первой же остановке к Ахмед-беку подходит бакалейщик Бахшали:

«— Саламалейкум, Ахмед-бек!

— Алейкассалам, Бахшали! Как поживаешь?

— Слава аллаху, вашими молитвами. Перед отъездом вы не видели Махмуд-бека?

— Как же, видел накануне. А что?

— Да вот, пишет мне, что вы увезли его очки. Просит взять их у вас и перелать...».

И это повторяется, в разных вариациях, на каждой остановке. Очки становятся кошмаром Ахмед-бека. Они «обходят весь город». Когда адвокат, сжалившись, прекращает шутку, она уже стала всеобщей. Очки приросли к имени Ахмед-бека, к его судьбе, к традициям городишка, — и затравленный ими человек меняет свою жизнь, свой характер, теряет общительность, сходит с ума и умирает. Мы видим, как разматывается произвольная выдумка праздного и незлого человека в злую и нелепую общественную силу. И невольно, заглянув в этот художественно обнаженный механизм связи человека со своим обществом, думаешь о происхождении того, что такое «случай», о произволе личности в старом обществе, о чудовищной силе и нелепой трате человеческой энергии. И все это дано у Ахвердова на скупом, но удивительно ярком фоне места и времени, конкретизованных во всем, — в извозчиках, базарах, караван-сараях, городской улице, религиозных обрядах, бытовых мелочах.

★

Новая советская литература Азербайджана знакома нам, к сожалению, мень-

ше, чем азербайджанская классика. До самого последнего времени ее почти не переводили. Известны в переводах лишь несколько рассказов и один-два романа. Много за последнее время говорилось о молодом прозаике Мир Джалале, чей роман «Манифест молодого человека» мы скоро увидим в печати; о талантливом новеллисте Энвере, учащемся у западных мастеров (Мопассан и Флобер), и о других. Выросла в Азербайджане своя критика; особенно надо отметить смелое перо т. Джафарова, только-что написавшего книгу о драматургии. Но мы знаем этот новый для нас мир пока еще лишь очень смутно и откладываяем свой разговор о нем до более близкого знакомства. А сейчас лишь некоторые общие выводы.

Азербайджанская проза только начинает свой путь развития, но уже во многом (в острой концепции сюжета, в лаконизме, в силе положений, в умении характеризовать действием) она может и должна быть предметом большого, пристального внимания и русских прозаиков. Если мы можем многое дать ей, то, несомненно, мы кое-чему можем и поучиться у нее. Было бы важно для советской литературы Востока сохранить этот действенный лаконизм, пришедший в прозу из многовековой поэтической культуры языка. Надо сказать, что в семье восточных языков азербайджанский представляет собой один из самых потенциальных и имеющих широкие перспективы распространения. Он чудесно-ясен, легок и краток, он вобрал в себя всю восточную культуру речи, так что научиться ему не очень трудно, а, овладев им, можно быть понятым почти на всем Востоке и можно понять почти все восточные языки.

Поэтому развитие азербайджанской прозы, не только художественной, но и научной, и критико-популяризаторской (например, в нужных книгах Рафили), — дело огромной важности, а формы и характер этого развития следовало бы горячо и неоднократно обсуждать в нашей периодике. В частности, укажем на то, что именно для азербайджанской прозы (как и для других во-



сточных наших литератур) принцип полистной единицы меры (печатный лист — трудовая единица) глубоко неверен и несправедлив. Он может повести молодых советских писателей Азербайджана не к разработке драгоценного лаконизма, а к старанию разбавить речь многословием, к утере образности и выразительности речи, к замене характеристики действием публицистическими описаниями, что частично уже случилось, например, с интересным романом Ордубады «Мир меняется». Вопрос о пересмотре полистной единицы меры для прозы наших восточных республик — это не пустой вопрос, и мы бы хотели, чтобы пленум Союза советских писателей обсудил его в числе мероприятий по стимулированию и руководству развитием азербайджанской прозы.

Но главное, о чем сейчас необходимо задуматься руководству нашей писательской организации,—это вопрос о качестве прозаических переводов. До сих пор азербайджанскую прозу переводили и переводят сами азербайджанские товарищи, и в идеале такое соединение в

одном лице знания двух языков (азербайджанского и русского), конечно, наилучшее условие для верности перевода. Но фактически русским языком эти товарищи владеют все же недостаточно, и отсюда целый ряд досадных погрешностей в их статьях и переводах (например, содержательная и интересная статья тов. Шарифа на русском языке о Мамед-Кули-Заде бесспорно выиграла бы, если б были исправлены в ней несколько стилистически неудачных мест). Чем можно было бы улучшить положение с переводами? В-первых, серьезным вниманием к национальным кадрам переводчиков (почаще вызывать их в Москву, на конференции, дать им возможность учебы в Москве и т. д.), а, во-вторых, попыткой испробовать в деле перевода принцип содружества азербайджанского писателя или переводчика с хорошим русским писателем, чтоб перевод делался ими совместно. Это лучше, чем работа над голым подстрочником, и это могло бы еще крепче и теснее сблизить две братских литературы.

## Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

ВАС. КУДАШЕВ. «ПОСЛЕДНИЕ МУЖИКИ»  
Гослитиздат, 1939 г. Стр. 550. Цена 8 руб. 75 к.

★

В первое десятилетие советской литературы появилось немало произведений о деревне. Однако познавательное и воспитательное значение этих произведений было крайне невелико и часто спорно. В деревенских повестях и рассказах мы видели копии бунинских и чеховских мужиков: стяжателей, эгоистов, тупиц, сквернословов, «злоумышленников». А показывать нужно было советского крестьянина, строителя социализма, очищающего свою душу от язв и болячек капитализма.

Образы новых людей социалистической деревни по-настоящему и впервые даны в «Брусках» Ф. Панферова, в «Поднятой целине» М. Шолохова, «Станице» и в «Разбеге» В. Ставского, «Новой земле» Ф. Гладкова, «Лаптях» П. Замойского и в ряде других произведений 1929 — 1935 гг.

В книгах перечисленных авторов на первый план выступил положительный герой деревни, показаны новые чувства советского крестьянина, побывавшего в огне двух войн и трех революций. Со страниц этих книг прозвучала объективная правда о деревне, о мужике. Прошлое и настоящее крестьянство было понято и раскрыто с точки зрения передовых идей нашей эпохи, — вот почему книги о годе великого перелома в деревне являются художественным доказательством исторической правоты большевизма, иллюстрируют собою победу линии партии в деревне. В этих произведениях нет ни слащавости, ни идеализации, ни поклепов на мужика, — есть правдивое повествование о том, как революция ликвидировала кулачество, разбила и раскорчевала зоологические инстинкты мелкого собственника, пробудила в нем сознание собственного достоинства, и как произошел в деревне переворот, равный по своему значению великому Октябрю.

Книги советских писателей, художественно раскрывающие правду об этом перевороте, войдут в литературу, как новое слово советского искусства. Когда мы говорим о достоинствах этих произведений, речь идет прежде всего о оодержании, об идейной целеустремленности, о тенденциях литературы, ставшей орудием в

борьбе за переделку мира, о новаторстве мысли, о новой философской окраске произведений.

Колхозная тема, как и тема гражданской войны, еще будет разрабатываться не одним поколением мастеров. Объект художника — человек, т.-е. становление человеческих характеров, новых производственных и бытовых отношений, и, если художник не лишен чувства нового, если он умеет видеть жизнь своими глазами, он не будет никого перепевать. Роман В. Кудашева «Последние мужики» подтверждает это положение. В книге описаны события, уже известные нам по «Брускам» и «Поднятой целине», и, несмотря на это, роман читается с неослабевающим интересом.

В. Кудашев по-новому осветил канун коллективизации в деревне. В годы нэпа крепкий мужичок Сафон Семеныч Полозов становится опытным-земледельцем и даже селькором, восхваляя под псевдонимом «Сокол» свои собственные достижения.

На вопрос учительницы Зинаиды, кто автор восторженной заметки о чудо-картофеле Полозова, Сафон Семеныч самодовольно ухмыляется:

— Какой-нибудь зоркий селькоровский глаз.

Середняк Артамон Сомов тоскует о «будущей светлой и легкой жизни». Он еще не знает, куда устремиться, что делать, но мучительно ищет новых путей для подъема пошатнувшегося за годы войны хозяйства. «Вы затейте какое-нибудь дело, — говорит он деревенским коммунистам, — чтоб потом вместе можно было горевать и радоваться». Эти же мысли беспокоят и председателя волисполкома Нефед Крутойрова.

«Меня гнетет зависть, — говорит он. — Почему не мы, коммунисты, ведем передовое хозяйство на селе». Нефед Крутойров решает отказаться от советской работы, осесть на свое хозяйство, сделать его образцовым, чтобы решения и указания партии об изобилии вещей и продуктов при социализме проводить в личном хозяйстве. Деревенский «активист» Копчин считает, что самое верное средство накопления

капиталов в сельском хозяйстве — отруба. Кулак Илья Семеныч Дубасов видит в нэпе возврат к старой жизни и энергично претворяет на деле бухаринский лозунг «обогащайтесь».

Таков социальный фон, на котором завязываются сюжетные линии романа. Как в дальнейшем складывается соотношение сил в описываемом районе? Как определяются судьбы героев?

Нефед Крутойоров на личном опыте убедился в том, что развитие образцового единоличного хозяйства может завести его в тупик. Выход — коллективное хозяйство, оснащенное высокой техникой. Нефед возглавляет движение за коллективизацию. Здесь скрещиваются пути Нефед, деревенской бедноты и середнячества. В своем произведении В. Кудашев показал, что создание колхозов отвечало сокровенным помыслам народа, было продиктовано самой жизнью. В этом сказывается сила мудрого предвидения партийного руководства.

Галерея врагов народа в романе обширна: Илья Семеныч Дубасов, Сафон Мироныч Полозов, его сын Илья, Филимон Гузнев, учитель-кулак Касьян Титыч, пьяница, морально прогнивший человек Артем Чувиль, Копчин и др. Это не плакатные портреты врагов. В. Кудашев знает силу и целостность, изворотливость и упорство Дубасовых. В дни раскулачивания Илья Дубасов, когда у него «реквизируют» жеребца, отобрали лавку и обложили индивидуальным налогом, с ехидством спрашивает:

«— Так кто же я теперь?»

— Все тот же вроде Илья Семеныч, — отвечает Нефед Крутойоров.

— Вроде Володи, да не то. Плохо еще одно — я имею дом, жену и коня Скорохода. А то записался бы я завтра в колхоз, в царство жаждущих и алчущих, там все обещают... Вот мой ранг — революция произвела меня в чин пролетария. Верно, Нефед Иваныч? А вы задаете вопрос, по какой статье со мной разговаривать. Я гол, как сокол... Нефед Иваныч, утоли мою пытливость к будущему: есть такая организация, где не работают, а едят?

— Есть, — сурово ответил Нефед. — Ты скоро будешь там...».

Дубасов становится одним из вдохновителей кулацкого восстания. Арестованный после разгрома банды, он кончает самоубийством, бросившись в колодез.

Трагичен конец и кулака Сафона Мироныча Полозова. Он хотел шагать по земле твердо и властно, как Роберт Джексон, о котором как-то давно читал в книжке. И ему часто казалось, что он во многом походит на богатого американского фермера Джексона, — только вот не дают ему развернуться...

Не сбылись мечты кулака Полозова о фермерстве, о неграх, подающих ему трубку. Общее собрание колхоза «Светлая жизнь» постановило ходатайствовать перед райисполкомом об отобрании у него пасеки, маслобойки, сепаратора, жеребца и быка. Сафон Мироныч запрягает жеребца, погружает в фургон все ценные вещи и отправляет сына в город к верно-

му человеку, а сам поджигает омшаник с ульями и, охваченный безумием, убегает с ружьем в лес.

Интересен образ Игната Крутойорова. Игнат — середняк. Но в нем чрезвычайно сильны инстинкты собственника. Жадный и хитрый приобретает, Игнат мог стать при благоприятных условиях кулаком. Вначале противник коллективизации, он покусается на убийство своего брата коммуниста Нефед и ловко замечает следы. Колхозный строй победил. Игнат вступает в колхоз и погибает на посту, охраняя конюшню, от руки бандитов: Артема Чувиля и Илья Полозова, пришедших воровать коней. Автору удалось реалистически изобразить сложную двойственность психики Игната, его колебания, противоречия его жизни.

К авторским достижениям надо отнести и образ Льва Хуторского. Интеллигент, советский работник, враг с партбилетом в кармане, мелкая троцкистская гадина, трепач и загибщик, он выписан В. Кудашевым в сатирических тонах. В рядах вражеской шайки, пробравшейся в районные и окружные партийно-советские организации, Лев Хуторской играет видную роль. Он пишет трескучие, демагогические статьи в газетах, больше всех шумит о бдительности, о революционной непримиримости и... вредительствует.

Менее удачны образы других врагов. Печать схематизма лежит на агрономе Куркове, землемере Бобине, троцкистском выкормке профессоре Лидове и др. Их психологический рисунок только намечен.

Но, в общем, разоблачение вражеской деятельности проведено в романе художественно верно. Кудашев показал ассортимент оружия и приемов врага, перешедшего к методам тихой сапы и двурушничества. По роману «Последние мужики» можно проследить, как расставляли свои силы троцкисты, блокировавшиеся с кулаками, как они использовали прессу, прокуратуру, командные посты в советско-партийных организациях для того, чтобы восстановить середняка против советской власти. Саботаж, провокация, клевета, демагогия, террористические акты — все пукалось в ход этими выродками, стремившимися достигнуть цели любыми средствами.

В показе врагов автор вскрывает обреченность, бесплодность их судорожных потуг, направленных к тому, чтобы повернуть колесо истории вспять. Вредительству и кулацкому саботажу противопоставлена созидательная творческая работа большевиков, коллективная воля всего народа, твердо определившего свой путь к социализму. Особенно впечатляюще в этом плане сцена ликвидации кулацкого восстания. Народ грудью встал на защиту колхозного строя, и дубасовская банда была уничтожена без помощи из областного центра.

В ряду положительных героев романа центральное место занимают Нефед Крутойоров и учительница Зинаида Гудаева. Нефед, участник гражданской войны, сильный, волевой человек, настоящий большевик, растущий на

практической работе. Он принадлежит к категории новой интеллигенции, воспитанной партией Ленина — Сталина. Автор любит этого героя и рисует его моральный облик уверенными мазками. Зинаида олицетворяет собою ту часть интеллигенции, которая после Октября безоговорочно пошла с большевиками и честно работает на благо народа. Автор меньше всего рассказывает о педагогической деятельности Зинаиды, о ее отношениях с детьми. Зинаида показана, как общественница и коммунистка. Но образ Зинаиды, в отличие от других, статичен. Зинаида Гудаева вошла в роман вполне сложившимся человеком и до последней страницы книги, на протяжении нескольких лет, остается неизменной. Очень поверхностно затронута и ее личная жизнь. Поэтому Зинаида Гудаева кажется суховатой, рационалистической фигурой, все движения которой строго регламентированы авторской волей.

В этом смысле Анна, жена Нефедя, более органический и художественно завершенный тип, — самый живой и полнокровный человек в романе.

В страницах романа, посвященных Анне, есть страстность, взволнованность художника, приятно радующая и свидетельствующая о больших творческих возможностях В. Кудашева.

Немало страниц в романе отведено изображению молодежи. Петр Шмыгин, Вера Чижевская, Грунин, Григорий Дубасов и др. как бы олицетворяют собою «смену» различных социальных прослоек деревни. У каждого из них своя судьба, свои пути. Несмотря на некоторую незавершенность молодежных образов, роман Кудашева дает представление об активной роли молодежи в строительстве колхозной деревни так же, как и о росте социалистического самосознания крестьянства в целом.

К сожалению, очень поверхностно обрисованы В. Кудашевым середняки и колхозные активисты: Сидор Кутяпин, Влас Чигов, Степан Рожков, Петр Шмагин и др. Они мелькают по страницам романа и не запоминаются. В образах этих людей мало типических черт. Перед нами правдивые фотографии, а не психологические портреты, не характеры. Из середняков наиболее удалась автору двое: Артамон Сомов и председатель колхоза Андрей Мятлов, да еще, пожалуй, жена Мятлова — Дарья.

Мятлов — массовик, агитатор и организатор. Он отлично понимает все трудности, лежащие на пути к новой жизни.

«— Люди идут к нам, — говорит Зинаида, — а настроение у них очень тяжелое. В чем тут дело? Неужели кулаки всех так настроили?»

— Факт, — отвечает Мятлов. — Да и других причин много».

Мятлов лучше, чем Зинаида, знает мужицкую душу. «Мы все несчастны от собственности, — говорит он, — только один меньше, другой больше, а есть и совсем гибнут. Крестьянин веками воспитывался на личной, алчной собственности и жил в одиночку. И теперь, когда мы зовем его в колхоз, ему и боязно, и страшно рвать пуповину...».

Особняком стоит в романе учитель-садовод

Рюмин, чудаковатый мечтатель, энтузиаст обновления земли. В конце романа происходит знаменательная встреча Нефедя Крутойрова и Рюмина с И. В. Мичуриним. Они ведут разговор о будущем. Мичурин с жаром говорит:

«— Сейчас в газетах много пишут о машинах и тракторах. Чтобы повысить урожайность, нужно больше думать об изменении сортов растений, о выведении новых семян. Запомните — без этого урожайности не поднять. Досадно, что я мало успел поработать с хлебными злаками. Это чорт-те что, — захлебываясь от ярости, прогормел Мичурин. — Пшеница и рожь, как были при Адаме и Еве, такими и остались. Слышишь, должны быть зерна пшеницы и ржи, как бобы! Дайте время, пальмы будут цвести и под нашим небом».

И «Нефеду верилось, что холмы и равнины в скором будущем по воле человека покроются небывало тучными хлебами и благоухающими садами, полными ароматных фруктов, сочных ягод и полыхающих всеми красками цветов...».

Беседа с Мичуриним и размышления Нефедя, вызванные этой беседой, имеют большое значение для идейной направленности романа. Здесь дана перспектива. Писатель показывает, куда устремлены помыслы передовых людей советской деревни. И хочется вновь встретиться с героями В. Кудашева, которые будут брать новый трудный перевал, покрывать колхозную землю тучными хлебами и цветущими садами.

Материал романа недостаточно крепко связан сюжетными линиями. В основе фабулы не судьбы людей, а хроника событий, и это привело к композиционной рыхлости, к отсутствию драматического напряжения. Показ чередуется с публицистическим рассказом.

Для расшифровки некоторых событий, оставшихся за пределами авторского анализа, введен дневник Касьяна Титыча. Дневник выпадает из композиции произведения и слишком растянут.

В. Кудашев показал себя мастером пейзажных зарисовок. Природу он видит и чувствует, как художник. Язык романа отличается простотой, которая приходит после упорной работы над словом. И тем более досадно, что в книге кое-где встречаются недоработанные, сырые страницы. Наряду с прозрачными и свежими строчками остались газетные штампы, банальные обороты, иногда просто несуразности:

«Игнат сидел на вершине воза». Можно ли уподоблять воз дереву? «Позади цокают по грязи чьи-то шаги». Цокать могут копыта лошади, да и то не по грязи, а по мерзлой земле или по мостовой.

Злоупотребляет В. Кудашев и штампованными поговорками. В диалогах то-и-дело встречаются: «Семь раз отмерь, да один раз отрежь», «Мал золотник, да дорог; велика Федора, да дура», «Не так страшен чорт, как его малюют» и т. д.

Поговорки и афоризмы украшают речь при одном условии: если они свежи. У М. Горького в романах и рассказах рассыпано огромное количество афоризмов. Но Горький не

черпал их в словаре В. Даля, а создавал сам, находил в фольклоре. Кудашев работает не горьковским методом.

Часть вины за стилистические ляпсусы должен принять на себя и редактор тов. И. Трусов, который не помог автору очистить роман от словесного мусора.

Но мелочи не заслоняют основного. Кудашев — талантливый, растущий писатель, знаю-

щий советскую деревню. Он дал правдивое изображение классовой борьбы в годы исторического перелома и показал торжество социалистического начала в сельском хозяйстве, идейно-политический и культурный рост советского человека.

«Последние мужики» — значительная и нужная книга.

И. Петров.

★

### А. ТАРАСОВ. «КРУПНЫЙ ЗВЕРЬ»

Изд-во «Советский писатель», 1939 г., стр. 286. Цена 6 руб.

★

Есть писатели-ремесленники. Они усвоили теорию и технологию литературы, прочитали тысячу романов с намерением написать тысячу первый. И пишут. Равнодушные к жизни, к судьбам человека и человечества, ремесленники, они не творят, а «высиживают» свои произведения. Они могут писать о чем угодно. Их книги, написанные грамотно и бойко, не волнуют и не радуют читателя.

Александр Тарасов принадлежит к другой категории писателей. Он художник по призванию, для которого творчество — органическая потребность, обусловленная большой любовью к жизни, полнотою чувств и впечатлений.

Книга «Крупный зверь» открывается повестью «Отец». Тип и характер чудаковатого старика, героя повести, обрисован мягкими запоминающимися штрихами. Деревня коллективизируется. Старик остается одиноличником. Его сыновья и дочь, родственники и соседи — в колхозе. Кругом кипит дружная работа, а старик пока присматривается, «с величайшим вниманием встречает каждый день жизни, но делает вид, что все для него безразлично». Он весь во власти пережитков прошлого. Слишком долго жил он в единоличном хозяйстве, корнями врос в собственнический мирок, и ему трудно переломить себя, понять превосходство новых порядков. Сорок лет, а может, и больше, был он полновластным хозяином в своем дворе. И вот, как-то незаметно, сыновья-колхозники оттесняют старика. Они любят его, не хотят с ним сориться и, однако, не уступают ему, ведут свою линию. Колхозник Ефим Каляба приходит к старику, чтобы взять кресла — приспособление на телеге для возки снопов и сена. Старик поворачивается к окну — Это тебе для чего? — спрашивает он у Ефима.

— За снопами еду. Так я беру их.

— Берешь? Хм. А кто же тебе разрешил?

— Как это кто? Ведь телега-то ваша в колхозе. — Старик сердится.

— Ну, и ладшай в колхозе, а кресла трогать не надо.

Ефим держит кресла, не зная, что с ними делать. Старший сын понимающе мигает. Кресла унесены. Старик очень обижен.

— Придется жить одному, — говорит он. — К вам не касаться.

Он отделяется от сыновей, живет одиноко. Повесть как бы не дописана. Автор не показывает вступление старика в колхоз. Но это произойдет, несомненно. Упорство старика будет сломлено не только уговорами сыновей. Колхозная действительность, изображенная автором, сама агитирует за артельный труд достаточно красноречиво.

Колхозная тема звучит и в других вещах сборника. Она представляет собою общий социальный фон, на котором разворачиваются все события, расцветает любовь, ненависть, дружба. В повестях и рассказах А. Тарасова нет острых классовых противоречий, напряженной борьбы, кулацких восстаний, саботажа. Большие эпические полотна, очевидно, ему не по плечу. Он — лирик в хорошем смысле этого слова и подходит к колхозной деревне с той стороны, которая почти совсем не освещена в советской литературе. Его герои — рядовые колхозники. Он отлично знает и любовно изображает их труд, горе и радости, показывая их незаурядные способности, крупные характеры, глубокие чувства и страсти.

Лучшая по отделке деталей вещь сборника — «Охотник Аверьян». Колхозный счетовод Аверьян, женатый человек, имеющий детей, влюблен в повараху Настасью. Настасья любит Аверьяна, и — тоже не свободна: она замужем, муж в отъезде. На первый взгляд — перед нами примелькавшаяся ситуация: любовь с препятствиями. Но это внешнее впечатление. Тема раскрыта оригинально. Духовные движения героев сложны, целомудренны, по-настоящему благородны.

А. Тарасов показывает огромные сдвиги в сознании колхозника советской деревни, и он делает это, как художник, обнажая то, что скрыто от простого глаза. Читая повесть «Охотник Аверьян», убеждаешься, что грани между городом и деревней, между рабочим классом и крестьянством, с одной стороны, между этими классами и интеллигенцией, с другой стороны, действительно, стираются в самых отдаленных уголках нашей родины. Это великодушная реальность третьей пятилетки. Расширился кругозор колхозника. Появились

новые запросы. Усложнилась психика. Пробудились новые чувства.

Энгельс неопровержимо доказал, что свобода браков при капитализме — фикция. Расцвет индивидуальной любви и полная свобода браков, по Энгельсу, наступят только после уничтожения капиталистического производства и созданных им отношений, когда устранятся все побочные экономические причины, оказывающие влияние на выбор супругов. Этот гениальный прогноз целиком оправдался в наши дни. Взаимная склонность у нас является решающим фактором в отношениях полов. Старые связи рвутся. Нравственный критерий, существовавший ранее только на бумаге, стал основным законом. Разве это мелкая тема для советского художника? Драма Анны Карениной неповторима в наши дни, как неповторима и драма Катерины Кабановой из «Грозы» Островского и Катерины Измайловой из «Леди Макбет...» Н. Лескова. Но у нас возникает много качества семейные конфликты и связанные с ними переживания человека, которые должны стать предметом искусства.

А. Тарасов в плане данной темы освещает новые конфликты и противоречия человека наших дней. «Охотник Аверьян» — свежая и поэтическая вещь, согретая авторским дыханием. Аверьян и Настасья тянутся друг к другу. На их пути к счастью много трудностей и преград, с которыми необходимо считаться: и они сдерживают нарастающее чувство. На этой канве автор вышивает тонкие психологические узоры. Тут многое приходится угадывать по намекам и жестам, едва уловимым нюансам поведения героев.

В другой повести «Крупный зверь» интересна побочная сюжетная линия: отношения молодого охотника Григория и Александры Мурышки. Чистая и светлая любовь их окрашена теми же лирическими тонами, что и в «Охотнике Аверьяне». Муж Александры Мурышки работает в районе, дома бывает редко. Александра — молодая, жизнерадостная женщина. Григорий увлекается ею. Вначале Александра просто заигрывает с ним. Григорий нравится Александре, но она понимает, что он ей не ровня по годам, и ничего из этой любви серьезного не получится. За Александрой ухаживает приезжий интеллигент Шмотяков. Григорий ревнует и даже стреляет в Шмотякова (правда, заряд не попал в цель). Потом Григорий бродит по лесу с ружьем, и охота понемногу вытесняет любовь.

— Стал думать, думать, и все прошло, — с облегчением говорит он.

— Сразу? — спрашивает Александра.

— Нет, сначала было тяжело. Как убил глухаря, так все и забыл.

— Все? — переспрашивает Александра, и в голосе ее слышится печаль. — Ну, вот и хорошо, — тихо, неуверенно добавляет она. Александра подходит к нему, берет его голову обеими руками и долго смотрит в лицо. Обнимает Григория и целует в губы.

— Доигралась... — шепчет она. — Так мне и надо. А ты не мог догадаться, что я тебя без памяти жалела.

Григорий догадался. Большая любовь женщины теперь пугает его. Он держит Александру за плечи. «Уйди, уйди» — говорит он ей, как бы обороняясь от себя.

Эту сцену наблюдает из-за кустов старик, охотник Онисим. Когда Александра уходит вдаль по тропе, Онисим растроганно произносит:

— Настоящий человек. Да, Мурышка — настоящий человек, сильный характер.

В повести «Анна из деревни Грехи» автор рассказывает о том, как колхозница Анна Флегонтова, познакомившись с Егором на подвесной дороге, где они вместе работали, вышла за него замуж. Но вот они снова на родине, в колхозе убирают хлеб в одной бригаде. Анна — передавая женщину-стахановку. За отличную работу ее посылают на съезд в Москву. Егор оказался болтуном и лентяем. И этим вызван семейный разлад. Первый конфликт возник еще на лесопункте. Егор вступил там в комсомол. На собрании он призывал всех стать «героями лесного фронта». Пытаясь выйти на первое место, Егор подговаривает знакомого десятника и записывает себе выработку пять кубометров, вместо трех. Анна разочлачает мужа. Егора за жульничество исключают из комсомола. В колхозе Анна все более разочаровывается в муже и увлекается бригадиром Никитой. Нарастание взаимных чувств и привязанностей Никиты и Анны дано в повести с большим художественным тактом.

Героини тарасовских повестей борются за настоящую любовь. Им нужен мужчина — друг, духовно и политически близкий спутник, настоящий человек. Вот почему их переживания так трогательны и впечатляющи.

«Крупный зверь» — наиболее социально весомая повесть. Автор попытался в этом произведении изобразить вредителя, пробравшегося в лесную деревню. Шмотяков поджигает лес, затем поджигает завод и убивает сторожа. Образ Шмотякова схематичен и надуман. В него не веришь. С первых страниц нетрудно догадаться, что Шмотяков — враг. Он уклоняется от вопросов, ведет себя странно с охотниками-следопытами, делает одну глупость за другой. Таких стандартных врагов в литературе мы видели достаточно. Это копия уже известного оригинала.

Что же касается положительных героев «Крупного зверя», здесь несомненна авторская удача. Образы стариков, Лавера и Онисима, выписаны с художественным вкусом, свежо и убедительно.

В нашей литературе много олеографических стариков: неисправимых консерваторов, сомневающихся или приемлющих советскую власть. Старики А. Тарасова — живые положительные люди, с сильно развитым чувством собственного достоинства.

Значительное место в книге А. Тарасова занимает крестьянский труд.

Вот колхозница Анна жнет:

«Серп она закидывала не часто, но брала решительно, по-мужски, сразу полгорсти. Завязывая, она быстро опускалась на одно колено, ударяла ладонью левой руки по косякам,

потом выбрасывала правую руку вперед, левую к себе, — неудовимое движение, и сноп готов. Этот сноп можно было узнать из десятка: ровный, чистый, с гладким жестким комлем. За ней нечего было подбирать, и каким-то чудом жатвина не была помята ее ногами, как будто полосу сняли одним взмахом».

В описании трудовых процессов Тарасову не приходится прибегать к внешним эффектам. Он спокоен, нетороплив и скуп на слова. И в этом лаконизме есть покоряющая внутренняя сила. Колхозные бригады косят траву, рубят лес, жнут рожь и овес на необозримых колхозных полях, тушат лесной пожар. Они ловки и дружны в работе. Труд стал радостью, ибо люди работают на себя, на своей земле и спокойны за будущее. Мастерски зарисован автором и пейзаж в повестях сборника.

«Дальние склоны еще охвачены широкими мягкими тенями. В пягнах солнечного света появляются фигуры женщин-сеяльщиц, несколько минут пестрят яркими платками, кофтами и снова блекнут. Всюду лежит черная оплодотворенная земля, и в бороздах мирно, поблескивая перьями, бродят грачи».

Язык Тарасова отличается точностью, лаконизмом и простотой. Тарасов избегает псевдонародных оборотов речи. Это хорошо. Культура проникает в колхозную деревню, и постепенно стираются языковые грани. Пора освободить человека земли от того косноязычия, которым его до сих пор еще награждают некоторые писатели. Но Тарасов иногда впадает в другую крайность. Его герои говорят: «Моральное самочувствие упало», «пульсы играют». «Свою косу я вчера отбил, а с этой результаты плакучие» и т. д. и т. п.

Особенно выделяется в этом смысле чудаковатый старик Манос, выступающий героем двух повестей. Язык Маноса необычайно цветист и надуман.

Собирая бригаду, Манос командует: «Смирно! Построиться в порядке видимости». Или:

«Гришка, встань так, чтобы я не видел этого изверга, а то я не могу говорить — талант теряю».

□

Мы против обнажения тенденции в романе и в рассказе. Тенденция должна пронизывать собою ткань произведения, а не выпирать наружу, как идеологический привесок.

Однако автор, борясь с тенденцией, порою не договаривает того, что следует сказать полным голосом. В рассказе «В заповеднике», например, тенденция «скрыта» так глубоко, что не всякий читатель до нее доберется. Рассказы нельзя превращать в художественную шараду. Подтекст доступен лишь узкому кругу особенно зорких и «изысканных» читателей. А Тарасов может и обязан добиваться предельной ясности содержания.

Тарасов видит вещи, людей и природу острым, пытливым глазом художника. У него есть своя тема, свое творческое лицо. Он сумел проникнуться созидательной поэзией нашей эпохи, открыл советскому читателю новую область: духовное богатство вологодской и архангельской деревень. Автор правдиво показал труд и быт суровых, кряжистых, выносливых людей Севера, хлебопашцев и охотников, упорных в работе, влюбленных в свою родину, искренних и сердечных в отношениях друг с другом, беспощадных к врагу. За последние годы мы прочли немало сероватых книг, торпливо и небрежно написанных. На фоне многих посредственных вещей «Крупный зверь» выделяется и приятно радует, как образец честной и вдумчивой писательской работы.

А. Тарасов печатается давно. Но только с выходом книги «Крупный зверь» он по-настоящему входит в литературу. Это произведение — итог десятилетней работы и обещающая заявка на будущее.

И. Арамилев.

★

## Р. ФРАЕРМАН. «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО, ИЛИ ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

Детиздат, 1939 г., стр. 159. Цена 3 руб. 75 к.

★

Обозревая журналы 1834—35 гг., Гоголь отмечал, что критика в них «обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания». Критики оценивали сочинения, исходя из личных симпатий или антипатий к авторам. «Как хвалили книгу покровительствуемого автора? — писал Гоголь. — Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Эта книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, несмысленная, гениальная, первая на Руси; продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер-Скотта, Гумбольдта, Гете, Байрона».

Эти горькие слова, к сожалению, не утратили своей остроты и по сей день.

В 1939 году появилась в печати повесть Фраермана «Дикая собака Динго». Едва только она увидела свет, как многие критики, не утруждая себя размышлениями над ней, тотчас же объявили ее «замечательной», «вдохновенной», «талантливой», одним словом, чуть ли не знаменем времени. Критик Д. Данин («Знамя» 1940 г. № 1) заявил, что Фраерман выше Диккенса и что его «Повесть о первой любви» стоит в одном ряду с произведениями Л. Н. Толстого. Три издательства одновременно издали «Дикую собаку Динго», кинооргани-

зация заказала автору сценарий, создана уже пьеса. Но так ли заслужен этот успех и не является ли весь этот «критический бум», поднятый вокруг «Повести о первой любви», тем непомерным захваливанием автора и дезориентацией его и читателя, от которых предостерегал еще Гоголь?

Рассмотрим внимательно эту совершающую «триумфальное шествие» повесть. Вначале она действительно подкупает. Нравятся мягкие и лирические тона, дух романтики, проникающий ее, привлекает к себе суровая природа Дальнего Востока, на фоне которой разворачивается действие. Вызывает интерес изобразительный в повести детский мир. Но при чтении книги одновременно с симпатиями к ней и к ее героям появляется сначала в небольшой дозе, а потом все в большей степени чувство досады, недовольства и, наконец, полного разочарования. В чем дело, почему такая реакция? И тут, отдавая себе в этом отчет, вдумываясь, вживаясь в повесть, мы видим то главное, что отталкивает от нее, — ее искусственность. В повести нет того, что составляет подлинную красоту художественного произведения, — поэзии жизни, воплощения в искусстве слова, образов и картин реальной действительности, нет глубокой передовой идеи. А ведь именно это и придает силу и неотразимость творению искусства, делает его предметом, зажигающим сердца людей, зовущим к действию, к борьбе.

Автор задался целью показать, как появляются в подростковом возрасте первые проблески чувства любви, как вспыхивает в нем и озаряет его юность эта неведомая, целомудренно-чистая страсть. Тема благодарная для художника. Повесть начинается со знакомства читателя с главной героиней — подростком Таней. С первой же страницы мы узнаем, что юная героиня полна «смутных предчувствий». Мимходом, по пути, автор сообщает, что девочка мечтает об австрайской собаке динго. И этому странному желанию героини художник дает такое объяснение: «Зачем понадобилась ей австрайская собака динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее ее детство? Кто знает, когда кончается оно и когда приходит другое время». Как это просто и как все это надуманно.

Тема юношески чистой, возвышенной и прекрасной любви — извечная тема литературы. В разные времена художниками написано много замечательных произведений на эту тему. И почти, как правило, в них изображена не торжествующая и радостная любовь, а, наоборот, — трагически гибнущая, часто вместе с носителями ее. Классовое общество безжалостно подавляло чувства молодых людей, ставя перед ними непреодолимые преграды. Лишь социалистическая революция, раскрепостив человека, навсегда вырвав его из-под власти темных сил, освободила и человеческую любовь от всех социальных коллизий прошлого. У нас не осталось и следа от прежнего трагического противоречия между любовью к любящему существу и обществом.

Но как же в таком случае показать в совет-

ской литературе любовь молодого человека? Разве можно ее нарисовать без традиционных страданий, без трагического конфликта? Ведь это же покажется неубедительным?! И вот Фраерман в своей повести ставит перед героями всевозможные препятствия. Ему кажется их мало, и он до последней страницы продолжает с удивительным усердием нагнетать эти преграды.

Таню мучает вопрос: почему ее отец не живет с матерью, а ушел к другой женщине? Вопрос законный. Ничего необычного в этом нет. Но семейную драму родителей автор превратил в настоящий злой рок для Тани. После четырнадцатилетнего отсутствия отец возвращается в город, где живет Таня с матерью. С отцом приезжает его приемный сын Коля. Он поступает в ту же школу, где учится Таня. Девочка первоначально относится к Коле с неприязнью, и лишь много времени спустя между ними устанавливаются дружеские отношения. Но тут-то на головы юных героев и обрушивается несчастье. Оказывается, мать Тани продолжает все еще любить бывшего своего мужа. И, чтоб не находиться с ним в одном городе, она решает уехать. Любовь Тани после стольких огорчений и душевных мук, вылившаяся в форму чудесной дружбы, обрывается. Совсем как в шекспировской трагедии: там вражда семей Капулетти и Монтекки решает судьбу любви Ромео и Джульетты, здесь конфликт между матерью и отцом губит чувства их дочери и приемного сына. Но если в творении Шекспира трагедия любящих существ выражена с потрясающей силой правды, то в повести Фраермана она дана как художественно невыразительная картинка.

К страданиям, причиняемым Тане конфликтом между отцом и матерью, автор добавляет еще «драматизм». В повести появляется «клеветник» — номер районной газеты, в котором на Таню возводятся невероятные обвинения. Девушка спасает жизнь Коли. Мальчик был застигнут бурей на катке. Он растянул сухожилие ноги и не мог идти. Таня помогает ему выбраться с катка. Об этом факте кто-то сообщает в газету, но в заметке изображено дело так, что будто бы Таня с хулиганской целью повезла в буран Колю кататься на собаках, где он едва не погиб. Клевета оказывает немедленное действие (иначе, зачем было бы ее вводить в повесть!) — ученики и учителя тотчас же отвертываются от Тани и угрожают ей исключением из пионеротряда и из школы. Убитая горем, покинутая всеми, Таня плачет, ей снятся ужасные сны. Сцена с номером газеты настолько неправдоподобна, что просто диву даешься, как мог писатель пойти на такой дешевый прием. Непонятно, почему коллектив школы, прекрасно знавший о подвиге Тани и обо всех обстоятельствах этого происшествия (а он не мог не знать, потому что в спасении Коли участвовал также и друг Тани — школьник Филька — и, кроме того, на катке была еще и ученица Жена), — почему он поверил явной лжи и отвернулся от девушки? Непонятно, кто же был клеветником? И это



далеко не единичный пример. Читателю неоднократно приходится ломать голову над многими подобными шарадами. Нередко чувствуется, что герои поступают не так, как бы они действовали в жизни, будучи предоставленными самим себе, а так, как захотелось автору, стремившемуся обязательно создать трагедию любви.

Нет возможности приводить еще и еще примеры надуманных картин и необидительных сюжетных положений в повести Фраермана. Тогда пришлось бы говорить о большей части событий и о действующих лицах, изображенных в «Первой любви». Нужно было бы сказать и о том, почему Таня, спасая Коло, не обращается за помощью к людям, живущим в домике, расположенном рядом с катком. Ведь она только-что была в этом домике. Почему же она бежит в город за собаками, зная хорошо, что с минуты на минуту должен начаться буря? Очевидно, потому, что автору обязательно хотелось изобразить сцену езды на собаках в бурю, столкновение со скачущей лошадей и т. д.

Понятно, что автор не обязан сам решать всех поставленных им вопросов и мотивировать каждый шаг героя. Читатель в состоянии домыслить, досказать невысказанное. Но там, где автор заводит его в тупик, там он должен указать выход, разъяснить и снять недоумение.

Таня — положительная героиня повести. Однако надуманные автором трагические конфликты привели к тому, что образ девушки не только не получил ясной обрисовки, а, наоборот, превратился в нечто бесформенное, расплывчатое. Таня находится вся во власти «смутных предчувствий». «Грустные мысли, как холодный вихрь, внезапно посещают ее». «Белый туман стоит у нее на душе». «Смутные предметы и чувства окружают ее во сне». Она поражает окружающих «странным поведением и странными желаниями». Пониженный тонус жизни Тани автор передает и в пейзаже. Изображая природу, он выбирает не радостные и светлые, а тоскливые и серые тона. На реке девушка видит, как «что-то дышанье поднимает из глубины туман». «Первый снег кружил над ее головой, исчезавшей (?) в туманном небе». «Туча в клубах тумана и в ключьях мчит над полем прямо на нее». «Ветви берез блестят от капель ночного тумана». Одним словом, кругом сплошной туман, и в нем, как призрак, смутно маячит образ Тани.

Странное впечатление производит эта героиня повести, душу и сердце которой автор отравил совсем несвойственными ее возрасту мучительными раздумьями и рефлексией. Он отнял у нее радостное ощущение действительности, лишил юношеского трепета жизни, страстной тяги к борьбе за общественные идеалы. А ведь эти черты преобладают в характере и во всем облике нашей молодежи.

В повести автор, несомненно, пытался поставить один из самых животрепещущих вопросов современности: проблему воспитания детей в

семье и школе. (Злободневностью тематики и объясняется известный интерес читателя к повести Фраермана). Но нарочитость, искусственность, отсутствие естественного хода событий и течения жизни в повести загубили ее в целом. Даже единственный удавшийся в повести образ Фильки оказался испорченным все той же тенденцией автора к украшательству. Трогательная дружба Фильки к Тане радует своей целомудренностью и чистотой. Но когда Филька, по воле автора, начинает думать и рассуждать, как взрослый человек, такими, например, афоризмами: «Если человек остается один, он рискует попасть на плохую дорогу», — то эта мысль в устах мальчика звучит банальностью и нисколько не убеждает читателя.

Илья Ильф в «Записной книжке» дал меткую характеристику творческого метода некоторых советских писателей. «Большинство наших авторов, — иронически замечает Ильф, — страдает наклонностью к утомительной для читателя наблюдательности». Эта ирония словно прямо направлена в адрес автора «Повести о первой любви». В произведении Фраермана столько нудной наблюдательности, вернее созерцательного отношения к окружающему миру, что местами повесть при чтении просто утомляет.

Дурная манерность, стремление к красивости сказались и на языке повести: «Голоса их были тихи, — они не будили эха под потолком». «Ее вырешее за год тело наполнило его (платье), как ветер, дующий в парус с благоприятной стороны». «Может быть, в самом деле, любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу». «На листьях в лесу до полудня висели капли росы, все до одной ядовитые, точно змеи». «Она смотрела все время направо. Налево же она не смотрела... там стояла толстая девочка Женя, которую она не предпочитала другим». «Они (Таня и ее мать) стояли неподвижно, пока самолет, пролетающий в небе, не заставлял их чуть отодвигаться в сторону. Стук мотора, смягченный лесами, долетел до двора еле слышным гулом. А когда он (гул? — А. В.) внезапно стихал или подобно странному облаку, состоящему из одних только стуков (гул, состоящий из стуков?! — А. В.), медленно таял над двором, обе продолжали молчать». Глаза Тани «были раскрыты, постоянный блеск покрывал их поверхность, а в глубине ходили легкие тени и, казалось, в них не было никакого дна». (В чем не было дна: в тенях или в глазах? И как это можно увидеть дно в таких предметах? — А. В.).

Фраерману понравилась частица «же», и вся повесть буквально пестрит этой приставкой: «Филька же окопал его», «Ворота же были открыты», «выюки же были готовы давно», «Сына же он обнял за плечи», «Коля же пожал плечами», «Коля же всегда критиковал бесстрастно», «Коля же смотрел на ее поплавок», «Коля же еще раз пожал плечами», «Ноги же его были обуты плохо», «Она же не смела вынуть руки из кармана», «Она же про-

должала глядеть в его лицо», «Сам же Филька принес апельсин» и т. д.

Для характеристики полковника, отца Тани, автор выбрал одну единственную деталь — «ремень из толстой коровьей кожи». Полковник так и запечатлевается в памяти, как человек, пахнущий «сукном и ремнями». Какая бедность в выборе изобразительных средств!

За что же борется Фраерман, к чему он стремится, что его мучает, какая мысль, поселив тревогу в его душе, привела его к созданию «Повести о первой любви»? Мысль эта довольно несложна. Она кратко выражена в словах Тани, произносимых ею в разговоре с отцом. Тania, долго возмущавшаяся поведением своего отца, в конце-концов заявляет: «Никто не виноват (в распаде семьи и в одиночестве Тани. — А. В.), — ни я, ни ты, ни мама. Никто! Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви». Итак, вот вам мораль: родители, расходясь друг с другом, совсем не виноваты в том, что их дети остаются без семьи, без отцовской или материнской ласки. В подтверждение этой мысли и в оправдание отца Тани Фраерман заставляет его усыновить чужого мальчика Колю. Автор как бы говорит, что Сабанеев вовсе и не обязан был воспитывать родную дочь, ведь он компенсировал это заботами и участием в воспитании Коли (что, конечно, заслуживает одобрения). Автор рисует Сабанеева положительным, идеальным человеком и целиком оправдывает его поведение. После ухода от первой жены, Сабанеев на протяжении пятнадцати лет не нашел нужным хотя бы повидать свою дочь, не говоря уже о постоянном и близком общении с ней. И это в повести представлено как вполне нормальное, естественное и допустимое явление. Автор проповедует неизбежность и вечность трагедии ребенка, остающегося одиноким в результате разрыва семейных отношений родителей.

В нашей действительности, понятню, нет и не может быть закона, обязывающего людей, разлюбивших друг друга, продолжать совместную жизнь. Но у нас есть совершенно твердый, не допускающий никаких кривотолкований закон об ответственности родителей за воспитание своих детей. Конечно, у нас бывают факты, когда отцы, подобно Сабанееву, после развода даже и не вспоминают о существовании своих детей. Но отсюда вовсе не следует, что эти факты нужно оправдывать, рассматривать их как какую-то фатальную неизбежность, в которой никто не виноват и которая была и будет существовать всегда.

Советская литература — литература передовой мысли. Она начисто отрицает старую собственническую психологию, эгоистический индивидуализм и отжившие нормы поведения, показывая их в истинном свете. Она борется за нового человека, за торжество социалистических отношений. Она учит жить, дает перспективу развития, и недаром к ее голосу так чутко

прислушивается народ, видящий в лучших советских художниках инженеров человеческих душ. Но это в свою очередь ко многому обязывает и писателя. Он должен не только стоять на уровне с веком, но, принимаясь за создание произведения, обязан глубоко продумать вопрос, чтоб правильно его поставить и указать верный путь к его разрешению. Этим жизненным требованием Фраерман, к сожалению, пренебрег.

В «Лит. газете» не так давно появилась (в который раз!) статья с восхвалением «Повести о первой любви». Критик М. Чарный возмущен своим собором по перу В. Перцовым, посмешишь неодобрительно отозваться о «Дикой собаке Динго». М. Чарный издевается над термином «мужественная реалистическая литература» и радуется за созерцательность и сентиментальный жанр в искусстве.

Мы также со всей решительностью подаем голос за подлинно реалистическую, а не созерцательную литературу, за мужественных героев, не уходящих в сторону от интересов общества. Нам нужна литература, которая бы служила благородной цели — воспитанию молодого поколения в духе лучших революционных традиций. Сейчас эта задача приобретает исключительную остроту и выдвигается на первый план как задача государственного, общенародного значения. Дети — это будущие граждане коммунистического общества, люди, которым предстоит пожать обильную жатву и собрать великолепные плоды революции. Построенный в боях социализм уже и теперь дает юношеству благо, каких не знало и не видело поколение отцов. Но у молодежи впереди не одни лишь радости и счастье, не безмятежная и тихая жизнь, не омраченная ни единым облачком. Над страной далеко еще не отшумели все грозы, и, может быть, большие из них — впереди. На плечи юношества лягут не менее серьезные тяготы, и ему придется жизнью и кровью своей довершать великое дело построения коммунизма. Вот почему поколение это должно быть воспитано бесстрашным и смелым, мужественным и храбрым, горячо любящим свою родину, готовым сокрушить всех ее врагов и смести со своего пути любые препятствия; в молодежи должно воплотить черты героической партии рабочего класса. И тут советская литература призвана сыграть видную роль. Кому, как не ей, создать яркие увлекающие образы детей — молодых патриотов, со всем юношеским пылом и горячей верой в свое дело совершающих подвиги или стремящихся к ним с целью прославить отчину, приумножить ее богатства, принести пользу народу. Но таких образов и произведений у нас еще очень мало. К сожалению, и критика вместо того, чтобы ориентировать художников на создание таких произведений, поступает наоборот. Пример с оценкой повести Фраермана — убедительное тому доказательство.

А. Воложин.

## ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ. «МСТЕРА»

Изд-во «Советский писатель», 1939 г., стр 201. Цена 16 руб. 50 к.



Наша родина очень богата замечательными мастерами прикладного искусства. Одни острым резаком создают из слоновой кости и металла изумительную по красоте и изяществу инкрустацию; другие вырезают не менее привлекательные вещи из дерева; третьи тонкой кистью расписывают шкатулки и коробочки. И то, и другое является подлинным художественным мастерством самого народа. Достаточно указать на такие места, как Палех, Мстера Ивановской области, подмосковные — Федоскино, Абрамцево, Загорск и Богородское, известные своими мастерами не только в Советском Союзе, но и за границей.

До революции владимирские живописцы по необходимости писали «лики» богов и чудотворцев. Великая пролетарская социалистическая революция открыла им широкие просторы к свободной творческой деятельности. Сейчас, пятнадцать лет спустя после организации их художественных артелей, настало время оценить работу мастеров Мстеры.

О палешанах и федоскинцах, как о художниках миниатюры — росписи лаковых изделий из палыче-маше, — а также и о богородских резчиках по дереву за годы революции уже создана богатая литература. Эта литература пополнилась недавно вышедшей хорошей книгой ивановского поэта Дм. Семеновского о художниках Мстеры.

Не обычным жанром написана эта интересная книга. Она состоит из сорока пяти небольших очерков, которые местами читаются, как стихотворения в прозе. Находясь на родине художников, в Мстере, «у истоков прекрасного», Дм. Семеновский мыслит и воспринимает все окружающее с ними в унисон: «Большое внешнее солнце садилось в луга. И будущее казалось художникам таким же широким и маящим, как облитое солнцем раздолье» — пишет автор. Ощущая это «прекрасное» глазами поэта и художника-пейзажиста, Дм. Семеновский пишет: «Спокойная вода около самого моста светилась, как опаловая. А дальше лежали сумерки, тайна надвигающейся ночи. В сизой мгле мигали, отражаясь в воде, маящие и как будто грустные огоньки пристани и бакенов. Хороши были луга, вода, огоньки! Все это с детства окружало мастеров Мстеры. Все это с детских дней подготавливало их к пониманию прекрасного. Растило в них художников».

В очерках Дм. Семеновского рассыпано множество метафор и поэтических сравнений. Автор ярко и сочно говорит и о живописном мастерстве ивановских художников: «В августе падают с яблонь твердые, ярко окрашенные плоды. Они лежат в траве, такие завершенные в своих очертаниях и раскраске! В них наша предельное выражение та сила, которая выгоняла почку, развертывала лепестки цветка, оплодотворяла пестик и растила тепло яблока. С вызревшими плодами хочется сравнить и

миниатюры Котягина, яркие по краскам и четкие по рисунку».

Книга Дм. Семеновского оптимистична. В тон мастерам кисти он открывает перед читателем здоровую и радостную жизнь этих народных художников. При изучении Мстеры и ее мастеров Семеновский нашел много интересного и ценного. В своей книге он вскрывает источники фольклора, знакомит читателя с муромскими дремучими лесами, с преданиями и былями, которые приближают нас к первоисточнику русских былин о богатырях и разбойниках. Восторгаясь росписью миниатюр, Семеновский говорит: «Это такое же народное творчество, как песня, как сказка».

Были годы, когда работа живописцев Мстеры совсем заморала, а их исконное мастерство висело на волоске. Стоило только оставшимся в живых пяти-шести старикам бросить свою специальность, и тогда, без подготовки молодых мастеров, изумительная живопись Мстеры навсегда умерла бы вместе с ними. Но этого не случилось.

Революция указала путь старикам-живописцам. Они вернулись в Мстеру и основали в ней художественную артель. Иконописное мастерство Мстеры, истоки которого шли из поколения в поколение от раннего Новгорода, от великого мастера древнерусской живописи Андрея Рублева, чуждого «мирской темь», от цветистого строгановского письма, стало перестраиваться, обогащаясь темами литературного классического наследия и светской жизни. Живописцы Мстеры становились «русскими голландцами», у которых ныне «все в дороге, все на заре». Книга Дм. Семеновского дает живые образы художников Мстеры, рассказывая о прежней их работе и перестройке ее в революционное время.

Сопоставляя творчество мастеров Мстеры с работами Палеха, Дм. Семеновский говорит: «...стиль у Мстеры — свой, не похожий на стиль Палеха». «Мстерская миниатюра пейзажна. Ее стиль идет от старинной иконы и от мстерских широких далей. Палех — линия, Мстера — цветистое пятно».

И далее:

«Мстера смела в своих художественных исканиях. Сочетание иконописной выучки с реалистическими стремлениями внесло в мстерскую миниатюру столько прелести, что искусствоведы сравнивают работы художников Мстеры с живописью ранних немцев и фламандцев».

Книга Дм. Семеновского знакомит читателя с Мстерой и с исторической стороны. Однако все исторические справки проходят из очерка в очерк попутно с описанием встреч с художниками. Перед читателями калейдоскопически проносятся одна картина за другой. Только по прочтении всей книги, по отдельным картинам и зарисовкам создается целое впечатление о Мстере.

В книге приведены данные о пребывании в Мстере Некрасова и Максима Горького, глубоко интересовавшихся народным творчеством, а также приведена и высокая оценка Иоганна-Вольфганга Гете, очаровавшегося нашей суздальской росписью на шкатулке.

Дм. Семеновский воспроизвел и обобщил основное, что характеризует творчество художников Мстеры. Все это схвачено и запечатлено глазами советского человека и передано с увлечением поэта-лирика.

Рассказывая о старых и известных художниках Мстеры: В. Н. Овчинникове, А. И. Брягине, А. Ф. Котягине, Н. П. Клыкове, И. А. Серебрякове и других,— Дм. Семеновский знакомит читателя с молодыми мастерами. Это надежная их смена, которая сумела воспринять от них технические навыки, создавая невиданные и изумительные по своей красоте вещи. Семеновский показывает эти подготовленные кадры в живых, осязательных образах и ко всему этому дает иллюстрации из их произведений. Так, он знакомит с молодым художником Ф. Шиловым. На стр. 136—137 книги помещена работа Феди Шилова «Сбор яблок». Картина-миниатюра изображает золотисто-солнечный день; в колхозном саду — корзины с фруктами и женщины в цветистых платках. К дереву, отягощенному плодами, подставлена лестница, а на ней — девушка тянется рукой к созревшему румяному яблоку. Выделяющаяся из ряда других вещей по мастерству и свежести миниатюра.

На стр. 160—161 мы видим произведение другого молодого художника Н. М. Култышева. Его «Партизаны» также могут поспорить с

произведениями старых, опытных мастеров из Федоскина и Мстеры.

Пробелом книги является отсутствие углубленного исследования и анализа мастерства художников. Насколько первая книга Дм. Семеновского «Село Палех и его художники», изданная в 1932 г., суха и информационна (заметим, что это как бы подготовительная работа, проделанная параллельно с Ефимом Вихревым, выпустившим о Палехе две книги), настолько данная книга — «Мстера» — претендует главным образом на высокое мастерство очеркового жанра жизни и быта художников. А между тем живопись Мстеры нуждается в исследовании со стороны формы. В ряде работ мастеров Мстеры мы встречаем неотрешенность от старых иконописных традиций. Так, у некоторых старых и талантливых мастеров — В. Н. Овчинникова, Н. П. Клыкова, И. А. Серебрякова и других — в реалистических зарисовках природы средней полосы нашего Союза встречаются отвесные зубчатые скалы и острова причудливого характера, или выписаны кони сказочной красной и сизой масти, или, например, на окраине леса грибы и зайцы гиперболической величины. Автор не проследил, какие новые явления внесла советская действительность в художественные образы мастеров Мстеры. Этот показ эволюции художественного творчества Мстеры необходим. Он усилил бы живые и яркие зарисовки Дм. Семеновского. Жаль также, что в числе прекрасных иллюстраций, заставок и вставки нет портретов художников кисти, которым посвящена эта книга.

С. Фомин.

★

## В. КИРПОТИН. «ПОЭЗИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА

Гослитиздат, 1938 г., стр. 112. Цена 2 руб.

★

На всесоюзном съезде советских писателей Горький говорил: «Необходимо начать взаимное и широкое ознакомление с культурами братских республик». Призыв Горького получил живой отклик, доказательством чего служит рецензируемая книга «Поэзия армянского народа» тов. Кирпотина. Несмотря на очень серьезные трудности (ограниченность переведенного материала), тов. Кирпотин написал сжатый и содержательный очерк истории армянской поэзии с древних времен до наших дней.

Книга тов. Кирпотина — предисловие к Антологии армянской поэзии. Это обстоятельство (размер предисловия) в некоторой степени отразилось на работе. Отсюда и ряд недостатков, которые мы находим в этом очерке.

Первые главы очерка, посвященные народной поэзии, средневековым поэтам и ашургским песням, самые лучшие в очерке. «Давид Сасунский», 1000-летний юбилей которого праздновала вся страна, отрывки народной эпиче-

ской поэзии, дошедшие до нас от глухой древности, как и народные песни и жемчужины эпической поэзии, получили в книге достойную оценку. Верен анализ и героического эпоса. Кирпотин правильно отметил его великое значение в творчестве армянского народа, его героизм, народность и отсюда—его художественную силу.

Особое место занимает характеристика средневековых армянских лириков. Наиболее удачен анализ творчества Фрика, Константина Ерзыкаци, Мкртчича Нагаша, Григора Ахтамарци. Но спорны высказывания тов. Кирпотина о Кучаке, стихотворения которого, по выражению В. Брюсова, являются «прекраснейшими жемчужинами армянской поэзии». Творчество Кучака рассматривается автором очерка как чисто любовная лирика, чуждая общественных стремлений. На самом деле, трогательные песни Кучака, например, об «Изгнаннике» и другие показывают, что любовь к родине, чувство сострадания к бедным людям были характерным мотивом его произведений.

Наше замечание относится к творчеству Ку-

чака. Но есть и общий момент в установке тов. Кирпотина, с которым трудно согласиться. Дело идет об отражении мотивов Возрождения в средневековой армянской литературе. Кирпотин пишет: «Армянскую средневековую поэзию, даже в ее светских по духу страницах, трудно сопоставлять с европейским Возрождением». В этом вопросе тов. Кирпотин не прав.

Жгучим интересом к своему народу, острой критикой несправедливости «злого мира», проповедью человеческих чувств, культом любви, природы и вообще земной жизни,— вот какими качествами характеризуются лучшие произведения средневековой армянской литературы, в частности поэзия. Она сотрясала основы религии и средневековья, противостояла реакционным догмам церкви и открывала путь к настоящей жизни. Ее социально-политическое и культурное значение в историческом аспекте огромно.

Далее, в оценке поэта-ашуга Саят-Новы (XVIII в.), тов. Кирпотин пытается преодолеть традиционное представление о нем, как о «поэте чистой любви». Но эта попытка, к сожалению, не доведена до конца. Из наследства Саят-Новы дошли до нас в большом количестве песни, посвященные больше любви, чем нуждам и страданиям бедняков. Но это еще не дает основания считать любовь «главной темой песен Саят-Новы». В одной песне, цитированной тем же Кирпотиным, Саят-Нова говорит:

«У человека не осталось чести, от этого  
века я страдаю;  
Все — смутьяны и разрушители, от злого  
рока я страдаю,  
Не осталось больше верующего священни-  
ка, человеколюбивого князя,  
Сильный съел слабого, на людях тела  
не осталось.  
У красавиц нашего времени верности  
слову и души не осталось,  
Как долго буду требовать правды, от  
ужаса я страдаю.  
Мои думы и мечты все время о мировом  
горе.  
Об убогом, жалком, бездомном, добром и  
хорошем;  
Слово Саят-Новы — о справедливом и  
несправедливом,  
От бессовестного, кто лишает бедняка, я  
страдаю».

Мотив этой песни характерен для великого трубадура. В его наследстве немало подобных песен.

В главе, посвященной новой поэзии XIX в. и началу XX в., говорится о Р. Паткяняне, Шах-Азизе, Налбандяне, сравнительно более подробно разбирается творчество Дуряна, Мещаренца, Варужана, Иоанисяна, Цатуряна, Терьяна и в особенности двух великих армянских поэтов — Туманяна и Исаакяна, литературные портреты которых в общем хороши.

Автора очерка можно упрекнуть лишь в том, что творческая характеристика отдельных поэтов страдает неполнотой, что не все наиболее важные вопросы, связанные с их творчеством, получили освещение, — для примера укажем М. Налбандяна, — и что мелко упомянуты имена поэтов, творчество которых требует большего внимания к себе. (Пешикташян, Г. Агаян, Ш. Кургиян и др.).

Говоря о поэте В. Терьяне, Кирпотин пишет: «Он первый ввел в армянское силлабическое стихосложение тонические начала». Можно подумать, что до Терьяна, первый сборник стихов которого вышел в 1905 г., армянское стихосложение было силлабическое. Но это не соответствует действительности. Чтобы не ходить далеко, укажем, что до Терьяна тоническое начало употребляли многие армянские поэты XIX века, в числе которых такие, как Ов. Ованесян и Ов. Туманян. Но верно одно: Терьян действительно усовершенствовал эти начала и «обогастил формы армянской поэзии достижениями русской и французской поэзии XIX и начала XX века».

Переходя к советской поэзии, автор очерка разбирает творчество основоположника армянской пролетарской поэзии Акопа Аюпяна, умершего в 1937 году, талантливых советских поэтов Н. Зарьяна и Г. Саряна, из молодых говорится только об Ов. Ширазе. Глава о поэзии Советской Армении слабее других. В характеристике поэтов Аюпяна и Н. Зарьяна много общих мест, отсутствует также и творческая характеристика одного видного советского поэта — Азата Вштуни.

Что касается оценки народного творчества советского периода, оно сделано автором очерка, на наш взгляд, превосходно.

Работа тов. Кирпотина, несмотря на ее недостатки, принадлежит к положительным явлениям нашей критической литературы.

Арт. Воскерчян.

Редколлегия: Ф. В. Гладков  
Л. М. Леонов  
В. П. Ставский  
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Уполн. Главлита А—23813. Сдано в набор 13/V—11/VI—40 г. Подписано к печ. 17/VI—40 г.  
16 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 1830. Технический редактор И. К. Костиков.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва.